

# НОВЫЙ МИР

2

---

1935

**Н О В Ы Й**

**М И Р**

**ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ**  
**И**

**ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ**

**Ж У Р Н А Л**

**К Н И Г А**

**В Т О Р А Я**

**Ф Е В Р А Л Ь**

---

**М О С К В А**

**1 . 9 . 3 . 5**

# СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

## ПАМЯТИ В. В. КУЙБЫШЕВА.

1. БРУНО ЯСЕНСКИЙ. — Мужество, <i>рассказ</i> . . . . .	5
2. И. МИКИТЕНКО. — Бастилия божьей матери, <i>пьеса</i> . . . . .	17
3. ЛЕВ ДЛИГАЧ. — Речь о деревне, <i>поэма</i> . . . . .	48
4. ВС. ИВАНОВ. — Похождения факира, <i>роман</i> , продолжение . . . . .	56
5. А. РЕШЕТОВ. — Три стихотворения . . . . .	97
6. А. ПЕРЕГУДОВ. — Встреча, <i>рассказ</i> . . . . .	99
7. Л. ЧЕРНОМОРЦЕВ. — Три стихотворения . . . . .	103
8. М. ЧУМАНДРИН. — Год рождения 1905-й, <i>хроника одного детства</i> , продолжение . . . . .	106

## ЛЮДИ И ФАКТЫ:

9. Г. СТРЕЛЬЦОВ. — Народнохозяйственный план на 1935 год	136
--	-----

## ЗА РУБЕЖОМ:

10. Н. КОРНЕВ. — Пьер-Этиенн Фланден, с рис. худ. БОР. ЕФИ- МОВА . . . . .	150
---	-----

## НАУКА И ТЕХНИКА:

11. В. Е. ЛЬВОВ. — Научное обозрение . . . . .	168
12. А. А. БАГДАСАРОВ. — Переливание крови . . . . .	188

## ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

13. А. СТАРЧАКОВ.—А. П. Чехов. (К 75-летию со дня рождения)	192
14. С. ДИНАМОВ. — «Король Лир» Вильяма Шекспира . . . . .	200
15. А. ЛЕБЕДЕВ, М. ЛИСЕНКО, П. СЫСОЕВ. — Е. А. Кац- ман, с иллюстрациями . . . . .	230
16. Письма В. А. СЕРОВА . . . . .	245

## КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:

С. ИВАНОВ. — П. А. Стрелетова, «Воспоминания и письма» . . . . .	270
Н. ЗАМКОВ. — Моруа Андре, «Карьера Дизраэли» . . . . .	271

Статформат Б/5 176 × 250.

Уполн. Главлит. Б—1452.

Тир. 56550

Объем 17 печ. лист. по 64.000 знак.

Одано в набор 22/II—35 г. Подписано к печати 19/III—35 г. Техн. ред. В. Белоконов. Зак. 424.

Тип. им. тов. И. И. Скворцова-Степанова «Известия ЦИК СССР и ВЦИК». Москва.

# В. В. КУЙБЫШЕВ

25 января 1935 года умер от склероза сердца один из лучших сынов нашей партии, один из лучших учеников ЛЕНИНА и СТАЛИНА, член Политбюро ЦК ВКП(б), председатель Комиссии советского контроля и заместитель председателя Совета народных комиссаров Союза ССР товарищ ВАЛЕРИАН ВЛАДИМИРОВИЧ КУЙБЫШЕВ.

Тов. КУЙБЫШЕВ встал под боевое знамя большевизма, под знамя ЛЕНИНА и СТАЛИНА еще накануне революции 1905 года. Под этим знаменем он прошел яркую и прекрасную жизнь революционера-большевика.

Под этим знаменем он боролся за чистоту марксизма и ленинизма, за генеральную линию нашей партии, против всех видов оппортунизма, против всех и всяких уклонов от линии партии.

Под этим знаменем он боролся с буржуазно-помещицкой контрреволюцией и с ее цепными псами — меньшевиками, эсерами, троцкистами и зиновьевцами.

Под этим знаменем он боролся за победу пролетарской революции, за победу социализма, за превращение нашей родины в неприступную крепость международного коммунизма. И под этим победным знаменем он умер на боевом посту напряженной руководящей государственной и партийной работы.

И, прощаясь с родным и любимым Валерианом Владимировичем, отдавшим « всю свою жизнь, всего себя делу рабочего класса, делу нашего героического народа », миллионы пролетариев, колхозников и интеллигенции еще теснее сомкнули свои ряды под знаменем большевизма, еще теснее сплотятся вокруг великого СТАЛИНА для борьбы за победу коммунизма во всем мире.



# Мужество

БРУНО ЯСЕНСКИЙ

*Александрю Мальшкину*

**И**х было пятеро в алюминиевой кабинке одномоторного самолета «Сталь-2». В окнах, справа и слева, стояла голубая квадратная пустота. Внизу давно скрылись парники знакомых заводских корпусов, и теперь простиралась зеленая равнина, похожая на разостланное — чтобы мягче было падать — стеганое одеяло. Так, по крайней мере, видела ее Варя Кащенко, не отрываясь глядевшая в окно.

Три других пассажира путешествовали на самолете не впервые и не обнаруживали интереса к пейзажу. Миша Покалюк уткнулся в мокрый еще номер заводской многотиражки, захваченной прямо из типографии перед самым отлетом. На первой полосе красовался дружеский шарж на директора завода, Сергея Харитоновича Онуфриева. Директор был изображен с детской погремушкой в руке и с охапкой цветочных горшков. Из кармана пиджака торчала бутылка молока с соской. На груди, рядом с ордемом, приколотая была простая пустышка. Пухлые младенцы в детских конвертах салютовали ему, выстроившись в ряд, как ваньки-встаньки. Подпись под рисунком гласила: «Честь имеем доложить, на нашем фронте все благополучно».

Шарж намекал на недавнюю чистку и реорганизацию детских яслей, проведенную директором завода, после того как по недосмотру заболел и умер ребенок. По инициативе Онуфриева, славившегося своей заботой о детях, над виновниками был устроен показательный суд;

был сменен весь штат, установлено дежурство матерей и, в порядке субботника, в два выходных дня озеленена площадка.

Возвращаясь глазами к смешному рисунку, Миша украдкой фыркал. Директор завода, Сергей Харитонович, сидел тут же, позади в кабинке, и играл с Лосевым в шахматы. Подымая глаза от карикатуры и переводя их на Онуфриева, Миша с трудом сдерживал смех: до чего, черти, ловко подметили! И еле просвечивающаяся лысинка, словно невзначай прикрытая седеющим вихром, и нос, чуть скошенный влево, — точка в точку! Смеяться откровенно в присутствии Сергея Харитоновича, даже сидя к нему спиной, было неудобно, и Миша усердно сморкался. Онуфриев, занятый игрой, не обращал на него никакого внимания.

Перевернув страницу, Миша в третий раз пробежал отчет о вчерашнем производственном совещании. Вот уже полгода Сталиногорск систематически не обеспечивает завода заготовками для кузницы, поставляет металл расслоенный и с трещинами. Во избежание срыва плана совещание решило, не откладывая, послать в Сталиногорск специальную делегацию. В делегацию (значительные жирным шрифтом) включены лучшие производственники: от инструментального цеха — токарь-ударник Покалюк Михаил, от сталелитейного — формовщица-ударница Варвара Кащенко, от ИТР — инженер Лосев Виталий Мар-

тынович. Одновременно с делегацией в Сталиногорск выезжает по делам завода директор, тов. Онуфриев. В конце статьи отмечалось, что т. Михаил Покалюк, старейший член заводского кружка парашютистов, примет участие в спортивных состязаниях, которые послезавтра состоятся в Сталиногорске.

Фамилию свою в газете Миша встречал не впервые. За последние два года накопилось у него немало вырезок не только из заводской, но даже из областной газеты. И тем не менее каждый раз, встречая собственную фамилию, отпечатанную черным по белому рядом с важнейшими событиями в жизни завода, Миша испытывал неослабевающее удовольствие. В эти минуты он проникался особым уважением к себе, и не раз, созерцая в облупленном зеркальце свое курносое лицо, ощущал внутреннее удивление, что вот он, Мишка-шпингалет, и есть тот самый Михаил Покалюк, о котором пишут в газетах. Ни ростом, ни лицом Мишка не вышел. Еще подростком привык он к издевкам и обидным прозвищам, отпускаемым по его адресу девчатами. Прозвища и издевки воспринимал добродушно, не обижаясь, как нечто естественное и заслуженное, хотя и изрядно надоевшее.

Вспоминая об этих временах, Миша снисходительно улыбался. На заводе, с тех пор, как спас он во время пожара насосно-аккумуляторную станцию, относились к нему с уважением. Уважение это возросло еще больше, когда, встав во главе бригады, побил он бригаду Рыжова. Правда, победа не далась Мише легко, — он чуть было не свернул себе шею. Обогнав Рыжова по всем основным показателям, он вызвал его на соревнование в снижении расценок на целых тридцать процентов. В разгаре соревнования у Рыжова сломался станок. Кто-то насыпал песку в маслопровод, и дорогая импортная машина вышла из строя. Подозрение пало на Мишу. Рыжов и ряд других ребят показали, что накануне, после окончания смены, Миша остался в цеху один, под предлогом устранения каких-то дефектов в своем станке. Дело могло закончиться худо, но тут, по счастью, сломанным

станком заинтересовался сам директор завода. К общему изумлению, по приказу Сергея Харитоновича был арестован Рыжов. На следующий день весь завод уже знал, что Рыжов, припертый к стенке, сознался в порче станка. Чтобы не допустить до снижения расценок, он решил «ликвидировать» Покалюка, возведя на него фальшивое подозрение. При более тщательной проверке ударник Рыжов оказался вовсе не Рыжовым, а Пантелеевым, сыном кулака, поступившим на завод по поддельным документам.

Миша стал героем дня. Все наперебой старались, как кто умел, загладить перед ним свою вину. Даже Тоня Винокурова, смотревшая более благосклонно на форсистого Петьку Шмелева, после истории со станком резко склонилась на сторону Миши. Иногда самому ему, обалдевшему от счастья, не верилось в то, о чем знал уже весь цех: как только закончат план второго квартала и Миша получит квартиру, они с Тоней пойдут расписываться в загс.

В столовой ударников Петька Шмелев кричал через три столика своему приятелю, щеголю Дворкину: «Нынче, заметь, девки стали липнуть все больше к знаменитостям. Каждой подавай Никиту Изотова!»

Конечно в Петьке говорила зависть. Миша понимал, что он не Изотов. Каждому свое: Никита Изотов во всесоюзном масштабе, Михаил Покалюк — в общезаводском. Но ежели, действительно, Тоня полюбила его, Мишу, за ударную славу, то собственная слава становилась от этого Мише только еще дороже.

Короче говоря, Миша был счастлив, и просветленная солнцем голубая безоблачность поднебесья выражала в эту минуту, как нельзя лучше, его душевное состояние. Не будь перед его носом кожаной спины летчика, Миша склонен был поверить, что не грубо-материальный самолет, а беспредельная, невесомая радость вознесла его и оставила витать в этих небесных сферах...

Сергей Харитонович проиграл. Он досадливо крикнул, смеялся фигуры и, расставляя их заново, прокричал:

— Давайте еще партию!

Лосев посмотрел на часы.

Сергей Харитонович, отодвинув занавеску, выглянул в окно:

— Успеем!

Оба наклонились над шахматами. По изразцовому полу шахматной доски опять задумчивыми шагами задвигались фигуры.

— Плакал ваш конь! — пересиливая гул мотора, торжествуяще проорал Онуфриев.

Виталий Мартынович смиренно развел руками. Играл он гораздо лучше Онуфриева и коня отдал нарочно. Ничто не приводило Сергея Харитоновича так быстро в хорошее настроение, как выигранная партия. Виталий Мартынович собирался как-раз возобновить с ним разговор об отпуске. Коллеги торопили: вопрос о переводе Лосева в Ленинград был уже почти решен. Надо было под любым предлогом вырваться отсюда... Можно ему еще подсунуть туру..

Сергей Харитонович сгрёб туру и объявил гардэ королеве. Наблюдая за его сияюще-довольным лицом, Лосев думал почти с уверенностью, что сегодня директора уломает. Если б не это соображение, достаточно было одного участия в делегации Варвары Кащенко, чтобы Виталий Мартынович от поездки в Сталиногорск отказался. Эта простоволосая, щуплая девица, сидевшая сейчас к нему спиной, и была одной из главных причин, усиливавших горячее желание Лосева возможно скорее перебраться в Питер.

Что свело столь различных людей? — вопрос этот долгое время занимал инженерный персонал завода. В сталелитейном цеху Лосев пользовался большой популярностью, в особенности с ноябрьского производственного сражения, когда бригада Кащенко три дня не сходила с работы. Все это время Лосев тоже почти не уходил из цеха, чем сразу снискал себе симпатию рабочих. С этого, пожалуй, и начался его роман с Варей.

Потом Варя часто брала у Виталия Мартыновича книжки, почитать на досуге. Книжки у него были особые, интересные. В комсомольском комитете го-

ворили о борьбе с браком, о плохой сварке, о процентах промфинплана. Лосев говорил о новом социалистическом человеке, о выкорчевывании корней мещанства в нас самих, о непримиримой борьбе с остатками старого быта во имя новой, коммунистической красоты и новой, коммунистической морали.

Когда Варя забеременела и с горящими от счастья глазами сообщила эту новость Виталию Мартыновичу, Лосев предложил аборт. Он заговорил об атавизме инстинкта материнства, который привел женщину к порабощению, о необходимости освободиться от этого инстинкта во имя равноправия полов, об искоренении зоологических пережитков самки в сознании раскрепощенной пролетарки.

Весь этот вечер Варя молчала, смотрела на Лосева странно-испуганными глазами. Уходя, она сказала, что должна подумать. Это был первый случай, когда авторитета Лосева оказалось недостаточно для немедленного и безоговорочного решения.

По глупейшему стечению обстоятельств, на следующий день к Лосеву, как снег на голову, из Ленинграда приехала жена. О том, что таковая существует, не знала ни Варя, ни завод. Варя Лосев сказать об этом, очевидно, забыла; вообще о себе и своем прошлом говорил мало, а Варя не спрашивала. На заводе к этому времени о его связи с Варей знали уже многие.

Весь этот день Лосев сильно нервничал, ожидая обычного вечернего визита Вари, объяснений, скандала. Но Варя не пришла.

Жена пробыла неделю и укатила в Ленинград.

Несколько дней спустя Лосев, встретив Варю у выхода с завода, заботливо осведомился о ее здоровье, советовал съездить в соседний город, во избежание ненужной огласки. Варя ответила, что в другой город ездить ей не за чем, — если б она собиралась сделать аборт, сделала бы его здесь; но, обдумав, она решила дожидаться рождения ребенка. Лосев в первую минуту растерялся, пробовал настаивать, Варя без выражения выслушала его неотразимые

аргументы. Она сказала спокойно, что удивляется, почему этот вопрос так занимает его и волнует: ей хочется ребенка, — это ведь сугубо ее личное дело. Виталий Мартынович возразил что-то насчет атавизма инстинкта материнства, но получилось неубедительно и глупо.

Он хотел было спросить, придет ли она к нему, но не спросил. Она как будто ждала: может, он что-то еще скажет. Потом быстро пробормотала: «Извините, я тороплюсь...» — и исчезла за углом. Лосев постоял, заглянул за угол, увидел ее в конце улицы, быстро бегущую неизвестно куда: улица выходила на пустырь.

Виталий Мартынович расстроенный вернулся домой. Он ждал неприятностей, может быть, самоубийства. Но на следующий день, обходя сталелитейный цех, он застал Варю за формовкой. Больше они не разговаривали.

Осложнений никаких не последовало, если не считать резкой перемены в отношении к нему рабочих, которую Лосев заметил с момента неожиданного приезда жены. Торопливо проходя через сталелитейный цех, он ловил настороженным ухом обрывки брошенных по его адресу неприязненных фраз. Какой-то дюжий детина раз даже намекнул насчет «набить морду». И секретарь комсомольского комитета, и работники парткома стали с Лосевым подчеркнуто официальны. Все это приводило Виталия Мартыновича в явное раздражение. Когда же сам директор в разговоре с ним обмолвился, что инженер его специальности мог бы, пожалуй, на другом заводе найти применение, более соответствующее его способностям, Лосев заартачился. Он резко спросил, должен ли он понять слова Онуфриева, как предложение покинуть завод, и дал ли он своей работой какой-либо повод для увольнения. Сергей Харитонович ответил, что увольнять Лосева никто не собирается. Виталий Мартынович вспыльчиво заявил, что сам он покидать завод вовсе не предполагает. Что им руководило в этот момент: чувство ли противоречия, или отсутствие другой подходящей работы, трудно сказать. Через несколько дней его перевели в другой цех.

Новая работа пришлась Виталию Мартыновичу не по вкусу, но из самолюбия он не показал виду.

Так прошло три месяца. Виталий Мартынович не раз ругал себя за то, что не воспользовался намеком Онуфриева. Получив известие о наклеиваемой службе в Питере, он собрался уезжать. Время, однако, было напряженное, ряд инженеров свалился от гриппа, и освободить Лосева Онуфриев на этот раз категорически отказался.

На последнем производственном совещании, при выборе делегатов в Сталиногорск, выдвинутая директором кандидатура Лосева была провалена рабочими почти единогласно. Провел Виталия Мартыновича, Онуфриев авторитетной ссылкой на нецелесообразность отрыва других инженеров, занятых выполнением срочных заказов. Само включение Лосева в делегацию вместе с Варей Кащенко смахивало на злую шутку. И все же, не желая заострять вопрос, Виталий Мартынович не отказался, в надежде доброй выпросить отпуск и поскорее распрощаться с заводом. Он нарочно захватил с собой шахматы, зная слабость Онуфриева и рассчитывая за партией-другой наладить отношения с директором...

— Шах королю!

Онуфриев убрал лосевского ферзя и украдкой, из-под опущенных ресниц, наблюдал за выражением лица Виталия Мартыновича. Лосев играл непривычно рассеянно, и мысли его явно были заняты другим.

О том, что Лосеву неприятно сидеть в одной кабинке с Варей, Онуфриев отлично догадывался. Жена Сергея Харитоновича, Ольга Щукина, работала инструментальщицей в сталелитейном цеху и состояла с Варей в одной комсомольской группе. Историю Вари Сергей Харитонович узнал от жены, в тот день, когда, поздно вечером, Ольга, возбужденная, вернулась с заседания ячейки, на котором обсуждался варин вопрос.

Вынесла его на комсомольскую группу сама Варя, просившая у товарищей совета. Она рассказала, что порвала с Лосевым, поняв, что Лосев — человек чужой. Но будет ребенок, которого ей

давно хотелось, и вот, раз уж это случилось, хочется ей этого ребенка оставить. Но она спрашивает себя, имеет ли право рожать ребенка от человека заведомо чужого. Вот в решении этого вопроса товарищи должны ей помочь. Как ребята скажут, так и будет.

Ребята высказались за то, что, раз уж так случилось и родить ей обязательно хочется, так и быть — пусть рождает, не в отце дело. Девчата из вашиной бригады предложили, что отцом малому будет вся бригада, но парни подняли их на смех: бригада у них бабья и в отцы не годится, другое дело — цех. А секретарь группы Ваня Шмидт тут же предложил в качестве подарка выпустить ко дню рождения малыша сверх плана один прокатный стан и, в честь новорожденного, окрестить его Федькой.

Разошлись поздно, весело и шумно, и на прощанье девчата кричали всплакнувшей и сияющей Варе, чтобы скорее уж рожала, а то больно долго ждать.

Рассказывая об этом, Ольга даже раскраснелась, и в глазах у нее загорелись теплые, золотые огоньки.

Сергей Харитонович подумал, что решать вопрос об аборте голосованием на ячейке — забавно и нелепо. Но, глядя на Ольгу, он тут же добавил про себя, что, может, забавным это кажется ему и людям его формации, а вот для сверстников Ольги это, может быть, вовсе нелепо, а именно так и надо.

Он не раз с интересом выслушивал рьяные суждения Ольги о вещах и людях, которых Ольга видела и расценивала часто неверно, но всегда как-то по-особому, по-своему. Причиной этому, возможно, была большая разница в возрасте, но она не сводилась, пожалуй, к простому арифметическому вычету 45 минус 22.

На первых порах Сергей Харитонович пробовал сбалансировать эту разницу грузом своего старого, дореволюционного опыта. Ольга внимательно слушала и запоминала, но запоминала тоже как-то по-особому.

Однажды, после очередного производственного совещания, Сергей Харитонович зашел за ней в читальню. В читальне проходила встреча комсомольцев

с политкаторжанами. Онуфриев вошел незамеченным и присел у самого выхода, решив подождать конца.

Ребят собралось много. Старик-политкаторжанин рассказывал историю своего побега из острога: как переправленным ему с воли зубилом он в течение ряда недель пробуравил брешь в стене и ночью ускользнул в тайгу. От прилива волнующих воспоминаний старик раскашлялся и долго не мог отдышаться.

— Это еще что! — вставил вдруг, пользуясь перерывом, краснощекий Юра Лихачев. — У вас хоть зубило было, а вот я недавно читал графа Монте-Кристо, так тот простой ложкой стену расковырял и в море сиганул. Ух, интересно!

Старик провел рукой по усам, и в глазах его затеплилась лукавая улыбка.

— Что ж, занимательная книжка. Было время, и мы почитывали. Только суть-то, дружище, не в том, чем кто стену ковырял, а во имя чего ковырял. Твой граф, хоть и ловко ложкой орудовал, а все больше личной мстостью занимался. А мы из тюрем на волю рвались, чтобы весь рабочий народ против царя и помещиков вооружить...

Ребята, довольные ответом старика, дружно засмеяли поклонника Монте-Кристо.

— Да разве я про то, я просто так, к примеру... — сконфуженно защищался Лихачев.

Сергей Харитонович подумал, что вся дореволюционная борьба, составлявшая для старика-политкаторжанина содержание доброй половины жизни, стала для этого парня почти фактом литературным. Питать к нему обиду было бессмысленно. И все же непреложность этого была чуть-чуть обидна. Сергей Харитонович подумал, что стареет; было горько в этом сознаваться. Он решил впредь в разговорах с Ольгой не особенно упираться на свои подпольные и ссыльные воспоминания.

Ольга была для него больше, чем любимой женщиной, и больше, чем женой, была, сама того не зная, повседневной самопроверкой. По выражению ее глаз Сергей Харитонович безошибочно угадывал, что сегодня работал хорошо,

что в большой собирательной работе цехов чувствовалась немалая доля его собственной организующей энергии. Иногда взгляд встревоженных глаз Ольги говорил ему, наоборот, что работал он сегодня плохо, что где-то уже обнаружались неполадки, и Сергей Харитонович шел на следующий день в цеха с новой, удвоенной энергией, внимательно ощупывал пульс завода, и решительными мероприятиями устранял намечавшиеся перебои.

Он знал, что для Ольги авторитет его, как партийца и руководителя производства, абсолютно непоколебим. Переживая полосу трудностей, когда работа шла плохо, а сам он искал и не находил немедленных мер противодействия, он конфузливо скрывал от Ольги свои злополучные затруднения. Ему казалось, что в такие минуты он не совсем похож на того идеального Сергея Харитоновича, которого любила Ольга, и он краснел при мысли, что Ольга заметит это несоответствие.

На заводе Сергей Харитонович пользовался общим уважением. За два года его директорства завод не только вылез из прорыва, но не сходил с областной красной доски. Люди, привыкшие к штурмовщине, перевооружались с трудом. Онуфриев был требователен и суров и в то же время на редкость отзывчив. Каждого рабочего, проработавшего на заводе больше года, он знал по имени и отчеству, знал его бытовые и семейные обстоятельства. Старые рабочие приходили к нему запросто, за советом, не только по производственным, но и по личным делам. Все знали, что, когда у мастера модельного цеха Телегина ушла обиженная им жена, и Телегин запил, Сергей Харитонович лично ездил говорить с Катериной и через неделю Катерина вернулась.

Заводские старожилы, когда речь касалась директора, неизменно рассказывали желторотым новичкам случай с газопроводом, живой легендой вошедший в эпос завода: Два монтера обнаружили утечку газа, бросились в будку перекрыть краны и, крепко хлебнув газа, свалились замертво. Никто не решался туда войти. Самые растороп-

ные побежали за противогазами. Тогда Сергей Харитонович, растолкав народ, влез в будку, выгашил обоих рабочих и завернул краны. Говорили, что, побудь монтеры в будке еще минут-другую, спасти их так бы и не удалось. У Сергея Харитоновича как воспоминание об этом приключении остался навсегда короткий сухой кашель.

Были на заводе люди, которые знали теперешнего директора еще в гражданскую и воевали с ним в одной дивизии. Люди эти подтверждали, что орден боевого Красного знамени, который Онуфриев надевал только по революционным праздникам, достался ему не задаром. На заводе говорили об этом с гордостью: «Вот, мол, какой у нас директор!», для пушей внушительности, иной раз, может быть, даже прибавляя, чего и не было. Новички, приехав на завод, осматривали новенькую водную станцию, новый стадион, вкусные ларьки ОРС и соглашались, что директор подходящий...

— Шах королю и мат!

Лосев проиграл.

Сергей Харитонович удовлетворенно потер руки и выглянул в окно.

— Вот мы и приехали! — прокричал он, оборачиваясь.

Лосев собрал фигуры, захлопнул доску и посмотрел в окно. Внизу, словно неуклюжие шахматные фигуры, расставленные в необычном порядке, стояли похожие на туры газогенераторы, точеные домны и стройные трубы коксовых печей. Виталий Мартынович нащупал прикрепленные к сидению привязные ремни и застегнул их вокруг пояса, готовясь к посадке.

Варя, Миша Покалюк и Сергей Харитонович прильнули к окнам.

— Чего ж мы не садимся? — прокричал, наконец, Онуфриев. — Вот он, аэродром! Мы уже пролетели!

Лосев расстегнул ремень и тоже выглянул в окно. Внизу толпились последние домики Сталиногорска. Навстречу бежала степь.

— Я же вам говорю, мы давно пролетели!

— А может, это еще не Сталиногорск? — усомнился Лосев.

Сергей Харитонович пожал плечами: — Глаз у вас нет! Какой раз летаете по этой трассе!

Он смотрел в недоумении на развернувшуюся опять внизу безбрежную голую степь.

— Спросите летчика, почему мы не садимся! — прокричал он, нагибаясь к Покалюку.

Миша послушно привстал и тронул летчика за плечо. Слова, очевидно, потонули в шуме мотора. Миша толкнул сильнее. Он заслонял теперь собой и летчика, и управление. Наконец он повернулся, и все вдруг заметили, что летчик сидит в странной наклонной позе, прислонившись головой к стенке кабинки, и что всегда румяное лицо Миши стало вдруг неестественно белым.

— Сергей Харитонович! С ним что-то случилось!

Онуфриев вскочил и, через спинку переднего дивана, напрямик полез к управлению; расшиб колено о большой компас, возвышавшийся, как тумба, рядом с сиденьем летчика, и наконец протиснулся к рулю.

Он ухватил летчика за отвороты куртки, взглянул ему в лицо, в раскрытые застеклявшиеся глаза, почувствовал между лопаток холодный озноб и, отпустив неподвижное тело в кожаном шлеме, оглянулся. Три пары встревоженных глаз следили за каждым его движением.

Онуфриев сделал нетерпеливый знак рукой, словно хотел сказать, чтобы ему не мешали. Он посмотрел на руль, похожий на обломок колеса с двумя уцелевшими секторами, на сложную путаницу манометров: восемь черных стеклянных кружков с рябью стрелок и цифр, на альтиметр, показывающий 1.050 метров, на неподвижный ртутный шарик в трубке креномера, потом — через окошко — вниз, на шахматную доску полей. Он видел бледные, вопрошительные лица спутников, хотел что-то сказать и без слова грузно присел на компас.

— Что с ним случилось? — перегибаясь через спинку мишиного сиденья, кричал Лосев.

Сергей Харитонович сошел с триего желтого, непомерно вытянувшееся лицо.

— Умер... Видно, разрыв сердца... — сказал он глухо.

Несмотря на шум мотора, на этот раз слова Онуфриева расслышали все.

— Как умер? Ведь никто из нас не умеет управлять! — визгливым, не своим голосом, прокричал Виталий Мартынович. Он не ощущал комизма своего восклицания, не уловил этого, Впрочем, никто.

Если б не однообразный оглушительный рокот мотора, можно бы сказать, что в кабинке водворилась мертвая тишина. Но мотор гудел ровно, попрежнему. Попрежнему в окнах стояла нежная голубизна, пронизанная золотыми нитками солнца. Попрежнему внизу бежали веселые яркозеленые поля и одинокие домики; скакали, не двигаясь с места, маленькие, как муравьи, лошадки, и крохотные человечки, увидев самолет, вероятно, попрежнему останавливались, с улыбкой задрав голову и приветливо помахивая кепкой. Все было попрежнему, как десять минут назад: так же плавно, без толчка и качки, не сбавляя скорости, катил самолет, и лишь сидевшие в нем люди знали, что к земле им уже не причалить.

Они сидели, инстинктивно впиваясь пальцами в подушки диванов, словно нашли в них искомую точку опоры, и напряженно вслушивались в размеренный гул пропеллера в тревожном ожидании первых, еще невнятных, перебоев.

Миша Покалюк широко глотнул воздух. Щемило под ложечкой. Как рукой сняло ощущение прочности и комфорта, передаваемое телу упругими пружинами сидения. У Миши было впечатление, что он подвешен на нитке, и что нитка явственно трещит. Вдруг он вспомнил: ведь у него есть с собой парашют! Он ощущал рукой сложенный рядом на полу сверток. Отлегло от сердца. Надо надевать и прыгать, ничего хорошего не дождешься.

Он подхватил пакет и стал развязывать бечевки. Тут только он сообразил, что парашют у него один, а в кабинке их четверо...

... Люди, работавшие внизу, на покосах, запрокинув головы, видели, как от пролетающего самолета отделилась небольшая точка и медленно поползла вниз. Вскоре можно было уже различить чело-вечка, подвешенного на большом раскры-том зонтике. Человек болтался из сторо-ны в сторону. Косари, побросав косы, по-бежали навстречу воздушному гостю.

Ударившись о что-то твердое, Сергей Харитонович открыл глаза. Ныло под-мышками. Он не ощущал ничего, кроме страшной усталости и тошноты. Непон-ятная сила волокла его в сторону по ровной зеленой луговине. Кто-то, кажет-ся, подхватил его, отстегивал ремни. Была страшная тишина. Кто-то что-то говорил над самым ухом: широкое уса-тое лицо в соломенной шляпе.

Сергей Харитонович ощупал рукой мягкую влажную траву и улынулся блаженной, почти идиотской улыбкой. Он взглянул на небо. Небо было голу-бое и бездонное. Самолета на нем не бы-ло. Может, его и не было никогда? Да и наверное не было. Все это — сквер-ный, мучительный сон. Ох, как болит подмышками! Он не переставал блажен-но улыбаться окружившим его незнако-мым, но невероятно милым и давно уже любимым людям. Его поставили на но-ги. Он ощупал подошвами незыблемый пол земли и вдруг заплакал.

Румяная баба в голубом платке под-несла к его губам кружку с холодной, невыразимо вкусной водой...

... Три дня спустя он мчался через яр-козеленые цветистые поля в междуна-родном вагоне скорого поезда. Разме-ренно стучали колеса. В соседнем купе фокстротно надрывался патефон. В за-кутке у входа в вагон пытел самовар. По коридору чинно сновали проводники, разнося чай в дребезжащих металличе-ских подстаканниках. Два спутника у окошка, сняв пиджаки, мирно сражались в шахматы. Щеголеватый субъект, «ду-ша вагона», с затылка похожий на Лосева, рассказывал скучающим попут-чикам очередной анекдот. В коридоре звонко хохотали. Пассажиры большою частью были дальние, ехали по четверо суток, по коридорам бродили в пижа-

мах, разомлев от скуки и жары. Обжи-той вагон пах уютно, по-квартирному: одеколоном и самоварной гарью.

Сергей Харитонович полулежал, втис-нувшись в угол, и бездумно смотрел в окно на мелькающие телеграфные стол-бы. Сосед, сидевший напротив, попал-ся из породы разговорчивых и упорно, вот уже два часа, на всякие лады пы-тался втянуть Сергея Харитоновича в беседу. Не имея другой возможности от него отвязаться, Онуфриев притворился спящим. Он «просыпался» лишь на стан-циях, выбегал на перрон и нервно спра-шивал свежие газеты, но газет все еще не было.

Спутники у окна, разыграв партию, смешали и заново расставили фигуры. Телеграфные столбы за окном вдруг замедлили бег. Пробегал семафор, худой и прямой, как привидение, потом водо-качка, потом первые станционные зда-ния. В коридоре толкались с чемодана-ми: должно быть, большая станция. По-езд остановился.

Сергей Харитонович протиснулся к выходу. Люди, выбежавшие раньше, шли уже навстречу с развернутыми про-стыми газет. Он безропотно встал в очередь, купил вчерашнюю газету и по-спешно вернулся в купе. Он развернул газету и скользнул по ней глазами. На первой полосе ничего не было, да и не могло быть на первой полосе. Он лихо-радочно перевернул страницу: надо ис-кать в мелких известиях. Поезд тро-нулся.

Сергей Харитонович просмотрел тре-тью и четвертую полосы и не нашел ничего. Он хотел уже сложить газету, когда взгляд его упал на маленькую заметку, притаившуюся в левом углу тре-тьей страницы: «Авария самолета». Руки его дрожали, газета плясала в пальцах, буквы коржились и прыгали, нельзя было ничего понять. Огромным усилием воли он приблизил газету к глазам и, запинаясь, прочел заметку:

«ОРЕНБУРГ, 17 июня. (От собств. корреспондента). Вчера, около 12 ча-сов дня, в районе Орска, в 17 кило-метрах от села Ивановское, при по-пытке посадки потерпел аварию и за-горелся одномоторный самолет типа

«Сталь-2». Находившиеся в самолете летчик и три пассажира сгорели. Личность погибших пока не установлена...».

Газета упала на пол.

— Что с вами? Вы нездоровы? — разговорчивый пассажир, ухватив Сергея Харитоновича за плечи, испуганно глядел ему в лицо.

— А?

— Вы закричали... И вид у вас очень... нехороший. Вам дурно?

— Закричал? Нет, ничего. Да, я нездоров.

— Что у вас? Сердце?

— Да, сердце. Дайте мне минуту побыть в покое. Это пройдет.

— А то у меня есть бром под рукой. При сердечных заболеваниях очень помогает. У меня вот тоже сердце не в порядке. Да и у кого теперь здоровое сердце? Время такое... Я вам все-таки бром достану.

— Нет, не надо, умоляю вас. Оставьте меня.

Сергей Харитонович закрыл глаза. В купе шушукались. Равномерно стучали колеса.

Сколько времени он пробыл с закрытыми глазами, не смог бы определить. Вывели его из этого состояния сильные толчки. Кто-то настойчиво тряс его за плечо. Опять этот навязчивый болтун

— Слушайте, товарищ, а, товарищ! Вам, кажется, совсем плохо? Я вам все-таки достану бром?

Сергей Харитонович открыл глаза:

— Уйдите от меня! — заревел он в бешенстве. — Или... или я позову проводника!

Побыть в покое Онуфриеву не удалось. Вошел незванный проводник и, возвращая ему билет, сообщил, что пора собираться: через десять минут — станция, на которой ему выходить.

Онуфриев встрепенулся. Да, да, надо собираться! Собирать, впрочем, было нечего. Он поднял с пола газету и сунул ее в карман.

Поезд подошел к станции.

Сергей Харитонович увидел в толпе на перроне Ольгу, секретаря парткома Буравина, редактора заводской газеты, еще много знакомых лиц. Пришли

встречать! Да, верно, ведь он сам послал телеграмму! Он только сейчас сообразил: надо же им будет что-то сказать, надо что-то обдумать, — но думать уже было поздно.

Он ощутил на шее ольгины руки. Улыбающиеся лица теснились вокруг него. Группа рабочих поздравляла его с чем-то — ах, да! — со спасением.

Его усадили в машину. Справа села Ольга, слева секретарь парткома Буравин. Ольга смотрела на Сергея Харитоновича, не отрываясь, большими лучистыми глазами и крепко прижимала к себе его локоть. Машина тронулась и пошла вдоль знакомой аллеи. Буравин все говорил: «...волновались... только вчера вечером получили телеграмму...» — и тоже смотрел на Онуфриева непривычно теплыми глазами и все гладил его плечо и рукав пиджака:

— Ну, расскажи хоть ты, наконец, как все это случилось?

У Сергея Харитоновича дрожали губы. Он повернул к Буравину бледное, осунувшееся лицо, искривленное жалобной улыбкой:

— Расскажу все, только потом, — хорошо? Я, кажется, немного заболел...

...А потом прошла еще неделя. Сергей Харитонович сидел в своем директорском кабинете. В кабинете все было по-прежнему. По-прежнему, не переставая, звонил телефон. Входили и выходили люди. Был будничным рабочий день. Люди докладывали о текущих делах завода. Завод работал нормально. На вечер был назначен пленум парткома. Сергею Харитоновичу предстояло выступить с отчетным докладом об итогах второго квартала. Он попросил подобрать ему некоторые материалы.

Принесли пухлую кипу сводок. Он засунул их в портфель и, отдав последние распоряжения, отправился домой: там, по крайней мере, никто не будет мешать. До начала пленума оставалось два часа.

Придя домой, Сергей Харитонович углубился в бумаги. Голова работала плохо. Чаю бы крепкого попить, что ли?

Он достал несколько номеров заводской газеты, которых не успел прогля-

деть за последние дни, посмотрел сводки из цехов. В одном из номеров, на первой полосе, помещен был его портрет. Сергей Харитонович взглянул на заголовок: «Как погибли товарищи Кащенко, Покалюк и Лосев. Беседа с директором завода тов. Онуфриевым».

Сергей Харитонович сморщился, но не отложил газеты и пробежал две колонки мелкого шрифта:

«В беседе с сотрудником нашей газеты директор Онуфриев сообщил следующие подробности мрачной катастрофы, стоившей жизни трем передовым работникам нашего завода.

Перелетев Сталиногорск и с удивлением заметив, что самолет не идет на посадку, пассажиры, естественно, обратились с вопросом к летчику и тут только заметили, что летчик, продолжавший сидеть за рулем, мертв. Внезапную его смерть, по словам тов. Онуфриева, можно объяснить только разрывом сердца.

Тов. Онуфриев отмечает исключительную организованность и присутствие духа, которые обнаружили пассажиры самолета перед лицом катастрофы, в особенности тт. Михаил Покалюк и Варвара Кащенко. Тов. Покалюк, член нашего кружка парашютистов, намеревался принять участие в спортивных состязаниях в Сталиногорске и вез с собой собственный парашют. Тем не менее т. Покалюк не пожелал воспользоваться этим преимуществом и предложил тянуть жребий. Было решено, что тот, кто вытянет, спрыгнет на парашюте, остальные же попытаются пойти на посадку. Жребий вытянул тов. Онуфриев. Под давлением спутников он вынужден был повиноваться. Товарищи надели на него парашют и вытолкнули Сергея Харитоновича из кабинки.

Отмечая большую выдержку и мужество тт. Покалюка и Кащенко, тов. Онуфриев собирается поставить вопрос о присвоении имен этих товарищей цехам, в которых они работали: сталелитейному цеху — имени тов. Варвары Кащенко, и инструмен-

тальному — имени тов. Михаила Покалюка...».

Кто-то открыл дверь. Сергей Харитонович обернулся. В комнате стояла Ольга.

— Здесь, в твоё отсутствие переслала из Наркомвнудела твои бумаги, — она протягивала ему кожаную полевую сумку, запятнанную и почерневшую. — Нашли в самолете...

Сергей Харитонович почувствовал, что бледнеет.

— Что с тобой? — забеспокоилась Ольга. Она ласково положила руку на его внезапно вспотевший лоб. — Это я, дура, расстроила тебя. Не надо было тебе показывать этой сумки. Дай, я ее спрячу.

— Ты... открывала ее?

— Нет, — она посмотрела на него с удивлением. — Что с тобой, Сергей? Я, право, не узнаю тебя все эти дни. Скажи мне хоть, объясни. Неужели ты все время думаешь об этом...

Сергей Харитонович открыл сумку, достал оттуда записку, нацарапанную его рукой на листке из блок-нота, и, после минутного колебания, протянул Ольге.

Ольга с возрастающим беспокойством смотрела на его побелевшее лицо. Она быстро пробежала записку:

«Ольга! Бумаги из верхнего левого ящика передай лично уполномоченному. Сумку, которую вручит тебе т. Варя, передай Буравину. Парашют у нас один, и жребий вытянула т. Варя. Целую. Твой Сергей».

Ольга еще раз перечла письмо, медленно, словно читала его по складам. Когда наконец она подняла глаза, лицо ее, чересчур резко разрезанное дугами бровей, показалось Сергею Харитоновичу незнакомым.

— Значит, ты солгал? Жребий вытянул вовсе не ты, а Варя? А ты отнял у нее парашют и выпрыгнул сам?

— Я не отнимал у нее парашюта! Она предложила мне его сама, — сказал хрипло Онуфриев.

— А ты обрадовался и поспешил согласиться. А потом налгал, пользуясь тем, что свидетели мертвы?

— Слушай, Ольга... — Сергей Харитонович сделал к ней шаг, но Ольга попятилась и жестом остановила его. — Ты можешь меня презирать, но, прежде чем осудить, выслушай меня, по крайней мере. Я должен был просто рассказать все, как было. Но это «просто» — во все не так просто... Я сразу предложил передать парашют Варю. Она не согласилась, настаивала, чтобы передать его мне. Я отказался категорически. Тогда Лосев предложил тянуть жребий. Я поддержал его, в надежде, что вытянет Покалюк или Варя. Вытянула Варя. Я передал ей сумку с бумагами и записку к тебе. В это время с Лосевым случилась истерика. Он схватил Варю за руки, умолял, чтобы она взяла его с собой, клялся, что парашют выдержит их обоих. Когда Варя отдала парашют мне, Лосев, должно быть, подумал, что она делает это из желания отомстить ему... Я и на этот раз решительно отказался. Она и Покалюк набросились на меня, кричали, что я не имею права рисковать, что моя жизнь нужна заводу, что я обязан подчиниться решению коллектива... коллектив — это было их двое... Покалюк уверял, что умеет обращаться с рулем и все, наверняка, спасутся... Они одели меня и почти насильно вытолкнули из кабинки...

Сергей Харитонович увидел прозрачные, холодные глаза Ольги и растерянно замолчал.

— Я могла бы вам простить, что вы воспользовались жертвой Вари, хотя к беременным женщинам, приговоренным к смерти, даже по буржуазному законодательству, смертный приговор не применяется. Если товарищи решили, что ваша жизнь необходима заводу, и вы чувствовали это сами, — вы имели право подчиниться их решению. Но вы обокрали Варю после смерти, умолчав о ее героическом поступке. Этой подлости я вам не прощу никогда!

Она повернулась и вышла.

Сергей Харитонович долго стоял неподвижно. Не пошевелился и тогда, когда позвонил телефон. Телефон продребезжал и перестал. Потом зазвонил снова, а Онуфриев все еще стоял, очевидно не осознавая шума. Телефон опять

умолк и опять начал звонить, на этот раз упорно, не переставая. Прошло много времени, пока Онуфриев наконец вздрогнул, рассеянным взглядом обвел комнату и, подойдя к столу, снял трубку:

— Да, я слушаю.

— Сергей Харитонович, что это с вами? — прокричал в трубку знакомый голос. — Пленум давно открылся! Буравин сейчас кончает. Следующее слово — ваше, а вас нет и нет. Может, нездоровы? Тогда мы доклад ваш отложим?

— Доклад? — переспросил, морща лоб, Сергей Харитонович. — Ах, да! Хорошо, сейчас приду.

Он положил трубку, рассеянно оглядел стол, сгреб приготовленные, так и не просмотренные сводки и сунул их в портфель; долго искал жепку, наконец надел ее и вышел.

Большой зал клуба, битком набитый народом, встретил появление директора аплодисментами. Онуфриев быстро прошел к президиуму. Буравин как-раз кончил речь, и отсутствие Сергея Харитоновича вызвало небольшую заминку. Завидев его издали, председатель поднялся с места и предоставил слово для доклада товарищу Онуфриеву.

Сергей Харитонович прошел прямо на трибуну, приветствуемый дружными, долго не смолкающими аплодисментами; увидел в первых рядах знакомые и в то же время как будто чужие, расплывчатые лица, сделал знак рукой, чтобы прекратить аплодисменты, но аплодисменты еще усилились. Все улыбались и хлопали, как оголтелые. Завод приветствовал своего любимого директора, уцелевшего от катастрофы. Наконец рукоплескания улеглись, и наступила выжидающая тишина.

— Товарищи, — начал Сергей Харитонович, — в повестке дня пленума стоит мой доклад об итогах второго квартала. Но мне хочется сегодня говорить не на тему. Разрешите мне, товарищи, поговорить совсем о другом.

Он сделал паузу. В зале дружно захлопали. Захлопал и президиум. Завод знал Онуфриева как искусного оратора и вступление его воспринял как новую риторическую фигуру.

Сергей Харитонович сделал знак рукой. Аплодисменты утихли.

Он почувствовал, что у него вдруг пересохло в горле, взял приготовленный стакан и хлебнул воды:

— Я хочу говорить о подлости. Да, товарищи, о простой человеческой подлости...

В зале насторожились. Всех заинтересовало, кого это собирается сегодня проработать Сергей Харитонович.

— Все вы, товарищи, наверное, читали напечатанный в «Заводской правде» мой рассказ о том, как мне удалось спастись с самолета до его аварии. Так вот, весь этот рассказ — ложь. То есть не весь: то, что я говорил об исключительно мужественном поведении товарищей Покалюка и Кащенко, — все это верно. Ложь то, будто я вытянул жребий. Жребий вытянула Варя Кащенко. Спастись по праву должна была она. Но она уступила парашют мне, а я, под давлением товарищей, его принял, зная, что Кащенко беременна. Я оставил беременную Кащенко умирать, а сам спасся на ее парашюте. А солгал я потому, что стыдно мне было перед вами в этом сознаться...

По залу прокатился приглушенный рокот. В президиуме заметно было смятение.

— Я не хочу оправдываться, товарищи. Те, кто был со мной на фронте, знают, сколько раз я спокойно смотрел в глаза смерти, и не заподозрят меня, что я ухватился за предложение Кащенко и Покалюка из желания спасти свою шкуру... Когда я очутился на земле, у меня был еще какой-то процент надежды, что они спасутся. Узнав об их смерти, я ощутил, что не имел никакого права принять жертву Кащенко. Я знал, что, услышав о моем поступке, все отвернутся от меня, я не смогу больше работать на заводе, и партия вряд ли простит мне мою подлость. Я солгал, надеясь этой ложью купить себе возможность работать, оправдать всей своей остальной жизнью жертву Варвары Кащенко. Я просчитался. Вопрос о моем дальнейшем пребывании в партии пусть решит партком.

Сергей Харитонович сошел с трибуны и опустился на первый свободный стул.

В зале стояла тишина.

Потом разом поднялся шум. Все заговорили наперебой. Кто-то настойчиво требовал слова и, поднявшись на трибуну, долго говорил, жестикулируя, словно бросал фразы руками в зал.

Сергей Харитонович не слышал ни шума, ни слов. Когда он провел ладонью по глазам, на трибуне стоял уже другой оратор. Потом сменил его третий. Онуфриев всматривался в лица выступавших людей, и казалось ему, будто сидит он за прозрачной стеклянной стеной, от которой слова отскакивают, как дождь. Это назойливое ощущение не оставляло его все последние дни, с момента возвращения на завод.

Он пересилил страшную усталость и напряг слух. Старый литейщик Увалов обращался к нему с трибуны. Онуфриев уловил последние обрывки фраз:

— ... знаем мы тебя, Сергей Харитонович не первый день, а вот смотрю я на тебя и удивляюсь. Хватило у тебя мужества подчиниться решению товарищей, а рассказать об этом заводу побоялся. А, по-моему, коли уж на то пошло, спасись ты только потому, что случайно вытянул жребий, тогда бы тебе и стыдиться надо...

Вслед за литейщиком на трибуну взошел Буравин. Потом зал подымал и опускал руки, и Буравин объявил заседание закрытым. Люди поднялись с мест и столпились вокруг Онуфриева.

— А доклад на завтра тебе придется приготовить, — трогая его за плечо, деловито сказал Буравин.

Сергей Харитонович смотрел на окружившие его суровые лица и пробовал улыбнуться. Он видел, что все хотят его ободрить, убедить. Они что-то говорили, что-то хорошее и теплое. А он зябко ежился в своей непривычной наготе, и казалось ему, будто после долгих дней непрерывного ледящего лёта вниз, сквозь голубую бездну неба, впервые ощущает он под собой незыблемую твердую почву, незыблемей и тверже, чем сама земля.

# Бастилия божьей матери

И. МИКИТЕНКО

Драма в трех действиях

Перевод с украинского П. ЗЕНКЕВИЧА

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

МАТВЕЙ ЧУМАК, командир партизанского отряда и председатель ревкома; рабочий-литейщик, член партии, 38 лет.

ИВАН ПАЛЕНЬИЙ, рабочий-путевец, 40 лет.

ГРИГОРИЙ СВАШЕНКО, светловолосый молодой парень.

АНИКИЙ СЕМИЛЕТ, крестьянин с мягким характером, 35 лет.

ТАРАС ПОТРЕБА, сельский кузнец.

ГНАТ ЧЕРНОБРИВЕЦ, молодой парень.

УЛЬКА, дочь партизана.

ЛЮБИНА, жена Чумака.

ГАЛЯ ВАСИЛЕНКО, невеста Гната Чернобривца.

Капитан БУГРОВ

Поручик МИХАЙЛОВСКИЙ

Поручик ЧЕРЕМИС

Фельдфебель СТУКАЛКА

ИВАН ЗАЛЕТАЙКО

АНДРОШКА

ГАРАЩУК

СОЛОПЕЕВ

ОЛЬГА БЛАГОМЫСЛОВА, жена капитана Бугрова.

АЛЕКСИЯ, игуменья женского монастыря.

СОФИЯ, послушница.

АВРААМИЯ, схимница; прожила на свете сто лет.

ФЕОНИЯ, схимница; моложе Авраамии на четыре недели.

МОДЕСТА

КИРИЛЛА

МАРФА

НИНА

ВЕРА

НАТАЛЬЯ

АЛЕКСАНДР НАВРОЦКИЙ, настоятель монастырской церкви.

ФЕДОТ РЯЖЕНКО, атаман петлюровской банды.

ДЕД МОЛИБОГА

МАСЛЯК

МАКАР ВОЛОСЮТА

ПЕЛАГЕЯ, невестка Молибоги.

1-й НЕЗАМОЖНИК.

2-й НЕЗАМОЖНИК.

ЖЕНЩИНА.

СТАРУХА.

ЧЕБОТАРЕНКО.

ПЛАТОН МИТРУШИН.

ПРОЧАНКА.

Партизаны, музыканты, крестьяне.

## ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

### Сцена 1-я

Конец декабря 1919 года. Метель. На село налетели белогвардейцы разбитого полка, во главе с капитаном Бугровым. Грабеж и белый террор.

БУГРОВ. Сала, самогона, лошадей и тулупов! Лошадей и сала! Хлеба и сала!

(Он держит за грудь Митрушина.)  
Кто стрелял, когда мы входили в село?  
Кто стрелял, сукин сын? Я тебя спрашиваю!

ЖЕНЩИНА. Спасите! Он немой.  
БУГРОВ (выхватив саблю). Ты говоришь у меня.

Митрушин вырывается и убегает.

БУГРОВ. Куда? Стой! Андрюшка! Держи его!

АНДРОШКА (тянет из рук женщины полотно). Пусти, пока жива! Пусти, говорят!

СТАРУХА (с другой стороны, — у нее вырывают тулуп). Не тяни, чтоб у тебя душу вытянуло!

ЗАЛЕТАЙКО. Зачем портишь хозяйское добро?

БУГРОВ. Скорей там, скорей! Не будьте бабами! Андрюшка!

АНДРОШКА. Сейчас, вашскородие. МИХАЙЛОВСКИЙ (вбегает). Лосадей нет.

БУГРОВ. Как нет? А где же они?

МИХАЙЛОВСКИЙ. Же не се па, чорт бы их взял!

ЧЕРЕМИС. Попрятали, ракали!

БУГРОВ. Шомполами!

Андрюшка, Солопеев и Гаращук приводят Митрушина.

АНДРОШКА. Докладаю, вашскородие: это Платон Митрушин.

СОЛОПЕЕВ. Он и стрелял.

ГАРАЩУК. И народ баламутил, чтоб коней попрятали.

БУГРОВ. Он? Ты, сукин сын? Взять на мушку!

АНДРОШКА. Скидай свитку. Поворачивайся затылком! Ну, живей! (Белогвардейцы подняли на Митрушина винтовки.)

СТУКАЛКА. Ваше высокоблагородие, партизаны!

МИХАЙЛОВСКИЙ. Где?

АНДРОШКА. Драпай!

БУГРОВ. К пулемету!

Исчезают. Через мгновение, стреляя на-бегу, как вихрь, влетают партизаны.

— Да-й-о-шь!

ЧУМАК. Передожните. (Белогвардейский пулемет: та-та-та-та!) Ложись! Берегите патроны. Пускай немного потарахтят. А ты кто такой?

МИТРУШИН. Платон Митрушин. Расстрелять хотели, гады.

ЧУМАК. Ложись!

СВАШЕНКО. У меня есть идея: подарить на ура.

ЧУМАК. Назад! (Снова слышен пулемет.)

СВАШЕНКО. Чернобривец!

ЧЕРНОБРИВЕЦ. Знаю! (Подползает к Чумаку.) Товарищ командир, дозвоьте снять.

ЧУМАК. Отсюда нельзя. Прострочит.

ЧЕРНОБРИВЕЦ. Не успеет. Я мигом.

ЧУМАК. Ну, смотри, Гнатов, берегись.

ЧЕРНОБРИВЕЦ. Да чего там. (Подползает на стук пулемета. Стреляет. Пулемет затих. Возвращается к Чумакову.) Абсолютно, товарищ Чумаков.

ЧУМАК. Класно. (Паленному.) Иван Сергеевич! Огородами в обход.

ПАЛЕННЫЙ. Сейчас. Мы им наложим по форме. Айда, товарищи. (Быстро двинулся с несколькими партизанами.)

ЧУМАК (старухе, которая стоит с полушубком, как окаменелая). Бабка, бабушка, слышишь?

СТАРУХА. А?

ЧУМАК. Уже кончилось.

СТАРУХА. А где же мой тулуп?

ЧУМАК. Тулуп? Да, должно быть, вот он.

СТАРУХА. Тьфу, чтоб им добра не было.

ЧУМАК. Постараемся, бабушка. Неси домой.

Старуха уходит. Вбегают трое партизан.

СВАШЕНКО. О, и фланговые нагоняют.

ЧУМАК. Ну, как, Федор? Дырок вам по дороге не наделали?

1-й ПАРТИЗАН. Нет. По дороге ни души. А у вас тут как?

МИТРУШИН. Да не с медом было. Кабы вы не подоспели...

СТАРУХА (входит). А кто тут у вас за старшого?

ЧУМАК. Что? Опять тулуп?

СТАРУХА. Да нет, не тулуп.

ЧУМАК. А что же там?

СТАРУХА. Простите, детки, простите ради Христа.

ПОТРЕБА. Да за что же, бабушка?

СТАРУХА. Да вот, что нет печеного. Одна буханка только и есть... (Достает из-под полы буханку.) Возьмите, детки, а то вы, поди, есть хотите. Возьмите на здоровье.

ЧУМАК. Буханочка? Спасибо!  
СВАШЕНКО. И не ел бы, да коли бабка просит...

ПОТРЕБА. Вот за это спасибо, можно подкрепиться.

*Подходят крестьяне.*

1-й НЕЗАМОЖНИК. А может, и мы вам чем-нибудь пригодимся?

2-й НЕЗАМОЖНИК. Коли нужно что — говорите.

СЕМИЛЕТ. Вот кабы кто патронов вынес...

ЧУМАК. Вот это — дело! Может, и правда у кого-нибудь заваялись?

1-й НЕЗАМОЖНИК. А вы знаете, какая история. У меня еще раньше, когда белые приходили, так забыли одну коробочку, под крышей. *(Побежал.)*

ПАЛЕНЬИЙ *(возвращается с партизанами)*. Ну, командир, надо спешить. Они уже за селом.

СЕМИЛЕТ. Не иначе, как на Вахромеевку подались. Умрем, Аникий, али похороним гадов в сугробах.

ЧУМАК. Мороз, братцы мои, и вьюга. Выходим в степь, а там еще холоднее. А ты в картузе, Гриша. Уши закоченеют.

СВАШЕНКО. У меня? Какое они имеют право?

ЧУМАК. Ну, смотри, чтоб не плакал. Все на месте?

ПАЛЕНЬИЙ. Все.

ПОТРЕБА. Кто с нами — все. А кто против нас — так пушай, гады, берегутся.

ЧУМАК. Это верно. А где же Гнат Чернобривец?

ЧЕРНОБРИВЕЦ. Я здесь, командир. *(Стоит в стороне с Галей Василенко.)*

ЧУМАК. Вот и хорошо. Ну, прощайте, товарищи крестьяне. А может-быть, кто и к нам? Вы же всех нас знаете. Сами видите, за что бьемся.

1-й НЕЗАМОЖНИК. А знаешь что, Лукерья? Выходит так, что я пошел.

ЖЕНА. Бог с тобой.

1-й НЕЗАМОЖНИК. Да нет, выходит так, что он против меня. Придется итти. Так что сбегай в хату, вынеси

мое ружье, там, под припечком. Ты же знаешь...

ЖЕНА. Да знаю. Ах, господи, и когда оно кончится...

ЧУМАК. Да уж кончаем, мамаша, не горюй. Неси винтовку. *(Жена побежала.)*

2-й НЕЗАМОЖНИК *(вбегает с патронами)*. Вы знаете, какая история? Кинулся под крышу, а там не одна, а две коробочки. Где ж будет мое место?

ЧУМАК. Вот это по-нашему! Определи их, Иван Сергеевич.

ПАЛЕНЬИЙ. Ну, что ж. Познакомимся, значит. *(Подает руку.)* Повоюем вместе.

2-й НЕЗАМОЖНИК. Да уж повоюем.

ЧУМАК. Подождите! А где же этот, стреляный?

МИТРУШИН. Это я, Платон Митрушин. Я уж тут, с вами.

ЧУМАК. Ну, стало быть, тебя и учить нечего. Теперь только держись, друг. Значит, все в порядке? Веди, Иван Сергеевич.

ПАЛЕНЬИЙ. Есть, командир! Становись! *(Чумаку.)* Не хлопцы — орлы. Шагом марш!

*Партизаны идут с песней. Народ — за ними.*

Знамя красное, взвивайся,  
Над землею польхай.  
Выступают партизаны  
За родной советский край.  
Гей, прощай, моя дивчина,  
Обо мне не забывай.  
Я иду за Украину,  
За родной советский край.

ЧЕРНОБРИВЕЦ *(задержался)*. Галля...

ГАЛЯ. Гнат! Гнатик... идешь?

ЧЕРНОБРИВЕЦ. Иду.

ГАЛЯ. Идешь?

ЧЕРНОБРИВЕЦ. Ну, конечно, иду!

ГАЛЯ *(снимает с головы красный платок, отдает Чернобривцу. Он прячет его себе на грудь, под полушубок)*. Возвращайся же!

ЧЕРНОБРИВЕЦ. Вернись! А свадьбу справим... Эх!.. *(Догоняет отряд.)*

*Издали звенит, затихая, песня. Девушка стоит одна. Идет снег, алеет ба-*

*гровый восток. Тихо, как эхо, долетают слова партизанской песни:*

Гей! Цвети же, Украина,  
Алым цветом расцветай,  
Наш рабочий и крестьянский,  
Наш родной советский край.

*Темно.*

## Сцена 2-я

*Наглухо запертый двор женского монастыря. Корпуса келий. Дом игуменьи с треугольным крылечком. Тяжелые запертые ворота отгораживают все это от внешнего мира. Кажется, что все здесь умерло, в этой тихой обители. Но вот слышны удары в ворота, — из всех углов показываются монашки. Они бегают, тревожно суетятся, черной стайей покрывают двор. Как летучие мыши, облепили ворота, заглядывают в щели.*

МАРФА. Сани!

МОДЕСТА. Кто приехал? Кого бог послал в нашу обитель?

НИНА. Неведомая, сестра, какая-то неведомая! На санях сидит!

КИРИЛЛА. В черное закутана.

ВЕРА. И молодая. Я лик видела.

МАРФА. А может быть, неведомый? Аль то кучер?

НАТАЛЬЯ. Ой, Марфа, не будет тебе царства на небеси.

НИНА (смеется). А тебе и здесь нет.

КИРИЛЛА. Тише! Авраамия идет.

*Старые схимницы — Авраамия и Феония — спешат на новость.*

АВРААМИЯ. Расступитесь, окаянные! Расступитесь! Где она тут?

ФЕОНИЯ. Господи, спаси и помилуй! В санях сидит.

АВРААМИЯ. К самым воротам под'ехала!

ФЕОНИЯ. Смирения нет у окаянной.

МАРФА. А кучер-то у нее, — господин! Не введи нас во искушение...

*Старая привратница открывает калитку. Входят Ряженко и Ольга Благослова. Лицо ее чуть видно из-под темного монашеского платка. Монашки согнулись перед приезжими.*

РЯЖЕНКО. Не замерзли, позвольте спросить?

ОЛЬГА. Нет.

РЯЖЕНКО. Тулуп раскутать?

ОЛЬГА. Да.

РЯЖЕНКО. Нигде не поддувало?

ОЛЬГА. Нет.

РЯЖЕНКО. А ехать хорошо было?

ОЛЬГА. Да.

РЯЖЕНКО. А я уж боялся — доведу ли.

ОЛЬГА. Большое спасибо. У вас прекрасные лошади.

РЯЖЕНКО. Очень приятно. Жеребцы.

*Из игуменского дома вышла на крылечко София. Встрепенулись навстречу ей монашки.*

СОФИЯ (опустила глаза, сложила руки на груди, поклонилась приехавшей и сладко заговорила). Мать игуменьи святого монастыря девичьего лядынской божьей матери смиренно просит праведную путешественницу в свои покои.

ОЛЬГА. Возьмите чемоданы.

СОФИЯ. Слушаю, матушка.

РЯЖЕНКО. Поклажу куда?

ОЛЬГА. А вы подождите. Не отходите от саней. (Прошла сквозь толпу монахинь на крыльцо дома игуменьи и исчезла за дверью.)

РЯЖЕНКО (из-под шапки метнул взгляд на Софию, подкрутил свои оттопыренные усы). М-да.

СОФИЯ (усмехнулась лукаво, смиренно опустила глаза). Расходитесь, сестры, бог не велит быть такими любопытными.

АВРААМИЯ. Мне скажи, старой схимнице, только мне скажи! Сто лет на земле живу! Марию Кобеляцкую, игуменью Дорофею, преподобную Ангелину, — всех пережила! Бог мне тайны свои поручает.

ФЕОНИЯ. И мне! А больше никому.

СОФИЯ. Вам, матушка Авраамия, и вам, матушка Феония, сама мать-игуменья все скажет. Мне, грешной и смиренной, не дано знать ничего. (Еще раз блеснула глазами на кучера и исчезла с чемоданами в домике.)

АВРААМИЯ (подняла посох). Слышали? Расходитесь! Не сподобились вы

от бога. Только мне скажет мать-игуменья.

ФЕОНИЯ. И мне, схимница! И мне.

АВРААМИЯ. И тебе, Феония, хоть ты и моложе меня на четыре недели. Нам двум, а больше никому. Господи, воззва-ах к тебе, услыши мя... вонми гла-а-су моления моего... А что, окаянные, слышали? Расходитесь! Не стойте!

*Но монахини, склонив перед нею головы, стоят, не расходятся, шепчутся. Снова вышла София. Они умолкли.*

СОФИЯ. Мать-игуменья святого монастыря велит схимницам Авраамии и Феонии войти с именем божьим в ее покой. А вам, сестры, велено итти в свои кельи.

АВРААМИЯ (*вошла на крыльцо, ударила посохом об пол*). Аминь! Идите и сидите в кельях.

ФЕОНИЯ (*тоже ударила посохом*). Аминь! Аминь!

*Обе схимницы исчезают в доме. Монахини, шепчась, расходятся.*

РЯЖЕНКО (*подкрутив усы*). Так куда же поклажу, смиренница?

СОФИЯ. Один ящичек сюда, в чулан, а остальные — в церковь летнюю, как утварь святую, складем.

РЯЖЕНКО. Угу. Разумно. (*Берет из саней тяжелый ящик, с трудом поднимает его и идет с ним за Софией в дом игуменьи.*)

*Из разных концов показываются как бы черные головки летучих мышей. Шопот.*

КИРИЛЛА. Ящик понес! Сама видела.

МОДЕСТА. Тяжелый, верно. Аж крихтит.

МАРФА. Еще надорвет что-нибудь, помилуй бог.

НИНА (*смеясь*). А тебе жалко?

МАРФА. Из сострадания, сестра.

КИРИЛЛА. Прячьтесь! Идут!

*Головки летучих мышей исчезают. В глубине игуменских сеней появляются Ряженко и София.*

РЯЖЕНКО (*обнял ее*). Ух, ты... р-рыбка моя. Небось, скучала по казаку?

СОФИЯ. Грешна перед богом.

РЯЖЕНКО. Это приятно.

СОФИЯ. Во снах мятежных видела тебя и боролась...

РЯЖЕНКО. Вот это уж напрасно.

СОФИЯ. Да и не поборола...

РЯЖЕНКО. Ха-ха. А это приятно.

СОФИЯ. Но сердце мое тревожится. Иди сейчас жужж Молибoge.

РЯЖЕНКО. А что там?

СОФИЯ. Передавал, что есть важные новости. В соседнем селе были наши, а на них налетел Чумак с партизанами.

РЯЖЕНКО (*как ошпаренный*). Чумак? Вот это новость!

СОФИЯ. Чего же ты сидел так долго?

РЯЖЕНКО. Нужно было. Она задержалась на хуторе, надо было переждать с поклажей... Ух, ты... чорт бы его взял!

СОФИЯ. Поспеши же к Молибoge.

РЯЖЕНКО. Только поклажу скину.

СОФИЯ. Поворачивай сани к церкви. *Исчезают за воротами. И опять из разных концов показываются черные головки летучих мышей, опять слышится шопот.*

КИРИЛЛА. В церковь повезли! Сама слышала.

МОДЕСТА. В летнюю.

ВЕРА. А что в тех ящиках, сестры?

НИНА. Утварь церковная, а ты что думала?

МАРФА. А чего же он крихтит?

НИНА (*смеясь*). Грех так говорить.

КИРИЛЛА. Прячьтесь! Приезжая!

*Монахини исчезают. На крыльцо выходит Ольга. Выпрямившись, смотрит, как из саней выносят поклажу. С полными ведрами на коромысле подходит к дому Ульяки; остановилась, пристально рассматривает незнакомую фигуру. Ольга не замечает ее.*

УЛЬКА. Посторонитесь! Я с ведрами. Темнеет. На монастырской колокольне звонит колокол.

### Сцена 3-я

*В монастырской церкви. Тихо стоят монахини. На коленях — группа крестяня, женщин и мужчин. Из алтаря выходит, с крестом в руке, настоятель*

монастырской церкви, Александр Навроцкий.

АВРААМИЯ. Идут, отец Александр, идут: игуменья и приезжая.

ФЕОНИЯ. Идут.

МОНАХИНИ. Идут. (Склонились.)

Входят Алексия и Ольга в высоких черных клобуках.

НАВРОЦКИЙ. Во имя отца и сына, и святого духа.

Ольга опустила перед ним на колени, Алексия вышла на амвон, повернулась к монахиням.

АЛЕКСИЯ. Сестры во Христе. Бог посылает нам праведную душу, смиренную рабу свою Ольгу, которая снискала благословение епископа и отныне станет вместе с нами на-страже монастыря нашего, всечестной обители ладынской божьей матери.

Беленькие ручки взмахнули черными рукавами, монахини благоговейно перекрестились,—шелест прошел по церкви.

МОДЕСТА. Вот оно что, сестрички...

КИРИЛЛА. На-страже...

ВЕРА. ...монастыря!

АВРААМИЯ. Слушайте! Слушайте!

АЛЕКСИЯ (повысила голос, звуки заколебались и засвистели над головами монахинь). В это смутное и тревожное время, когда множатся полчища супротивников божьих и врагов воинства Христова, пристанища веры и спасения, благочестивые монастыри великой России, нуждаются в смелых перед людьми и смиренных перед богом защитниках православия, которые живот свой положат за престол божий. К подножию престола сего и приносит жизнь свою смиренная Ольга. Волею и благословением епископа и моим отныне будет она моей помощницей. (Беленькие ручки взмахнули черными рукавами, монахини благоговейно перекрестились, — шелест прошел по церкви.)

МОДЕСТА. Вот оно что, сестрички, вот оно что!

НАТАЛЬЯ. Помощницей?

МАРФА. ... матери-игуменьи.

АВРААМИЯ. Слушайте, окаянные, не шепчитесь!

АЛЕКСИЯ. Молите бога за храброе и многострадальное воинство Христова,

за святую и неделимую землю русскую, ныне и присно и во веки веков.

АВРААМИЯ. Аминь.

НАВРОЦКИЙ (крестьянам). Братие и сестры! Вы слышали слова смиренной игуменьи. Откройте же душу свою и очистите сердце ваше перед всевышним. Грешен бо есмь перед лицом его!

КРЕСТЬЯНЕ. Грешен перед лицом его! Грешен! (Припадают головой к церковному полу.)

НАВРОЦКИЙ (поднимает над ними епитрахиль). Каюсь перед престолом твоим, господи, и исповедуюсь!

КРЕСТЬЯНЕ. Каюсь и исповедуюсь.

НАВРОЦКИЙ. Врагов твоих и супротивников прятал и нечестивым сочувствовал.

1-й КРЕСТЬЯНИН. Партизанам сочувствовал, батюшка. Грешен я, грешен, прости господи.

НАВРОЦКИЙ. Партизанам? Каким же именно? Кому?

ЖЕНЩИНА. Чумак подбивает народ и Паленый. Оба — коммунисты, господи, прости и помилуй.

НАВРОЦКИЙ. Сколько же они собрали народу?

ЖЕНЩИНА. Много собрали, нечестивые, много.

1-й КРЕСТЬЯНИН. А моя старуха носила им есть в лесок.

2-й КРЕСТЬЯНИН. И мой сын, Гнатов, пошел за ними.

НАВРОЦКИЙ. А куда пошли-то? Скажи мне на духу. (Накрывает его епитрахилью, тихо разговаривает с ним. Потом громко.) Кайтесь, ибо кара падет на вас за грехи детей ваших до седьмого колена! Кайтесь, православные! Обо всех их преступных намерениях сообщайте мне в открытой исповеди, чтоб мог господь отпустить грехи ваши...

КРЕСТЬЯНЕ. Отпустите, батюшка! Простите, отец Александр!

НАВРОЦКИЙ. Идите и помните заповеди господни. Христос, истинный бог наш, помилует и спасет вас, яко благ и человеколюбец.

ХОР. Аминь.

Навроцкий уходит в алтарь.

АЛЕКСИЯ (монахиням и крестьянам). С богом!

Монахини тихо исчезли из церкви. Крестьяне тоже вышли. Только в темном уголке притаился Масляк. Не замечая его, Ольга и Алексия сразу бросили с себя всю «святость».

ОЛЬГА. Свершилось.

АЛЕКСИЯ. Дитя мое, мне еще и до сих пор не верится, что это вы.

ОЛЬГА. Хорошо ли я держала себя?

АЛЕКСИЯ. Прекрасно, дитя мое, прекрасно! Ведь я так давно вас не видела. Рассказывайте же. Что делается в миру?

ОЛЬГА. Вы же знаете, что делается. Армия разбита. Она отступает, она бежит.

АЛЕКСИЯ. Господи боже мой! Наша армия! Белая армия!.. Неужели все погибло? Неужели нам остаются только слезы?

ОЛЬГА. Да... И слезами излить ненависть, чтобы стать бессильными. Боже мой! Как я хочу мстить!..

АЛЕКСИЯ. Но как же вы это делаете? Где возьмете силы? Кто поможет вам?

ОЛЬГА. Монастырь ладынской божьей матери.

НАВРОЦКИЙ (из алтаря). Замечание сугубо правильное.

АЛЕКСИЯ. Рядом с вами делается смелее и мое смиренное сердце. Скажите же, почему вы не говорите о капитане Бугрове? Жив ли он? И где он теперь?

ОЛЬГА. Я рассталась с ним месяц тому назад на одной станции, в панике отступления. Потом долго гналась за полком. Их разбили где-то, в этих краях. По моим сведениям, Сергей и несколько офицеров остались в живых. Надеюсь найти их след и как-нибудь спасти их.

АЛЕКСИЯ. Ах, если бы!..

ОЛЬГА. Тогда нашего полку придет, мы сделаем из этой обители крепость и будем защищать ее до тех пор, пока не вернутся наши.

Из алтаря вышел Навроцкий, — он снял служебное одеяние, остался в черной суровой рясе. Такая же черная борода обрамляет его бледное, иезуитское лицо.

НАВРОЦКИЙ. Аминь.

ОЛЬГА. Ах!..

НАВРОЦКИЙ. Свои.

ОЛЬГА. Вы так неожиданно вошли...  
НАВРОЦКИЙ. Нервы, сударыня, и в разговоре слышу, нервы. Нехорошо. Надо больше спокойствия и выдержки. Сказано бо есть: будьте храбры, аки львы, и мудры, аки змеи.

ОЛЬГА. Спасибо, отец Александр.

АЛЕКСИЯ. Прошу вас, батюшка, ко мне на вечернюю трапезу. Бог позволит нам сегодня по случаю приезда Ольги Владимировны маленькую пирушку.

НАВРОЦКИЙ. Не возражаю, тем паче, что нам нужно обсудить затронутые уважаемой гостьей вопросы и подумать о плане наших совместных действий. Кстати, исповедь дала мне кое-какие новые сведения. Прошу, сударыня!

Ушли. Из темного угла выходит рыжий ошестинившийся Масляк. Прислушивается:

— И мудры, аки змеи. О, господи...

На цыпочках выходит из церкви.

Из-за клироса неожиданно появляется Улька.

— Ин-те-рес-но...

Темно.

#### Сцена 4-я

В покинутом доме помещика Вахромева. Капитан Бугров, поручик Михайловский, поручик Черемис (склонился над картой), белогвардейские солдаты: Андрюшка, Залетайко, Гарашук, Солонеев и другие. Восемь винтовок и один пулемет. Фельдфебель Стукалка управляет в него ленту. Каждую минуту ждут нового наступления партизан.

МИХАЙЛОВСКИЙ. Мы погибнем здесь, как собаки. Вы слышите, капитан?

СТУКАЛКА. Не подрывайте духу, ваше благородие, лежите смирно.

МИХАЙЛОВСКИЙ. Я умру здесь!

БУГРОВ. Довольно! Не стоните, как баба.

СТУКАЛКА. Вот видите, нарвались на неприятность. Лежите смирно.

ЗАЛЕТАЙКО. Эх, и положеньице! Уже губернаторского.

АНДРОШКА. Ха-ха-ха! А ты знаешь, какое у губернатора было положение?

ЗАЛЕТАЙКО. Конечно знаю.

СОЛОПЕЕВ. Он с им обедал.

ЗАЛЕТАЙКО. Не обедал, а знаю.

ГАРАЩУК. А какое?

ЗАЛЕТАЙКО. А такое, что при их благородиях неудобно говорить. Вот такое же положение и у меня, али еще хуже. Погибну я ни за пухлую душу.

БУГРОВ. Замолчать, чортовы души, замолчать! Пока с вами ваш капитан, можете смерти не бояться.

АНДРОШКА. Это верно, вашскородие!

ЗАЛЕТАЙКО (тише). Знамо, верно. Вместях будем издыхать, чего тут. Только не знаю, — за что. Ну, пушай господин Стукалка, Гаращук, Солопеев, — они хочь роду богатого. А я за что? На сам-деле, за что я тогибаю? Садов у меня больших не было, одно было — баба да пара коней, да земли десятин шесть, да в аренду брал четыре десятины. Это и советская власть простила бы, я так думаю, — что ж тут такого? Ну, да пушай будет так. Взялся за гуж, тяни, хоть тресни. Пошел за престол и отечество — получай награду. Я и в армии-то недавно, а напаскудил себе, как тот губернатор.

АНДРОШКА. Ха-ха-ха! Вот сукин сын.

СТУКАЛКА (подскочил к Залетайко). Ты это что? А? Что за разговоры? Сволочь! Ваше высокоблагородие, он подрывает дух.

БУГРОВ. Дай ему в харю.

ЗАЛЕТАЙКО. Я не подрываю... я...

СТУКАЛКА. Молчать!

ЗАЛЕТАЙКО. Так тошно сидеть, господин фельдфебель. Страшно мне.

БУГРОВ. Кричи: «Собацьи партизанские души». Кричи, я тебе приказываю!

ЗАЛЕТАЙКО. Собацьи партизанские души.

БУГРОВ. Не слышу!

ЗАЛЕТАЙКО. Собацьи партизанские души.

БУГРОВ. Не слышу!

ЗАЛЕТАЙКО (кричит). Собацьи партизанские души!

МИХАЙЛОВСКИЙ (вскакивает, бросается с винтовкой к окну). Где они? Где? Перестреляю всех до одного!

АНДРОШКА. Ха-ха-ха!

БУГРОВ (оттягивает Михайловского от окна). Бросьте, поручик, поберегите патроны. Я им насадил гороха, больше не захотят.

АНДРОШКА. Ха-ха-ха!

БУГРОВ. Несколько человек сдохло на месте, а остальные подохнут в степи.

АНДРОШКА. Так что теперь будет спокойно, вашскородие? Можно песни петь?

БУГРОВ. Не дрейфь, Андрюшка. (Наливает из бутылки кружку самогонна, выпивает залпом; жидкость разлилась у него по подбородку, он захлебнулся, прыснул.)

АНДРОШКА. Ха-ха-ха! Не в ту дырку, вашскородие!

СТУКАЛКА. Сам ты дырка, хе-хе-хе!

БУГРОВ. На, Андрюшка, пей. Выпейте, братцы, немножко.

АНДРОШКА. Молока только не пью, а самогон могу. Покорнейше благодарю, вашскородие. Ух! Воняет, но в живот бьет здорово и в голову идет.

ГАРАЩУК. Покорно благодарю.

СОЛОПЕЕВ. За здоровье белой армии, ура!

ЧЕРЕМИС. М-да.

СТУКАЛКА. Дай сюда.

ГАРАЩУК. Теперича как-то повеселее. Хоша б бабу — не отказался бы.

АНДРОШКА. У, бабу. Чего захотел! Эх, я одну в городе как поймал...

БУГРОВ. Андрюшка! Сыпь веселую! Ты верный солдат, Андрюшка! С тобой можно бить партизан. Сыпь же, сыпь, Андрюшка!

АНДРОШКА. Можно, вашскородие! Эх, и вдарим же, и вдарим!

СОЛДАТЫ.

Пойдем, по-йде-ем, Дуня!

Пойдем, по-йде-ем, Дуня!

Пойдем, Дуня, во лесок, во лесок...

Сорвем, сор-рве-ем, Дуня,

Сорвем, Дуня, лопушок, лопушок...

БУГРОВ. Давай, давай, давай!

АНДРОШКА.

Где ни взялся таракан, таракан,  
Проел Дуне сарафан, сарафан!

*Пускается в пляс.*

БУГРОВ (*бьет в ладоши, пьяно вертит кудлатой головой,—поддает жару*).  
Сыпь, братцы, сыпь! Ха-ха! Запузыривай, Наташка, крести-козыри! Мы им покажем — воевать. Сыпь же, сыпь, Андрюшка, распросукин ты сын! (*Поет.*)  
.. сарафан, сарафан.

АНДРОШКА.

Над са! Над са-а-мою!  
Над са! Над са-а... а!

*В окно ударила партизанская пуля.*

АНДРОШКА (*удивленно схватился за грудь, вытаращил глаза, подогнул колени*). Чорт!.. (*Упал и ээтих.*)

БУГРОВ. Умер?!  
ЗАЛЕТАЙКО. Точно так. Помер Андрюшка, солдат белой армии, от партизанского удара. А забавный был человек, песни любил и людей вешал. Эх, и положение! Помер, ваше благородие, за единую и неделимую, теперича ему на все плевать. А вот нашему брату, что в живых остался и о живом думает, нам труднее. Вот и у их благородия Михайловского есть невеста, и у господина Стукалки баба, как видно, подходящая, а про свою уж и говорить не буду, чтоб не подрывать духу. Одно скажу: надо теперь рассудить — ложиться ли тоже рядом с Андрюшкой, али, может, заместо собачьей смерти выкинуть белый хлаг — авось, помилуют...

*Белогвардейцы сначала даже не поняли. Потом Стукалка бросился к Залетайко.*

СТУКАЛКА. Сволочь! Мразь большевицкая! Вот тебе белый флаг, на! (*Бьет его по лицу.*)

ГАРАЩУК. Тебя помилуют, а меня — нет? На, и от меня, получай! На! (*Бьет.*)

БУГРОВ. Что он предлагает? Ага, я понимаю. Этот мужичок не против того, чтобы передать нас в руки партизан...

СТУКАЛКА. Так точно, ваше благородие!

БУГРОВ. «Берите, это капитан Бугров, а я не виноват — у меня баба и десять десятин земли!» Ха! А у капитана Бугрова не было ни бабы, ни лошадей, ни портретов предков? А? Иван Залетайко, ты слышишь? Изменник, шпион, собака! (*Оперся руками о стол и ударил Залетайко сапогом в живот.*)

ЗАЛЕТАЙКО. Мамынька родная! (*Падает.*)

БУГРОВ. Бейте собаку! Бейте! Поручик Михайловский! Он хочет передать нас в руки партизан. Слышите? Слышите вы, чортова кукла? Бейте его в зубы!

ГАРАЩУК. В душу! (*Бьют. Топчут ногами.*)

МИХАЙЛОВСКИЙ (*вскакивает, протискивается в середину*). Меня — в руки партизан? Я... я в Париж поеду! Сволочи! (*Бьет.*)

ЧЕРЕМИС. Браво, браво, поручик. Выше знамя белой армии...

БУГРОВ. Черемис! Бей его в живот! В голову!

ЧЕРЕМИС. Благодарю вас, капитан.

СТУКАЛКА. Довольно. Больше он не захочет ни флага, ни своей бабы. Еле дышит. Помрет своей смертью.

ЧЕРЕМИС. Теперь остается только разбить большевиков, взять Харьков и итти на Москву.

*В окно опять ударили партизанские пули.*

МИХАЙЛОВСКИЙ (*бросился к пулемету*). Это тот... башлык накрест. Это он бьет! Пустите!

БУГРОВ. На место! Не трогать пулемета! Последняя лента... На одну атаку... до утра...

МИХАЙЛОВСКИЙ. Днем они не пойдут. Не посмеют!

ЧЕРЕМИС. А ночью?

БУГРОВ. Чтб — ночью?

ЧЕРЕМИС. Ночью они окружат нас и перестреляют, как зайцев.

*Опять звякнули стекла.*

БУГРОВ. Ружейный огонь!

ЧЕРЕМИС. Не поможет. Вы же знаете, что они идут прямо на пули.

БУГРОВ. Не пойдут! Не пойдут, проклятые души! (*Выбегает с пулеметом на двор.*)

ЧЕРЕМИС. Огонь! Пачками!

Солдаты бросаются к окнам. Слышно, как на дворе строчит пулемет. Крики партизан стихают. Белогвардейцы застыли у окон с протянутыми вперед винтовками. Бугров возвращается с пулеметом в комнату, всклокоченный, в снегу, тяжело дышит, садится на пулемет верхом.

БУГРОВ. Можно посылать телеграммы нашим бабушкам на тот свет. Машинка выдохлась. Осталось на один раз...

СТУКАЛКА. Это неприятно, ваше высокоблагородие!

МИХАЙЛОВСКИЙ. А как же... Париж? Пале-Рояль?..

ЧЕРЕМИС. Французская комедия. М-да...

БУГРОВ. К чорту комедии! У нас остались еще зубы и штыки!

Белогвардейцы вынимают из ножен английские штыки, надевают их на винтовки, бросаются к выходу.

ЗАЛЕТАЙКО (едва поднял голову). Ой, будет вам, как тому губернатору...

Темно.

### Сцена 5-я

В хате Молибоги. Василий Масляк — рыжий, спесивый, со скверным характером, немолодых лет. Макар Волосюта — помоложе, черноусый, черноволосый; матерой кулак. Пелагея — породная невестка Молибоги. Ждут старого Молибогу, беспокоятся, подходят к окну, прислушиваются к лаю собак.

МАКАР. Не слышать.

ПЕЛАГЕЯ. Может, убили аль снегом занесло?

МАСЛЯК. Кого? Старого Молибогу? Не такой это дед, чтоб его снегом занесло.

МАКАР. Выйдите, Василий Семенович, во двор, посмотрите.

МАСЛЯК. А ты в хате останешься? С Палашей?

МАКАР. Так что? Я же выходил, а вы оставались.

МАСЛЯК (визгливо смеется, прищурив узенькие поросячьи глазки). Хе-е-е! Я оставался. То — я, а то — ты.

МАКАР. А что ж я?

МАСЛЯК. Да уж знаю что. Я за дверь, а ты — к Палаше.

МАКАР (доволен; погладил усы). Да ну?

ПЕЛАГЕЯ. Хошь бога-то постыдись.

МАСЛЯК. Бога в такие дела лучше не мешать. (Прислушиваются.)

МАКАР. Слышите? Собаки! Это старик вернулся.

МАСЛЯК. Идем, Палаша, вдвоем. Откроем калитку.

МАКАР. Сами не откроете? Идите!

МАСЛЯК. Ну, хорошо, на этот раз пойду. Только знай: пальцем тронешь ее, подмечу. (Выходит.)

Пелагея закрыла за ним дверь.

МАКАР. Чорт рыжий. Какое ему дело? (Обнимает.)

ПЕЛАГЕЯ. Пусти, Макар.

МАКАР. Зачем пускать?

ПЕЛАГЕЯ. Пусти... сейчас войдут...

Он и так все время подсматривает.

МАКАР. Пускай подсматривает.

ПЕЛАГЕЯ. А что же будет, когда Петр вернется из армии?

МАКАР. Тогда будешь с Петром.

ПЕЛАГЕЯ. Жеребцы вы проклятые.

МАКАР. Ха-ха, это верно. Такая прир-да. А ты как будто и против.

ПЕЛАГЕЯ. Как же! Глупее тебя.

МАКАР. Ха-ха! Эти молодки — просто театр с ними!

ПЕЛАГЕЯ. Пусти... они идут...

В сенях голоса. Масляк открывает дверь.

МАКАР. Да это Федот! Вернулся?

МАСЛЯК. Да, да. Все вижу, не заговаривай зубы.

РЯЖЕНКО (входит). Метет, голоса божьего не слышно, а вы еще и не отпираете. Эдөрво! (Пелагее.) Здравствуй, чернобровая. Как живешь?

ПЕЛАГЕЯ (улыбаясь). Скажу — не обижу: плачу, коль тебя не вижу.

РЯЖЕНКО. А как увидишь, тоже не обидишь? Это приятно.

МАКАР. С приездом, Федот.

РЯЖЕНКО. Спасибо.

МАСЛЯК. Далеко ездил?

РЯЖЕНКО. Да нет, груз возил.

МАКАР. Груз — так груз, пусть будет так, только бы вернулся. А тут та-

кое дело, Федот Афанасьевич, что, может, нам и сидеть не след бы, а просто брать винтовки и итти.

РЯЖЕНКО. Куда это?

МАКАР. На Вахромеевку.

РЯЖЕНКО. А что там?

МАКАР. Да вот ждем разведчика.

РЯЖЕНКО. А кто пошел?

МАКАР. Дед Молибога.

РЯЖЕНКО. Вон как! И давно?

МАКАР. Да уж часа три. Оттуда передали нам, что в доме Вахромеева сидят наши, отстреливаются, а партизаны насаждают. Без тебя мы ничего не могли сделать, да и патронов у нас нет. Молибога к тебе забегал, хотел посоветоваться, что делать, а потом говорит: «Не могу сидеть, пойду в разведку».

РЯЖЕНКО. А кто наши?

МАКАР. Белых несколько человек и с ними, будто, три офицера.

РЯЖЕНКО. Кацапы?

МАКАР. Ну, так что? Не все ли равно? Ведь они бьются против большевиков.

РЯЖЕНКО. Ну, а все-таки кацапы. А я — украинец.

МАКАР. Эх! Слушать тошно! А я — не украинец?

МАСЛЯК *(прищурив свиной глаз)*. А ты украинку привез? Она ведь тоже кацапского генерала дочь, однако святая душа, дай ей бог здоровья.

МАКАР. Да.

РЯЖЕНКО. Откуда ты знаешь? Кто тебе сказал, что я привез?

МАСЛЯК. Хе-е-е, хоть бы мне и дух святой на хвосте принес, не все ли равно? Лишь бы я никому не рассказывал.

МАКАР. Да.

МАСЛЯК. Может, я и программу-то ее знаю, что Алексия монашкам преподавала, да кому какое дело? Никто не ведает, как чорт обедает. Так вот я и говорю: эй, Федот, не разбивай фронта! Одна мы сила, единая и неделимая, и с нами бог. А кто захочет меж нами клин вбить, тому мы сами, батьку наш, в голову клин всадим. Так-то!

РЯЖЕНКО. Ха-ха-ха!

МАКАР. Чего ржешь? У деникинцев мало, что ли, нашего брата, украинца? Ошибаешься ты.

МАСЛЯК. Разумно, разумно, Мака-  
р.

РЯЖЕНКО. Да чего там разумно! Дураки вы, вот и все. Проповеди начали читать, ровно попы! Чтó я — глупее вас, не знаю, что Чумак — враг, а Деникин — отец? Да неужто ж об этом так и трепать языком? Кто ж тогда вас поддержит, хошь бы и в своем селе? Чорт рогатый вас поддержит, а больше никто. Поняли?

ПЕЛАГЕЯ. Вот это правильно рас-  
судил.

МАКАР. Мда-а.

РЯЖЕНКО. А коли правильно, так покоряйтесь моей команде и не заводите глупых разговоров.

МАСЛЯК. Будем покоряться, Федо-  
тушка, ей-ей, будем покоряться...

*Стук. Все бросаются к окну.*

ПЕЛАГЕЯ. Отец.

МАКАР. Он.

МАСЛЯК. Иди, Мака-р, открывай ка-  
литку.

ПЕЛАГЕЯ. Сидите уж, сама отк-  
рою. *(Оделась, вышла.)*

МАСЛЯК. Долго ходил дедушка.

МАКАР. А там, может, нашим не-  
выдержка. Может, надо сейчас итти.

РЯЖЕНКО. Не торопись. На то моя  
стратегия и тактика.

*Входят Пелагея и дед Молибога, юр-  
кий, вертлявый, с серебряной бородкой,  
с розовыми щечками, с колючими седь-  
ми бровями, в шапке.*

МОЛИБОГА *(войдя, бросился к ве-  
дру, опустил руки в холодную воду)*.  
Ух! ух! мороз-то так и щиплет. Думал,  
закоченею. Раздевай меня, Палаша, раз-  
девай скорей. *(Закружился по хате, при-  
топывая валенками, выпил рюмочку  
самогона.)* Ух, ух, боже ты мой!

МАКАР. Так что же там?

РЯЖЕНКО. Как дела?

МОЛИБОГА. Сейчас, сейчас, детки,  
сейчас. Капни мне, Палаша, в рюмочку  
еще немножко. Был в селе, был. Рас-  
спросил в селе обо всем, как есть обо  
всем расспросил. Боже ж мой, боже ж  
мой! Сидят двое суток в имении. Чу-  
мак, сукин сын, литейщик проклятый,  
неотступно стережет с тем петербург-  
ским чортом—Паленым. Ночью стрель-

бище идет, а днем стерегут, черти. Стерегут и стерегут, и, что дальше будет, сам не знаю. А ведь свои люди, хрестьяне! Хошь и голяки, а свои все ж таки, украинцы, будто забесились. За рабочими в одну душу, хошь ты им чор-та дай!

**РЯЖЕНКО.** Какие они украинцы? Предатели. Ух! Кабы мог, зубами перергыз бы каждого.

**ПЕЛАГЕЯ.** А сколько ж их там в доме, наших?

**МОЛИБОГА.** Сколько их осталось, не знаю, а видно, не под силу вырваться. И пробиться к ним никак нельзя. Мы уж с Пшеничным совещались — хошь бы хлеба им подбросить, так нельзя же! На что уж я мал, как мышь, а и то страшно. Заметят! Убьют из пулемета. Они же и убьют, коли не матеевы черти. А я еще хочу немножечко пожить, хошь немножечко. Капнула бы ты мне еще, Палаша. Одно спасение — зайти партизанам в хвост и начать косить.

**ПЕЛАГЕЯ.** В хвост, только в хвост надо заходить.

**РЯЖЕНКО.** А это уж, чернобровая, мое дело, откуда заходить и с чего начинать, — с хвоста ли, с гривы ли. На то уж моя тактика и стратегия.

**МОЛИБОГА.** Ну, слава царю небесному. А патроны-то у тебя, сынок, есть?

**РЯЖЕНКО.** Патроны я рассчитываю достать в одном месте. Это уж мое дело, не хлопчите.

**МАСЛЯК.** Федотушка! Голубок! Верно! Не порожнем ведь она приехала. Ах, святая душа! И где ты ее такую выкопал?

**МОЛИБОГА.** О ком речь? А? Я что-то и не дослышал.

**МАСЛЯК.** Об Ольге, дед, об Ольге Владимировне, дочери генерала Богомыслова, что Федот в монастырь привез. Заместительницей игуменьи будет, и патронов привезла, голубка. А муж ее, капитан Бугров, где-то в этих краях, — на помощь ему и приехала.

**МОЛИБОГА.** Так, так, так.

**РЯЖЕНКО.** Ну, коли вы все знаете, так умеете держать языки за зубами. Чтоб, кроме нас четверых, — и ты, кра-

ля моя, слушай, — чтоб ни одна крещеная душа!..

**ПЕЛАГЕЯ.** Не беспокойся, я на язык крепкая.

**РЯЖЕНКО.** Так вот, помните. И знайте все: и ты, Макар, и ты, дедушка, — идем за неньку-Украину!

**МАКАР.** За наши хлеба!

**РЯЖЕНКО.** Фу! Дурак. За неньку, говорят! Понял? За неньку-Украину.

**МАСЛЯК.** За неньку, голубок, за неньку.

**РЯЖЕНКО.** Пошли.

*Ряженко, Пелагея, Масляк и Волосята уходят.*

**МОЛИБОГА (один).** За неньку, за неньку, за неньку. (*Притопывает валенками.*) Гоп-гоп, гоп-па! Гоп-па, гоп-па! Ой, за неньку, гоп-па!

**ПЕЛАГЕЯ (входит).** Вы спятили, свекор?

**МОЛИБОГА.** Ой, Палаша, гоп-па! Да согрей же, гоп-па! Приголубь же, гоп-па!

**ПЕЛАГЕЯ.** Цирк с этими жеребцами. Ой, будет вам, когда большевики власть возьмут.

**МОЛИБОГА.** Ой, не взять им, гоп-па!

**ПЕЛАГЕЯ.** А коли возьмут?

**МОЛИБОГА.** Глупости!

**ПЕЛАГЕЯ.** Ой, не глупости. Могут взять. Тогда, знаете, свекор, что они вам сделают?

**МОЛИБОГА.** Что, Палаша? Не пужай!

**ПЕЛАГЕЯ.** Они вам вырежут язык. Чтоб не говорили «гоп», пока не перескочите...

## ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

### Сцена 6-я

*Дом игуменьи. Коридор с чуланами и закоулками. Дверь из сеней, вторая — в чуланчик Софии. Лестница наверх: там комната Ольги, застланная темными коврами. Вечер. Перед тяжелым китом горит большая зеленая лампада. В коридоре появляется Ряженко. Он вошел из сеней, тихо подходит к двери чуланчика Софии, стучит.*

СОФИЯ (*высунулась из двери*). Федот?!

РЯЖЕНКО. Он самый.

СОФИЯ. Как ты вошел?

РЯЖЕНКО. А это уж мое дело.

СОФИЯ. Был у Молибоги?

РЯЖЕНКО. Был.

СОФИЯ. Узнал?

РЯЖЕНКО. А как же. К тебе можно?

СОФИЯ. Да заходи уж, бог с тобой.

РЯЖЕНКО. Вот это приятно. Договорились. (*Исчезает за дверью чулана.*)

Ольга выходит из своей комнаты. Вынимает вещи из чемодана, раскладывает их на столе, на табуретах, накрытых подушками и застланных темным вышитым бархатом. Достает фотографию кабинетного формата, смотрит на нее, кладет на окно. Берет в руки револьвер, проверяет, заряжен ли... Выпрямившись, мечтательно смотрит в даль.

Улька с тяжелой вязанкой дров входит из сеней в коридор, поднимается по лестнице, без стука открывает дверь, входит в комнату, бросает дрова на пол.

ОЛЬГА (*вздвигнув, оборачивается*). Кто тут? (*Видит Ульку, — с недоумением.*) Что это?

УЛЬКА (*показывая глазами на дрова*). Упустила. Тяжелые.

ОЛЬГА. Ты кто такая?

УЛЬКА. Улька.

ОЛЬГА. Какая Улька?

УЛЬКА. Дочь Береста.

ОЛЬГА. Какого Береста?

УЛЬКА. Ивана Береста.

ОЛЬГА. Ты где живешь?

УЛЬКА. Здесь. Служка. У Софии.

ОЛЬГА. Служка? Ну, хорошо. Надо говорить — у матушки Софии, и не входить в комнату, не постучавшись. Слышишь?

УЛЬКА. Слышу.

ОЛЬГА. Поняла?

УЛЬКА. У матушки.

ОЛЬГА (*нетерпеливо прикусив губу*). Ты давно в монастыре?

УЛЬКА. Недавно.

ОЛЬГА. А мать у тебя есть?

УЛЬКА. Нету.

ОЛЬГА. Где же она?

УЛЬКА. Померла. (*Искося смотрит на Ольгу.*)

ОЛЬГА. Кто же тебя взял в монастырь?

УЛЬКА. София.

ОЛЬГА. Глупая девчонка! Я же тебе сказала, что надо говорить матушка София. Ведь она старше, и в монастырь тебя взяла. Чтоб ты не смела так говорить. Слышишь? Повтори.

УЛЬКА. Матушка София.

ОЛЬГА. Отец у тебя есть?

УЛЬКА. Не знаю.

ОЛЬГА. Как это? Отца не знаешь?

УЛЬКА. Нет, отца знаю.

ОЛЬГА. Так где же он?

УЛЬКА. Он? С охвицерами воюет.

ОЛЬГА. Что? Где же эти офицеры?

УЛЬКА. Не знаю.

ОЛЬГА. Ты мелешь глупости!

УЛЬКА. Ага.

ОЛЬГА. Что — ага?

УЛЬКА. С охвицерами воюет. (*В упор смотрит на Ольгу.*)

ОЛЬГА (*не выдерживает, отворачивается от упорных глаз девочки*). Ступай! Скажи матушке Софии, чтобы она зашла ко мне. Слышишь?

УЛЬКА. Слышу. Благословлять не будете?

ОЛЬГА. Нет, нет, ступай!

УЛЬКА. А печь растоплять не надо?

ОЛЬГА (*топая ногой*). Ступай, тебе говорят, дрянная девчонка! Не приходи больше!

УЛЬКА. София сказала, чтобы я попросила благословения и растопила печь.

ОЛЬГА (*вся задрожав, бьет девочку по голове рукояткой ножа для разрезания книг*). На!

УЛЬКА. Ой!

ОЛЬГА (*вне себя*). Будешь слушать, что тебе говорят? Отвечай, когда тебя спрашивают!

УЛЬКА (*сквозь слезы*). Ма... матушка София.

ОЛЬГА. Ну, уходи отсюда! (*Толкает ее.*)

Улька, всхлипывая, выходит из комнаты, спускается вниз.

ОЛЬГА. «С охвицерами воюет». (*Достает из поставца под киотом бутылку вина, наливает в стакан, залпом выпивает.*)

вает.) Тварь! (Приподнимая атлас, прикрывающий старинное трюмо в оправе из красного дерева, оглядывает себя). Почему она не идет, эта смиренная? (Зажигает высокую желтую свечку, спускается вниз, подходит к двери чулана Софии.)

УЛЬКА (входит в комнату Ольги, внося графин с водой; войдя, буркнула). Можно? О, а ее и нет. (С любопытством озирается.)

ОЛЬГА (резко толкает дверь в чулан Софии, — она слетает с крючка и открывается настежь. Ольга переступает порог, поднимает над головой свечку, но в тот же момент отскакивает, как ужаленная). Боже! Мой кучер!..

УЛЬКА (в комнате Ольги, — берет фотографию). Патрет!

СОФИЯ (метнулась перед Ольгой). Матушка!..

ОЛЬГА. С кучером!..

СОФИЯ. Это брат мой зашел ко мне, одинокой. А сейчас он придет к вам.

УЛЬКА (в комнате Ольги). Охвирец, сукин сын! (Кладет карточку на окно.)

ОЛЬГА (перед дверью чулана Софии). Что? Как ты смеешь? Негодница! Я выгоню тебя из монастыря! Чтоб завтра твоей ноги здесь не было. В святой обители!..

УЛЬКА (в комнате Ольги). Ливольверт!

ОЛЬГА. В святой обители! С кучером! Боже!..

РЯЖЕНКО (голос из чулана Софии). Что вы там «с кучером» да «с кучером»? А может, я не кучер, а подпрапорщик?

УЛЬКА (в комнате Ольги). Папирсы!..

СОФИЯ. Идите к себе, матушка. У Федота Афанасьевича к вам срочное дело. Сейчас он придет.

РЯЖЕНКО. Да, да. Идите, а я сейчас!..

Ольга хлопает дверью чулана Софии. Улька испуганно мечется по комнате Ольги. Слышит шаги. Не зная, куда деваться, прячется за портьеру. Ольга входит в свою комнату, садится на табурет, застывает в негодовании.

РЯЖЕНКО (поднялся по лестнице, стучит в дверь). Кхым! Разрешите?

ОЛЬГА (ледяным тоном). Войдите.

РЯЖЕНКО (входит, кланяется, по-военному щелкнув каблуками; останавливается у порога). Поздравляю с новосельем.

ОЛЬГА. Спасибо.

Пауза. Ряженко не находит первого слова. Ольга тоже молчит. Наконец разговор начинается.

РЯЖЕНКО (садясь без приглашения). Немного неприятно, что так вышло, но вы не гневайтесь. На веку чего не случается!..

ОЛЬГА. Здесь не публичный дом!

РЯЖЕНКО. Да разве ж я не знаю? Здесь — женский монастырь.

ОЛЬГА. София сказала, что у вас ко мне дело.

РЯЖЕНКО. Дело, и не пустяшное.

ОЛЬГА. Говорите.

РЯЖЕНКО (придвинул ближе свою табуретку, покрутил оттопыренные усы). Мне нужны патроны. Я прямо, по-казацки.

ОЛЬГА (испуганно). Какие патроны?

РЯЖЕНКО. Да те, что вы привезли.

ОЛЬГА. Что?

РЯЖЕНКО. Вы не беспокойтесь, мы люди свои. Каждая минута дорога. Надо итти выручать трех офицеров, а патронов у моих хлопцев в обрез. Я, может, слышали, — атаман Ряженко, только тайный атаман, в селе живу, на глазах у людей, еще и партизанам сочувствую. И никто не знает. Я люблю по-казацки: хитро.

ОЛЬГА (пристально и долго смотрит на него, потом быстро встает, проверяет что-то в своей записной книжке). Верно. Простите. Я, было, рассердилась на вас.

РЯЖЕНКО. Ерунда, Ольга Владимировна, на веку чего не бывает!..

ОЛЬГА. Вы знаете даже мое имя и отчество?

РЯЖЕНКО. Вот тебе и на! Чтоб вез, да и не знал, кого!

ОЛЬГА. Вы правы. Вы... как вас?..

РЯЖЕНКО. Федот Афанасьевич.

ОЛЬГА. Я так взволнована и рада... что познакомилась с вами!..

РЯЖЕНКО. Ерунда. Бывает.

ОЛЬГА. Где же эти офицеры? Кто они? Их фамилии? Какого полка? Говорите! Я вся горю.

РЯЖЕНКО. Кто они, мне неизвестно, а мешкать нечего. Все может случиться. Быть может, там и капитан Бугров.

ОЛЬГА. Что?? Вы... вы его знаете?!

РЯЖЕНКО. Его не знаю, а только знаю, что вы его хорошо знаете, хе-хе,— простите за каламбур.

ОЛЬГА. Он брюнет, широкоплечий, густые брови. Сейчас... Я покажу вам его портрет... Где же он, боже мой!

РЯЖЕНКО. Патроны ищите, ваше превосходительство, а патрет потом.

ОЛЬГА. Патроны там, в той комнате... один ящик... И тут один. Подождите. (Выходит в другую комнату.)

*Ряженко осматривает комнату, останавливает свое внимание на трюмо, приподнимает атлас, прихорашивается у зеркала.*

*Улька, выскользнув из-за портьеры, прячется за занавеской ближе к двери.*

РЯЖЕНКО (перед зеркалом). «Я так рада, что познакомилась с вами». Кхым!

ОЛЬГА (входит). Совсем забыла. Вот же он! (Открывает портьеру, где только-что стояла Улька, берет портрет). Вот. Смотрите.

РЯЖЕНКО. Действительно брюнет. Очень приятно. А патроны?

ОЛЬГА. Здесь, за этой занавеской. (Ряженко подходит к занавеске, где спряталась Улька). Нет, подождите. Возьмите в той комнате, там больший ящик.

*Ряженко выходит в другую комнату и возвращается оттуда с ящиком.*

РЯЖЕНКО (накладывает в карманы патроны). Вот это приятно. Немножко сюда и немножко сюда. А ящик возьму, хлопцы мои тут близко за воротами, — вынесу, а там разделим.

ОЛЬГА (подает револьвер). Нате и это. Берите. Может быть, пригодится.

РЯЖЕНКО. О, такая штука всегда пригодится. С такой женщиной, как вы, приятно иметь...

ОЛЬГА. Ну, идите же, Афанасий, идите!

РЯЖЕНКО (поднимает ящик). Не Афанасий, а Федот Афанасьевич. (Идет к двери, на лестнице спотыкается, упустил ящик.)

*На шум входят Алексия и Навроцкий.*

АЛЕКСИЯ. Что тут за шум? Ваш кучер?..

РЯЖЕНКО. Какой там кучер!

НАВРОЦКИЙ. Федот! Это ты?

РЯЖЕНКО. Не видите, что ли? Чего проснулись? Спите. (Из кармана у него вываливаются патроны.)

АЛЕКСИЯ. Что это? (Поднимает.) А-а-а! Так их, так их, так их!..

РЯЖЕНКО. Хорошо, игуменья, хорошо, только молитесь, чтоб они нам не высыпали и так, и перетак.

АЛЕКСИЯ. Нет, нет, бог не допустит. Благословение на тебе, воин, благословение!

РЯЖЕНКО (Ольге). Вот видите, еще и благословение получил. А вы говорите — здесь не публичный дом! Разве ж я сам не знаю? (Уходит.)

*Вслед за Ряженко, благословляя его в спину, уходят Навроцкий, Алексия и Ольга. Все исчезают в конце коридора, в сенях. Навроцкий возвращается.*

УЛЬКА (выходит из-за занавески — бледная, страшно потрясенная). Вот! Что же теперь делать? Куда же теперь бежать? А? Вот... и не знаю. (В отчаянии сжала голову, завертелась по комнате.) Что же я верчусь? Побегу теперь... Подождите! Я теперь в Вахромеевку побегу! Вот! Побегу! (Выбегает из комнаты, на лестнице встречается с Навроцким. Пораженные встречей, они стоят некоторое время друг против друга в недоумении.)

НАВРОЦКИЙ. Ты куда?

УЛЬКА. А?

НАВРОЦКИЙ. Где ты была?

УЛЬКА. Я? Нигде. Вот тут... Я... (И друг наивно и неумело лжет.) В чулане.

НАВРОЦКИЙ. Вот как? Разве чулан перешел в покои игуменьи?

УЛЬКА. Нет, я... там... внизу. Я пойду...

НАВРОЦКИЙ. Так, так. Куда же ты пойдешь теперь, отроковица? Опять в чулан?

УЛЬКА. Да.

НАВРОЦКИЙ. Это хорошо. Иди и спи с богом, да помолись перед сном. А чтоб ты не заблудилась, я провожу тебя в чулан. Ну? Иди! (*Тащит ее прочь.*)

*Входят возбужденные Ольга и Алексия.*

ОЛЬГА. Он молодец! Ах, какой он молодец!

АЛЕКСИЯ. Воистину атаман.

*София вышла из своей комнаты; смиренно опустив глаза и сложив руки на груди, падает перед Ольгой на колени.*

СОФИЯ. Простите грехи тяжкие, матушка!

ОЛЬГА. Ладно, ладно, только девочку эту, Ульку, прогони сейчас же! Слышишь? Чтоб ноги ее здесь не было!

СОФИЯ. Нельзя, матушка.

АЛЕКСИЯ. Никак нельзя.

СОФИЯ. Партизанских деток мы не оставляем своею милостью. Дедушка Молибога, спасибо ему, посоветовал. Возьмите, говорит, дитя беспризорное, без отца, без матери...

ОЛЬГА. Как без отца? Ведь ее отец...

СОФИЯ. В партизанах, матушка, а дитя голодное сидит в пустой хате, — от мира вам будет уважение и пашпорт перед теми изуверами. Я и послушалась смиренно этого мудрого совета. Девочку партизанскую спасла, а коли отец жив останется, то, авось, и он нас когда-нибудь спасет. Благословите на сон грядущий...

ОЛЬГА. Ха-ха-ха! Ты прямо необыкновенна, София. Ха-ха-ха!

*Слышен сильный стук.*

АЛЕКСИЯ. Что это?

*Входит Навроцкий.*

ОЛЬГА. Что случилось, отец Александр?

*Снова стук.*

ГОЛОС УЛЬКИ (*из чулана*). Откройте! Откройте; не то дверь выломаю...

*Немая сцена.*

ОЛЬГА. Кто это?

НАВРОЦКИЙ. Отроковица Улька.

ОЛЬГА. Улька?!

АЛЕКСИЯ. Где же она?

НАВРОЦКИЙ. В чулане.

## Сцена 7-я

*Мутно-лунная ночь. Лесок в глубокой, занесенной снегом, долине. В деревьях свистит вьюга. Входят Ряженко, Масляк и Молибога с винтовками.*

РЯЖЕНКО. Стоп! Тут и ложитесь. Будете в резерве на всякий случай, а я с хлопцами зайду с той стороны, — ударим в затылок. Они выскочат на выстрелы, и тогда мы их всех перебьем. А ежели кто из них побежит сюда, вы их бейте из засады.

МОЛИБОГА. Все понятно, сынок.

*Ряженко уходит.*

МАСЛЯК. И из засады, и с досады буду их бить. Зайца бью с подскока, неужто в партизана не попаду? Что это? Кричат. Слышишь?

МОЛИБОГА. Может, в атаку пошли?

МАСЛЯК. Федот бы не опоздал.

МОЛИБОГА. А может, нам подойти поближе?

МАСЛЯК. Куда? Сказано, лежать в резерве, — значит, лежи.

МОЛИБОГА. Это атака! Я тебе говорю — атака!

МАСЛЯК. Врукопашную пошли.

МОЛИБОГА. Да. Это Федот! Это Федот в затылок им, в затылок!

МАСЛЯК. Кто-то бежит.

МОЛИБОГА. Сюда бежит!

МАСЛЯК. Я его сейчас щелкну.

МОЛИБОГА. Подожди! Не щелкай, это свой.

МАСЛЯК. Кто идет?

*Вбегает Макар Волосютя, запыхавшийся, растрепанный.*

МАКАР. Это я, Макар. Ой, надо быть, пропаду.

МОЛИБОГА. Говори скорей! Стоять потом будешь. Говори, как там? Наши бьют?

МАКАР. Атака. Чумак пошел на ура. А нам стрелять в кучу нельзя, — все смешалось. Ой! Мы бросились врукопашную. Ой! Они дерутся, как звери... Штыками... топорами... Двоих ка-

питан при мне зарубил саблей, а Федот застрелил Ивана Береста из ливольверта. А меня кто-то огрел штыком в живот. Кабы не полушубок, и кишки выпустил бы...

МАСЛЯК. А хлопцы Федота?

МАКАР. Бегут, кто в живых остался... врассыпную... Ой! Невыдержжка...

МАСЛЯК. Надо бежать, пока не поздно.

МОЛИБОГА. Бегут сюда!

МАКАР. Бегите!

МАСЛЯК. Ложитесь! (*Ложатся за деревьями.*)

*Вбегают Ряженко и Бугров с обнаженной саблей в руках.*

РЯЖЕНКО. Сюда, под дерево.

МОЛИБОГА. Это свои, свои.

БУГРОВ. А это что за лесок? Зачем это?

РЯЖЕНКО (*тяжело дыша*). Ничего, это лесок господина Вахромеева. А я, может, слышали, атаман Ряженко. А вы не Бугров ли будете?

БУГРОВ. Как не Бугров?

МОЛИБОГА. Слава богу!

БУГРОВ. Конечно Бугров! Это я! Понимаете? Я, капитан Бугров. Смотрите: ноги, штаны, все! Я жив! Чорт возьми, как я здорово бежал!

МАСЛЯК. А другие?

РЯЖЕНКО. Каюк.

МОЛИБОГА. Бежим!

РЯЖЕНКО. Куда? Только покажем нос из леска, сейчас же подстрелят. Не ранили вас?

БУГРОВ. Меня? Нет.

РЯЖЕНКО. Вас было трое, офицеров?

БУГРОВ. А как же! Я, поручик Михайловский и Черемис.

РЯЖЕНКО. Ну, так, их, значит, убили.

БУГРОВ. Неужели меня даже не ранили? Ха-ха-ха! Я жив, чорт возьми!

РЯЖЕНКО. Да, вы живы, потому что мы спасли вас.

БУГРОВ. Вы — спасли? Ах, да, верно. Вы ударили партизанам в спину. А что же потом?

РЯЖЕНКО. А потом мы вас отвели в одно приятное место. Повторяю: я — атаман Ряженко, может, слышали? Федот Афанасьевич.

БУГРОВ. Атаман Ряженко? А-а! Как же, как же. Атаман Ряженко? Не слышал. То-есть я конечно слышал, да, да! Вы, атаман Корженко, чистая bestия! Как это у вас прекрасно выходит. Лесок, знаете, и вообще...

РЯЖЕНКО. Не Корженко, а Ряженко.

БУГРОВ. Ну, да, конечно. Не Ряженко, а Корженко.

РЯЖЕНКО. Тьфу!

МОЛИБОГА. Не серчай на них, Федотушка. Они ж сейчас не в себе. Их же морозит от спасения жизни. А когда мы их обогреем да обласкаем, тогда они в себя придут и нас разуму научат.

БУГРОВ. Я люблю Украинну, просто чорт его знает. (*Махнул саблей.*)

РЯЖЕНКО. Тогда я не сержусь. Я только хочу, чтобы...

МАСЛЯК. Кто-то идет!

РЯЖЕНКО. Тс-с-с! (*Хватается за револьвер.*)

*Входит Чернобривец с винтовкой «на руку». Все отскакивают. Замерли. Под деревом остается Бугров.*

ЧЕРНОБРИВЕЦ. Сюда! Он здесь! Прощайся с белым светом! (*Бросается на него со штыком.*)

РЯЖЕНКО (*тихо подкрадывается сзади, вонзает в спину Чернобривца нож*). Я тихо, по-казацки. За мной, капитан Бугров!

*Бандиты убегают.*

ЧЕРНОБРИВЕЦ (*пытается поднятьсь, целится из винтовки и снова падает*). Ой, братцы... Не могу... Га-ля...

*Вбегают Чумак и Потребя.*

ПОТРЕБА. Гнат! Вот... палачи народа.

ЧУМАК (*бросился к убитому*). Чернобривец! (*Подымает его голову.*) Дыши! Дыши, друг! Ну? Еще! Еще! Не умирай! Слышишь? Куда они побежали? Кто был с ними? Скажи одно слово! Ну? Неужели не можешь? Ну?

ЧЕРНОБРИВЕЦ. Из на... из нашего се...

ПОТРЕБА. Из нашего села, говорит!

ЧЕРНОБРИВЕЦ. ... с краю... пе-ре...

ЧУМАК. Ну? Ну! Еще слово!

ЧЕРНОБРИВЕЦ. ... пе-ре-дайте ей... что... я любил... ее... (*Умирает.*)

**ПОТРЕБА.** Подожди! Как же это так?

**ЧУМАК.** Конеч. Эх, ты... чужак, дружке. Не то сказал...

*Входят Семилет, Паленый, Свашенко и другие партизаны. Пораженные, они останавливаются.*

**СВАШЕНКО.** Чернобривец!

**ЧУМАК.** Девушке просил передать привет.

**СЕМИЛЕТ** (растерянно). Я знаю ее. Она живет на краю села. Галя Василенко. Еще провожала его так хорошо.

**ПАЛЕНый.** Устроили свадьбу, сволочи.

**ЧУМАК.** В погоню, Иван Сергеевич! Мы сейчас.

**ПАЛЕНый.** Есть, командир! (Быстро уходит с несколькими партизанами.)

**СВАШЕНКО.** А какой идейный был! И погиб за идею.

**ЧУМАК.** По моей рекомендации в партию пошел. Богдан Хмельницкий, говорит, отдал Украину русским царям, Скоропадский — кайзеру Вильгельму, Петлюра — генералу Деникину, а русские рабочие возвращают ее нам. Вот, говорит, какая история! Это для меня подходящая партия...

**ПОТРЕБА.** Так что ж он перед смертью, а? Вместо палачей народа какую-то там девушку вспомнил.

**ЧУМАК.** Да, Тарас, вспомнил... (Склонив голову.) Берите Чернобривца, несите в дом. Мобилизуйте в селе для убитых трое саней, накройте их красными плахтами, да сотрите убитым кровь с глаз, чтоб не видели ее женщины и дети. Привезите домой, там похороним, как полагается хоронить партизан. А мы, товарищи, в погоню! Догоним гадов и сделаем из них собачьи бубны.

**СЕМИЛЕТ.** Как же ты побежишь?

**ПОТРЕБА.** Ногу ведь прокололи, эксплуататоры... А ну, пошевели.

**ЧУМАК** (ему). Выполняй приказ, друг. Валенок не разлезется. Мы догоним их, хоть на краю могилы. Кончается ихнее царство, семьсот богородиц ему в затылок! Поковыляли, товарищи партизаны! За мной!

*Чумак, Потребка, Семилет, Свашенко и другие быстро уходят. Двое поднимают на руки мертвого Чернобривца, несут. На снегу остался красный платок, подарок любимой девушки.*

Темно.

### Сцена 8-я

*В страшной, непроглядной метели бежит капитан Бугров, за ним — атаман Ряженко. Бегут панически. Под ними мелькает мутная дорога, вокруг кружатся и падают столбы на межах, природо-рожные кресты, темные силуэты ветряных мельниц и тени повешенных. Они бегут, а за ними щелкают выстрелы, свистит и бесится вьюга.*

**БУГРОВ.** Это они. Вы слышите? Они гонят нас со всех сторон, разве вы не видите? Вон из Царицына бьют, из Харькова, из Полтавы, из Николаева и из дома Вахромеева, с железнодорожных линий, косят проклятые красные броневики! Вы слышите, атаман Ряженко?

**РЯЖЕНКО.** Стоп!

*На миг останавливаются, оборачиваются назад, отстреливаются с колена и снова бегут...*

**РЯЖЕНКО.** Скорей, скорей, не то нагонят. Скорей, а то брошу вот здесь, в степи, да и пропадай, как знаешь!

**БУГРОВ.** Нет! Нет! Лучше бежать... бежать... бежать... Сволочи! Разве они понимают это? Мы творили культуру веками. Ольга Благомислова, дочь генерала-от-инфантерии, поднимает крышку рояля, — гремит музыка. Слышите? Марш вперед, Россия ждет, белые герои... Это мы вступаем в город. В церк-вах торжественный благовест, священники встречают нас с хоругвями. Это мы, покорители Кавказа и крымских татар. Покорители Украины! Покорители Польши! Белоруссии! Финляндии! Лифляндии! Курляндии! Эстляндии! Это все мы!

**РЯЖЕНКО.** Скорей! Скорей! Вот уже мельницы...

**БУГРОВ.** Да, да... да, да... Вот уже мельницы... На этих мельницах мы их повесим... только бы убежать...

РЯЖЕНКО. Скорей! Скорей! Недалеко уже!

БУГРОВ. А-а! Смотрите! Уличка... А вон — стена! Для чего эта стена? Атаман Ряженко! Я не могу бежать... Я упаду...

РЯЖЕНКО. Еще немного. До той стены. Скорей! Скорей! Беги, чортовой души капитан!

*Перед ними опускаются монастырские ворота. В божнице, посреди ворот, горит лампадка.*

РЯЖЕНКО. Стоп! Здесь... остановись.

*Остановились. Тяжело дышат.*

БУГРОВ. Что это такое, атаман?

РЯЖЕНКО. Девичий монастырь лавинской богородицы. (Стучит.)

БУГРОВ. Неужели? Ах, да, да. Вот и лампадка. Ну, и бестия же вы! Как это у вас кстати. Лесок. Монастырь. Вы говорите, он девичий? Это пикантно. Здесь, значит, монашки? Помню, это было летом...

РЯЖЕНКО. Здесь и зимой неплохо. Стучи! (Снова стучит в ворота.)

*Калитка открывается. Показывается София, закутанная в большой темный платок.*

СОФИЯ. Федот?!

РЯЖЕНКО. Получай. Передай Благомысловой. Это — капитан Бугров.

БУГРОВ. Что за чертовщину вы ей говорите? Какой Благомысловой?

РЯЖЕНКО. Ну, скорей! Без разговоров! Мне теперь нужно быть дома. Винтовки возьмите... и патроны... и револьвер... (Передает оружие.)

СОФИЯ. Беги, беги, Федот! За мной, капитан!

БУГРОВ. До свиданья! Мы еще встретимся, я надеюсь. Еще повоюем вместе, атаман Корженко! Правда?

*София и Бугров исчезают за воротами. Калитка стукнула и закрылась.*

РЯЖЕНКО (остолбенел). Корженко? Тьфу, чортова душа! (Бросает шапку на землю и ею же замечает следы.)

МОЛИБОГА (входит). Да, да, Федотушка. Замечай, замечай следочки.

РЯЖЕНКО. Кто это?

МОЛИБОГА. Свои. Не пужайся. Спрятал?

РЯЖЕНКО. Спрятал. Чего тебя сюда принесло?

МОЛИБОГА. Есть новость, Федотушка. Пелагея узнала, что у Матвея Чумака...

РЯЖЕНКО. Да иди ты к чорту со своими новостями. Сейчас прибегут партизаны.

МОЛИБОГА. А ты выслушай сначала, а потом лайся. Пелагея узнала, что у Матвея Чумака...

РЯЖЕНКО. Погоня! Беги!..

МОЛИБОГА. У Матвея Чумака... (Оба исчезают.)

*Тишина. Входят Чумак, Паленый, Семилет, Потребя, Свашенко и другие; ищут следы, останавливаются у ворот, с недоумением смотрят друг на друга.*

ЧУМАК. Бежали сюда.

ПАЛЕНый. Да.

СЕМИЛЕТ. И нету.

ПАЛЕНый. Как сквозь землю.

СЕМИЛЕТ. Неужто в монастыре?

ПАЛЕНый. А где ж им быть?

СЕМИЛЕТ. Кто ж бы им открыл?

ЧУМАК (бросается к воротам). Бастилия божьей матери! Тысячу девятьсот девятнадцать лет ты прятала от нас свои тайны. Откликнись, чортова бабушка! Все равно откроем.

ПАЛЕНый. Бейте в небесную канцелярию! (Бьют винтовками.)

СВАШЕНКО. Подождите! У меня есть идея. Надо кликнуть народ.

СЕМИЛЕТ. Вряд ли пойдут в такую ночь... Народ спит под тулупами. Темнота. А ты говоришь — кликнуть народ. Да кто же тебе пойдет в такую ночь...

ЧУМАК. Как это—кто пойдет! Ночь кончается, кум Аникий! Бей телеграмму товарищу Ленину: объявляем ревком и идем в наступление на богородицу.

СВАШЕНКО. Присоединяюсь. Еще и еще и пулю им в задаток! (Целится в божницу.)

ПАЛЕНый. Не смей! (Успел подбить винтовку вверх.)

ЧУМАК. Ты что, смеешься, дружок? Кому даешь козыри в руки? В идею бьешь или в провокацию? Голова твоя картофельная!

**СВАШЕНКО.** Прости, командир, от волнения души... так что безусловно ошибся.

**ЧУМАК.** Ну, смотри, не ошибайся. Стучите!

*Из белой мути неожиданно появляется фигура Ряженко.*

**СВАШЕНКО.** Кто идет?

**РЯЖЕНКО.** Это ты, Григорий?

**СЕМИЛЕТ.** А это кто?

**РЯЖЕНКО.** Свои.

**СВАШЕНКО.** Кто — свои?

**РЯЖЕНКО.** Да я, Федот Ряженко. Матвей Чумак здесь? *(Подходит.)*

**ПАЛЕННЫЙ.** Что ему надо, командир? Кто это такой?

**ЧУМАК.** Я — Матвей Чумак. Что скажешь, Федот Ряженко?

**РЯЖЕНКО.** Вишь, из-за тебя морока, сосед. Бегу к бабке Харитине. Ты все воюешь, а дети лупятся, не спрашивая, увидят ли отца, когда вылезут на свет. Торопись домой. Твоя Любина принесла тебе казака, да некому и пуп отрезать.

**ЧУМАК.** Сын?!

**РЯЖЕНКО.** Ага. Да какой бравый казак. Торопись же! *(Уходит, оглядываясь.)*

*Мгновение партизаны стоят безмолвно.*

**ЧУМАК.** Ребятки! У меня родился сын. Вот какая история выходит. Смерть взяла моих друзей, а жизнь уже лезет на свет. Что ты на это скажешь, Иван Сергеевич?

**ПАЛЕННЫЙ.** Сын? Это хорошо. *(Подходит к нему, пожимает руку.)* Поздравляю, Матвей! От всего сердца.

**ПОТРЕБА.** Эх, дай и я пожму руку. Победа на всех фронтах.

**СВАШЕНКО.** И я поздравляю! Вот теперь бы кликнуть народ... Эх, и здорово!

**ЧУМАК.** Поковыляли, товарищи, поднимать народ! А ты, святая и непорочная, запомни, что мы не успокоимся до тех пор, пока не разобьем твои проклятые ворота!

**ПАРТИЗАНЫ** *(громно поднимая винтовки).* Верно!

## ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

### Сцена 9-я

*В хате Матвея Чумака. В печи горит огонь. Посреди хаты — винтовки, составленные в «козлы». На кровати лежит жена командира. Паленный колет дрова. Семилет возится у печки. Потребка слушает приказ командира. Свашенко волнуется и «подает идеи».*

**ЧУМАК.** Так вот что я предлагаю...

**СВАШЕНКО.** Я только одну идею скажу. Она меня мучит.

**ЧУМАК.** Подожди, Гриша. Выслушай сначала.

**СВАШЕНКО.** Я не могу! Я за беляков волнуюсь. Прямо говорю.

**ПАЛЕННЫЙ.** Жалко тебе их, что ли?

**СВАШЕНКО.** А как же? Конечно жалко, коли убегут.

**ПАЛЕННЫЙ.** А, это верно.

**СВАШЕНКО.** Они ведь такие, что могут придумать идею и удрать.

**ЧУМАК.** Какую идею? Больше им не найти никакой идеи для своей жизни, как скрыться с наших глаз. Монастырь сторожите?

**ПОТРЕБА.** Стережем гадов.

**ЧУМАК.** Ну, вот. Тактика, значит, будет такая. Как только народ соберется на похороны, мы объявим ему, кто прячется за монастырской божницей.

**ПАЛЕННЫЙ** *(отрывисто).* Правильно, Матвей.

**ПОТРЕБА.** Народ уже поднялся. Все село сходится...

**ЧУМАК.** Иди сейчас же туда, объяви, что ревком назначает похороны на сегодняшний вечер, с музыкой и с красным знаменем.

**ПАЛЕННЫЙ.** Вот гробы надо бы сделать тоже красные. Да жаль, кумачу у нас нет.

**СВАШЕНКО.** На это у меня есть идея.

**ЧУМАК.** Какая?

**СВАШЕНКО.** Гробы можно покрасить красной глиной. Она подходящая — чистая и красная, все-равно, что краска.

**ПАЛЕННЫЙ.** Правильная идея!

**ЧУМАК.** Так и сделайте!

**ПОТРЕБА.** А как же с музыкой, командир? Где мы ее возьмем? У нас же

только одна гармония и один бас. Да еще в доме Вахромеева отбили рояль без клапанов. Так и лежит, как буржуй, с выбитыми зубами.

ЧУМАК. Да, это ты верно, Тарас. У старой музыки зубы повыбивали, а теперь о своей надо подумать. Вот какая история выходит.

СВАШЕНКО. Прошу слова! Из той рояли — сделать черный гроб для беляков, — вот моя идея! А нашим товарищам Андрей Чабаненко сыграет на своей гармонии. Мы возьмем на плечи девять гробов и ударим ими в Бастилию. Народ пойдет за нами, головой ругаюсь!

ЧУМАК. Народ-то пойдет, а вот голова у тебя больно горячая. Немного возьмешь такой головой, коли она предлагает воевать гробами! Думайте, товарищи члены ревкома! Ведь в селе есть свои музыканты. Не сыграют ли они нашему?

ПАЛЕНЬИЙ. Верно! Коли их подучить...

ЧУМАК. А понятно, Иван Сергеевич, без науки ничего не бывает. Иди, Тарас, кликни музыкантов, а партизаны пусть у гроба товарища станут в почетный караул.

ПАЛЕНЬИЙ. А мы выкупаем карапуза и тоже придем.

ПОТРЕБА. Слушаю. *(Уходит.)*

СЕМИЛЕТ *(возясь у печи)*. А на сколько градусов готовить для младенца ванну? Скажи, кума Любина, чтоб не перегреть и не простудить.

ЧУМАК *(берет на руки своего первенца)*. А ну-ка, иди сюда, партизан.

ЛЮБИНА. Придет бабка Харитина, она искупает.

ПАЛЕНЬИЙ. Да что мы, без бабки не обойдемся?

ЧУМАК. А как же мы назовем этого героя? Смотрите, какой. Так и хочет выскочить из рубки.

*Партизаны смеются на ребенка, — суровые их лица расплываются в улыбку.*

ПАЛЕНЬИЙ. Боевой парень!

ЛЮБИНА. Когда родился, такой крик поднял... И хаты ему мало.

*Партизаны, довольные, смеются.*

ПАЛЕНЬИЙ. Чтó ему хата!

ЧУМАК. Так как же мы его назовем?

СВАШЕНКО. У меня есть идея.

ЧУМАК. А ну, говори.

СВАШЕНКО. Назовем его Мировой Октябрь.

ЧУМАК. Нет, это ты взял уж очень большой масштаб.

СЕМИЛЕТ. А у меня другая идея: назвать его — Ревком.

СВАШЕНКО. И это подходяще, но Мировой Октябрь — лучше.

ЧУМАК *(мягко)*. Знаете что, друзья? Давайте, в честь лучшего партизана, Гната Чернобривца, назовем его Гнатом. Чтoб память о товарищах не умерла...

ПАЛЕНЬИЙ. Вот это — правильно. Хорошая мысль.

ЛЮБИНА. Гнат Матвеевич...

ПАЛЕНЬИЙ. Расти сердитым, парнишка. Чтoб контрреволюцию бил и девчат любил... Вот тебе моя первая программа.

ЛЮБИНА. Есть у меня бутылка вишневки, берегла для этого дня. Принеси, Матвей, угости товарищей.

СВАШЕНКО. Вот это действительно правильная идея.

*Чумак положил сына на стол, вышел.*

ПАЛЕНЬИЙ. Чтo, твердо постелено? Зато спать будет мягко. А нам, брат, всю жизнь стлали мягко, а спать было твердо. Так мы теперь перевернули этот закон вверх ногами...

СЕМИЛЕТ *(передает ребенка Любине)*. На, кума. Вручаем теперь на твою ответственность.

ЧУМАК *(входит с бутылкой; наливают всем по рюмке)*. Берите, товарищи. Все, стоя, поднимают рюмки.

СВАШЕНКО. Значит — за новую жизнь!

ЧУМАК. Да, Гриша. Выпьем за нашу рабочую и крестьянскую красную Украину, за всех наших командиров и за братьев красноармейцев, пришедших с далекого Севера, с синего Кавказа и из каторжной Сибири. Пришли на помощь нам и полегли в степях и курганах... Гнат Чернобривец, Иван Берест, Василий Смирнов, Соломон Вейсберг и тысячи других... Вот такая история выходит.

**ПАЛЕННЫЙ.** История, которой мы не забудем. Ну, за здоровье молодого партизана!

*В хату входят сельские музыканты: трубоч, гармонист, скрипка и бас.*

**ПАЛЕННЫЙ.** Доброго здоровья, товарищи партизаны!

**ЧУМАК.** А, здорово, друг Тихон! Давно мы с тобой не встречались. Ну, это вы кстати...

*Постепенно подходят крестьяне. Вскоре хата наполняется народом.*

**1-й КРЕСТЬЯНИН.** Проздравляем, Матвей Дмитриевич. И вас, Иван Сергеевич, и тебя, Аникий...

**СЕМИЛЕТ.** Спасибо, дай вам бог здоровья.

**2-й КРЕСТЬЯНИН.** Стало быть, белых разбили?

**СВАШЕНКО.** Вдребезги!

**1-й МУЗЫКАНТ.** А я собрал свою музыкантскую команду и говорю: пойдём-ка, братцы, к красным партизанам. Может, сыграем, что полагается.

**ЧУМАК.** Это хорошо, товарищи, что вы пришли. Что же вы нам сыграете?

**1-й МУЗЫКАНТ.** Да сказать правду, такая трагедия, что, окромя кадрили и ланцета, навряд ли что выйдет. А оно вроде и не подходит.

**ЧУМАК.** А вы попробуйте подхватить. Ну-ка! Давайте нашу. *(Начинает. Музыканты сначала не попадают в тон. Чумак поправляет их, потом, вслед за партизанами, музыканты и крестьяне берут дружно.)*

*Знамя красное, взвивайся,  
Над землею польхай.  
Выступают партизаны  
За родной советский край...*

**ПОТРЕБА** *(быстро входит)*. Товарищ командир!

**ЧУМАК.** Что случилось?

**ПОТРЕБА.** Да вот заминка. Монашки пришли читать псалтырь над партизанами. Как же теперь стоять в карауле? Псалтырь слушать?

**ЧУМАК.** Кто же им позволил?

**ПОТРЕБА.** Жены позволили и не дают прогонять.

**ПАЛЕННЫЙ.** Что же они говорят?

**ПОТРЕБА.** Говорят, что это ихние мужья и что мы не имеем права.

**1-й КРЕСТЬЯНИН.** Оно конечно. Такой закон.

**СВАШЕНКО.** Скажи им, что они — рабыни капитала.

**ПОТРЕБА.** Говорил, не помогает. Можно их винтовками в спину, этих монашек, товарищ командир? Вот что меня интересует.

**ЧУМАК.** Можно. *(Потреба бросился к двери.)* Тарас! Ты... знаешь что? Пожди.

*Партизаны думают.*

**ПАЛЕННЫЙ.** Да, дело серьезное.

**ЧУМАК.** Нельзя. Народ взбаламутим. Надо сначала поговорить с народом, открыть ему глаза. Тогда эти черные балахоны полетят на свою погибель.

**ПОТРЕБА.** Они собираются еще и попов подослать, и крестный ход монастырский.

**ЧУМАК.** Чтó ты говоришь? Вот как надеются на свою силу. Ну, мы собьем им спесь.

**СЕМИЛЕТ.** Трудно будет, командир. Монастырь стоит тут спокон веку. Народ затуркан вконец.

**ЧУМАК.** Не беспокойся. Этот затурканный народ шел за нами против белых, пойдет и против святой бастилии.

**ПАЛЕННЫЙ.** Пойдет!

*Скрипнула дверь. Тихо, скорбно, с опущенной головой, покрытая черным платком, входит в хату Галя Василенко. В безмолвной горе вынимает из-под свитки спрятанную на груди красную матерью — на знамя. Хочет передать в руки командира, но, не дойдя до него, кладет матерью на стол и медленно, без слов идет к двери.*

**ЧУМАК.** Василенко! *(Галя тихо оборачивается. Он пожимает ей руку, она быстро уходит из хаты, сдерживая свое большое горе.)*

*Минуту партизаны стоят, склонив головы, Потом Потреба нарушает тяжелое молчание.*

**ПОТРЕБА.** Еще одна неприятная весть, командир.

**ЧУМАК.** Говори.

**ПОТРЕБА.** Дочь Ивана Береста, убитого в последнюю атаку, пошла в монашки. Соседи мне об этом сказали.

СВАШЕНКО. Как же это так?

СЕМИЛЕТ. Улька?

ПАЛЕНЬИЙ. Дочь партизана!

ЧУМАК. Этого не может быть. Я знаю Ульку.

1-й КРЕСТЬЯНИН. Пошла.

ПОТРЕБА. И на похороны не является.

СЕМИЛЕТ. А может, она не знает?

ПОТРЕБА. Как же не знает, коли уже монашки бегают по селу.

ЧУМАК. Так надо вызывать ее, Тарас. Привести на похороны. Не может быть, чтобы дочь партизана отреклась от своих.

ПОТРЕБА. Хотел вызвать, да говорят, что ее в монастыре нет.

ЧУМАК. А где же она?

ПОТРЕБА. Неизвестно, куда исчезла.

ПАЛЕНЬИЙ. Она была в монастыре или ее там совсем не было?

2-й КРЕСТЬЯНИН. Как будто была. А теперь — нет...

ПОТРЕБА. Была и пропала. Сейчас ее ищут по всему селу.

СВАШЕНКО. Вот небесная канцелярия!

ЧУМАК. Берите винтовки, товарищи. Пойдем. *(Оступается раненой ногой, морщится.)* Кабы мне костыль... *(Кто-то из партизан берет кочергу, надламывает — выходит костыль.)* Теперь поковыляем туда. Сейчас все узнаем. *(Все быстро уходят.)*

ЛЮБИНА *(одна)*. Видишь, сынок, в какое время ты родился — и выкупать-то тебя некому. *(Поет колыбельную песню. Слышен похоронный звон.)* Что это? Зазвонили, проклятые...

*Входят Молибога и Ольга, в клубке, в длинном черном одеянии, с большим серебряным крестом в руках.*

МОЛИБОГА. Это здесь, ваше благословение.

ОЛЬГА. Мир дому твоему, православная сестра!

*Молибога тайком осматривает хату.*

ЛЮБИНА *(с ужасом)*. Кто это? Что вам нужно?

МОЛИБОГА. Успокойся, Любинка. Они — наместница игуменьи святой обители. Спрашивают: где хата партизанского командира Матвея Чумака, хочешь его навестить. Вот я и привел их...

*(Тихо — Ольге.)* В хате оружия не заметно.

ОЛЬГА. Люди известили нас о рождении православного младенца. Святая обитель шлет ему свое благословение. *(Поднимает крест, идет к постели, крестит ребенка.)* Во имя отца...

ЛЮБИНА. Ну, ну, без этих штук. Я не хочу крестить.

ОЛЬГА... и сына...

ЛЮБИНА. Не смей, тебе говорят! Не смей!

ОЛЬГА. ... и святого духа...

ЛЮБИНА. Отойди, проклятая!

ОЛЬГА. ... окрещается...

ЛЮБИНА. Спасите!

ОЛЬГА. ... раб божий Александр.

ЛЮБИНА. Чего ты смотришь, дед? Спаси меня от этой напасти.

МОЛИБОГА. Бог с тобой, бог с тобой, Любинка! Что ты говоришь? Опомнись!

ОЛЬГА. У нее, как видно, горячка.

ЛЮБИНА. Уходите отсюда! Уходите прочь, вам говорят.

МОЛИБОГА. Да не кричи так. Никто ж тебя не режет.

ОЛЬГА. Бог простит тебе этот грех, больная сестра. А где же муж твой? У меня к нему дело.

МОЛИБОГА. Идут!

*Входят Чумак, Семилет, Паленый, Свашенко.*

СЕМИЛЕТ. Вот они!

ПАЛЕНЬИЙ. Я же говорил — сюда пошли.

ЧУМАК *(сдерживаясь)*. Позвольте полюбопытствовать — что вам нужно?

МОЛИБОГА. Это игуменья, Матвей, игуменья. Слышишь, Матвей Дмитриевич? Они — игуменья святой обители, Ольга...

ЧУМАК. Ага, это ты, пупорезный дед, привел мне эту гостью? Ну, отойди, чтоб я тебя костылем не задел. Мы с тобой потом поговорим. *(Ольге.)* Я вас слушаю.

ОЛЬГА. Успокойтесь, командир партизан и председатель ревкома. Представителям власти не подобает волноваться.

ЧУМАК. Я спокоен, представительница лядынской богородицы! *(Говорит таким тоном, что Молибога даже при-*

сел, метнулся к двери, но Чумак остановил его.) Стой, пупорез!

ОЛЬГА (спокойно). Я пришла к вам по важному делу, касающемуся православного мира нашего села.

ЧУМАК. Вы — веселая женщина, игуменья святой обители. Какое же у вас дело к командиру партизан и председателю ревкома?

МОЛИБОГА. Матвешка!..

ЧУМАК. Прикуси язык, пока он у тебя цел!

ОЛЬГА (Молибоге). Молчите, божий человек, я творю волю святой обители, и господь охранит рабу свою. А к вам, командир партизан, послал меня монастырь, чтобы предложить через вас пособие несчастным вдовам и сиротам, погибшим на поле брани. Мы отпускаем им хлеб из своих бедных запасов и денег по сто рублей из церковных пожертвований, дубовые доски на гроба, и похороны, и все расходы монастырь берет на свой счет, и поминание усопших бесплатно до десятой пятницы после пасхи...

МОЛИБОГА. Ведь это сумма, ваше благословение!

ЧУМАК. Мало даете, игуменья, мало! Правда, мало, ребята?

СЕМИЛЕТ. А конечно — мало.

ПАЛЕНЬИЙ. Маловато.

ЧУМАК. Слышите, что говорят члены ревкома?

МОЛИБОГА. А по сколько же, потвоему, по сколько надо дать? По сто рублей на сироту — это тебе мало?

Партизаны угрюмо загородили выход из хаты.

ЧУМАК. Мало, пупорез! Партизанской крови нет цены на свете, не продается она. А за белогвардейскую душу мы выкупа не возьмем. Поняли, игуменья?

ПОТРЕБА. Хотим натурой получить капитана Бугрова, что спрятался в монастыре!

СВАШЕНКО. Только натурой.

МОЛИБОГА. А? Как ты говоришь?

ОЛЬГА. Какого капитана?

СВАШЕНКО. Белогвардейского, извиняюсь за выражение.

ОЛЬГА (еле слышно). Я вас не понимаю.

ЧУМАК. Я могу повторить. Чтоб через полчаса в наших руках был капитан Бугров и чтоб сейчас же явилась сюда дочь партизана, Улька. Ясно?

ОЛЬГА. Я вижу, господь лишил вас разума. Очень жаль, но придется прямо обратиться к народу, если представитель власти потерял рассудок..

ЛЮБИНА. Да замолчи ты, колдунья монастырская. Еще будешь тут про рассудок... Шляется по хатам, барышничает, детей крестит.

ПАЛЕНЬИЙ. Что?

СВАШЕНКО. Она окрестила? Как?

ЧУМАК. Моего сына? Партизана моего? Ты шутишь, Любина!

ЛЮБИНА. Насильно окрестила.

Нависла туча.

ЧУМАК. А? Это правда?

ОЛЬГА. Успокойтесь. Я сделала только то, что велит бог каждому православному человеку.

МОЛИБОГА. Только, только, Матвешка, только.

ПОТРЕБА. Что ей сделать, командир?

СВАШЕНКО (поднял винтовку).

Бить аль не бить?

ЧУМАК. Свашенко! Партизанская душа... (Ольге, тихо.) Уходите. Я не хочу, чтобы в этой хате... Ну, уходи же, тебе говорят!

ОЛЬГА. Господь с вами... господь с вами... Мы будем разговаривать, когда бог вернет вам разум. (Выскальзывает из хаты.)

МОЛИБОГА (пятясь к двери). Только, только, Матвешка, только. Успокойся...

ЧУМАК. Я спокоен. Ты не видишь? (Схватил за грудь, трясет его.)

МОЛИБОГА. Матвей!..

ЧУМАК. Я спокоен!..

МОЛИБОГА. Дмитриевич!..

ЧУМАК. Спокоен, гад!

МОЛИБОГА. Не тряси меня! Не тряси... (Хватает Чумака за грудь.) Не кирпичись против бога! Не будет тебе добра, коли ты против бога пошел!.. И детям твоим... и роду твоему... не будет, не будет!

ЧУМАК. Я спокоен! Слышишь ты, монастырский пёс. Я спокоен потому, что твой покой кончается. Мы будем

трясти вас, пока от вашего корня не останется и волосинки! Запомни это и передай своему роду и племени, собачья твоя морда! *(Выбрасывает его за дверь.)*

**СЕМИЛЕТ.** Туда его, к чортовой бабушке!

**ЧУМАК** *(шатаясь, идет от двери, голос его прерывается)*. Плохо мне, братцы... Помогите... Кровь мутится.

**ЛЮБИНА.** Матвей!

**СВАШЕНКО.** Я же говорил—бить!

**ПАЛЕННЫЙ.** Успокойся! Плевать нам на ее крещение.

**ЧУМАК.** Не то, Паленый... Не крещение! В душу нам наплевали, слышишь? Он еще света не видит, ему все равно. А нам... В руках власть, а вот такое... сделать. Помнишь, в тюрьме, когда сидели, ты говорил: настанет время, когда наша гордость будет, как пламя... Вот какая история выходит. Идем туда! К народу идем! Не оставляйте меня в эту минуту...

**ПАЛЕННЫЙ.** Да что ты, Матвей. Друг мой...

**СЕМИЛЕТ.** Ты в огне, командир!

**ЛЮБИНА.** Не пускайте его. Остановитесь!

**ЧУМАК.** Идем, говорю! Выполняйте приказ командира!

*Винтовки взлетают на плечи. Партизаны быстро выходят. В настежь раскрытую дверь врывается вьюга.*

*Темно.*

### Сцена 10-я

*Монастырский подвал. Старые кресты, рака с «мощами», распятие и прочий использованный церковный инвентарь. Где-то, сквозь щель, из церкви пробивается одинокая полоска света.*

**УЛЬКА.** Холодно. Верно, я уж долго здесь сижу. Верно, всю ночь. А может, и две ночи. Нет, десять ночей и сто лет... И все никто не приходит... И дядя Матвей не приходит... и партизан нет... Где же они? Где-е? *(Кричит; потом опять тихо.)* Нет, я буду сидеть тихо; коли кричать, то очень страшно. Я буду считать: раз, два, три, четыре, пять, шесть... сто, двести, тысяча, де-

вятьсот... Я буду считать все время, пока они придут; тогда меня выпустят... Или я буду петь — жалобно...

*Отрубили ему руку,  
Это, Яся, за науку,  
Отрубили ему ногу,  
Это, Яся, за дорогу.  
Распрощался с головой...  
Ну, пойдем, сестра, домой.*

Ну, и что, если я буду петь? Чем мне это поможет? Все равно, никто не услышит. Отец мне говорил: жалобные песни никто не слушает. Нужно стучать... Я буду стучать... стучать... Теперь я знаю! *(Стучит в дверь.)* Откройте! Откройте! Откройте! Спасите! А что? Сейчас придут. Еще немножко подожду... Вот так. А что! Вот! Идут!.. Топочут ногами... Пришли!..

*Гремит засов. Входит Навроцкий с фонарем.*

**УЛЬКА** *(с ужасом)*. Поп!

**НАВРОЦКИЙ.** А ты кого ждала?

**УЛЬКА.** Не тебя. Думаешь — тебя? Все равно не боюсь.

**НАВРОЦКИЙ.** Не боишься? Ну, вот и хорошо. Ты поисповедуешься у меня сейчас. Кое-что расскажешь мне.

**УЛЬКА.** Я? Как же! Не дождетесь. Тут холодно. Вот... Я замерла. И пальцы застыли...

**НАВРОЦКИЙ.** Бедняжка. Она замерзла.

**УЛЬКА.** Зачем вы пришли сюда? Говорите!

**НАВРОЦКИЙ.** Я пришел освободить тебя.

**УЛЬКА.** Батюшка!

**НАВРОЦКИЙ.** Я не мог заснуть.

**УЛЬКА.** Это правда?

**НАВРОЦКИЙ.** Да, да! Поп Александр, перед которым ты так дрожишь, не мог сомкнуть глаз... Он сам дрожал при одной только мысли...

**УЛЬКА.** Неужто правда? Открывайте же!

**НАВРОЦКИЙ.** Сейчас, сейчас. Подожди минутку.

**УЛЬКА.** Открывайте!

**НАВРОЦКИЙ.** Не спеши так.

**УЛЬКА.** Скорей!

**НАВРОЦКИЙ.** Я еще успею. Тебе ведь некуда спешить, кроме ада.

**УЛЬКА.** Что вы бормочете?

НАВРОЦКИЙ. Это ты сейчас поймешь, партизанское отродье!

УЛЬКА. Открывай дверь!

НАВРОЦКИЙ. О, дверь пусть будет заперта. Зачем открывать ее перед тайной? Ведь я пришел освободить тебя от грехов. *(Пытается схватить ее.)*

УЛЬКА. От каких грехов? Только попробуй тронуть меня! Попробуй!

НАВРОЦКИЙ. От всех грехов, какие ты совершила перед богом и перед царем земным, да и твой отец, и твои родные, и вся ваша собачья партизанская кровь. Ха-ха-ха! А ты как думала?

УЛЬКА. Откройте! Караул!

НАВРОЦКИЙ. Тут никто не услышит. Кричи, сколько хочешь.

УЛЬКА. Спасите!

НАВРОЦКИЙ. Ха-ха-ха! Спасайте скорей молодую шпионку!

УЛЬКА. Спасите меня! Я же вас зову!

НАВРОЦКИЙ. Ха-ха-ха! Спасайте ее, она же вас зовет! Откройте ей дверь скорей!

УЛЬКА. И откроют. Думаешь — нет? Откроют! Вот сейчас ударят в ворота! Придут с ружьями! Увидишь! И с звездой на шапке. Придут! Вы уж нигде не спрячетесь. Ни в воде, ни в земле, нигде! Всюду найдем! Всюду!

НАВРОЦКИЙ. Тем хуже для тебя. Чтоб тебе не пришлось искать нас под землей, ты сама пойдешь туда, чортово семья!

УЛЬКА. О-о-о-й! Спасите!

НАВРОЦКИЙ *(хватает ее)*. Я же спасаю. Что тебе нужно? Ты хотела выдать нас, я спасаю тебя, проклятая девчонка! *(Душит.)*

УЛЬКА. Пусти! Собака ты!

НАВРОЦКИЙ. Умри, большевистское отродье! *(Бросает ее на ящик с «мощами».)*

УЛЬКА. Попробуй, а ну! *(Кусается.)* Попробуй задушить. *(Кусается.)*

НАВРОЦКИЙ. Проклятая!

УЛЬКА *(вырвала у него ключи)*. Тьфу! Сукин сын! *(Соскочила на пол.)*

НАВРОЦКИЙ. Стой!

УЛЬКА. А как же! *(Толкает его; он падает и проваливается в раку; оттуда поднимается столбом труха и пыль.*

*Бросается к двери, не может открыть ее.)* А, чтоб вас... Как же ее открыть?

НАВРОЦКИЙ *(вылезает из раки)*. Стой!..

УЛЬКА. Нет, теперь ты стой! *(Дверь открылась.)* А, что! *(Выскакивает и запирает за собой дверь.)*

НАВРОЦКИЙ. Стой, чортова девка! *(Колотит кулаками в дверь.)* Открой! Что ты сделала? Она замкнула дверь! Откройте! Караул! Меня заперли! Держите ее! Откройте! Откройте! Спасите!

ГОЛОС УЛЬКИ *(за дверью)*. Поп! Теперь ты поисповедуешься у нас. По-дожди.

НАВРОЦКИЙ. Иисусе сладчайший! Ты слышишь? Отвечай же! Отвечай!

УЛЬКА. Поп! Лучше скажи, каким ключом открыть вторую дверь?..

Темно.

## Сцена 11-я

*Фасад большого дома, в котором лежат убитые партизаны. Перед домом — толпа народа. В толпе шныряют темные фигуры монахинь. Тут же орудуют Молибога, Ряженко, Волосюта. Идет безудержная черная агитация.*

МОЛИБОГА. Страшно подумать. При мне человек с ума спятил...

АВРААМИЯ. На обитель святую хочет поднять безумный руку свою. А вместо честного погребения мертвых хотят зарыть их в землю под гармошку, как собак нечестивых...

МОДЕСТА. Не допускайте, православные! Горе вам! Горе...

ГОЛОС. Да кто же спятил? Не беру я...

НАТАЛЬЯ. Командир ихний.

МОЛИБОГА. Я сам видел. Я был при том, как он разума лишился. И сына не захотел крестить. Глазами заблестел, да как гаркнет: «Капитана мне подайте, капитана!» Даже страшно стало.

ГОЛОС. Какого же это капитана?

МАСЛЯК. Ты же слышишь — человек без памяти. Вот ему и мерещится.

1-й КРЕСТЬЯНИН. Сам ты без памяти, сукин сын! Надо заткнуть им рот!

**МОЛИБОГА.** Не заткнешь. Я правду говорю. Капитана, кричит, капитана подайте мне и Ульку Берест, а она куда-то пропала ночью.

**ЧЕБОТАРЕНКО.** Куда же она пропала?

**МОЛИБОГА.** Кабы это знать. А то страшно и подумать... Пошла, говорят, к нему про отца разузнать, да с того времени и не возвращалась.

**ЖЕНЩИНА.** О господи! Может, убили? За что?

**МАСЛЯК.** А за контрреволюцию. Что в монастырь пошла. Они ведь против монастыря, а она пошла в монашки...

**НЕЗАМОЖНИК.** За все дадите ответ! За всю агитацию! Подождите!

**МОЛИБОГА.** Сам слышал, как он говорил: подайте мне Ульку, не то камня на камне не оставим...

**ГОЛОС.** От чего?

**РЯЖЕНКО.** От храмов божиих! От святой обители! От земли украинской!

**НЕЗАМОЖНИК.** Мы тебе такую землю дадим, что ты пополам треснешь. Кулачье проклятое! Берите их, ребята! За мной!

**ВОЗГЛАСЫ.** { Попробуй!  
Он правду говорит!

*Начинается свалка. Незаможник двинулись на кулаков. Шум.*

**МАКАР.** Идет сюда! Слышите? На похороны идет. На музыке играет. С партизанами идет, на кочергу опирается. А глаза-то... Смотрите на его глаза...

**ВОЗГЛАСЫ** { Сюда идет! Вон он приближается...  
Сумасшедший командир!  
Сумасшедший идет!  
Сумасшедший!

*Входят Чумак, Потребя, Семилет, Паленый. Музыка. Люди расступаются. Тишина.*

**ЧУМАК.** Кого это тут называют сумасшедшим? (Тишина.) Кого, я спрашиваю?

**НЕЗАМОЖНИК.** Понимаешь, товарищ командир, — тебя вот эти гады... Такую агитацию развели, хошь стреляй в них.

**ЧУМАК.** Хитро.

**ПРОЧАНКА.** Горе нам, горе!  
**МАКАР.** Смотрите, какие у него глаза!

**ПАЛЕНый.** Обрати внимание.

**СВАШЕНКО.** Контрреволюция проклятая!

**МАСЛЯК.** Слышите? О контрреволюции говорит.

**ПОТРЕБА.** Ну, и надули же вас. Дальше некуда.

**ЖЕНЩИНА.** Бога не надуешь. Бог правду видит!

**ЧУМАК.** Хитро сделано. Подожди, Свашенко, не лотоши. (Народу.) Так вот что, товарищи крестьяне. Это сделано для того, чтобы спасти белогвардейского капитана, спрятавшегося в монастыре. И в этом же монастыре пропала дочь Ивана Береста — Улька!

**НЕЗАМОЖНИК.** Вот вам и вся правда.

**МОЛИБОГА.** Слышали?

*Часть народа с ужасом отпрянула от крыльца.*

**ГОЛОСА.** О капитане заговорил. Об Ульке.

**ЧУМАК.** Да! Мы найдем Ульку. Слышите? Найдем и капитана. Если игуменья через полчаса не передаст их в наши руки, мы разобьем монастырские ворота. Кто хочет по этому поводу сказать свое слово?

*Да он же сумасшедший! Вранье! Это монашки наговорили.*

**ГОЛОСА.**

*Нас обманули.*

**2-й КРЕСТЬЯНИН.** Видно, не всех белых мы разбили. Остались еще!

**АВРААМИЯ.** Расступитесь! Игуменья.

*По толпе проносится испуганный шорох: «Игуменья!» Подняв крест, к крыльцу идет Ольга.*

**СВАШЕНКО.** К распрочортовой матери! Оружие в наших руках не для того, чтобы...

**ВОЗГЛАСЫ.** { А-а! Разбой! Не дают сказать правду!  
Связать его!  
Пушай скажет игуменья!

**ЧУМАК** (к Свашенко). Не делай глупостей. Игуменья хочет сказать о ка-

питане Бугрове, пусть скажет. (*Незаможникам.*) Слушайте каждое слово.

ОЛЬГА. Монастырь ладынской божьей матери прячет у себя белогвардейского капитана... Идите и возьмите его. Для этого вам не надо ни разбивать ворота, ни уничтожать топорами святыню. Мы сами очень охотно откроем ворота монастыря.

В ТОЛПЕ (*удивление, растерянность*). Как же это?

МОЛИБОГА. Ваше благословение!..

ПАЛЕНый. Закурила.

ЧУМАК. Одно из двух: или удрал, или провокация.

ОЛЬГА. Выберите достойных людей, пусть пойдут и осмотрят святую обитель. Пусть только не прогневаются, если не найдут там никакого капитана, ведь это только бред председателя ревкома.

МОЛИБОГА. Вот! Слышите?

МАСЛЯК. И разбивать не надо.

ВОЗГЛАСЫ (*по адресу Чумака*).

Что ж ты наговариваешь на монастырь? Сумасшедший!

НЕЗАМОЖНИК. Пущай пойдут люди и проверят.

МАСЛЯК. Правильно! Молибогу послать, Ряженко и Макара Волосюту. Это достойные люди, пущай проверят.

МОЛИБОГА. Мы пойдем. Мы все проверим и вам скажем.

ПОТРЕБА. Значит, там гад, коли посылают Молибогу.

ПАЛЕНый. Нет, это еще не факт.

ЧУМАК (*незаможнику*). А ну, друг, назови-ка других людей. Пустят ли их в монастырь?

НЕЗАМОЖНИК. Не Молибогу, а Гончара послать, Малитона, и я пойду.

ОЛЬГА. Пожалуйста, прошу вас, идите все! Святая обитель покажет вам свои кельи и храмы! Мы отслужим честную панихиду по убиенным воинам. Присоединяйтесь к монастырской процессии, выносите покойников.

Появляется процессия. Народ хлынул к дому. Слышно пение: «Надгробное рыдание».

ВОЗГЛАСЫ. | Выносите покойников!  
| В церковь понесем!  
| В церковь!

ЧУМАК. Стойте! Никуда вы их не понесете. Видите? (*Указывает на партизан.*)

ЧЕБОТАРЕНКО. Стрелять будешь?

ЧУМАК (*внимательно осмотрел его*). Думаю, что с тобой мы и так договоримся. А вот с Ряженко и с Молибогой договориться мы никак не можем.

ЧЕБОТАРЕНКО. Почему?

РЯЖЕНКО. Позвольте мне, люди добрые, слово сказать по этому грустному поводу. Нешто вы не слышите, что в живых хотят стрелять? Али, может, не видите, что уже и около мертвых украинцев стоят со штыками? Так посмотрите на эти красные гробы! Погиб мой близкий сосед, Гнат Чернобривец, погибли и ваши соседи, люди добрые. За нашу всенародную жизнь они свою жизнь положили, а мы и похоронить их по-людски не имеем права. Несчастливая судьба Украины! Под гармошку хоронят твоих бесталаных сынов!..

ПОТРЕБА. Гад!

ГОЛОСА. | Издеваются над мертвыми!  
| Под гармошку хоронить хотят!  
| Не дадим. Не позволим! (*Наступают на Чумака.*)

ЧУМАК. Незаможники! Чего стоите? Арестуйте эту сволочь.

РЯЖЕНКО. Меня?

НЕЗАМОЖНИК. Тебя, гада. Мы еще потярем тебя да узнаем, кто ты такой есть.

ГОЛОСА. Это верно! Его давно нужно потрясти.

ЧУМАК. Взять под стражу.

РЯЖЕНКО. Попробуй! Пуля в груди! Братья украинцы! За мной!

Кулаки, во главе с Ряженко, хлынули на партизан и незаможников. Ряженко целится из револьвера. Вдруг Свашенко стреляет. Ряженко падает навзничь. Все замерло.

ЧУМАК. Кто?

СВАШЕНКО (*испуганно*). Я, командир.

ЧУМАК. Правильная идея, Гриша. (*Пожимает ему руку.*) Пригодилась петлюровской сволочи украинская рабочая пуля.

СВАШЕНКО. Пригодилась! (*Радостно улыбается.*)

В ТОЛПЕ. Спасите!

МОЛИБОГА. Бегите, православные! Бегите от безумного! Нас тут всех перестреляют!..

ОЛЬГА. В храм божий!

ГОЛОСА. Бегите!

*Хлынули за процессией. Против волны пробивается Улька.*

УЛЬКА. Партизаны!

*Все остановились.*

МОЛИБОГА. Улька!

ОЛЬГА. Что?!

СОФИЯ. Как же это?

В ТОЛПЕ. Улька Берест!

ЧУМАК. Спокойно! Никто ни с места! Говори, Улька. Где была?

УЛЬКА. Я? В монастыре.

ОЛЬГА. Ложь! Она еще ночью ушла из монастыря к партизанам.

УЛЬКА. Ты сама врешь, контра монастырская.

ЖЕНЩИНА. Боже мой! Она одурела!

УЛЬКА. Я была в монастыре. Я докажу! Я все докажу! Вот! В монастыре сидит поп!

МАКАР. А где же ему быть? На то он и поп, чтоб сидеть в монастыре.

УЛЬКА. Не мешайте! Он в подвале. Вот что! Пойдите, посмотрите.

ОЛЬГА. София!

*София метнулась и исчезла.*

УЛЬКА. А капитан Бугров в покоях игуменьи. Вот этой — вот! Я слышала, как кто-то кашлял, когда в чулане сидела.

МАКАР. Ха-ха-ха! Будто не видно, что ее подослали партизаны? Да она же в глаза врет.

МОЛИБОГА. Может, это батюшка и кашлял? Аль он уж и кашлять права не имеет?

ОЛЬГА. Кто хочет проверить, пусть идет в церковь. Там вы увидите, что все это ложь. Идемте, православные. Вы убедитесь. За мной!

ЧУМАК. Стойте!

ГОЛОСА. Идем в церковь! Сами увидим! Веди, игуменья!

*Процессия тронулась. Большая часть народа повалила за Ольгой. Остаются*

*партизаны, незаможники, Чумак и Улька. Тяжелая пауза.*

УЛЬКА. Как же это? Дяденька Матвей! Я же правду сказала.

ЧУМАК. Да видишь — мало сказать правду. Надо еще и отстоять ее.

ПОТРЕБА. Что же теперь?..

СЕМИЛЕТ. Провалились.

СВАШЕНКО. Что делать, командир?

ПАЛЕНый. Дай подумать, Григорий.

ПОТРЕБА. Не пускать их в монастырь. Остановить!

ЧУМАК. Не годится.

СВАШЕНКО. Закрыть за ними ворота и никого не выпускать из монастыря.

ЧУМАК. Крестьян не выпускать? Глупости говоришь.

СЕМИЛЕТ. А что же делать?

ЧУМАК. Поп был в подвале?

УЛЬКА. Был. Они меня заперли, а потом он пришел, а я его укусила и убежала, а дверь заперла.

ЧУМАК. Прозевали. Они уже успели его выпустить. А капитана Бугрова ты видела?

УЛЬКА. На пагрете.

ЧУМАК. А, на портрете! Мало. Откуда же ты знаешь, что это капитан Бугров?

УЛЬКА. А как же? Я все слышала, как Ольга с Ряженко говорила. И патронов ему дала.

ПАЛЕНый. Вон как! Значит, это был Ряженко?!

УЛЬКА. Он.

ЧУМАК. Откуда ты знаешь, что они отбили его и он в монастыре?

УЛЬКА. А как же? На рассвете он прибежал. Я из чулана выскреблась и хотела бежать к вам. А Ряженко и Молибога поймали меня у ворот. Тогда поп меня в подвал и запер.

ПАЛЕНый. Дело плохо. Теперь, должно быть, бугровского и духу нет.

СЕМИЛЕТ. Пожалуй, что так.

ЧУМАК. Подождите, товарищи, подождите. (*Что-то спрашивает у Ульки. Она ему: «угу».*)

СВАШЕНКО. Есть идея?

ЧУМАК. Есть! Сейчас же туда, в церковь!

СЕМИЛЕТ. Зачем?

ПОТРЕБА. Открой план, командир.

ЧУМАК. По дороге расскажу. Пошли в церковь! Веди, Улька. Ты знаешь дорогу?

УЛЬКА. Дайте мне ливольверт.

ПОТРЕБА. Бери вот мой. Он хорошо бьет.

УЛЬКА. А теперь — айда! (*Быстро уходят.*)

*Темно.*

### Сцена 12-я

*В церкви. Народ стоит с хоругвями. Монашки окружили крестьян плотной цепью.*

ОЛЬГА. Вам сказали, что я — наильница. Действительно, рискуя своей жизнью, я подняла крест и, во имя святой церкви, протянула руку помощи несчастным вдовам и сиротам... Я снова осмеливаюсь протянуть эту руку: возьмите наш хлеб и деньги — по сто рублей на сироту.

ЖЕНЩИНА. Спаси тебя мать божия! (*Падает на колени.*)

ЧЕБОТАРЕНКО. А все ж таки, где же батюшка-то, отец Александр? Пущай бы к нам вышел.

ОЛЬГА. Сейчас, православные, сейчас. Он — в алтаре.

АВРААМИЯ. Слушайте меня, слушайте! Сею ночью видела я страшное видение. В огне явилась мне ладьянская божья мать...

ФЕОНИЯ. Нам двоим явилась...

АВРААМИЯ. Мне и Феонии, да и говорит: «Авраамия! Нечестивое дело замыслили партизаны, наипаче же командир ихний, что сею ночью рассудка лишился и ребенка не захотел крестить».

СТАРИК. Неужто ж так и не захотел крестить?

АВРААМИЯ. Не захотел, православные, не захотел. А сама мне пальчиком святым грозит. Авраамия, говорит...

ФЕОНИЯ. И мне.

АВРААМИЯ. И Феонии. Авраамия и Феония, говорит, поручаю вам тайну свою: берегите святую обитель от безумных. Да и полетела.

ФЕОНИЯ. Берегите от безумных.

СТАРИК. Да и полетела.

ЧЕБОТАРЕНКО. Притча эта очень антиреспная. А все-таки, кабы к нам батюшка вышел, оно было бы еще яснее — кто и куда полетел.

ГОЛОСА. Верно! Просим батюшку.

*В церковь вступают партизаны.*

УЛЬКА. Сюда, товарищи партизаны. НАРОД. Чумак пришел. В церкву пришли.

ЧУМАК. Ну что, Чеботаренко, нету батюшки?

НАВРОЦКИЙ (*выходит из алтаря*). Я здесь!

ГОЛОСА. Батюшка! Слава тебе, господи!

НАВРОЦКИЙ. Мир вам, православные христиане. Да благословит вас бог и пресвятая дева.

ЧУМАК. Простите, мы на минуту перебьем ваше... занятие. (*Улькс.*) Ну, Улька, еще раз скажи — там?

УЛЬКА. Там.

ЧУМАК. Ошибки не может быть?

УЛЬКА. Прямо на престол идите.

ЧУМАК. Ну, раз дочь партизана говорит, значит, идем на престол.

МОЛИБОГА. Богохульник!

ИЗ ТОЛПЫ. Куда вы идете?

УЛЬКА. К престолу!

НАВРОЦКИЙ. Остановитесь, безумцы!

ЖЕНЩИНА. Остановите их, разбойников. Куда ты прешь, чортова девка?

УЛЬКА. Я? К престолу.

НАВРОЦКИЙ. Назад! Анафема! Анафема!

ЧУМАК. Не робей, Ульяна. Скажи батюшке, пускай сам открывает престол, если не хочет, чтоб мы открыли.

УЛЬКА. Ну, поп! Открывай престол, не то сами откроем.

ЖЕНЩИНА. Отойти!

ЧУМАК. Нет, тетя, отойди уж ты на этот раз. Тут у нас дело есть.

УЛЬКА. Да. Нам к престолу надо добиться.

НАВРОЦКИЙ. Анафема!

ЧЕБОТАРЕНКО. А что ж это там, в том престоле, Матвей Дмитриевич?

ЧУМАК. А в престоле, товарищ Чеботаренко, и спрятан весь интерес. Партизаны, очистить дорогу!

СВАШЕНКО. Есть, товарищ командир.

*Партизаны очищают дорогу. Чумак и Улька вынимают из-под престола пулемет.*

ЧЕБОТАРЕНКО. Вот так притча!  
(Народ ахнул.)

УЛЬКА. А что?

ЧУМАК. А теперь говори, Улька, дальше, потому что там тогда не дали договорить.

УЛЬКА. Вот эта женщина — жена офицера Бугрова — полный монастырь патронов навезла.

ЖЕНЩИНА (бросилась на Ольгу).  
Ах, ты... сбачья душа! Балахон наде- ла, а сама контра!

УЛЬКА. А что, поп? Не говорила я, что придет наша сила? Вот и пришла! А теперь еще слушайте.

ЧУМАК. Подожди, Улька. А теперь я спрошу: кто за Бастилию — оставайся здесь, кто за революцию — выходи за нами!

ЧЕБОТАРЕНКО. Вот теперь я вижу, в чем есть весь наш антирес. Бросай хоругви.

НАРОД. Пошли! (Бросают хоругви, переступают через них, выходят за Чу- маком из церкви.)

*Занавес с ландшафтом села закрывает церковь. Партизаны и народ — на улице. Слепящее солнце ударяет им в глаза. Гремит песня.*



Ворваться в песню не могла  
С чужого языка.

Я помню всадника в окне  
На ошарашенном коне  
У самого крыльца.  
Огонь  
и дым  
из многих труб  
И пену легкую у губ  
Убитого отца.

Дубьем глушила старика  
Врага тяжелая рука,  
Когда была сильна.  
От жгучих прутьев лозняка,  
От свиста  
и от сквозняка  
Поет его струна.

Она звучит  
из тьмы веков.  
Для хищных клювов  
и клыков,  
Для мертвых васильков.  
Я крепко в памяти храню  
Винтовочную трескотню  
И быстрый блеск подков;

Я верен сердцу  
и уму,  
И ненависти никому  
Не усыпить во мне  
Ко всякой бреди колдовской,  
Ко всякой дикости людской  
И косной старине.

Я к жизни шел  
сквозь все снега,  
Я вижу: в миллионы га  
Расчерчена страна.  
Я в песне познаю врага —  
Его последняя струна  
Еще  
туга.

Он хвалит рьяно  
и умно,  
Но смотрит пристально в окно,  
В лесную глушь  
и тьму.  
Зажав ладонями виски,

Тревожной злобы  
и тоски  
Не выдаст никому.

Он лижет воду  
и не ест,  
Он лег  
и свой нательный крест  
Зажал в худой руке,  
Его подушка сбилась в ком,  
А рожь гниет под тюфяком  
И в грязном тюфяке.

Он умирает, стиснув рот,  
А у распахнутых ворот  
Стоит истошный вой;  
Он молчалив,  
он тощ  
и наг,  
И смерть парит,  
как черный флаг,  
Над хищной головой.

Он засыпал пшеницей рвы,  
Но загнивающей жратвы  
Попробовать не мог.  
Он мечется во все концы,  
Страшнее круговой овцы,  
Сбивающейся с ног.

Он проявляет пыл к труду,  
Со всеми он живет в ладу,  
Он распахнул свой сруб,  
Он любит ласковые сны,  
Но даже медный грош луны  
Он пробует на зуб.

Чтоб чем-нибудь себе помочь,  
Он выбежит в глухую ночь  
И припадет к земле.  
Слеза смешается с росой,  
Но страшен глаз его косой,  
Мерцающий во мгле.

Пустым зрачком отражена,  
Позеленевшая луна,  
Ныряет и летит.  
От пьяных глаз,  
от пряных слов,  
От пестрой путаницы снов  
Воротит  
и мутит.



Веселые ветры  
поют в трубе,  
Тебя расшатало за эти годы,  
Ты всеми запахами пропах.  
Еще ворочается в тебе  
Обида  
самой глухой породы,  
Но сила в наших руках.

Мы с песней летели  
не так давно  
В сухой  
и дикий  
морозный воздух,  
Но ты от него отвык  
и размяк,  
А мелкое чувство живет, —  
оно  
Из темных извилин  
земли и мозга  
Вывинчивается,  
как червяк.

Ты видел выпуклый  
круглый мир,  
Тачанок стремительные колеса  
Напоминали твои очки,  
Но ходят к тебе  
из чужих квартир  
Писатель,  
пописывающий косо,  
И врач,  
играющий в дурачки.

Твоим соседям  
не по себе:  
Певица,  
вышедшая из моды,  
Бежит на стоптанных каблуках.  
Стоят,  
покорны своей судьбе,  
Ее пришибленные комоды,  
Урчат  
пустые водопроводы,  
Но сила в наших руках.

В неповоротливости вещей,  
Которых вовек не перемещали,  
Они разувериться не могли.  
За круглую миску стоячих шей  
Готовы были продать мещане  
Ревущие реки  
моей земли.

\*\*\*

Писатель идет на шестой этаж.  
Бежит  
безрадостная певица,  
Лежит  
исписанная страница.  
Его мутит  
и клонит ко сну.  
Он любит  
осени рыжий пейзаж,  
В котором замертво  
лист кружится,  
Но туча  
бросается на луну,  
И ночь  
припадает к его окну.

Чтоб запах разных цветов  
и трав  
Томил читателя  
и тревожил,  
Они зажаты во всех томах.  
Захлопнешь душный гербарий глав,  
И сразу мир посвежел,  
и ожил  
Ветров разбег  
и ветвей размах.

\*\*\*

Пылит ковер,  
и шумит вазон,  
Тяжелыми листьями  
фикус машет,  
Висят занавески  
на двух шнурках.  
Румянец меркнет,  
молодость ваша,  
Как солнце уходит за горизонт. —  
Сила в наших руках!

У средней матери и отца  
Вы выросли,  
зная по средней школе  
Меру веса  
и меру длины.  
Под жизнерадостный визг свинца  
Вы жались в под'ездах,  
вы падали в поле

И в самых прожженных  
 степях страны,  
 Как маятник,  
 ходят ваши сердца  
 От злого умысла  
 к доброй воле,  
 Как два дыханья одной глубины,  
 Слабость  
 и мужество  
 вам даны.

За шорох и щебет,  
 стоявший в саду,  
 За теплые запахи  
 хлеба  
 и хлеба,  
 За легкий цветок  
 и за яркий платок  
 Держали вы в памяти  
 несколько строк,  
 Которые спутались, как в бреду:  
 «...Холодно... Голодно...  
 ... падает с неба...  
 ... Моченьки нет...  
 ... мужичок с ноготок...»

Вы ждали, пока позовут к столу,  
 Вы стали в тени,  
 ощущая сразу  
 И немощь плеч,  
 и неловкость рук.  
 Упорно вглядываясь во мглу,  
 Хватались вы  
 за любую фразу,  
 За каждое слово,  
 за первый звук.  
 Вы обернулись  
 лицом к селу,  
 Как оборачиваются  
 по приказу, —  
 В землю вдавливая каблук.

\*\*\*

Ты ухо прикладываешь к земле  
 И вопли,  
 и ливни,  
 и блеск непогоды  
 В сознание врываются  
 сквозь глухоту.  
 Деревья шарахаются во мгле,

Но рвутся  
 и пляшут  
 весенние воды,  
 И дерево  
 хочет набрать высоту.  
 А кровь проходит свой путанный путь,  
 И взмахи сердца  
 удар за ударом  
 Уже отдаются в твоих висках.  
 Кого же хочешь ты обмануть?  
 Кого же хочешь ты упрекнуть?  
 Ты греешь руки  
 над самоваром,  
 И матовый след  
 на твоих очках.

Ты шел на базар,  
 ты спешил на вокзал,  
 В горячей сутолоке  
 и давке,  
 Дорогу прокладывая плечом;  
 Ты все распродал  
 и рассказал,  
 Признал ошибки  
 и внес поправки,  
 Чтоб снова стать  
 у соседней лавки,  
 И снова спрашивать,  
 что почем.

Ты помнишь,  
 пейзаж проплывал неспеша,  
 Менялся,  
 пестрел  
 и линял постепенно,  
 Плелась мужика одинокая тень.  
 Ворочаясь тяжело  
 и глухо дыша,  
 Из тусклой соломы  
 и затхлого сена  
 Он вылез  
 и перешагнул плетень.

Среди необ'ятных снегов  
 и песков  
 Немало загублено вёсен  
 и песен,  
 Мы слышали,  
 как сухой поет.  
 На сто пятьдесят миллионов кусков  
 Хлеба мы нарежем  
 и сдобу замесим —  
 Мы видим колосьев  
 несметный полет!

\*\*\*

И шелест листьев,  
и шорох трав,  
И запах преющего навоза  
Соседи вычитали из книг,  
А мне по сердцу  
свирепый нрав,  
А мне по духу  
скупая проза,  
Людей, шагающих напрямик. —

\*\*\*

Стояла баба,  
подол задрал,  
Спиной к президиуму колхоза,  
И выгнали бабу  
под общий крик.

### III. ПИСЬМО

Письмо начинается, как всегда:  
Привет за приветом  
родным  
и знакомым,  
Поклон за поклоном  
«во первых строках».  
И письма,  
и песни  
доходят сюда,  
Мы запросто пишем  
вождям  
и наркомам. —  
Сила в наших руках!  
Как будто сквозь бури  
и крик немой,  
Сквозь ветры,  
бегущие за кормой,  
Внезапно доносится односложный,  
Приветливый,  
легкий  
и ровный всплеск, —  
В письме,  
еще омраченном тьмой,  
И в буквах,  
мечущихся тревожно,  
Гнездится сознанья  
и жизни  
блеск.

Вдова писала в адрес Кремля:  
«Обиду я нанесла колхозу,

Но мы в свою полосу вросли,  
Нас крепко держала  
скупая земля,

И с кровью  
и с болью,  
мы, как занозу,  
Сорняк вырывали из той земли.

Подолгу топтались дожди у крыльца,  
Осенние ветры

деревню хлестали,  
И мертвая туча висела над ней.  
От этого не отвернешь лица,  
И мы —  
деревенские бабы —

стали  
Не сразу сознательней  
и умней».

Ее томил нестерпимый зной —  
Глухое безмолвие

всей природы,  
И хлеб ей давался  
горбом  
и сумой.

Она к собранию  
стала спиной,  
Когда обида  
глухой породы  
Еще ворочалась в ней самой.

С опаской вдова ответа ждала,  
И вдруг

откуда-то издалека  
Повеяло на нее теплом,  
Тогда начались у бабы дела, —  
Чтоб сделать лучше  
да раньше срока,  
Она в работе  
шла напролом.

И вот  
не баба, а человек,  
Забыв слепую свою обиду,  
Как равный, садится теперь к столу,  
Колхоза она не предаст вовек:  
От самого сердца,  
а не для виду,  
Она повернулась  
лицом к селу.

Она отвернулась  
от нищеты,

Она отвернулась  
 от жизни хмурой  
 Не вполоборота,  
 на каблуках, —  
 Она сожгла за собой мосты,  
 Теперь не живет она  
 дура-дурой, —  
 Сила в ее руках!

#### IV. ДЕРЕВНЯ

Как дым тяжелый рвется на ветру!  
 Как темнота редет поутру  
 И мечется  
 в предчувствии кончины!  
 Растут плоды  
 среди густых песков,  
 И на глазах у многих стариков  
 Слеза блестит  
 без видимой причины.

Была изба  
 угрюма  
 и тесна,  
 С углами серых сумерек  
 и сна,  
 Когда от крика пьяного  
 и свиста  
 Огонь шатался дымно  
 и темно.  
 Теперь на юг распахнуто окно,  
 И на селе  
 совсем светло  
 и чисто.

Леса полны немолчной тишины,  
 Дома цветущих запахов полны,  
 Дремучая  
 покорена природа,  
 Бежит по скату  
 пленная вода,  
 Стоит обыкновенная погода,  
 Но кажется,  
 что здесь царит всегда  
 Июнь —  
 благоуханный полдень года.

Давно ль  
 без яростных  
 и темных слез  
 Из наших баб  
 никто не шел в колхоз...

Теперь в конюшнях  
 жарко дышат кони,  
 Сазан тяжелый  
 плещется в пруду,  
 И сердце нас толчками так и гонит  
 Навстречу дружной жизни  
 и труду.

Толкутся бочки,  
 кадки,  
 сундуки,  
 Избытки наши стали велики,  
 И места нехватает по амбарам  
 Для свежей ржи,  
 теснящейся в мешках,  
 Для птиц,  
 для рыб,  
 трепещущих в руках,  
 Для хлеба,  
 пышущего щедрым жаром.

Сквозь летний дождь  
 и сквозь листву кустов  
 Мы видим очертания мостов  
 И трактор  
 в дымке поднятого пара,  
 Но есть еще на свете  
 глушь  
 и лень,  
 Которым воздух новых деревень  
 Страшной,  
 чем помесь ветра  
 и пожара.

Еще дожди порой гноят стога,  
 Еще во тьме  
 мерцает глаз врага,  
 Еще дымятся дикие овраги,  
 Но по утрам  
 с колхозного двора  
 Гурьбою выбегает детвора,  
 Труба поет  
 и громко хлещут флаги.

Мы знали  
 привкус крови  
 и слезы,  
 Мы помним  
 пляс ликующей грозы,  
 И входим запросто  
 в стихотворенья,  
 Вокруг звучат героев голоса,

В поля,  
    в пустыни,  
        в шахты  
            и в леса  
Нас гонит сила славы,  
        и волненья.

Веселый ветер  
    загудел в трубе,  
И солнце заплясало по избе,  
И зашуршала свежая газета,  
И прошлое ослабевает в нас. —

1933—1935

Москва.

Привычный цвет  
    и выраженье глаз  
Меняются от солнечного света.

Мы чувствуем движение весны  
В ударе набегающей волны  
И в утреннем оцепененьи леса.  
Под небом светлым  
    и лишенным веса  
Плывут знамена молодой страны,  
Зари  
    и ветра свежего полны.



# Похождения факира

Роман

В. С. ИВАНОВ

Часть третья

ФАКИР ВХОДИТ В ЦИРК

(Продолжение <sup>1</sup>)

4

Ранним утром 18 мая вместо легкого свежеекрашенного, как бы батистового, парохода «Цесаревич» мы увидели бурые заборы Березовского завода, домики, затянутые крапивой, и базарную площадь, унылую и буграстую. В трех концах площади разбирали балаганы. Это порадовало нас. Оранжевая афиша, только-что наклеенная возле балаганов, весело рассказывала о прекрасной выдумке, сразу разрушившей три балагана! Долго мы читали эту афишу:

«Березовский завод. 25 мая 1914 года. С разрешения начальства. В помещении театра-цирка «XX век» Альберта Монти—200 ЛОШАДЕЙ!—состоит первая гастроль бесконкурентного эксперимента знаменитого факира и дервиша БЕН-АЛИ-БЕЯ. Исполнено будет несколько опытов касаясь области психологии и телеопатии. 200 ЛОШАДЕЙ! Говорящая голова. Прыжки на стекла с вышины 3 аршин. Глотание огня. Превращение факира в медведя и обратно и так далее, и так далее. Второе отделение: гастрольные выступления таинственного доктора черной и белой магии Всеволода Савицкого (Иванов). 200 ЛОШАДЕЙ! Господин Савиц-

кий, рассказчик-импровизатор на «злобу дня», разоблачитель в куплетах и прозе опытов Бен-Али-бея. Тирольский и русско-славянский хор под управлением известного балалаечника П. Ковалева. К. С. Филиппи, его рассказы при упражнениях с тяжестями. И. Л. Михайлов — знаменитый сибирский богатырь. В заключение пиротехническая пантомима «Черный брамин, или горбун-убийца». 200 ЛОШАДЕЙ!»

Петька Захаров до чрезвычайности гордился своей ловко составленной афишей, в особенности двумя сотнями лошадей, которые как будто и должны выступать в цирке, но которые могли и везти к Березовскому заводу цирковое имущество. У пригорочка посредине площади навален лес: плахи, горбыли, бревна. На груде мешков, старых и рваных, сидит строитель цирка, наш компаньон Ермил Белобородов, владелец пряничного и конфетного заведения. Перед ним плотники и землекопы.

Белобородов говорит:

— Я человек изнеженный и больной. Мне этой сволочью распоряжаться трудно. Я ей все норовлю в зубы! А где мне с моими кулаками вышибить ее зубы? Мне б в отличной одежде на дорогой мебели сидеть, а тут, видишь ли, строй представление, чтобы возле него торговать!

У Белобородова очень умное малень-

<sup>1</sup>) См. «Новый мир», кн. 1 с. г.

кое и сжатое лицо, похожее на печать. Он отлично знает все ваши дурные качества и умеет их при случае повернуть к себе. Он постоянно трепещет, потому что не выносит подчинений. С плотниками он ругается непрестанно: ему все кажется, что плотники хотят его напугать:..

— Вы бы в городе торговали, — говорю я ему.

— Вы меня городом не попрекайте. В городе нас крупные предприятия лопают. Они и сюда на ярмарку тоже явятся, но я рассчитываю, что в цирк актрисы привлекут здешних купцов, а я тут им — мои конфеты и пряники! Я не имею возможности, господин Иванов, пользоваться вояжерами.

Он говорил со мной нежно, потому что понимал мою способность поддаваться на лесть. Глаза у него сухие, злые. Осторожно он спрашивает меня:

— Пашка-то Ковалев, никак парень опытный? Певичек-то способных привезет?

Я молчу. Он продолжает:

— Мне бы вот в квартиру такую мебель вдвинуть, чтоб было на душе у меня изящно. Я бы тогда в Петербург одеваться поехал!

Я мало верил тому, что он способен поехать ради одежды так далеко:

— Жену одеть?

— Жена сама должна одеться и даже пока она в приданом. Мне нужно одеться для собственного услаждения и для оптовой торговли, чтоб на рынке я был, как поплавок. А вы молодой человек, вижу, о женах думаете возвышенно. Если я женюсь, так пусть мне жена несет приданое, да, кроме того, найдет такой мне способ изготовления, чтоб в прянике я имел и сладость необыкновенную, и чтоб слегка горчило. Кустарный пряник хорош, он имеет за собой сотни лет практики, но все-таки еще настоящего рецепта не найдено.

Мне хочется узнать: верят ли екатеринбургские балаганщики в наши сибирские препараты, а значит, в мою выдумку, почему они вложили деньги, и надеются ли на прибыль?

— Хватит денег достроить?

— Люлька выручит, — отвечает Бе-

лобородов, очень вежливо приподнимая соломенную шляпу и щупая свой пульс. Он боится захворать от волнения. Ему кажется, что я чересчур хитрую, но он учтиво объясняет мне, что такое «люлька». Белобородов выдал вексель на 300 рублей Стародубскому-Тулупу, а тому выдал Мелентий Талыг, а Талыгу выдал Ломов, а Ломову — Татаринова, а Татариновой — опять Белобородов. Все как будто вложили в дело по 300 рублей. Белобородов расплачивался этими «люльками», как настоящими деньгами, упорно торгуясь и не понимая меня, когда я возмущенно говорю:

— Плотникам тоже люлькой платите?

Белобородов ухмыляется над дурнейшим качеством человеческой породы — доверием, полагающим, что труд имеет какую-то ценность:

— Жизнь гораздо легче, чем о ней думают, господин Иванов.

Похоже, что Белобородов прав. Приехал Алешка Жулистов, он же Лева Лощевский, и немедленно, имея полтора рубля в кармане, нанял 18 комнат для артистов. Алешка уже перепутал все случившееся с нами по дороге. Инока Фелофея он уже числил лайщиком нашего предприятия и весьма удивлялся, что в афише нет дрессированных коров, а 200 лошадей он путал с лошадьми своего отца. Пашка Ковалев привез хор. Хористки вышли из вагона весьма развязно и спокойно, как бы надеясь, что их голоса изменятся от воздуха нашего цирка. Опухшие, покрытые синяками, растрепанные, они хрипели, сопели или визжали так высоко, что голос их никак нельзя было вставить ни в какую песню. Впереди хора шел слепой гармонист в рваной студенческой тужурке и босой. Его вел за руку длинный мужчина с большим четырехугольным и грузным, как чемодан, лицом. Пашка, указывая на него, сказал с гордостью.

— Тиунцев, Никифор Матвеевич, легкой извозчик № 37, биржа у клуба! Теперь графолог. Имей в виду, Всеволод, что он прочел все законы Российской империи.

Когда я удивился вслух пашкиному хору, наш дирижер сказал с еще большей гордостью:

— У осетра больше голоса, чем у любой моей хористки.

И добавил внушительно:

— Но самое главное в артистическом мире, — репетиции и пища. Ты посмотри, что наделал с Нубией и с собой посредством этого Петр Захаров.

Пашка Ковалев утерял присущее ему беспокойство. Он ходил нагло, выпятив тощую грудь, чрезвычайно громко крича на хористок.

Белобородов осмотрел внимательно каждую хористку и легонько вздохнул:

— Поношенные. Плохо выбирал. Я-то на него надеялся!

— Где он их мог выбирать? — спросил я.

Белобородов, ухмыляясь моей хитрости, сказал:

— На екатеринбургских торговых улицах. Но вы не надейтесь, господин Иванов, что мы пошлем вас выбирать лучше.

«Грозный мастер» необыкновенно обрадовался работе. Он носился мощным своим галопом вокруг постройки, и весь Березовский завод удивлялся его выносливости, умеренности в пище и желаниях. Неподалеку он выкопал ямку, устроил там наковальню, соорудил из пяти щитообразных досок овал, прибил к нему овчинные клапаны, приделал сопель и горно. Он ковал скобы, петли и все, что нам было необходимо. Он не спал всю ночь и не давал спать другим. Вокруг стройки горели костры, а из его ямы постоянно летели толстые бронзово-багровые искры. На бревнах, обшиваемых горбылями, качались керосиновые фонари. На лесах распевали плотники, взмахивали топоры, а внизу уже мазали горбыли известкой и в конюшнях — 200 ЛОШАДЕЙ! — уже устраивали стойла и господин директор заготавливал таблички с именами и породой коней. В стойлах, пока, спали хористки, которым дирекция отказала в комнатах.

Ярмарка наполнялась товарами. Ночью сквозь щели лавок мы видели, как молодые приказчики раскладывали ситцы на полки, распарывали мешки с изюмом, урюком, вскрывали ящики конфет. На постоянных дворах стояли возы с блестящими горшками, и Белобородов

насчитал тридцать шесть сортов пряников, которые он привез сюда. Пожилые приказчики ночью играли в «дураки», и лампы «молния» освещали их почтенные бородастые лица. Я вспоминал Урлютюп, свою работу у купца Лыкошина и дядю своего Кузьму Македонова. Но и плотники, и приказчики разговаривали здесь совсем о другом, — о драгоценных камнях изумрудах, что находят возле Березовского завода, о былом уральском золоте, да и песни здесь были длиннее и протяжнее наших. Затянет какой-нибудь тоскующий уралец и поет, переливаясь, до самого рассвета, да так и не окончит!..

24-го мы встречали нашу труппу. Несколько ломовых, принадлежащих нашим пайщикам, везли товары для ярмарки и поверх привязали наше цирковое имущество. Всюду зелеными громадными буквами было начерчено «XX век. Цирк Альберта Монти. 200 ЛОШАДЕЙ». В зеленой телеге, запряженной парой лохматых битюгов, ехал сам Петр Захаров. Он стоял перед клеткой, сколоченной из березовых жердей. Шамбарьер колыхался в его руке, из-под цилиндра вываливались кудри, фрак обтягивал его талию, манишка и галстук были хрупко-белы.

Над клеткой тряслась длинная вывеска, а под нею стоял барабан, в который Петр Захаров время от времени ударял тяжелым концом своего шамбарьера. Лошади вздрагивали, Возчики ругались. В клетке, оглядывая мир непоколебимо грустными глазами, ехала Нубия! Гриву ее и хвост обвивали ленты: теплосиние, шалфейно-желтые, серебристые, красные. К ушам ее были привязаны цветы, а прямо по шерсти с одного боку извещалось: «XX век», а с другого — «Альберт Монти». Телегу окружали балаганчики в своих мантиях и колпаках.

— Но ведь это же чепуха, Петр! — сказал я, указывая на Нубию.

— Чепухи на свете гораздо больше, чем ты предполагаешь, Всевролд.

Ах, как он был прав!

Перед нами стоял цирк, построенный из «люлек». Сверху донизу он был тщательно побелен известкой. На скамейках я разметил места. Цирк, считая га-

лерку, вмещал 680 зрителей. Если только по полтиннику, то и тогда мы соберем в вечер свыше 300 рублей!

Верх, или «небо цирка», мы сшили из рваных мешков. В шитье нам помогали хористки. За шитьем они пели, тихо и очень жалобно. Они сидели рядком возле стены цирка. Тутие тени ползли по одеждам, придавая легкость их лицам. Забыв их страшную профессию, я любовался их песней и ловкими движениями их пальцев. Но едва они откладывали иглы, вставали и потирали руки, как невероятно грязная брань закрывала их стародавнюю бабью песнь. Поражала, собственно, не брань, а опытность, с какой произносили ее.

Но вот мы повесили верх. Солнце устремилось в него, и заплаты кольхались, как будто на полотно падали тени листьев.

Утром наши пайщики потребовали, чтобы на раусе перед цирком, доказывая правдивость нашей афиши, выступили с короткими номерами все участники представления.

Я сказал:

— Тащить мне на раус всю свою аппаратуру? Предпочитал бы я выступить с тем, что вы найдете в моих гастрольях незначительным и недостойным арены.

Пайщик наш Мелентий Талыг, шулер и владелец «стрел счастья», взглянул на меня своими глазами, такими большими, словно он старался раскрыть их всю жизнь и вот наконец распахнул, а теперь закрывать не хочется, — всем надобно показать. Взглянув на меня весьма строго и с мудростью, свойственной всем шулерам, сказал:

— Природу мы все любим, господин Иванов, но хороший пейзаж только тогда пейзаж, когда он переделан согласно человеческим вкусам. Роща без дорожек, посыпанных песком, еще не роща. Соловей без клетки еще не соловей. Я это говорю к тому, что в человеческом пейзаже платят деньги за убийство и смех, а это как-раз есть переделанная природа. Убивать вы будете себя на арене, а смехом зовывайте публику.

Круглое мое лицо весьма часто портило мои предприятия. Я не удивился, когда пайщики подумали, что вместе с фа-

кирством я обладаю даром клоуна. В нашем балагане клоуном «возле перша» взяли Анисима Щукина. Я не хотел отбивать у него хлеб. Я сказал:

— Если только раусным...

Я чувствовал необыкновенное уважение к своему дарованию и к своей способности трудиться. Это дарование помогло мне выстроить цирк, наполнить его странными механизмами и не менее странными людьми, которые сегодня «ровно в 8 часов вечера» я приведу в действие. Я уважал мою Волшебную библиотеку, над которой размышлял так упорно. Мне было приятно, что я не отхожусь свысока к людям балагана. Я работаю с удовольствием и радостью! Кроме того, на раусе мне хотелось повторить анекдоты Филиппинского, над которыми никто и никогда не смеялся.

Раусный клоун — это очень редкая особенность среди клоунов. Надо уметь разговаривать с толпой, шутить, а кроме того, вы должны обладать мощным и молодым голосом, чтобы перекричать ярмарочный шум. Весело сказал я:

— Сейчас сибиряки покажут, как надо звать.

Я натянул костюм «галана»: яркую атласную куртку и широкие штаны до колен, усыпанные узорами из золотистых блесток. Лицо и шею я осыпал мелом, а мочки ушей и губы залил ярко-пунцовой краской. Высокие черные брови изломанно пересекали мой лоб. В толпу я поставил Алешку Жулистова и Петра Захарова. Шталмейстер Ломов задавал мне на раусе вопросы:

— Ты зачем сюда приехал, Коко?

— У барышников ловкости учиться.

— Какая же у них есть особенная ловкость?

— Глазами могут не моргать.

— Где же это ты видел, Коко?

— Это все видели, а не только я. Говорят ему на ярмарке: «Иван Иванович, а ты ведь надул меня, лошадь-то проданная околела через два часа». А он отвечает, не моргнув глазом: «Ай, яй, яй, у меня такого с ней не случилось».

Заиграл гармонист. Перекувыркнулся и пошел на руках по раусу «першник». Я склонил голову на перила и, взвизги-

вая, зарыдал. Алешка Жулистов спросил меня из толпы:

— Над чем ты плачешь, Коко?

— Завидую нашему пуделю.

— Вот странно. Почему же ты завидуешь пуделю?

— А как же. Березовская барышня упала в реку и со страху очнулась только тогда, когда ее вытащили и благодетель ее скрылся. Барышня загорелось, и говорит отцу: «Не жалею, папа, приданого, я хочу выйти замуж за моего спасителя». «Невозможно тебе выйти» — говорит ей отец. «Разве он женат?» — «Нет, моя дочь, тебя вытащил цирковой пудель».

Затрещал барабан, заплясали артисты, и, покрывая этот шум, я закричал в картонную трубу:

— Березовский завод и вообще весь народ! Подходите, любуйтесь, дома не балуйтесь, а приходите баловаться к нам, фокусникам и прыгунам, жонглерам и клоунам, борцам и певцам, укротителям и слепцам. Для вашего наслаждения открыто наше заведение «XX век», где сам себя превзошел человек. Сидит в нем Альберт Монти, но не в ремонте, а в полной исправности, не требующей давности. Вокруг него 200 лошадей, а он не боится, злодей! За ним знаменитый факир Бен-Али, почтенной индийской земли, делает такие чудеса, что охнут небеса. На волосах действуют сестры Ломо, нет таких ни за границей, ни дома. Хор поет тирольский, а у гармониста нос польский. У входа сидит графолог, приподнимая над будущим полог, и за 20 копеек расскажет вам о предстоящих потерях, а если заходить почаще, то отвалит и счастье! Полтинник за вход, полтинник за вход, пробирайся вперед, березовский народ, торопись к нашему кассиру, лишай его жиру, торопись увидеть чудо двадцатого века, редкость для любого человека, а то подойдет двадцать первый, а к тому времени истрепишь ты нервы, и не только не дойти тебе до театра, но не дожить и до завтра! Подходи, налетай, о горе забывай, а помни наслаждение, которое даст тебе наше терпение, не говоря нашу удаль, в которой участвует ученый пудель, под руководством мадам

Татары, он бьет себя по харе, говоря человеческим голосом: «Зачем я зарос волосом?»

Тишина. Шталмейстер, лихо поставив мизинчик на барабан, осматривает мое веселое лицо и спрашивает:

— Чему ты радуешься, Коко?

— Я радуюсь, что в Березовске можно жить весело и богато, и легко.

— Как же так, можно жить богато и легко?

— А вот здесь березовец украл кружку из церкви, пропил ее, хотел украсть вторую, но не удалось, и тогда он почувствовал, какой он большой грех совершил. Приходит к попу и говорит, что если батя устранил ему великий его грех, то он лису подарит. Проходит несколько дней, ждет поп, а лисы нету. «Что же это, сынок, лису-то ты не шлешь?» Удивился березовец: «Нешто она у вас не была? Чудно. Да ведь я ее вчера послал». Удивился поп: «С кем ты ее послал?» — «Увидел я ее на опушке леса и говорю строго так: «Пошла сейчас же к отцу Николаю!» Она посмотрела на меня испуганно, и как пустился бежать, так что я подумал, будет она у вас минут через пять!»

Толпа подле рауса увеличивалась. Высоким, крикливым голосом я повторял анекдоты Филиппинского, и постепенно раусные номера заслонились этими анекдотами. Из кассы на смех вышел Филиппинский. Он стоял темный и мрачный, а я смотрел в его толстое лицо, показывал ему язык, попрыгивал, свистел, стучал себя расщепленной палкой по бедрам: и толпа веселилась вместе со мной. Впервые я наслаждался смехом и зрителями!

Анисим Щукин обнял меня за плечи и, подмигивая, прищелкивая пальцами, тихо сказал мне:

— Хватит. Оставь до вечера.

— Вечером я выступаю в другой роли.

Анисим сменил меня.

Директор пожелал со мной беседовать.

Петр Захаров сидел в своем кабинете, нарочно заставленном реквизитом. Против него колыхался в негодовании Филиппинский, а лицо господина директора

напоминало мне омский летний сад, к тому же Петр кричал:

— Может, вы объясните мне, Филиппинский, зачем вы шесть часов рассказываете бесплодные анекдоты, не умея оживить раус?

Он повернулся ко мне.

— А вы что еще за анекдот?

— Я не анекдот, а знаменитый факир и дервиш Бен-Али-бей.

Захаров отозвался с похвалой:

— Ты выработал в себе большое достоинство, Всеволод, и прекрасные анекдоты.

Филиппинский шумно вздохнул. Захаров пожал плечами, глядя на него:

— Ничего не поделаешь, господин Филиппинский, вам придется расстаться с вашими анекдотами, но вы взамен этой скучной материи приобретаете нечто.

Захаров встал, строго скрестил на груди руки и сказал с достоинством:

— Ввиду того, что ваше выступление, господин Иванов, имело большой успех, дирекция решила прибавить вам две марки и, дабы не затруднять вашей прекрасной клоунской работы, избавила вас от факирских выступлений с тем, чтобы вы с сегодняшнего вечера выступали перед публикой, исполняя антре, репризы и прочее, соответственно вашей дороге, а кроме того, вы будете управлять пантомимой.

Петька сел и, почесывая пальцами висок, сказал менее официально, хотя и более витиевато, с «репкой»:

— Согнуть дуб, Всеволод, — значит напречь его, напряжинить, и это, кроме пользы дубу, ничего не принесет. Согнуть сосну — значит сломать ее. Дуб — это ты, Всеволод, а Филиппинский даже не ососна, а настоящая осина, ибо он без боли воткнет в себя не только булавку, но и ржавый гвоздь.

Я тоже сел. Доска подо мной была тяжелая и чужая. Я тихо сказал:

— Я могу понять, что впредь факиром будет выступать Филиппинский? С моими аппаратами и в моем костюме?

— Да, именно это я и хотел вам сообщить, господин Иванов.

— Благодарю вас, господин Захаров.

— Не за что. Решение дирекции согласно контракту непреклонно и отмене не подлежит.

## 5

Мы примировались в стойлах, предназначенных для лошадей. Возле моей комнатки висел портрет белоногой лошади с надписью: «Мессаут, рыж. жер. род. 1887 г. у Али-паши-Шериф в Кайре; вывезен в Англию г-н Блынт; породы Сеглаи Джедиан; кровно-арабский». Я поставил перед собой осколок зеркала. Глядя на себя, легче страдать. Я задумался. Шпаги, которые вновь сделал мне мастер Иоанни, опять утащил Филиппинский, не говоря уже о прочих моих фокусах, и, что больше всего обидно, помогал в этом воровстве верный друг мой Петр Захаров. Мне вспомнились те клоуны, о которых я читал. На сцене они все веселы, но в жизни их торжественно сопровождают ужасные несчастья. Не успел я сделаться клоуном, как несчастья обрушились на меня. Не так было бы чрезвычайно обидно, будь я профессиональным клоуном!

Я достал «Его высший духовный идеал», чтобы найти себе утешение, но тщетно я пытался понять этот пантеон мыслей, тщетно пытался разобраться, чем меня хотят успокоить люди, которые духовно сопровождали меня, — Шекспиры, Милли, Верньо, Гуцковы, Стали, Вовенаргы, Рошеры, Курье, Кузены, Гидро, Фуксы, Макалеи, Буденштадты, Руссо, Гете, Шамбетты, Мирабо, Бентамы, Бокли, французские поговорки, Лессинги, Джоны Рескины, Паскали, Гумбольдты, Ламартины, Фихте, Локки, Дрепферы, Берне, Саади, Беконны, Веберы, Бульверы, Новалисы, Рахейли, Жорж Занды. Я не понимал их! Разве им растолковать, почему я должен жить в стойле для коней, — 200 ЛОШАДЕЙ! — которых нет и быть не может; почему так убежденно орет на плотников в коридоре директор Захаров и почему они, ни копейки не получая, уважают его?

— Шерстобиты вы, а не плотники. Какие вы стойла наделали? Щенят дергать в этих стойлах, а не наших коней.

Я расскажу о вашей работе зрителям, и никто впредь не пригласит вас к себе. Поймите, эти кони не для дам и подростков! Это парадные лошади, которых одобрит любой спортсмен. Это прежде всего чистокровные ирландцы с грациозной позой, с благородной походкой, с выразительной физиономией, со взглядом гордым и интеллигентным, с аллюром изящным и картинным. Это верховые лошади большого шика, а главное, большого роста!

— Прикажете расширить? — спросил старший плотник.

— Поздно. Кроме того, стойла делают из плахи и не красят их известкой. Вы понимаете, как действует известка на лошадиные легкие?

Его ученость потрясла плотников. Им, видимо, хотелось поговорить о плате, но они отошли безмолвно. Я протянул ему свою книгу. Я надеялся, что он поможет мне разобраться в «Его духовном идеале», потому что если теперь я клоун, то факирский идеал уже не идеал клоуна. Он распахнул книгу, но тотчас же вспомнил, что усиливается ветер и надо перекинуть через крышу цирка новые веревки, дабы не лопнули ветхие мешки. Однако он продолжал перелистывать мою тетрадь:

— А как ты полагаешь, Всеволод, выдержит меня постройка, если я заберусь наверх? А то появляешься ты, предположим, на сцене, тебя встречает гром аплодисментов, а в это время покрывка лопается и на публику — гром и дождь.

— Все недостатки здесь объясняют-ся, — сказал я, указывая на тетрадь.

Но Петр плохо слушал меня. Он вернул мне тетрадь, сказав, что из нее годится только одна фраза. Я поспешно раскрыл страницу и громко прочел фразу:

— «Для того, кто мало знает, но много говорит, все возможно».

— Ты прав, Всеволод. Эта фраза удачная, хотя и длинная. Но здесь есть фраза, которая более ободряюще действует на зрителя. Мы ее вставим в следующую афишу, когда коснемся опытов факира: «Обнаженная белая магия есть прежде всего обнаженная правда, с которой ты говоришь о самом себе».

Правда, эта фраза тоже длинна, но мы возьмем из нее первые три слова. Это будет и красиво, и в то же время женственно. Спасибо.

Он вернул мне тетрадь. Я быстро повернулся к нему спиной. Он спросил вдогонку:

— Ты готовишься к антре?

— Готовлюсь.

— «Ярмарочный парикмахер?»

— Да.

— Мастера Иоанна прислать?

— Да.

— Люблю деловой разговор.

Я обижался на Петьку, но нельзя было не признать его удивительной памяти и наблюдательности. Мастер Иоанн пришел от него со списком всех предметов, которые необходимы в моем антре. Возле мастера мгновенно вырос верстак, появился инструмент, дубовые и березовые доски, гвозди разных фасонов. Мастер и должен был помогать мне не только в сооружении инструментов, но и своим участием в пантомиме. Кроме того, мне отрядили в помощники Леву Лащевского, он же Алешка Жулистов. Лева доволен был обилием форм, которые надели на себя циркачи:

— Вот кабы они не потертые были, Всеволод. Из-за чего я обожаю военные, что они всегда новенькие. Иван, сделай ты мне такой снаряд, чтобы он голубей дрессировал, а то ведь их целый короб, и если они не дрессированные, так их эти формы сожрут!

— Снаряд я могу соорудить придуманный, — сердито отвечал «грозный мастер».

Прибежала Платонида Ломова, девушка легкая и с таким тонкокостным лицом, что казалось, из птичьих оно косточек и видны сквозь него все ее стремления. Она любила шумную, «под музыку», жизнь, болтовню и прибежала только для того, чтобы сказать о ссоре тирольско-славянского хора со своим дирижером.

— А тебе на косе висеть не больно? — спросил вдруг мастер Иоанн. — Или у тебя снаряд такой искусный?

Она ответила небрежно:

— Висеть — так висеть, мне все равно. Муж найдется, прикажет не висеть, я и

буду не висеть, только бы к мужу люди ходили. Ты любишь, Иван, с людьми разговаривать?

— Снарядов мало. О чем мне с ними разговаривать?

Она ласково улыбнулась ему. Она остро осматривала нас, чтобы, убежав, было, о чем рассказать. Она сообщила, что Филиппинский натягивает факирский мундир, а он лопается по всем швам и особенно подмышками. Она опять остро смотрела на нас, но тут зазвонел звонок, который нес слепой гармонист, один владевший в цирке подлинно странным именем Клеоник и подлинно иностранной фамилией Дорстер. На нем была зеленая засаленная куртка и новые, тщательно начищенные сапоги. Он звенел в большой звонок, поправляя на носу синие очки, лицо у него злое. Он постоянно смеется над нами, и держат его только потому, что дешево: он выторговал себе кринку молока и два фунта хлеба в день, без всяких марок или жалования. Боится он только мастера Иоанна.

Вслед за гармонистом Дорстером идет Петр Захаров. Лицо у него веселое и румяное. Он целует меня в щеку и говорит:

— Ты не обижайся, Всеволод. У машин правильно, остановился Филиппинский. Человек с такими чувствами, как у тебя, Всеволод, не может колоть себя булавами: слишком близки нервы.

— Благодарю вас, господин директор. Как сбор?

— Сбор полный, ободрился!

Он опять поцеловал меня в щеку.

— Ну, тебе, Всеволод, пора. Повторяю, ободрился.

Гармонист играл ободряюще — «догла». Я полагал, что лицо у меня должно быть весьма страдающее, но как только я побежал, припрыгивая, к выходу, так сразу развеселился. Я распахнул полотняный занавес, пробежал мимо капельдинеров и остановился возле арены:

— А вот и я, господа. Здравствуйте!

Но не даром Петр Захаров ободрял меня. Мне не с кем было здороваться. Гармонист играл в пустом цирке, и керосиновые лампы с жестяными рефлек-

торами освещали пустые ряды с тщательно нарисованными мною цифрами.

Шпирехштамейстер Лева Лащевский спросил меня:

— Рыжий, что ты будешь делать сегодня?

Я тщательно оглядел галерею, надеясь хоть там увидеть зрителя. Галерея пуста.

— Рыжий, что ты будешь делать сегодня?

— Не больше того, что вы делали до меня, — отвечаю я. — А вы привыкли делать то же, что делаю я, то-есть ничего не делать. Может быть, я попытаюсь петь, но так как я петь не умею, то это умеют делать все зрители, и, значит, им мое умение не нужно, так же не нужно, как если б я лихо укрощал собак, потому что зачем укрощать собак, если им предназначено кусаться. И так как сегодня мне нечего бояться, если даже я обзову зрителя собакой, все равно он меня не укусит, то я и решил обучить на свободе моего маленького подмастерья стрижке и брижке!

Лева Лащевский негодует. Он требует — так как здесь цирк — кувыркий или прыжков.

— А я думал, парикмахерская. Мастеров мало, а публика сидит ждет. А вот еще мастер!..

Выходит великолепный мастер Иоанн, поддериная штанишки, детские и коротенькие. С его головы то-и-дело упадет крошечная матросская бескозырка. В помойном ведре, разрывая взрытую пену, торчит метелка. Мастер распахивает колоссальный чемодан, недавно сделанный нами из фанеры. С трудом вытаскиваем мы ножницы и бритву, каждая в половину моего роста. Я объясняю мастеру Иоанну, что с людьми, которые хотят побриться, надо обращаться вежливо и деликатно, потому что безразовцы бреются редко и их надо не запугивать. Движения ваши должны быть легки, простыня тепла и нежна.

— Вот как ты делай!

Я хватаюсь за горло мастера Иоанна, поспешно привязываю его к стулу, закутывая в рваные масляные тряпки. Он сопротивляется. Я влепляю ему несколько «опачей» — фальшивых пощечин. К

арене приближается, спотыкаясь на каждом шагу, длинноволосый Анисим Шукин. У него высокий, плоский нос, в конце которого прилеплен уголь. Он думает, что уголь прилепить, так это смешно.

— Что ты здесь делаешь? — спрашивает он пискливо.

— Зрителей, взамен представления, бреем. Надо полагать, им это любопытно.

— Ай как прекрасно, ай как прекрасно!

Клоун Анисим целует нас. Я быстро вытаскиваю ножницы. Они лязгают, и клоун Анисим бежит от меня. Но я его хватаю за горло, он судорожно дрожит, губы его не могут вымолвить ни слова, штаны у него сваливаются. Я привязываю его ко второму стулу. Искры, треск хлопшек сопровождают раскрытие прекрасной нашей бритвы. Она тупа. Я хочу ее выправить на ремне. Куда прикрепить его? Я осматриваю. К столбу? Он далеко, а я ленив, и мне скучно. Тогда я прикрепляю ремень на длинную шею мастера Иоанна. Мастер орет. Звонко бью я его по шее. Он орет еще громче, и тогда я начинаю хлестать его ремнем. Он ползет на четвереньках. Я пытаюсь намылить его метелкой. Пена брызгает! Я намылил ему спину, затылок. Я хватаю его за длинный красный нос — и отрезаю его. Кстати уже я отрезаю нос и клоуна Анисима. Стулья трещат, рассыпаются. Я свищу, стреляю, и все мы трое, кувыркаясь и падая, катимся к входу в конюшню.

— Прекрасный номер, — сказал, легонько хлопая в ладоши, Петр Захаров.

— Что же я играл перед пустым залом, так значит ли это, что и другие будут играть?

— Мало играть, Всеволод, колоть себя будут дамскими шпильками, навешивая на оные тирьки...

— Я удовлетворен вполне!

Петр Захаров подставил мне свою щеку. Я поцеловал его.

Филиппинский в длинном балахоне важно шел на арену, описывая ногой высокие, широкие круги. Петр Захаров поступил правильно! Филиппинский очень внушительный мужчина, и если

опыты его провалятся, так никакие индусы не смогут убедить в своих достоинствах березовскую публику. С нетерпением ждал я, как Филиппинский обомлеет, когда увидит, что публики нет.

Я забыл о медлительности Филиппинского. Он не заметил отсутствия публики. Важно он глотал шпаги, спокойно прыгал на стекла, показывал отрезанную голову, которая отвечала на вопросы, и доставал птичку с волшебным голосом, что сидела на горлышке бутылки. Несомненно, пока я полтора года писал Волшебную библиотеку, Филиппинский упражнялся в ловкости!

Горько мне было. Я утешал себя тем, что Филиппинский быстро научился фокусам, потому что он одновременно обвешивал покупателя.

— Что шпаги, — сказал я Петьке Захарову, — что шпаги, когда это всем известно о их немецком происхождении.

Ах, я повторял слова Филиппинского! Мне оставалось добавить:

— Вот если бы он мог вынуть глаз из орбиты и вставить его в прежнее место...

Я добавил эту фразу из презрения к своему директору. Но напрасно я его презирал. Он умел ценить успех. Филиппинский научился факирской ловкости, и я теперь должен поспешно учиться клоунской. Надо прыгать с трамплина, крутиться на турнике, три раза уметь перекувыркнуться в воздухе.

— Хор на сцену, — крикнул Петька Захаров.

Прислушиваясь к хриплому вою хора, директор, заложив руки за спину, ходил рядом с Филиппинским по коридору:

— Отлично поют, — говорил директор. — Вы им только порекомендовали бы жженый сахар кушать: весна, голоса отсырели.

— Хлеба мало, а вы сахару, — сказал я директору.

— Дорогой Всеволод, для организма певца сахар иногда важнее хлеба.

Они не унывали, эти компаньоны «XX века»! Петр Захаров объяснил, что мы неправильно выступили на раусе: слишком много показали зрителю. Завтра он, Альберт Монти, сам выступит

и расскажет о своих двухстах конях. Завтра быть полному сбору, а пока хватит. Мы показали березовцам, что программу исполняем при любом количестве посетителей и, кроме того, нет смысла тратить наши пиротехнические знания.

— Туши огни, — крикнул он.

Огни и без того были потушены, потому что керосину удалось купить как раз на полпредставления. Цирк опустел. Я взял было соломенную свою собаку, но Петька Захаров сказал:

— Придется тебе покараулить сегодня. Караульщики — народ, избалованный ярмарочными купцами, они деньги требуют сразу же. Кроме тебя, весь цирк пьян, а мне, директору, неудобно ходить с таким досадным аппаратом...

И он положил передо мною деревянную колотушку.

Я слил остатки керосина в одну лампу и поставил ее в стойло «Мессаута». Когда я выходил на площадь, чтобы постучать в колотушку, я убавлял фитиль, мне хотелось, чтобы огня хватило на всю ночь. Иногда я раскрывал свою тетрадь и вяло пробегал глазами тщательно выписанные строки. Это хорошо, что цирк не получил зрителей, — размышлял я. — Завтра же станет ясно, кто из актеров мои друзья, а кто просто жалкие жулики. Я подбирал фразы, чтобы сказать завтра речь о необходимости итти нам дальше. Я умолчу о далеком и, пожалуй, тяжелом пути через Пеосию, многим из них доступна только Бухара. К тому же какой циркач не мечтает о медали эмира бухарского!

Нубия отвечала мне вздохами. Она стояла через несколько перегородок от меня. Я взял свою лампу и поместился в соседнем с нею стойле. Сидеть с нею вместе я опасался. Но все равно я видел в щель грустные ее глаза. Зачем же ее разрисовывали, зачем везли в клетке, когда ни один зритель не пришел посмотреть на нее! Так же, как и я, она страдала бессонницей.

Я сходил к ней, похлопал ее по шее и высыпал остатки овса. С едою у нас — плохо: я дожевал последнюю краюху, но от этого только почувствовал, что голод увеличивается. К тому же и холодело. Я

грел руки у лампы, а когда стали замерзать ноги, я делал крупной рысью несколько кругов по манежу.

Нубия постукивала копытами в такт моему бегу. Я вернулся к ней и склонил голову свою на завитую ее гриву. Слеза упала из моих глаз.

Поплакав нужное время, я вывел Нубию на манеж, взял бич, и она, весело подпрыгивая, понеслась вокруг меня.

Мешки прорвались в нескольких местах, и свет, фантастический и лунный, о котором мечтал балаганщик Ломов, наполнял сейчас всю арену, в центре которой я стоял. Я махал бичом, а в левой руке трещала деревянная колотушка.

Вдруг широкая дверь в конюшню распахнулась.

Впереди тирольского хора шел пьяный и мокрый Филиппинский. Он размахивал фонарем. Уцепившись за фалду сюртука, распустив гармошку, икал возле него гармонист в студенческом мундире. Пашка Ковалев командовал хором.

— Очистить арену, — сказал он с великим достоинством.

Он и шел, и говорил не быстро и не медленно, он целиком управлял своими движениями. Я никогда не видел его таким: на три роста выше меня. В каждом его слове чувствовалось, что он имеет право так говорить, и вряд ли найдется человек, который посмеет прервать его речь. Он не торопится и не усиливает голоса, потому что он уверен в истине всего, что сейчас скажет:

— Останови лошадь, сейчас мы устроим пир на арене. Они не могли найти способа привлечь зрителя. Сорок лет работают они в балаганах, а первое представление в пустом зале. Вот кто приведет зрителей и продаст билеты.

Он показал рукой на свой хор.

Бледная, остроносая женщина в бордовой юбке, заглядывая ему в лицо, спросила:

— Первые ряды продавать или галерку тоже можно?

— Галерка сама придет, когда продадите первые ряды. Всеволод, тебе говорят, останови ты эту дурацкую лошадь. Пыль от нее!

Он вытер ладонью лицо, сплюнул и со злостью осмотрел Нубию.

— Моя лошадь! — вскричал он вдруг в азарте. — Все мое! Все покупаю, за свои деньги и на свою выдумку. Лошадей, факирские аппараты, компаньонов. Захочу, из факиров наделаю вышибал. Останови лошадь!

Я остановил Нубию как-раз против него. С барьера он схватил ее за гриву и, видимо, только потому, что лошадь стояла неподвижно, он вдруг влез на нее, дабы оттуда продолжать хвастливую свою речь. Хор подобострастно хохотал над каждой его фразой.

Я щелкнул бичом — и Нубия понеслась.

Пашка вспомнил, должно быть, как Нубия возле Шадринска волокла его по кустам. Он уцепился за гриву, лицо его побледнело. Извергая ругательства, он кричал мне:

— Останови, тебе говорят, останови!

Я стоял в центре арены! Я щелкал бичом, крутил его над головой, и он покрывал собой весь манеж, пронеслся над ташкиной головой и мог ударить по лицу каждого, кто бы попытался остановить бешеную нашу лошадь, нашего гэнгэра. Вот она где, охота!

Я кричал, сопровождая каждое слово щелканьем бича:

— Пашенька, помилуй, пощади! Все мы конченные, все мы погибшие, и только ты один вознесся над нами. Спасибо тебе, Пашенька, что ты спас нас. И вы, девицы, радуйтесь, что он нашел вам настоящую работу! Много дней были мы несчастными, а что бы стоило нам поклониться тебе, Пашенька. Теперь и мамаша будет довольна, что наконец ты нашел верное дело и что беспутных своих приятелей поставил к достоверному заработку. Вперед, Нубия, африканский зверь!

— Останови лошадь!..

Нубия черешла в галоп.

Я кричал громко:

— Кто при звездах и при луне так поздно скачет на коне!

Приказчики, дожидавшиеся, когда девицы введут их в цирк, подумали, должно быть, что на арене внезапно оказался хозяин. Пьяные толстые щеки, которых никакая лунная таинственность

не могла уменьшить, показались в дверях:

— Ну, если не в цирке, так мы платим по четвертаку!

Девицы кинулись к дверям.

Я хлестнул бичом возле пашкиных глаз.

Он зажмурился и замолк.

— За четвертак продал ты свои честные намерения, Пашка. Скачи, куда конь не взбесится и не ударит тебя головой о скамейку. Вперед, Нубия, индийская зверюга!

Пашке стало дурно.

Я не убавлял галопа, пока голоса девиц не потерялись среди ярмарочных ларей.

Пашка свалился на манеж и, рыдая, сказал:

— Не бей меня, Всеволод. Я заблуждаюсь, но тут больше виноват Шалыг, этот окаянный шулер... Он мне предложил.

С горячностью, еще не остывшей, я воскликнул, размахивая бичом.

— Насчет шулеров мы поговорим завтра, а сейчас отведи Нубию в конюшню и немедленно усни на соломе, возле ее стойла. Если вздумаешь разыскивать девиц, — убью на месте!

Пашка поспешно уснул.

Приближался нежный пунцовый рассвет. Мне хотелось хорошей и плотной пищи, дружбы и нежного разговора. Я вспоминал тех нежных людей, которых я знал сам или о которых слышал, но не человека нежнее капитана Лянгасова, а этого самого Лянгасова, по моему глубокому убеждению, как-раз совсем и не бывало. Отец мой и все мои родственники утверждали, что капитан Лянгасов стремится обнять все, он даже редко пускался в море, потому что не мог обнять такого обширного пространства. Правда, обятия его мешал живот, на котором никак не сходились штаны, какой бы искусный портной их ни шил, причем в последнее время капитан тратил на штаны до 12 аршин двойного сукна, и все же спустя неделю после обновления в штаны приходилось вшивать клинья. Обширный живот тем не менее не мешал капитану испытывать постоянное чувство удовольствия. Он двигался

медленно, всегда находя время отдохнуть и подумать о прелести передвижения. Так же медленно он двигал и свои корабли, что в японскую войну ему было поставлено даже в заслугу. Он был единственным капитаном, который не погубил своего корабля «Олег», хотя, правда, и не довел его до Цусимы. Корабль развалился. Капитан Лянгасов объяснял это странное происшествие тем, что Индийский океан возле острова Малый Андаман в проливе Десяти Градусов создает тяжелую «вибрацию корпуса корабля», истекающую от силы инерции, от движущих частей машин, не говоря уже о действии винтов, или столовых ложек в кают-компании. Дело в том, что при движении поршня, штока и шатуна вниз, что вы можете проверить хотя бы на штопоре при откупоривании бутылки, — капитан Лянгасов весьма искусно показывал этот пример, — центр тяжести машины хочет опуститься, а когда поршень — «в данном случае рука», — говорил капитан Лянгасов, размахивая штопором, — поднимается вверх, то происходит обратное движение. Таким образом, машина испытывает ряд правильных колебаний согласно числу оборотов вала, и эти колебания могут действовать чрезвычайно разрушающе на связи судна и машины, а если сюда присовокупить второстепенные, мало изученные колебания, как это случилось с ударами волн в Индийском океане, то получится совсем плохо!.. После разрушения корабля «Олег» капитан Лянгасов много думал о вибрации. Он пришел к заключению, что самое важное — это ходить и двигаться по возможности медленно. Испытывая неусышное стремление к малой деятельности, капитан Лянгасов признавал полезной только деятельность празднования. Он постоянно праздновал всяческие радостные события, и обширная жизнь человечества давала к тому много поводов. Кроме того, он считал, что земля должна радоваться его пребыванию в черноземных пространствах, а не в морских волнах, и это подавало тоже повод к множеству праздников. Он постоянно стремился собрать вокруг себя гостей, и естественно, что круг гостей

расширялся, так же, как и его штаны, и в последнее время он потерял совсем и способность, и возможность пуститься в море. Отец мой любил его до чрезвычайности. Капитан Лянгасов постоянно жил возле Самары, на берегу высохшей речки, но однажды проезжал он по подорожной через Лебяжье, и отец мой долго беседовал с ним. Отец мой состоял с ним в постоянной переписке, и письма, которых, к сожалению, я сам не видал, вполне удовлетворяли моего отца, и он ждал только об одном, что не имел возможности услышать в письме некоторые звуки, довольно вытнтые, которые в последнее время капитан Лянгасов научился издавать в нужные моменты посредством уха, причем должно добавить, что ухо он имел самой обыкновенной величины, и оно ничем особым не отличалось от ушей преподавателей гимназии, содержателей ренсковых погребов, философов или астрономов. Отец мой считал капитана Лянгасова своим ближайшим другом — так же, как и обратно. Капитан Лянгасов имел большую семью, много раз разорялся, влюблялся, в молодости его изгонял из дома почтенный папаша, а в зрелых годах находил свое несчастное дитя. Капитан Лянгасов выгодно женился, отбив невесту у своего друга, причем друг даже пытался застрелиться, но в назначенный для смерти день у друга открылась ангина, и он предпочел малиновый отвар свинцовой пуле. Капитан Лянгасов несомненно был многоопытный человек: носки он предпочитал темных цветов, а галстуки имел фабричные, завязанные навечно, ибо завязывание галстуков для мужчины есть предприятие самое несносное, тем более, что они, по утверждению капитана Лянгасова, развязываются в самом неподходящем месте. Однажды капитан Лянгасов, отдавая пасхальные визиты, уронил галстук, и его сгрызла свинья, настоящая пузатая свинья, бурая, с разодраным ухом. Объясните, — спрашивал капитан Лянгасов, — как она могла залезть в пролетку? Отец мой понимал этот ужас капитана Лянгасова и цитировал в таких случаях четвертую часть «Этики» Спинозы, где говорилось, что

добро и зло не показывают ничего положительно в вещах, если их рассматривать самих в себе, а составляют только понятие, образуемое нами путем сравнения вещей друг с другом. Вещь может быть одновременно и хорошей, и дурной, и безразличной. Музыка хороша например для меланхолика, дурна для носящего траур, а для глухого она ни хороша, ни дурна, — то же самое и по отношению к любой свинье и к любому галстуку. Размышляя о добре и зле, отец мой вспоминал попугая Худак, который, как известно, жил у капитана Лянгасова. Иногда отец мой утверждал, что капитан Лянгасов в силу своей нежности научил попугая твердить: «Ах, как прекрасна русская земля! Ах, как прекрасна, если она останется такой навсегда!» Когда попугай летел в свою Африку, то он от нечего делать и твердил эти слова, а русский народ смотрел в небо, слышал этот голос и швырял в попугая разнообразными дешевыми и грязными предметами. Вот почему возвратился Худак, а вовсе не потому, что у него нехватило сил в крыльях для одоления русских просторов!..

## 6

Артисты искали пищу. Цирк до полдня пустовал. Голодала и Нубия. Я спутал ее в ближайшем лесу, перед тем долго смывая в ручье белую краску с ее боков. Затем, после горького размышления, я направился к Белобородову.

Около розовых пряников теснились ребятишки. Сам Белобородов был, пожалуй, привлекательнее пряников. Он стоял в светлосиней рубашке, в желто-зеленом картузе, упершись руками в прилавок. Его соседи по торговле — квасник Стародубский-Тулуп и почтенный шулер Мелентий Талыг — беседовали с ним.

Я приподнял фуражку. Они снисходительно поклонились мне. Тогда я остановился.

— Как торгуете? — спросил я.

Стародубский-Тулуп, похлопывая длинными руками по толстым ногам, рассказывал, как знал он человека, который имел семьдесят шесть медалей

за спасение утопающих. Но важно не то, что он спасал, а важно, кто указывал ему, где и кого нужно спасать. Мне показалось, что он думает, будто я хочу утопиться. Но все равно, — что он ни думай, — я не мог отвести глаз от зачученных мешков.

Белобородов бросил в медную тарелку весов пригоршню заплесневелых пряников. Он моргнул мне. Я поспешно взял пряники.

— Ты не полагай однако, Иванов, что мы всех артистов будем кормить.

— Ты Плутарха читал? — внезапно перебил его Стародубский.

— Нет. Изречения кое-какие записаны.

— И не стоит читать. Возгордишься.

Они одобряют меня! Пряники и Плутарх указывали мне на это. Я сунул заплесневевший пряник в карман и взял из мешка более розовый.

— Не учи его скромности, Стародубский. Может быть, он не о твоей нужде заботится, а об своей, — продолжал Белобородов. — Своим ли ты умом, Иванов, дошел, или по внушению, что в XXII веке, да и то в конце, уличные девицы сгодятся для хора, но не сейчас в Березовском заводе... Каждый знал ее в Екатеринбурге, так что же он свою жену поведет показывать этой девке?

— Зрители даже отказываются мои стрелы счастья поворачивать, — добавил Талыг.

Но все же дела у них, видимо, шли отлично. Они не очень сердились на цирк. Я высказал мысль, что неудача цирка происходит из-за равнодушия компаньонов, не говоря уже об артистах, к знаниям:

— Вот вы стоите трое, а если понадобится написать заявление, то вы еле-еле подпишете свои фамилии, а цирк носит название «XX век»!

Стародубский-Тулуп похвалил меня, немедленно добавив, что в себе-то он имеет хорошие знания, и если ему противно пробовать бурду, которую он выдвывает, то это только от удивительно развитого вкуса на литье и на еду.

— Мало знаний, если ты плохо одет и пальцем чистишь зубы, — сказал Белобородов. — Какие же у тебя знания,

Стародубский, если ты у меня столько конфет задарма поел? Или ты считаешь знанием свои кутежи? Поверите ли, господин Иванов, ходит он из кондитерской в кондитерскую, сядет там перед зеркалом, любит себя, невозможными талантами себя награждает, и кушает он пирожные!

Мелентий Талыг тоже пожелал высказать кое-что о своих знаниях. Он заставил меня быстро загнуть пальцы один на другой, пока он считает до трех: указательный на большой, средний на указательный, безымянный на средний и мизинец на безымянный. Это называется «набережная»! Талыг внимательно наблюдал за моими движениями:

— Большого мастера не выйдет. Парень ты, однако, упорный, пожалуй, в подмастерья дорастешь. Ты мне вечером подмигни, у меня с купчиком одним подвертывается дело. Придешь, полюбуешьсяя.

Он оглядел край леса, вдоль которого с утра неслись черные с желтым тучи.

— Не карты бы мне подделывать, а вот эту уральскую природу, господин Иванов. Смотрю я на эти набухшие тучи, на безобразные эти леса и считаю, что паркам бы здесь быть! Жил я всегда на медяки и ни разу ни среди своих карт, ни среди своей жизни не встречал подстриженного пейзажа.

После пряников во мне прибавилось гордости. Я попросил Белобородова еще раз проверить свои весы. Он промолчал — и я весьма кстати вспомнил, что цирк оставлен мною без присмотра.

Курчавый павлодарец, улыбаясь, подводит к воротам Нубию. Он добыл где-то котелок овса.

— Ты ел сегодня? — спросил он, смеясь так беззаботно, словно позавтракал два раза.

Он похвалил Белобородова, добавив:

— Но тоже скуп. Вот во всем цирке нет ни карандаша, ни керосина...

— Возьми мой карандаш.

— Хотелось — программу синим и красным, чтобы вывесить возле рауса. Краски наш внутренний глаз делают как бы навывкат! Придется удовольство-

ваться черным карандашом, хотя он годится только для людей тонкого вкуса.

— И керосина не дают?

— Какой керосин, когда для цветного карандаша надобно только семь копеек. Я им говорю: если вы полагаете, что мы сожрем ваши семь копеек, так купите его сами. Они ухмыляются и отвечают: надо тебе керосин, так обращайся к зрителю, который пожелает увидеть твое представление! Пусть он несет, а с нас довольно. И главное, Ломов с ними, старинный балаганщик. Печально, Всеволод.

Он, улыбаясь, погладил мое плечо:

— Вот почему нам необходимо быть рядышком. Ты, Всеволод, о пашкиной глупости забудь. Он хотел нам добра. Он поступил, как известное животное, которое способно только ловить мышей. Пожелай оно сделать тебе подарок, оно притащило бы мышью.

Я слушал его с холодным сердцем. Одобрение и пряники, полученные мною от пайщиков, уже заставили меня увидеть себя на манеже, всего обвешенного орденами и медалями, которые уступили мне на этот вечер наши компаньоны, — тем самым они передавали мне огромные свои предания и знания балаганства! Я показываю Нубию, я; может быть, директор...

Петр Захаров явно разговаривал со мной заискивающе. Он хочет подвести мою доброту к тому, чтобы я отказался от директорства! Я улыбался снисходительно. Он хочет меня окрутить вокруг пальца. Очень трудно это сделать, когда призрачной и странной кажется мне моя поездка в Индию. Если бы я действительно хотел побывать там, то я бы давно сходил туда пешком. Ходил же мой отец без особых раздумий в Палестину. Дело в том, что я искал свою профессию, и притом профессию такую, чтобы не показаться в Индии, находящейся и поныне в XVI веке, с моими механизмами и знаниями XX века.

Я посмотрел на тучу и сказал важно:

— Нам ли беспокоиться об несущихся облаках! Ты, Петр, виновен в том, что не почувствовал пашкиного замысла. Наш цирк опозорен, и ты, директор, вместе с ним.

— Правда! Но мы говорим о тебе, Всеволод. Компанионы «XX века» беседовали о тебе, Всеволод. Мне горько сказать, но они признали, что ты не имеешь права избивать артиста, а также крушить нашу дисциплину, выводя ночью лошадей из конюшни.

— Кого я избил?

Пашка показывал синяки.

Вот и сейчас где-нибудь в щель смотрят на меня с ненавистью пашкины глаза, но не это обидно, а то, что все верят ему, а не мне!

Захаров сказал тихо:

— И я не смог защитить тебя, Всеволод, потому что морально я считаю тебя директором. В сущности, процветание «XX века» вызвано твоими машинами!

— Какое уж там процветание, — сказал я скромно.

— Ну, предстоящее процветание. Как бы то ни было, я буду считать тебя морально директором до конца моей жизни, хотя сейчас компанионы и сместили тебя с выступных должностей, определив тебя, Всеволод, во фрак. Но тем не менее ты останешься величайшим изобретателем!

— Значит, меня поставили в коридор?

— Билетером и капельдинером.

— Мне надеть эту штуку?

И я указал на одного из пятерых наших капельдинеров, проходившего мимо нас во фраке чудовищного покроя и цвета: вроде верблюжья шерсть с морковными искрами. Фраки эти горбятся на спине, и у них необычайно длинные и острые фалды, которые постоянно забегают вперед. Г-н Ломов купил шесть этих фраков на аукционе, где шло имущество разорившегося горнозаводчика Степана Чужакина. Фраки куплены по 1 р. 75 коп. за штуку. Чужакин знаменит был скупостью. Он разорился только потому, что боялся пустить отцовский капитал в дело, когда все пускали в невероятные предприятия и получали барыши. Действия его показались столь неразумными, что родственники подали в суд, дабы проверить: не сумасшедший ли? Узнав о суде, С. Чужакин решил найти дело. Он обзавелся кузнечными, слесарными, плотничьими, порт-

новскими, сапожными, пекарными, штукатурными и «чай, сахар и кофе» предприятиями. Он действовал так усердно, что через полгода пошел в молотка. Так вот этот Чужакин сшил своей прислуге фраки из сукна деревенской выделки, которое, по мнению его, отличалось неизносностью.

— Да! У нас есть свободный фрак, Всеволод.

— И даже в этом фраке ты морально будешь считать меня директором?

— В сумасшедшем халате ты останешься для меня им, Всеволод.

— Ну, Петро, ты — месторождение редкой доброты.

Он не понял ни моей рифмы, ни моей насмешки. Улыбаясь, он поцеловал меня в щеку. Из стойла выбежал Пашка Ковалев. Он жал мне руку. Грозный мастер Иоанн остановился возле нас, тщательно рассматривая наше рукопожатие. Лицо его изображало голод, но все-таки он имел сил спросить:

— Как же насчет снарядов, Иванов?

Я ответил:

— Снаряда не предвидится.

Мастер Иоанн зарычал:

— А кроме снаряда, имеется во мне потребность мяса. Понимаешь ли ты, Петр, мне надо мяса! Я могу сейчас два пуда мяса съесть. Ты это разбираешь или нет, Петр? Я сегодня всю ночь хожу по Березовску и думаю: уговорили меня выступить в ребячьих штанишках и намазали мне морду взбитым мылом, отчего? Оттого, что в брюхе у меня нету мяса.

Он вытянул руки, жилистые и крепкие:

— Разве эти снаряды не нужны? Они все могут сделать! Весь мир, небось, не верит, что можно выпустить двести механических коней, а я их выпущу.

Голос его грохотал под сводами цирка.

Полузажмурившись, покачиваясь, Петр Захаров слушал его:

— Ну, какой голос. Всеволод, какой великодушный голос! Если бы ему выдавать по два фунта мяса в день, да еще прибавить пять фунтов гречневой каши, да полфунта масла, да овощей фунтов десять, ах, что бы он наделал, Всеволод!

Захаров вдруг широко открыл строгие свои очи:

— Я сам, почтенный наш мастер Иоани, не кушал со вчерашнего дня. А я тоже люблю мясо.

— На то ты и директор, а мне нельзя без мяса.

— Однако я выйду на раус, и представление состоится. Я вас прошу подумать над тем, чем отличаются артисты цирка от артистов балагана. Артист цирка специализируется на одном номере. Артист балагана исполняет все! Он работает и на перше, и на турнике, он и клоун, и участвует в пантомиме, и ухаживает за лошадьми, и сидит в кассе, и дерется в случае неудачи со зрителями, и зашивает, если понадобится, мешечную крышу. Кроме того, он должен голодать, в то же время думая о своем балагане, как соловей. Ибо посадили соловья в пуховую постель, а он просится в кустарник...

— В пуховой постели его ведь не кормили изречениями.

Захаров перевел строгие свои очи на меня:

— Для капельдинера ты чересчур резко рассуждаешь, Всеволод. Кроме того, мы просим снять эту дурацкую бархатную куртку и надеть твою униформу.

Пашка Ковалев в моем позоре увидал свое возвышение. Взвизгнув, он спросил:

— А ты приказал, чтобы мне сегодня к чаю подали баранок и варенья?

— На серебряном блюде, — сказал я.

— Молчи и умирай, Павел. Благодаря твоему поведению ярмарочное мещанство презирает наш цирк, считая его переездным домом терпимости. Мамаши не пускают дочерей. Жены бранят мужей. Вся надежда на холостяков, но кто надеется на холостяков!

Глаза его засияли. Выдумка осенила его!

— Вся надежда на бодрый разум, — воскликнул он.

Он поцеловал Пашку в щеку и велел пригласить тирольский хор.

Он глубоко вздохнул. Он улыбался. Доброта и тепло широко лились от него. Было ясно, что ему жаль хористок, безвианных и зря презираемых. Он ласково

посмотрел в их встревоженные лица, и они немедленно поняли его доброту. Они полагали, что сейчас их погонят и, может быть, даже избыют. Они боялись компаньонов, а больше всех Талыга, вокруг которого вертелись ярмарочные воришки и хулиганы.

— Вы пошли в хор, думаю, не потому, что вам хотелось петь тирольские песни?

Он слегка гордился своей добротой и выдумками. Он прошелся перед двенадцатью хористками, погладил свои волосы и сказал несколько фраз, мало относящихся к делу, преимущественно об наводнении Нила и о гэнтэре Нубии. Он признавал необходимым подобное отступление, потому что можно таким образом преподать несколько полезных истин, которые впоследствии сгодятся.

Он быстро вернулся к судьбе хористок:

— Если бы вы хорошо питались, то, говоря о вчерашнем приключении, я бы подумал, что у вас заиграла кровь!..

Куда хочет двинуть их Петр Захаров? Фраков вряд ли хватит. Милостыню собирать, все равно никто не подаст. Я завидовал его уму.

— Однако наша пища не позволяет мне думать так, как мне хотелось бы. Но и в нашей пище есть свои большие достоинства. Благодаря ей, имеется возможность так изморить себя, что мы превратимся в щепки, а когда наполнимся свежей кровью, то все былые увлечения останутся в том «щепном» нашем существовании. Мы устремимся к иной профессии! Конечно важно соблюсти себя так, чтобы действительно не превратиться в щепку навсегда, то-есть подохнуть. Я уже чувствую, что мы перегораем, что еще день-два, мы перегорим совсем, и тогда начнется рождение новой крови. Парни, которые только еще вчера ходили вокруг вас, наполненные блудом...

Голос его возвышался. Он был наполнен добротой. Нет, не капельдинерами им быть, — сказал я про себя, а, наверно, он придумал нечто вроде монастыря, потому что, как я по себе заметил, голод способствует весьма странным выдумкам.

— Парни, которые вчера блудили, сегодня женятся на вас! Мещане повалят валом на ваше представление! Ибо тяжесть работы, которую вы исполняете, удалит от вас какие бы то ни было подозрения о распутстве. Таким образом, тирольско-славянский хор не существует, так же, как и не существует балалаечник Ковалев.

Любопытство овладело мною:

— Не вижу возможности придумать что-нибудь реальное, Петр.

— Капельдинер Иванов, не вмешивайся в чужие дела, а скромно проверяй билеты. Я не выдумываю, а приказываю. Хор отменяется. Вечером вступает в дело чемпионат французской женской борьбы! Распределение чемпионов по странам вы получите через час. Вы, Иоанн Михайлов, боретесь с этим чемпионатом согласно правилу, по которому мы когда-то боролись, то-есть вы падаете от каждого, с тем, чтобы, если любитель пожелал бороться с каким-либо из чемпионов, мы предварительно направляем его на вас, как на самого слабого.

— Ты полагаешь, Петр, что твоя выдумка привлечет зрителей?

— Капельдинер, я штрафую вас на дневной заработок. Но тем не менее вопрос капельдинера остается вопросом всех, и я отвечаю. Одно дело — уличная девица, другое — чемпион целой страны, например Дании. Каждому парню любопытно жениться на целой стране. Я не утверждаю, что будут свадьбы, но женихи — обязательно. Каждому из женихов, помимо игры на его тщеславии, дирекция, в случае его верности, обещает в конце сезона сто рублей приданого, а пока выдает расписки. Борцы, обзаводитесь женихами! Ковалев, заготовь расписки.

Слезы капали у него из глаз. Он глубоко любил каждую невесту. Он желал ей счастья и доброй семейной жизни. Он будет уничтожать ссоры между женихом и невестой и к вечеру уже для этого будет знать историю жизни каждой и ее желания.

— Французская борьба — не развлечение, а тяжелая работа. Я убежден, что борцы прекратят пить. Правда, не-

которые из них прекратят пить еще и оттого, что возникнет соперничество: каждому захочется сохранить свои силы, дабы выделиться и быть чемпионом Урала. Борцы работают без сговора, вчистую! Один только мастер Иоанн ложится по сговору. Все-таки я утверждаю, что каждому борцу будет лестно подумать, что он в полминуты уложил на лопатки детину десяти пудов весом, сибирского богатыря!

— В полминуты? — переспросил хмурым Иоанн.

— Ты прав, Иоанн, полминуты мало. Зритель не поверит. Семи минут достаточно?

— Суток мне, и то недостаточно.

Иоанн от голода и негодования перепутал петькину выдумку с моей, — или я вздыхал чересчур сострадательно, но, как бы то ни было, он вдруг положил тяжелые свои руки ко мне на плечи.

Колени мои подогнулись, и я глухо отозвался:

— Перестань баловаться!

Голос Иоанна гудел надо мной:

— И тебе, Всеволод, никак не побороть меня!

Голос его поднимался к вышине в то время, как я опускался.

— А им меня тем более не побороть!!

— Я вас прошу разговаривать не с капельдинерами, господин Михайлов, а с директорами. Вы подписали контракт, и скоро получите необходимое вам мясо.

Петр Захаров сказал это чрезвычайно сухо и строго:

— И хотя нет керосина и нет даже цветного карандаша, тем не менее представление состоится, и вы, мастер Иоанн, боретесь.

— Не буду я бороться, — сказал мастер Иоанн.

Вдруг мы услышали медленный голос Филиппинского, который сказал:

— Я борюсь.

Петра Захарова трудно даже удивить быстрым соображением Филиппинского. Он сказал спокойно, как будто давно ожидал эту фразу:

— Конец труда — радость. Конец торговли — долги. Боясь долгов, вы направились в цирк, Филиппинский, и

долги, Филиппинский, дали вам решимость. Вы же, мастер Иоанн, скоро поступите, как кот, который, тщетно пытаясь пробраться в корзину с мясом, сказал: «А я и забыл, что сегодня день постный».

— Не побороть вам меня!

Филиппинский держал в руках телеграмму и от волнения так покрылся испариной, что вся телеграмма была влажной. Ему сообщали, что выехала жена. Она решила, что с циркачом быть более выгодно, чем торговать. Филиппинский трепетал и того, что мелочная торговля в его отсутствие будет разорена, что цирковые соблазны потрясут верность его жены, а кроме того, он боялся труда, с которым нужно добиваться физической цельности, которая сравнивала бы его с циркачами. Он топтался на одном месте, описывая ногой такие круги, что казалось, ему скоро нехватит циркового манежа, и все-таки он повторил:

— Я буду бороться согласно ваших требований.

## 7

Антон Егорович Похлебаев появился к нам из Верх-Исетского завода, с улицы Опалихи. Едва только я попытался разглядеть его широкое лицо и крошечные ножки, как он навалился на меня с подробными рассказами о своей жизни. Прикладывая руку к сердцу и вытянув губы, он жаловался на своих жадных братьев:

— Они думают, счастье себе нашли! Нет, я с вами померяюсь. Вначале я всем расскажу про вашу грубость...

О дружной семье Похлебаевых у нас много говорилось в балагане. Братьям завидовали. Весь их балаган был наполнен только одними актерами: «похлебаевцами». Они никогда не ссорились, из рода в род передавали друг другу балаганные тайны.

— А ты зачем тут в этакое грустном фраке? — спросил он меня.

Но он не слышал моего ответа. Он опять вернулся к братьям: «Вот умер отец, и ссоры увеличились. Это для других мы говорили, что между нами

нету ссор, а на самом деле ругались с утра до вечера». Выстроили они в Режевском заводе балаган, и произошла такая ссора, что Антон Похлебаев получил балаган, а братья уехали прочь с остальным имуществом.

— Вот я и приехал за вами. Почему иметь десять хозяев, когда лучше одного?

Возле него уже стоял улыбающийся Петр Захаров.

— Чем тебе труппу набирать, поступай к нам. О братьях скажешь, что уехали они на пароходе «Цесаревич» в Астрахань.

— Наш род похлебаевский идет от древних скоморохов, которые при удельных князьях кружились. Я чувствую сборы в Режевске, а здесь вы зрителей испортили.

— Ой, Похлебаев, вступай лучше с нами в компанию!

— Надоели мне компании, хочу быть хозяином. Вы своим скажите по балагану, что буду я завтра с восходом сидеть на тракте в Режевск. Будет лежать возле меня в корзине по три фунта черного хлеба на человека, да четверть фунта свиного сала, да бабам будет выдано по французской булке. Скушаете вы это, перекреститесь на восход и пойдете прямо в мой балаган. Ходу, кажись, верст семьдесят, а жалованье назначу на подмостках.

О появлении почтенного балаганщика скоро узнал весь «XX век». Компаньоны увидели здесь хитрость и встревожились. Они потребовали, чтобы раусные выступления были, как у всех людей.

Меня не только согнали с рауса, но не дали даже стоять у входа, а велели привести в порядок конюшни.

Я вычистил скребницей Нубию. Перенес в ее стойло принадлежащие мне осколок зеркала, тетради с «мыслями» и соломенную мою собаку. Я сколотил койку и повесил над ней зеркало, а затем попытался исправить перед ним неотступно торчащие вперед фалды фрака.

В зеркале я увидел длинные косы Платониды Ломовой. Глаза у ней обиженные. Она раскачивала жердь, за

которой стояла Нубия, и, глядя в грустные лошадиные глаза, передавала о ссоре с благоразумной своей сестрой Василисой:

— Пойдем, говорит, к Похлебаеву. Дело, говорит, наше невыгодное, не получить тебе, Платонида, праздничной жизни, да и к тому же муж твой будущий плохо работает.

— А кто твой будущий муж?

Вопрос показался ей забавным. Она рассмеялась и сразу забыла все огорчения. Она передразнивала сестру, как та любит «наведываться» к подругам, чтобы покушать чего-нибудь даром. Все думают, что Василисины косы лучше платонидиных, а того не понимают, что она начесывает каждый день пригоршню выпадающих волос. Чешет и плачет, чешет и плачет. Вот так! Она показала, как плачет Василиса, и тут же забыла про нее.

— А ты в русалок веришь? — вдруг спросила она.

Я рассмеялся таким же легким смехом, как и она.

— А как наши билеты продаются?

Мне хотелось отделаться от забот, чтобы смеяться еще легче.

Не отвечая мне, она продолжала.

— А я вот и в русалок верю и в лешиев.

Она неожиданно потрепала меня по щеке. Это движение указывало мне, что билетов продано много. Я вспрыгнул на койку, положил нога на ногу, подставил локоть и, упершись в ладонь подбородком, слушал ее внимательно:

— На каждой версте сидит леший, который управляет своим участком. Иначе откуда же быть порядку в лесу? Или, скажем, русалка. Если в воде не наблюдать за делом, так ведь щука всю рыбу сожрет. Она и проворная, и сильнющая, и зубы вон у ней какие. А почему щук мало? Из лишних щук русалки делают себе пироги по воскресеньям. Ты вечером боишься выходить? А я вот боюсь, вдруг в лес попаду. Мне в лесу не ужиться, я шум городской люблю. Вот где мне не страшно.

Ее вопрос о вечере совсем взволновал меня.

— Уже вечер, — сказал я.

Я обнял ее и поцеловал. Положив голову ко мне на грудь, она смотрела на Нубию:

— А лошади целуются? Я вот целоваться люблю. А ты?

— Жених тебя не ревнует, если ты со всеми целуешься?

Я уже ревновал ее.

— Лягаев? Если ему ехать надо, так он не думает, стоит ли ехать, а прыгает прямо в поезд. Ревность, Сиволот, требует размышлений.

Платонида поцеловала меня. Я подумал, что Лягаев совсем ничтожный человек. Он действительно беззаботно брался за все, что хоть сколько-нибудь казалось ему горячим, пылким и на чем он мог выиграть. Он охотник и любит бродить возле озер. Перед тем, как отправиться, он спорит с кем-нибудь, сколько же будет настреляно им уток.

— Он говорит и даже спор держит на триста рублей, что если цирк здесь до зимы доживет, то обложит берлогу, достанет медведей, выдрессирует их, и наступит тогда праздничная для меня жизнь, Всеволод. Мы тебя кучером возьмем. Вот если бы нашелся кто с Лягаевым на триста рублей поспорить.

— Не верь ты ему, Платонида.

Она поцеловала меня еще раз.

— А сейчас медвежонка можно достать?

Она перебрала косы к себе на грудь. Я взял тяжелую косу в руку.

Вошел Лягаев в кубовом трико и спросил строго:

— Выходит?

— Плохо.

— А ты постарайся, Платонида. Кабы не компанейское дело, да я тут кстати и спор держу на трешку, что будет у нас бочка керосина...

Он поправил над моей головой обломок зеркала, ласково поправил мои волосы и воротник рубашки:

— Старайся, Платонида. В нашем деле самое главное — первое представление.

— Противно мне.

— Мало ли что кому противно. Керосин дороже поцелуев.

Изречение это не относилось ко мне, но я все-таки обиделся за поцелуй. Я

хотел было встать, но горячности моей мешала его мускулистая фигура. Я прищурил глаза и сказал спокойно:

— Бывают такие поцелуи, которые навеки остаются в памяти.

— Кухтерина, керосинщика, знаешь? Пускай, говорит, меня эта длинноносая поцелует, а я керосин отолью. А как нам без керосина открывать представление? Платонида, видишь ли ты, воспротивилась. Ну, я и говорю: попробуй на нашем капельдинере, у него морда с кухтеринской схожая.

Так вот почему она жмурила свои глаза, а если открывала, то глядела на Нубию. Гнев охватил меня.

Она повернулась ко мне лицом:

— Схожая, верно. Э, раз я его поцеловала, так и Кухтерина!

Она убежала.

Лягаев морщит высокое лицо, похожее на колокольню. Рот у него черный, как подвал. Он говорит, не обращая на меня внимания, а чтобы высказать то, что назначено было для Платониды:

— Разве здесь азарт? Я предлагаю Кухтерину сыграть со мной в карты на мою невесту. Он мне пыхтит: зачем мне в карты, когда я могу в обмен на керосин.

— И тебе не стыдно?

Он смеется, вспоминая толстое кухтеринское лицо. Скворода, а не лицо!

Я говорю грозно:

— Если ты оживляешься только при азарте, то давай сыграем со мной на смерть.

— На смерть?

— Тот, кто проиграет, умрет.

— Значит, мне играть больше не придется, если я тебе только один раз проиграю? Дорогой мой, но ведь проигрыш иногда зависит от случайности. Да диву, кому-нибудь проиграть дельному, а то просто копии. Это уж не азарт, а глупость.

— Поцелуи невесты продавать не глупость?

— Я становлюсь рядом и наблюдаю за кухтеринскими поцелуями. Он же керосин платит, какая же тут глупость.

На скорбный мой голос вошел клоун Анисим Щукин. Он очень уважает ав-

торитет. Например он почитает Льва Толстого, хотя романы его «ерунда». Романы Лев Толстой писал только для того, чтобы привлечь внимание к своим проповедям. Щукин любить повторять: «В церкви попы музыки вводят, хоры почти светские. Надо же привлекать прихожан! Вот и Лев Толстой романы свои вроде музыки...»

Он поправляет мне фалды фрака и говорит:

— Скоро тебя выгонят, господин Иванов. Фрак наряжают всегда перед тем, как выгнать. Мне тебя жалко, но лучше уж тебя выгнать, чем страдать целую жизнь. Ты проповедей-то не понимаешь. Я бы и сам давно ушел, не помогай бы мне балаган передавать проповеди Льва Толстого.

Соблезнование его только злит меня:

— Сколько билетов продали, Анисим?

— Пятьдесят, Всеволод.

Лягаев хочет поспорить, — он утверждает, что нонче продадут двести билетов. Анисим пыгается ему рассказать что-то из «Краткого изложения евангелия». Говорит он длинно и скучно, по несколько раз повторяя одну и ту же фразу. Закончив мысль, он кашляет, глотает слюну, сморкается и вытирает узкий и бледный лоб.

— Врешь, врешь! — восклицает Лягаев. — По полтиннику спорю, что уж забыл ты сказанное.

Анисим повторяет снова. Лягаев утверждает, что неправильно, и тогда они просят меня разобрать их спор. Мне противно смотреть на них.

У дверей скрипит телега, и пнусавый голос спрашивает:

— Куда тут бочку скатить?

Шестьдесят первый билет купил торговец Кухтерин! Он приехал за билетом в телеге, окованной железом и запряженной промадной волосатой лошастью. На бочке керосина сидит Платонида Ломова. Как безобразен купец! У него круглое опухшее лицо, з которого, как говорит Лягаев, «можно бить без промаха». Рыженькие усики торчат над толстой синей губой. Он навеселе.

Мы ставим на телегу горбыли, и купец командует:

— Катите мои поцелуи!

— Что ж, если похож, так пусть похож, — твержу я, помогая скатывать тяжелую бочку. Я решил утопить горечь свою в работе. Вот сейчас скачу бочку, заправлю лампы, выпачкаюсь в керосине, чтобы ни одна душа не вздумала поцеловать меня. Я принес воронку, ковш, лампы. Я наполнил ковш керосином, но переливы его показались мне странными. Я обмокнул руку и понюхал. — Вода, — крикнул я. — Нас обманули!

Я поотянул руку к Платониде:

— Прежде, чем целоваться, проверьте ваше получение.

Купец захохотал.

Платонида держала косу в руках, и слезы падали на ее волосы.

— Парень смысленый, — кричал вставший со мной рядом купец, — и ты, девка, слушай его, а за меня моли бога, потому что увидала неиспорченного челогека.

Он выхватил из-под полы две четверти, наполненные керосином. Смеясь, поставил он их на пол. Он доволен своей выдумкой. Фигура его сразу стала тоньше, строже и, пожалуй, менее безобразна. Я подумал, что строгость будет мне больше к лицу.

— На раус, на раус! — вбежал со звонком Петр Захаров.

Целый день раус вопил о женском чемпионате. Двадцать мальчишек под звуки трещотки носили по ярмарке портреты борцов и акробатов. Лягаев проиграл. Билетов продали только 65.

Петр Захаров предложил зрителям пересест в первые ряды. Он сказал мне на ухо, что завтра березовские жители будут говорить, что на представлении присутствовали самые состоятельные люди.

— Завтра пожелают остальные посмотреть, что же видели состоятельные люди!

Я зажег лампы. Гармонист заиграл. Один из капельдинеров помогал ему на балалайке, а другой чирикал на скрипке. Я остановился возле манежа, и в проходе был уже виден первый номер — клоун Анисим.

Вокруг балагана носился ветер. Он швырял в горбыли спичечными коробка-

ми, окурками, подсолнечной шелухой. Тучи, теперь уже совсем сизые, выскочили из-за леса и закружились над ярмаркой. Буря походила на громадный штопор. Она заворачивала деревья, неслась с визгом мимо наших дверей, и вдруг упал гром, словно выдернули с треском пробку, — и все это произошло над мешечной нашей крышей.

— Господин Иванов, что вы здесь делаете? — пища и корча рожки, хотел было перепрыгнуть через манеж клоун Анисим, но тут как-раз над его затылком треснули мешки, и неизмеримое количество дождя повалилось на его колапак, атласный, цвета аметиста.

Крыша долго не спорила с бурей. Она лопнула и по шву, и без шва, словно торопясь пропустить возможно больше дождя. Мгновенно на арене образовалось озеро, и зрители, разинув рты, смотрели, как вода перехлестнулась через барьер и поползла к их ногам. Лампы шипели.

— Керосин-то с водой! — крикнул Кухтерину, указывая на лампы, Петр Захаров.

Он не унывал. Зрители вскочили, но курчавый павлодарец, в полном костюме и гриме, прыгнул в воду, взмахнул шамбарьером и сказал:

— Сама природа требует, чтобы вы заняли места согласно взятых билетов. Мы переставляем отделение. Будет наоборот. Представление начнется с водяной пантомимы.

Зрители все же покинули нас.

Как меня ни обижали, но я не радовался разорению. Кроме того, я надеялся, что после представления нам удастся покушать. Когда закрутил ветер и ярмарка стала закрывать лари, я зашел к Белобородову. Он сказал, что дешевые сорта пряников распроданы, а коврижкой он, да и то в крайнем случае, попотчет архиерея, а не голодного капельдинера:

— Балаган имеет, господин Иванов, две профессии, хотя и обе чеканят монету. Первую поощряет закон, но она плохо кормит, вторую закон преследует, она опасна, но благодаря ей вы наденете узорные рубахи и шелковые носки. Наблюдают за своими руками, господин

Иванов. Вот вам стыдно просить пряники, но если бы вы у меня умело украли коврижку, я бы одобрил вас.

Пока мы осматривали разрушения, произведенные дождем, на манеже появился пьяный и действительно грозный Иоанн Михайлов. Благодаря разорванной крыше своды цирка увеличились, но все равно они не уменьшили его голоса. Так как капельдинер не особенно обязан заботиться о цирке, то, услышав этот голос, я направился на галерку, чтобы оттуда с полным удобством наблюдать за действиями грозного мастера.

Михайлов умел не только строить, но и разрушать! Размахивая громадной плахой, он ревел:

— Обманули! С кем я подписывал контракт? Меня будет бороть пустоголовый Сиволот и катеринбургские девки!

Я похвалил свою прудумоттельность и, чтобы не раскаиваться в ней, подвинулся к дверям. Мне жалко было мастера Иоанна, который мог в гневе разрушить не только цирк, но и чью-нибудь голову.

Трещали скамейки. Щепы, тряпки, лампы летели во все стороны. Разрушив все окружающее, Иоанн побежал в коридор. Затем через сцену с багровым лицом, описывая обеими ногами невероятные круги, проскочил Филиппинский. Он давно скрылся, но мы все еще слышали его пыхтение. Мастер Иоанн вытащил на манеж все мои препараты, над которыми он так долго и тщательно трудился.

Неустршимый курчавый павлодарец шел позади него. Весь цирк разбежался, в том числе и я, потому что хотя я и видел разрушение, но действовать не мог, да и не очень хотел.

— Прошу тебя, Иоанн, ломай половчее. Я полагаю, что твои силы еще сегодня годятся. Если арена не высохнет, будем бороться под открытым небом. Представление состоится!

— Меня не укротишь выдумками, — крикнул Иоанн, столь ловко ударил плахой по уцелевшим лампам, что все они мгновенно потухли, раскололись и выпустили из себя керосин.

Этот удар, казалось, расколол тучи, потому что над цирком появилась луна.

— Лихо бьет, — сказал Петька. — придется использовать в аттракционе твой удар. Вот жалко, нельзя использовать, как ты водку пьешь. Жернова, что ли, тебе раскалывать? Много у нас в цирке чугунных голов, но у всех крепость слабая. На чьей же?

Да, этого курчавого человека, похожего на пряник, ничем не смутишь. Цирк явно прогорел. Того и гляди, прибегут плотники и маляры, которых направит на нас Белобородов. Они уже точат свои кулаки. А Петр Захаров, вместо того, чтобы поберечь силы Иоанна для нашей защиты, придумывает ему свежий аттракцион. Глаза господина директора сияют. Он весь наполнился румянцем, он улыбается и любит тем, как ловко мастер Иоанн громит цирк, хотя раньше никогда не занимался подобным делом:

— И ребром, главное, бьет, обратите внимание!

Петр Захаров смотрит на веревки, которые свисают с крыши цирка. Они закрепляли мешки. Ветер и дождь унесли мешки, а веревки новые, и знамениты они тем, что куплены компаньонами в наличный расчет.

— Чувствую, что от цирка оставишь ты, Иоанн, одни веревки. Топоры я попрятал, не плахой же тебе их рубить!

Захаров весело выкрикнул:

— Мастер Иоанн, ты колешь жернова на голове Нубии! Всеволод, затоготовляй афишу.

Мастер Иоанн был так потрясен этой выдумкой, что выпустил плаху. Хмель и негодование покинули его голову.

Петр Захаров тотчас же построжал. Он прыгнул на плаху, топнул ногой.

— Собирай имущество, а главное, веревки. Там по дороге свяжем. Представление отменяется, мы уходим рано на рассвете.

На его голос собрались артисты. Компаньоны, оказалось, уже скрылись из Березовска. С нами остались только Ломовы и мадам Татарина, которая хотела, чтобы женихи шли вместе с Платонидой и Василисой. Компаньоны увезли весь реквизит, и у нас остались две шпаги с маркою «Омск», Нубия, несколько

одеял и ворох новеньких желтых веревочек.

Мы вышли на цыпочках из Березовска ранним травянисто-зеленым утром.

На Режевском тракте нас встретил с большой корзиной у ног Антон Похлебаев. Мы оживились, увидев эту корзину, и я подумал, что в сущности не ради ли этой корзины мы столь торопливо покинули остов цирка.

Мы получили три фунта черного хлеба, четверть фунта свиного сала и сверх того по печеному яйцу. Похлебаев сказал наставительно:

— Не обжирайтесь, а то брюхо заболит. Ешьте малыми порциями. Дальше дорогу себе указывайте сами, а я вас встречу возле балагана.

Он подхватил мадам Татариннову под руку, и они скрылись в переулочке среди плетней.

Не долго мы рассматривали предстоящую дорогу, голодную и холодную. Петр Захаров торопил нас, попрекая полученной краюхой хлеба, а Нубию горшком овса.

— Мыла еще не пожелаете ли?

Он крутился возле грозного мастера, который волок огромный узел веревок.

— Наивный, так ты их позади и потащишь? Каждая вещь способна накормить доотвалу.

— На-кося, — сказал мастер Иоанн, сделал простодушный жест рукою и направило вперед.

Петр Захаров шел со мною рядом, размышляя:

— Похлебаев зря в балаган не пригласит. У них там снаряжения имеются, нам бы лишь добраться. Вот только как поступить с веревками? Что бы такое придумать?

Версты три он шагал молча, то быстро, то медленно. Затем он запел и опять вернулся ко мне.

— Толпой идут. Дорога заросла, а они все-таки ухитряются поднимать пыль!

Дорога еле обозначалась среди чистых и зеленых трав, упиравшихся в пурпуровое небо. Утро было веселое. Мы отлично поели, и крутая бодрость владела

нами. Опять я шел впереди всех, мурлыкая легкие и необходимые куплеты. За мной шагали Ломовы, Капитолина Пономарева, раньше модистка, а ныне певица тирольского хора, Лягаев и клоун Анисим Щукин, Алексей Жулистов, весьма одобрительно поглядывавший в уральское небо, одетое в такую отличную форму, графолог Тиунцев, Николай Дурасов, что — турник и прыгун, вздыхал Павел Ковалев, Мастер Иоанн шагал в стороне, смеялся хористки, капельдинеры шутили солидным басом, а позади всех, возле Нубии, тащился К. С. Филиппинский.

— Веревки, мастер Иоанн, связать! — воскликнул вдруг Петр Захаров. — Что это тащатся кучей? Пусть за узел возьмется один человек, а другую руку протянет.

— Репетиция хороша, когда предстоит обед, а мы только позавтракали.

— Капельдинер Иванов, научитесь размышлять подалее от завтрака. Репетиция будет одновременно и обедом. Протянутая веревка и наши руки будут напоминать жителям села о подачии!

Неутомимый павлодарец не мог жить без выдумки! Мы рассмеялись и согласились дотянуть руку. Будь нас поменьше, мы бы не так стеснялись, а в одиночку наверное каждый бы попросил милостыню.

Однако мы прошли село, хотя и держась за узлы веревки, но не поднимая руки. Мы растянулись чуть ли не на полкилометра, и все село выбежало нас смотреть. Впереди шел, держа конец веревки, Петр Захаров, а за ним, положив веревку на плечо, откинув назад голову, играл, напевая какой-то странничий стих, балаганный наш слепой гармонист. Его куртка, студенческая и рваная, сияла на солнце.

Мы весело и торопливо вошли в село Кутёпы, где нам предстояло протянуть руки. Петр сосчитал до трех раз. Веревка лежала у наших ног. Он свистнул. Мы наклонились, подняли веревку, одновременно протянув правую руку. Мы шли довольно стройно, крепко держась за узлы, мимо окон, правой стороной улицы, крича:

— Подайте милостыньку прогоревшим!

Полагаю, лица наши были чересчур веселы: подали лишь Филиппинскому и мастеру Иоанну, да и то навряд ли из жалости, а больше боясь страшных их прабирательских рож.

За селом, — совсем зря! — наши лица погрустнели.

— Вспомните этот проход, когда увидите Нанизье, — сказал Петька.

Мы запылились и к селу Нанизье приблизились вместе с вечером и весьма страдающим желудком.

Нанизье лежит «на подоле горы». Из труб к широкому оранжевому солнцу шел голубой дым. Наши ноздри жадно вдыхали запах близкой пищи.

Мы выровнялись. Петька привязал веревку к поясу: он решил для нашего ободрения итти с обеними протянутыми руками. Сейчас он щитком приложил ладонь к глазам и осмотрел длинную нашу цепь.

— Передай по линии, чтобы вспомнили прошлый проход! И подольше тоски. Кричи, студент: тоски!..

— Тоски, тоски, — проповили мы по всей нашей линии.

Мне довелось стоять десятым. Я прокричал весьма старательно и справедливо это требование тоски.

Петр спросил:

— А Нубия как? Морда у ней грустная?

— Грустнее всех, — отозвался Филиппинский.

— Помните о Нубии! Вперед!

Веревка дрожала, извивалась.

Мы поравнялись с церковью, за которой начиналось село.

Из рожи, что окутывала кладбище и церковь, выскочил верхом на пузатой лошаденке урядник с коротенькими усиками, бледным носиком и чрезвычайно солидным голосом.

Пузатый конь его уперся в грудь Петру Захарову.

— Что вы за люди?

— Это не люди, — ответил спокойно Захаров, — это пространство, занимаемое голодной вещью, пространство, все время текущее, ибо вещь гонят, не давая ей возможности покушать.

— Не давай мне возможности угадывать! — воскликнул урядник, поправляя кушак и привставая на стременах.

Он осмотрел длинную нашу цепь. Лицо его стало вдруг желто-зеленым. Он опустил в седло, от грязи и ветхости почти фиолетовое, и вяло сказал:

— Прекрати!

Он слез с коня, глубоко вздохнул и, держа руку на луке седла, чем как бы храня свою официальность, спросил совсем по-другому: дискантом и нерешительно.

— Закурить нет ли?

Он жадно затянулся и сказал уныло:

— Жил я человек-человеком, по воскресеньям даже пироги с маком ел и каждый день спал с удовольствием и сколько могу. Ты бы посмотрел, какая у меня нонче рассада. Да и весь участок мой просто был всегда спокойный, как огород. А вот с этой весны начиная, когда снег растаял, заныло мое сердце! Ну, думаю, встретишь ты, Трофим Абрамович, горе. Жду. А горя нет. Наоборот, полный порядок. Сон у меня улучшился, желудок тоже, — и вдруг сообщают мне: идет, говорят, твоим участком веревка.

Он взял из рук Захарова веревку, поднес ее к глазам и скорбно кинул обратно.

— Тут у меня сердце лопнуло. Ну, думаю, появилась! Почему веревка? Почему, я спрашиваю тебя, крапивная твоя душа, веревка?

— Если ты не умеешь размышлять, так лучше не спрашивай, — ответил Петр. — Очень странные получишь ответы.

— Какие ж могут быть странные ответы?

— А выйдет тебе предсказание повеситься.

Урядник побледнел, отбросил папироску и вскочил в седло.

Опять он оглядел нашу цепь и даже слегка зажмурился от горьких предчувствий:

— Разве добром нельзя просить?

— Попробуй, — сказал Петр.

— И попробую!

Он повернул коня, крикнув нам:

— В полуоборот за мной!

Мы, путаясь в нашей веревке, толпой побежали за пузатой лошадкой урядника.

Он охал, всплескивал руками, плевался и неимоверно стегал коня.

Он проскакал через всю деревню, ударя нагайкой по ставням и крича:

— Подавай нищим, сукины вы дети!

Далеко внизу осталась церковь и роща.

Он остановил коня и опять солидным голосом сказал:

— Видали, как милостыню просить надо? А веревку давайте мне. Я ее сожгу, окающую, чтобы она меня не смущала. Сейчас вы вернетесь в село, соберите положенную вам милостыню, и чтобы в прочих селах моего участка, буде понадобится, собирать, как собирают прочие нищие! И почему у вас сумы нету?

Он перекинул веревки через седло и поскакал от нас.

Он обернулся. Лицо у него опять испуганное, и Платонида Ломова сказала убежденно:

— Он в леших верит!

Урядник поскакал вновь к нам.

Опять конь уперся в петькину грудь.

— Почему, спрашиваю, сумы у вас нет? Кстати, уж я и протокол составлю.

Он воззрился на слепого нашего гармониста:

— Кто ты такой, студент? Я тебе покажу, как слепым притворяться. В каком институте проходишь курс учения?

Некоторые из нас так испугались этого случая, что не вернулись собирать милостыню, но жалость граждан села Нанизья была так огромна, что они сами догоняли нас и совали нам хлеб и яйца. Тем не менее мы довольно торопливо покинули радушное село.

Мы шли, жуя калачи, и через пять верст уже забыли об уряднике. Милосердие и пища заставили нас искать отдыха.

Мы остановились на лугу возле речки, заросшей камышами, неподалеку от высокого прошлогоднего стога сена. Мы развели на берегу костер, сварили поданной нам картошки и вновь покушали весьма плотно.

— Плохо я с этим Абрамычем толковал, — сказал Петька.— Глядишь, он

нас до самого Режевского завода проводил бы.

Мы достали сено из стога и устроили постели.

Луна поднялась высоко. Я сидел, приклонившись к ветле, смотрел в реку, где возле молодого камыша кувшинки распустили тяжелые свои листья. Вода густая и неподвижная, и луна в ней, словно накрошенная. Среди дорожек в камыше, которые мне были не видны, пролетела над водой какая-то птица так низко, что вода от колебания ее крыл слегка шевелилась.

С моего возвышения видно, как спят актеры. Лица их наполнены удовольствием. Великое множество забот мешало им улыбаться, и вдруг встретилось нечто странное, — и мечты их исполнились! Ломов уже выстроил стеклянный цирк; к скорбному графологу Тиунцеву вернулась его жена Нина; Лягаев женился на Платониде, которая живет постоянно в шумном городе, праздно, много болтая и сплетничая (но не обидно ни для кого!); у Василисы, сестры ее, полнейшее во всем благоразумие, и все устроено, как у прочих приличных людей; клоун Анисим рассказывает всем о проповедях Толстого; а Никодим Дурасов может издеваться, над кем хочет! Все они видели полные сборы, из которых им причиталось множество денег. Да что деньги, разве они важны! Важна слава. Вокруг них гремели оркестры и аплодисменты. Публика, стоя, приветствовала их. Мало того, она встречала их у подезда цирка, где их ожидал нетерпеливый лихач. Публика жала им руки, прося сувенир. А в цирке все еще гремит оркестр, и множество зрителей не способно покинуть очарование, которое они встретили, и капельдинеры в униформах, расшитых золотом, никак не могут уничтожить у публики это очарование. Да и уничтожено ли оно у них самих, капельдинеров? Дома их ждет веселая семья, где нет, как вы ни пытайтесь узнать, но положительно нет ни одной заботы! Костюмы новенькие, один лучше другого, ботинки без заплат, лакированные, белье и чулки без единой штопки. На столе сколько угодно пищи, а захочешь выпить, — пожалуйста, вы-

бирайте любой графин, а тем, кто любит сладкое; полные вазы варенья, конфет и печенья фабрики Эйнем! Вот почему у них такой замечательный сон и столь счастливые лица, что даже луна удивляется на них.

Я тоже удивлялся на них.

Пашка Ковалев подполз ко мне:

— Это меня, Всеволод, беспокоит.

Мне не хотелось, чтобы он думал так же, как и я.

— Что тебя беспокоит, Павел?

— Беспокоит меня, Всеволод, удовольствие, которое на ихних мордах. Ты всмотришься только! Они такое задумали, такое плохое, что тут даже Петр Захаров не уснет. Кто знает, а вдруг они нас в реке утопят?

— Ну, зачем им топить нас, Павел?

— А на всякий случай.

Он отполз.

Я отвернулся к реке. Когда я хотел опята перевести нежный свой взор на актеров, глубоко вздохнув от удовольствия, от теплоты, легкого воздуха, от всего, что указывало на приближение лета, — я задремал.

Я проснулся от шипения. Мне даже почудилось, что на руках у меня лежит нечто холодное и длинное. Но в глаза мне било пламя, и луну закрывали клубы дыма.

Вокруг стога, с головешкой в руке, бегал Пашка Ковалев.

Стог пылал. Пламя расширялось.

Ужас сковал меня. Губы мои сохлись. Гортань горела. Размахивая головешкой, Пашка Ковалев, попрыгивая на одной ноге, ждал с мучительным любопытством пробуждения актеров. Он заглядывал им в лица, счастливые и веселые. Он трепетал. Ему бы бросить головешку и бежать, ему будет горе, но любопытство так овладело им, что он не мог оторваться от них.

Но в то же время страх мешал ему крикнуть то слово, которое он приготовил для их пробуждения. Я видел, как шевелились его губы, которые безмолвно кричали: «Вставайте».

Раздался треск. Это загорелись жерди, которые удерживали сено от ветра. Петр Захаров, который спал всегда чут-

ко, мгновенно вскочил. Он ударил Пашку по уху и спокойно скомандовал:

— Держись, не разбегайся, отвечаем всеобщее.

Пашка Ковалев был так потрясен этим ударом, что, поверив во все ужасное, чудившееся ему, пополз, плача, к реке. Если топить, так лучше он утопится сам! Еще хуже, если балаганщики бросят его сейчас в горящий стог.

Но вскочившим балаганщикам было не до Пашки Ковалева. Некоторые бросились на темную фиолетовую дорогу, некоторые побежали вдоль юрко-серой речки, а несколько человек лежало на спине, слегка подрыгивая ногами.

Петр Захаров, казалось, только и ждал возможности властно распоряжаться.

— Всеволод, проснись! — командовал он.

Его бодрый голос уничтожил мой ужас, хотя его властолюбие и возмущало меня. От возмущения я закрыл глаза и даже нашел в себе силы зевнуть. Я встал, лениво потянулся и сказал небрежно:

— Ну, в чем дело? Что это за иллюминация?

— За такую иллюминацию мужики устроят нам самосуд. Сворачивать, итти на Режевск лесами! Собирай пищу, которую они тут разбросали. Нам придется туго, Всеволод.

— К тугости мы привыкли, как рыбак к своей сети на шесте, — сказал я наставительно.

Захаров свистнул.

Нубия, спутанная на лугу, прискакала к нам.

Захаров сломал прут, длинный, похожий на укрючину, и, размахивая им, помчался.

В несколько минут он нашел разбежавшихся балаганщиков. Нельзя было не одобрить его чутья. Услышав топот, балаганщики решили, что за ними уже скачут мужики. Они падали ничком, куда попало, в темный куст, в ложбину или лужу. Нужно было знать досконально душу каждого, чтобы догадаться, куда и какое место выберет он, падая.

Петр говорил им кратко:

— Иди к Всеволоду. Он укажет без-  
опаснейшее место, где тебя мужики не  
убьют.

Я стоял у ветлы, гордый и важный.  
Я скрестил руки и нахмурился. Волосы  
мои отросли до плеч, и я думал, что  
пламя пылающего стога делает их пре-  
красными и возвышенными. Я огляды-  
вал тальники, из которых мы вырубим  
колья для защиты.

Стог пламенем своим почти соединил  
небо и землю. Когда луна скрылась со-  
всем и актеры полностью собрались око-  
ло меня, то в селе ударил набат.

— Прошу за мной, — сказал Петр  
Захаров, похлопывая Нубию по гриве и  
явно наслаждаясь опасностью.

Мы перешли реку вброд.

Мы углубились в дремучий, темный  
лес.

Позади нас шел, всхлипывая, Пашка  
Ковалев. Он трепетал встречи с лютыми  
волками, но еще более — с мужиками.  
Он предчувствовал, что актеры осудят  
его не менее страшно, чем мужики. Вме-  
ня от времени он хватал меня за руки  
и говорил:

— Скажи им, Всеволод, что я боль-  
ной, что у меня весь род эпилептики.

Сплевывая слезы и ломая руки, он  
слушал мой ответ:

— Я не поклонник теории Ламброзо.  
Ты разговаривай о своих преступлениях  
с Петром Захаровым.

— Как же я догону его, когда он на  
лошади, а у меня еле волочатся ноги?

Петр Захаров не допускал его до себя.

— Закон пустыни будет говорить с  
тобой, — кричал он, если Пашка Кова-  
лев пытался подойти к нему.

Петр Захаров пропускал нас вперед,  
а сам скакал куда-то назад, в лес, и, воз-  
вращаясь, говорил, что мужики нас ищут  
усиленно, что нам нужно ускорять шаги.

Ноги у Пашки Ковалева подгибались.  
Мастер Иоанн брал его за шиворот, во-  
лочил за собой, приговаривая басом:

— Вот тебе, Павел, когда требуется  
молиться пустынному богу.

## 8

— Нам необходимо покрыть себя бо-  
дростью так же плотно, как мы покры-

ты кожей! Впрочем, я полагаю, Всево-  
лод скажет речь о бодрости, потому что,  
будучи сыном директора лебяжинского  
банка, он видел много бодрости, в кото-  
рой столь нуждаются банковские деятели,  
не менее, чем и балаганные, хотя их  
разделяют кресла, тепло, удобство и пи-  
ща, подаваемая во-время.

Мы едва выбрались из топи, через ко-  
торую проложена сгнившая гать. Поза-  
ди нас остались кочки, осока, сырость,  
крики неизвестных птиц. Мы стояли на  
пригорке, измученные и грустные. Пе-  
тру Захарову пришлось испытать вдвое  
больше трудностей, чем нам. Гэнтэр Ну-  
бия, если и годилась для охоты в лю-  
бых странах, то, без сомнения, уральские  
надо было исключить. Едва Захаров  
вытаскивал свои ноги, как он спешил на  
помощь увязшим ногам Нубии. И все  
же Захаров не потерял способности го-  
ворить речи. Больше того, чем крупнее  
затруднение, тем горячее пылал в нем  
ораторский дар, и, протянись бы топь  
верст на пятьсот или тысячу, из него  
вышел бы оратор великий и несокруши-  
мый.

Захаров поставил позади себя тяже-  
ло дышавших Нубию и Филиппинского,  
мокрых с ног до головы. Захаров очи-  
щал себя от бурой тины. Филиппинский  
изможденно делал ногой полукруги, ко-  
торые помогли ему выбраться из топи.  
Я стоял впереди Петра. В руке у меня  
сверкала шпага, которую я пронес через  
всю топь, потому что Филиппинский,  
освободясь от лишних тяжестей, ки-  
нул было их прочь. Мне было приятно,  
что шпаги вновь принадлежат мне и что  
блеск их как бы подчеркивает красоты  
петькиной речи.

На высоком шне сияло пряничное лицо  
Захарова с неправдоподобным румянцем  
и кудрями:

— «Хочешь воровать — воруи один.  
Вздумаешь пойти вдвоем — получишь  
только свидетеля» — вот так думает,  
кто живет в одиночестве и которому не-  
чего делать, кроме воровства. Мы же  
все здесь, выбравшиеся из топи, полага-  
ем, что телячьи языки отвариваются  
прежде всего в соленой воде, кожа с них  
снимается долой, разрезаясь вдоль, в  
самой середине. Языки слегка подрумя-

нивают в подожженном коровьем масле. К ним делают сладкую обливку хорошего темного цвета, с лавровыми листками, с толченой гвоздикой, с мелко сеченым луком, изюмом, коринкой, с тоненькими и долгоненькими кусочками миндаля и также с продолговато изрезанной свежей лимонной коркой. Все это прежде всего мы немножко подмачиваем и один раз взвариваем, дабы горечь из них повышла...

Филиппинский сказал, и его мгновенная сообразительность встревожила всех, кроме Петра Захарова:

— Тут корни жевать приходится, а он несет такое!..

Петр Захаров сразу же начал говорить о другом. Он не гнался за связностью речи. Он считал, что для воспитания бодрости достаточно нескольких отлично запоминаемых жестов. Сейчас он говорил, обратив к небу лицо и взор и выставив перед собою обе открытые руки ладонями наружу.

— Учитесь размышлять не только о пище, хотя бы вас и побуждали на эти размышления. Пойте! Кто знает, не вызовет ли наше пение любовственных мужиков из ближайшего села и не добудем ли мы денег, чтобы купить мяса, и не сгодятся ли тогда сведения, мною оглашенные. Весна теплая, сухая, голоса ваши слышны далеко. Пойте! Размышляйте над разнообразием жизни! Вот смотрите на это дерево. Из него течет смола. Известно ли вам, что Китай и Япония производят деревья, дающие редчайшую смолу, если в коре их произведи разрез? Смола, с некоторыми приготовлениями, наложенная на дерево или металлы, сохраняет их, делая их блестящими. Они не открывают тайны своих лаков! Часть лаковых производств с огромным трудом познали ученые миссионеры, но я мало вижу смысла, чтобы ради знания лакировщика обращать в христианство страну, которая отлично живет и без этого.

Здесь он дотронулся кончиком правого указательного пальца до кончика левого указательного, и пальцы его быстро отбежали друг от друга. Затем обе открытые его руки, ладонями к груди, правой повыше левой, сделали два-три

движения вверх и вниз, как бы показывая готовность помочь или унести какую-нибудь тяжесть.

Блеск шпаги, казалось, нагонял на нас дремоту. Слепой гармонист уже спал, положив свою голову на мокрый инструмент. Филиппинский раскрыл рот, прислонился животом к Нубии. Он выдернул из лопнувшего шва кусочек верблюжьей шерсти и задремал, держа его в пальцах.

— Как же теперь меня жена найдет? — бормотал он, засыпая.

Мне показалось, что на лицах наших спутников обозначился страх. Я объяснил его тем, что я не заметил его в топи, а разглядел только сейчас. К тому же Капитолина Пономарева, рыженькая хористка, постоянно удивлявшая нас своим бесстрашием, теперь не дремала.

Петр говорил, сблизив одна к другой обе открытые руки, горизонтально лежащие. Он требовал, чтобы все находились от него в окружности в тридцать метров, дабы перед ними никогда не исчезало видение цирка и его манежа. Он размахивал березовым прутом, который заменял ему шамбарьер.

На небе был полдень. Нам не отодвинуться и на три метра! Мы засыпали. Сквозь смежающиеся веки я все же успел разглядеть, как Петр Захаров, окончив свою речь, подскочил, схватился за сук и полез на высокую обнаженную сосну.

— Ждите полдника, — крикнул он сверху.

Меня разбудили толчками в бок:

— Где остальные?

Возле меня спали мастер Иоанн и Филиппинский. Я понял страх балаганщиков. Они посчитали нас сумасшедшими. Увел их Пашка Ковалев!

— Вот чурбаны, — сказал, улыбаясь, Петр. — Я же их приглашал к полднику. С вершины видно большое село, где мы сможем попитаться. А теперь им блудить дней десять, пока не сдохнут.

Нубию они оставили нам, настолько она казалось жалкой.

Село радушно угощало нас. До Режевска итти нам еще верст тридцать. Мужики горевали о приключениях, испытанных нами в топах, откуда «редкий

человек вылезит, не полинявши». Впрочем они не высказали желания разыскивать наших спутников.

— Вот подем косить, ну и найдем,— сказали они.

— А если они умрут? — спросил Петр.

— Грехов меньше останется.

На базарной площади Режевска нас ожидал балаган, узкий и длинный. Я смотрел на него и думал, что ничего балаганного во мне не осталось, что мне пора уходить. Петр Захаров, увидев балаган, остановился. Он довел нас. Теперь он преисполнился добротой к тем, которые покинули нас в лесах.

Филиппинский тоже остановился. Он побледнел, и нога его описывала кривые полукруги. Возле артистического входа мыла тощего и длинного щенка почтенная жена его.

— Если нельзя выпустить здесь механических коней, потому что нет манежа, если нельзя выпустить наших артистов, потому что они погибли в топях, то мы выпустим механических людей,— воскликнул Петр Захаров, вскакивая на Нубию. — Но все же я поищу их!..

Он нашел их. Через два дня они пришли, оборванные, грязные, браня Петра Захарова, который, казалось им, вел их чересчур сложными и длинными дорогами. Петр Захаров говорил, улыбаясь:

— Надо было петь, а вы только хрипели! Вот и бродили мы оттого лишние версты.

Удивительно, что все пайщики «XX века» тоже приехали сюда. Похлебаев, оказалось, говорил в Березовске с каждым из них особо. Вообще это господин был суровый. Семейная дисциплина в семействе его так и осталась при нем. Но, то ли из ненависти к своему семейству, то ли он хотел разбогатеть поскорее, Похлебаев не обращал внимания на балаганные представления.

Наш балаган превратился в «Стрелу счастья».

Вокруг балагана гудели шарманщики, опять торговали пряничники и конфетчики, шныряли воришки. Я часто толковал с одним из них. Его звали Накрест. У него шелковисто-белые волосы и широкие синие глаза. Он заискивающе про-

сит вызвать из балагана Мелентия Талыга:

— Полет у меня предстоит, посоветоваться бы мне.

Мелентий Талыг не выходил к нему. Талыг перед приходом гостей показывал нам, а больше всего Похлебаеву, великие свои таланты. Зрительный зал всего лишь в треть балагана, остальное — буфет и комнаты для гостей. Похлебаев умел строить! Комната, сразу начинавшаяся за сценой подковообразно, завешена коврами, и у стены ее длинный стол.

Мелентий Талыг в золотисто-серой рубахе, подпоясанной кожаным ремнем, сидел за столом. За ковром вполголоса пел хор «жалобные песни». Его решили не выпускать на сцену, а иметь только для веселия гостей.

Талыг держал в руках три карты. Прищурясь, он показывал нам шестерку бубен, даму червей и короля треф. Он репетировал знаменитую ярмарочную игру «Самсон». Дама червей и король треф находились в его правой руке, шестерка в левой. Поднимая немного руки, он просил заметить порядок карт. Он бросал карты на стол. Влево лежала шестерка, дама в середине, король справа.

— Тут мы их перемещаем по несколько раз, мы их запутываем. Пашка, не порти пейзажа, не проявляй азарта, не мешай собираться толпе. Ты, Пашенька, делай вид, что не знаешь меня, если Всеволод отказывается.

Переместивши карты, Талыг будет предлагать на пари кому-нибудь из зрителей узнать, где находится дама. Здесь публика рассмеется, но вызов не примет, потому что боится.

— Тогда ты, Пашка, выступаешь. Господи, да ты морду-то сделай хоть добродушную и простую.

Пашка, будущий деревенский приказчик, выкладывает полтинник и указывает карту. Он выигрывает несколько раз. Он уйдет, получив от Талыга пять рублей. Публика останется довольна, что простачок выиграл. Едва лишь он скроется, как найдется несколько желающих играть.

Вечером мы действительно дождались этих «нескольких желающих». Теперь

Мелентий Талыг действует по-иному. Бросая карты на землю, он изменяет их положение. Шестерку кидает на прежнее место, а на второе, взамен дамы, он кладет короля, на третье — даму. Уловка эта вследствие быстроты его рук совершенно не заметна. Когда карты открыты, взамен дамы мы всегда видели короля. Проиграв ставку, закладчик хочет отыграться. Перед игрой Талыг еще раз уговаривал меня:

— К игре, господин Иванов, нужно приступать холодно и спокойно. Из Ковалева или из Лягаева игроков не получится, им мешает страсть, а со страстью игрок не имеет счастья. Вот вы, Всеволод, обладаете спокойствием и добродушной рожей. Если не со мной, так с другим учителем, но быть вам шулером.

Приходили мастера с завода, конторщики, приказчики, мелкие торговцы — «ларники». Ковалев превратился в «телеграф». Он становился за спиной обираемого и условными знаками сообщал о его картах. Ему трудно было делать вид, что он не интересуется игрой. Ночью он плакал и спрашивал у меня совета, как же быть бесстрастным. Я читал ему отрывки из серых своих тетрадей.

Если Ковалев смотрел на Талыга, то это обозначало туз, если на игру противника — король, если в сторону — дама, на стол — валет и т. д. Для обозначения мастей он действовал ртом: полуоткрытый обозначал пики, сжатые губы — трефы, верхняя губа положена на нижнюю — червы, наоборот — бубны.

Таланты Мелентия Талыга возрастали. Он работал и скошенной колодой, и липкими картами, и наколотыми, и теньвыми колодами. Он имел перстень с резервуаром для хранения светлых чернил, которыми он метил нужные карты. В перстне сделано заостренное возвышение с тоненьким отверстием внутрь. Вследствие волосности жидкость не выливается из перстня, и только при легком нажатии в точке соприкосновения возвышения перстня с картой на бумаге остается крапинка. Зеркала, небольшие и выпуклые, скрыты у него в табакерках, часах и в трубке. Отовсюду он

видит в этих отражателях сдаваемые карты.

Он гордится своими способностями, своей сухостью. Положив руки в карманы, сутулый, хмурый, ожидая гостей, он шагает по комнате и говорит, что у него нет ни семьи, ни дружбы, что он зарабатывает деньги, дабы приспособить себе эту паршивую уральскую природу.

— Я ее подстригу! Соловьи у меня полетят садом с бубенчиками на шее. Хороший механизм не вредит природному голосу.

Старик Ломов сидит целыми днями возле мастера Иоанна, рассказывая о будущем стеклянном цирке. Мастер Иоанн слушает его внимательно, изредка спрашивая:

— Когда же это строить-то? И ты чего о материале не хлопчешь?

— Надо сначала обдумать его, а то выстроишь, а стекло от морозов и лопнет.

— Все вы только думаете...

Мастер Иоанн уже смастерил приспособление для Талыга. Он поместил ему в рукав жестяной ящик, охватывающий кисть. В ящике лежит колода карт. Когда ее нужно подменить, Талыг наклоняет на ящик свою руку, затем незаметным движением давит локтем на кнопку механизма, и приготовленная колода выталкивается. Подлинную колоду захватывает и утаскивает особый зажим.

На сцене балагана Похлебаев разрешал нам делать все, что мы желаем.

— Вы поскорее оканчивайте, чтобы публика нам играть не мешала, — говорил он.

На раусе мы выступали редко, и в особенности сократилась работа, когда Похлебаев услышал, что на ярмарку приехали екатеринбургские скотоводы: Малков, Огибалов, Чудиновский и Шабаршин. Они гоняли скот с юга на север. Сейчас они ехали, скупая на ярмарках почти весь скот.

Лягаев, багровый и трясующийся, кричал:

— Великого желания они пополеваты!

— Для тайных покупок привезли с собой 170 тысяч наличным золотом, — подхватывал Пашка.

— А как их заманить сюда?

Мелентий Талыг заглядывал в лица всем женщинам:

— Разве на такие морды заманишь? У них вкус на морды избалованный.

— А если для них балаган редкость, если они покровителями себя почувствуют?

— Из приказчиков они. Балаган они выдвигали.

Заманили кучеров.

Мелентий Талыг играл бледный и спокойный. Кучеров напоили. Талыг проиграл им все свои паи и сбережения: 350 рублей, сумму несомненно промадную, для меня увеличивающуюся еще и оттого, что я не мог никак достать двух рублей на ботинки. Мои ботинки совсем развалились. Пальцы постоянно скользили по земле. Я прислушивался к разговорам о сапогах. Раз возле воза с морковью я услышал, как мещанин, смеясь, рассказывал о чиновнике Игнатии Гиряеве, «из поляков», такого великого гонора, что он, «видишь ли, если ботинок чуть прорвется, выбрасывает его».

— Где же он живет такой?

— По акцизному делу у нас живет, — ответил мне мещанин. — Все жалованье на ботинки тратит. Из-за того и жениться не способен.

Я нашел домик этого Игнатия Гиряева. Я ждал долго. Вышел высокий мужчина, усатый, с наглым лицом и в ботинках, необыкновенно новых. Я шел за ним следом, думая, что он нескоро бросит свои ботинки. Но я знал и уже встречал таких людей, и не даром я три дня дежурил возле его домика. Утром, в праздник, он вышел с рваными ботинками в руках. Он приготовил их три пары, чтобы выбросить их непременно во время ярмарки. Выйдя, он оглянулся, ища глазами свидетелей. Он остался доволен своим лицом: оно показалось ему болтливым. Я жадно шел за ним.

Он остановился у помойной ямы, возле поповского дома. Размеры ямы, видимо, не понравились ему. Он направился к помойной яме управляющего заводом. Однако эта яма показалась ему чересчур великой. Он пошел к содержа-

телю номеров, к мельникам, к кабатчику, он посетил ямы четырех кожевников. Так мы с ним обошли все бомойные ямы, и наконец мы увидели жалкую школьную яму. Но не мог же он бросить свои ботинки в эту яму! Он даже не замахнулся ими, как замахивался у прочих ям. Он сплюнул, еще раз посмотрел на свои ботинки и свернул на базар, где продал их за 1 рубль 75 коп., взамен чего приобрел бутылку красного вина. Он возвращался домой очень довольный, держа бутылку подмышкой. Я забежал вперед, остановился против него и воскликнул:

— Корону носите на пуговицах, а пьете публично, чиновник!

От строгого и злого моего голоса он остолбенел и выронил бутылку. Лицо, должно быть, он имел наглое, но душу смиренную. Я вздохнул и покинул его.

## 9

Кучера, как и рассчитывал Талыг, объяснили екатеринбургским скотоводам причину своего похмелья. Купцы заинтересовались игрой, где даже их глупые кучера выигрывают по 350 рублей.

Я приготавливал куплеты для пения. Слух у меня плохой и с великим трудом перенял я от Пашки балалаечное дребезжание: «Ах вы, сени, мои сени». Под этот мотив я и составлял куплеты. Там рассказывалось, как чиновник бережет ботинки, но для того лишь, чтобы бросить их в яму. Затем:

Через форточку большого  
Врач свидетельствует здесь,  
Заражения лихого  
Опасаясь приобрести.

Все мои обличения оканчивались припевом:

Берегите, господа-с,  
Берегите вы карманы,  
Не заметив, что у вас  
В голове из яны.

Куплеты и старательное треньканье мое на балалайке погибло. Представление отменилось. Алчность охватила наш балаган! Действительно, обойди весь Урал, но не продашь и одной телушки, а тут

четыре купца скупают одним махом целую площадь, наполненную скотом. Для чего? На какие деньги? «Чума предстоит» — сказал Пашка Ковалев. «Какая чума?» Но Пашка Ковалев так испугался предстоящей чумы, что объяснений дать не смог.

Скотоводы ходили по ярмарке в чесучовых поддевах и белых фуражках. Были они обветренные, широкоплечие, важные. И в наш балаган они вошли важно. Заложив руки за спину, они любовались на игру так же небрежно, как любовались на все, окружающее их. Вот приказчик, трогая сатинетовым рукавом свой длинный нос, выросший, неизвестно, для чего, вдруг выиграл 75 рублей. Купец, который помоложе, сел небрежно за стол, облокотился на ковер и лихо вытянул из кармана «каменьку», словно носовой платок. По этому его движению чувствовалось, что в кармане у него великое множество денег.

Мелентий Талыг спросил:

— В каком размере испытываете счастье, ваше степенство?

— Испытываю на пятерку.

Петр Захаров молча вдвигал и отодвигал попеременно обе открытые руки, одна после другой, ладонями вверх, подобно действию подающего и принимающего. Только он не имел на лице услужливости и угождения, хотя и заметно было, что и его охватила алчность. И он еле удерживал себя от торопливости. И у него мысли перегоняли одна другую, думая, изыскивая способ захватить деньги раньше других. Филиппинский, так тот от волнения стоял весь мокрый, словно под ливнем.

Похлебаев сказал нам поспешно:

— И на завтра отменить представление! На раус не выходить, караулить, чтобы посторонние в балаган не попали.

Его потрясали судороги. Челюсть у него вытянулась, и зубы были на виду. Он постоянно оглядывался, голос его охрип, ему сильнее всех казалось, что кто-то вот-вот опередит его.

Скотоводы играли ловко. Проигрывали они мало, да и Талыг осторожно «вводил их в поле зрения». Вообще в бала-

гане преобладала осторожность! За коврами осторожно пел хор. Девушки осторожно подходили к купцам, выпрашивая десяточку. Купцы отмахивались, не глядя на них, и девушки немедленно исчезали. Купцы, так же не глядя, брали стаканы, не говоря о том, что им нужно: воду, водку или вино. В стакане оказывалось как-раз то, что было им необходимо. Скотоводы, собой подтянутые, сухие, привыкшие к бессонным ночам, когда гнали они из оренбургских и казачьих степей табуны по тысяче голов. В карманах их бешметов лежали револьверы. Голоса у них гулкие.

— На все имущество дерзаешь, Похлабаев? — кричали они.

— Дерзаем, ваше степенство. Ответить сможем и нашим имуществом, и братья тоже накопили немало.

— Ой, врешь, Похлабаев! С братьями ты разделился. Прийти тебе к ним голым.

Утром выяснилось, что скотоводы уже проиграли тысячу двести рублей.

Неимоверная жадность овладела нашим балаганом. Филиппинский то и дело подбегал к Захарову. От его торопливости тряслись стены и визжали половицы.

— Меня на это дело поставить! Я бы их давно обобрал. Чего этот Талыг тянет?

— Для тебя большая польза в том, что ты научишься думать здесь молниеносно. При быстроте и ласке змея выползет из норы, а при грубости и медлительности из башки последний ум выскочит.

В углу мастер Иоанин тоже утешал свою алчность: он делал новый инструмент для Талыга. Алешка Жулистов смотрел на стол, восклицая о формах, в какие можно одеть человечество на 170.000 рублей! Платонида увидала здесь возможность праздной жизни. Лягаев тряс руками и кричал, что он много видывал азартов, но такого... Даже благоразумие Василисы заколебалось. Утром в шесть часов, едва только солнце осветило розовым наш балаган, она уже качалась на косах: для успокоения. Внизу, под трапезней, клоун Анисим без конца кувырчался на ковче.

— А ты что же, толстовские проповеди прочитал? — спросил он меня.

Свое спокойствие я объяснил ему прочитанной газетой. Я стоял у стола. Купец выронил «Екатеринбургскую неделю». Я подобрал ее, надеясь найти в ней случайно заложенные тысячи с тем, чтобы немедленно же вернуть их купцу. Тысяч не нашлось, но среди объявлений я прочел сообщение, что в Екатеринбурге распродается циюк А. Коромылова. Я показал газету Петру Захарову. Он мелкоком заглянул туда. Но и тут не удержался, чтобы не выгнать «репку»:

— Несущий жернов стонет, несущий сито тоже, Всеволод, стонет. Теперь Павлу Ковалеву поехать бы туда за пани Мариной, но надо ему смотреть, как играют купцы. А они чего ищут? Денег? Я, Всеволод, не зря изучал экстерьер. Если они скупают скот в таком количестве, то знают, кто им поручил скупать. Зачем же они играют? Так, сова, получивши глаза, попросила еще брови.

Я держал газету в руках, смотрел на купцов и думал о цирке Коромылова и об Индии. Купцы мешали думать мне о Коромылове. Вот они, эти люди, могли б одним взмахом выбросить нам столько денег, что десятки балаганов с десятками факиров добрались бы до Индии. И это был бы поступок более достойный, нежели проигрывать деньги в карты, потому что выигранные нами деньги не суть жертвованные для поездки в Индию. Однако к полудню скотоводы прервали мои размышления, так как вернули проигрыш, а к двум часам начали обыгрывать Мелентия Талыга.

Похлебаев бежал мимо меня за квасом для купцов. Взглянув в мое лицо, он вдруг сердито закричал:

— А ты чего спокойно так стол подпираешь? Тебе понятно или нет, что деньги уходят!

— Не мои деньги, — ответил я. — Да кабы и мои...

Он бросил пустую корзину на пол и взмахнул отчаянно руками:

— Не его деньги! Да ведь ты благодетельствуешь вместе с прочими, если мы выгнанием эти сто семьдесят...

И он добавил шопотом:

— ... тысяч. А тут начали рассказывать, что будто едут шулера из Екатеринбурга. Ты понимаешь — шулера? Вдруг найдется, кто им сообщит, шулерам, где играют скотоводы. Ведь их не пустить нельзя! Они тогда всему Режевскому заводу откроют Талыга. И предвижу я также, что найдется такая сволочь, которая укажет шулерам дорогу к скотоводам! А?

Он посмотрел мне в лицо. Меня удивил не его разговор, а то, что я не заметил, как корзина у его ног уже наполнилась бутылками с квасом. Вот он схватил бутылку за горло и постучал легонько ею себя по лбу.

— Коробку разможу, будь хоть она каменная! Отойти от столба, сделай лицо человеческое.

Я сел на табурет и попробовал читать печатающийся в подвале газеты роман Борна «Евгения, или тайны французского двора». Немой ускользнул. Маркиза содрогнулась, за дверью шептались карлисты. В переулке, возле дворца маркизы, раздался выстрел. И хотя перед подвалом мелкий шрифт рассказывал содержание романа, но я все же не мог понять, почему страдает маркиза, почему стреляют и куда ускользнул немой.

Мимо скользили балаганщики. Лица их становились все торопливее, губы бешено шевелились. Кто-то, с лицом совсем лиловым, бормотал другому на ухо, что к скотоводам уже приехали «ихние папашы», дабы уговаривать: «Не проиграй деньги». Мало того, появился, также для уговору, приходской их «иерей Алексей». Описывался даже рост его — весьма высокий, бородатый, крытый синей рясой, с желтым перстнем на безымянном пальце и серебряной цепочкой подле золотых часов, что со звоном.

— И жены, сказывают, приехали? — бормотал лиловый.

— Жены еще вчера приехали. Жены хулиганов нанимают, чтобы дегтем нам ворота вымазать.

Выскочил откуда-то Пашка:

— А если прикажут поджечь нас?

Капитолина Пономарева беззаботно смеется:

— Вот кабы подожгли! Я тогда возле стога немножко испугалась, а тут, когда люди вокруг гореть будут, совсем наверно струшу. Я бы сама подожгла, но ведь тогда не испугаешься. Или ты подожгешь, Всеволод?

Я отложил газету и сказал:

— Зачем мне жечь, если вы и без того сжигаете сами себя. Кроме того, я хочу попасть в Индию.

Я смотрел в лицо хористки, думая о несчастной пани Марине. Вот кто сейчас горько страдает и у кого тоже пылает сердце! Волоокая, стоит она возле манежа цирка, размышляя об освобождении прекрасной своей Польши. Ее костюмы продает с молотка сутулый старичок в длинном черном сюртуке. У ног ее спит черный пудель...

Пробежал Похлабаев, торопливо шепнув хористке:

— Нельзя допустить! Тебе что сказано?

Капитолина Пономарева тянула меня за руку.

Мы оказались среди декораций пантомимы «Синяя борода», мною же составленной. Натянутые на рамы полотнища, размалеванные зеленым и пурпуровым, изображали замок ужасного злодея. Нам трудно рисовать деревья, и поэтому мы нарубили настоящих сосен и поставили их в кресты, как это делается с рождественскими елками. Возле замка, за тумбой, подле сосны, где Синяя борода должен был упрекать в неверности свою жену, стояли хористки Елизавета Скукова, Мария Ландезен и «волосяное чудо» — Платонида Ломова.

Скукова, черноглазая, с узким лбом, смотрит на меня в упор. Она жаждет власти и соперников, но ищет их в областях весьма странных. Например она хвастается, что у нее лучший наперсток по всему Уралу, и хочет, чтобы кто-нибудь нашел еще более лучший. Она груба и злобна, но полагает, что грубости у ней еще мало, а будь бы побольше — так и жизнь была бы лучше:

— Ну садись, сопляк, напротив. Ишь, губы-то распустил! Баб четырех увидел. А тебе понятно, что они приткнуться к тебе хотят?

Мария Ландезен застыдилась, покраснела. С собой она бела. Ей нравятся румяна, хотя она и без того краснеет каждую минуту. Она долго служила в кондитерской в Варшаве. Она часто вспоминает пышные варшавские вечера и теплые ночи.

— Зачем же приткнуться? — говорит она грудным голосом.

Капитолина Пономарева, как всегда, заспорила со Скуковой. Но спорила она лишь для того, чтобы переменить разговор: желтые ли были подвязки у Шурки Легат? Скукова на такую чепуху не могла сердиться и прубить. Капитолина засмеялась и заговорила о вороньих гнездах: часто ли оттуда выпадают птенцы, и можно ли есть воронят.

Скукова прикрикнула на нее. Затем она сказала:

— Вот эту чебурешенку кладу я, Всеволод, на тумбу, а ты слушай. Эх, в морду бы тебе таким предметом, а ты им выбирать должен. Марья, не стыдись, не отворачивайся! Он хоть и унылый, но кто знает, не твоему ли стыдству жить при нем. И она положила на тумбу желтую брюкву, крупную и весьма тщательно очищенную. Брюквой с утра лакомились купцы. Пономарева хотела было поговорить о брюквах, Ландезен покраснела, но Скукова извергала ругательства, дрожа. Говорила она так грубо, что Капитолина усталилась на нее во все глаза, будто надеясь найти тот огромный страх, от которого можно «сразу околеть»:

— Брюкву, понял? Чего ты рот-то раскрыл, дурак? Ты брюкву возьмешь, а не свою голову. Той бабе, которой передашь ты эту брюкву, суждено за тобой пойти. Суждено и приказано — на всю ли жизнь, на час или на ночь, как ты хочешь! Понял, Всеволод? Господи, никогда я таких тупых мозгов не видала. Ведь на тебя любая баба плюнет, тебе бы радоваться, что получил приглашение, а он только ноздри шевелит!

— Извините меня, Елизавета Матвевна, — сказал я. — Я думаю совсем о другом.

— О чем же ты думаешь, ноздря твоя набитая!

Но я думал о том же самом. Я не хотел сознаться для того, чтобы в голове пробежало побольше мыслей. Вначале я полагал, что тут подстроено Пашкой. Но затем, и довольно быстро, я вспомнил сказку о прекрасном Парисе, яблоке и трех богинях. Как только пришла мне в голову эта сказка, так я тотчас сообразил, что это — работа Петра Захарова. Несомненно он поставил возле тумбы у стен замка четырех девиц и несомненно он полагает, что я читаю только приключенческие романы, а не знаю мифологии. Сейчас он сидит где-нибудь за кулисой и наблюдает в щелку. Нет, дорогой мой Захаров, простодушный дурачок исчез, и я теперь подстрою тебе такое... К сожалению, это «такое» никак не приходится в голову.

Между тем Елизавета Скукова продолжала говорить, выпячивая грудь и разглядывая мое лицо грубыми своими черными глазами.

— Машка конфузится да боится. Ишь ты, она привыкла к улице, а тут вспыхнула у ней в груди настоящая любовь, и не знает она, как разговаривать с молодым человеком. У каждой из нас горит эта самая на сердце. Между собой мы подруги, зачем нам драться из-за тебя волосы? Мы уж как-нибудь три остальные поплачем и подеремся позже, а хоть она пусть получит свое счастье. Ты ведь любви ищешь, и как получишь ее, будешь очень благодарен, лед у тебя с лица сойдет, будешь ты собой теплый и ласковый! Да очнись ты.

Я смотрел на них. Мне хотелось им верить. Лица у них чистые и убранные. Скукова говорит, что если девица «ихнего порядка» обещает, так она возле парня держится. Приданое? Приданое конечно небольшое, да и жених не ахти как велик. Впрочем хор добудет тебе денег. Она разрезала брюкву пополам, чтобы «оба поели, каждому половинка, — вот тебе, Всеволод, и вся свадьба».

Я спросил ехидно у Платониды:

— Прoshлый раз ты пробовала меня для купца, а теперь для кого?

Я надеялся, что ей захочется поболтать и посплетничать. Но ей Елизавета Скукова не дала и рта раскрыть. Впрочем я плохо слушал Елизавету Скукову,

потому что едва я сказал о «пробе» Платониды, как немедленно поверил в свое предположение и решил быть искренним. В конце концов, кто виноват в том, что сюда именно собрались эти люди? Кто виноват, что они жаждут обыграть купцов? Вот они обыграют, скотоводы проснутя, хватятся денег. Прибежит полиция, и всадники поскачут за балаганщиками, а от балагана, повидимому, останется гряда пепла. Полиция поймает шулеров. Компаньоны должны будут выдать того, кто надоумил их.

А не на сибирский ли мой голос, степной и задумчивый, зашли скотоводы? Не в мое ли заглянув круглое лицо, они поверили в возможность выиграть счастье?

Я смотрел в глаза четырех девиц, которые согласились пожертвовать собой для того, чтобы удержать меня при балагане, дабы я не привел екатеринбургских шулеров, жен, отцов и священников. Я думал: прежде чем полиция поскачет за вами, я приду к купцам и дам возможность всем балаганщикам получить за сто семьдесят тысяч давно искомое ими счастье. Я скажу скотоводам:

— Вас обыграл я!

И я укажу иную дорогу, чем ту, по которой поскакали балаганщики.

Я смотрел на сочную желтую брюкву. Я был голоден.

Я взял половинку и поднес ее к губам. Девушки смотрели на вторую половинку. Они ждали, кому я укажу взять ее. Глаза Платониды наполнились любопытством. Ах, как ей хотелось рассказать обо всем, что произошло со Всеволодом в парке, возле стен древнего замка! Она капризно надула губки, и руки ее трепещут. Она сердится, что я размышляю слишком долго и не надкусываю брюквы.

Я отодвинул брюкву от губ и сказал грудным голосом, коротко и отчетливо:

— Будем откровенны. Девушки вы отличные. Если бы я обнял любую из вас, то я бы начал главу своей тетради «Его тайны» словами: «Любовь, ты создала нас, чтобы любить!» Но вы торопитесь не к любви, а к деньгам. Вы хотите меня удержать от поступков, о которых мне даже думать противно. Вы разыгрываете

грубую сцену, заменив яблоко брюквой! Будем искренни и расстанемся.

Я положил свою половинку брюквы на тумбу.

Я вышел на крыльцо.

Мне необходимо отдышаться, подумать и пойти поговорить с Похлебаевым. Это он придумал удержать меня при цирке любовью! Он выбрал лучших девиц и обещал им наверное не одну сотню. Петр Захаров подарил ему сказку о Парисе.

Из балагана доносились восклицания картежников. Как обычно, солнце склонялось к закату и, как обычно, было тепло, и я, как все прочие, «вдыхал полной грудью бальзамический воздух гор».

Тут меня ударили по шее, и я прямо с крыльца, минуя ступеньки, рухнул в пыль площади, пушистую и широкую.

Я не торопился вставать, ибо узнал мастерской удар грозного Иоанна. Однако удар был легким, так сказать, вступительным. Не знаю, сознательно ли он промахнулся, или просто торопился доделать свой аппарат, когда ему предложили убрать из балагана пустоголового Всеволода.

Я поднимаюсь на локтях, наблюдая за пылью, которая оседала возле капель крови, падающей из моего носа. Постепенно вырисовывались Уральские горы, скалы и леса. Я не торопился вставать, так как размышлял об уральском изобилии.

Хотя Урал и не столь подавляюще величествен, как почтенный, седовласый Кавказ, хотя не имеет чудовищно-ослепительных красок Крыма и ландшафт его всегда спокоен, однако он изобилует как меридианами, так и православными соборами; долинами; бульдогами, лягавыми, мопсами, сеттерами и дворнягами, почти похожими на нью-фаундлендов; железной рудой; крикливыми подпасками; узкоколейками; изношенными кожаными подметками; широкими ноздрями, как у людей, так и у животных; изделиями из низших сортов пицци, бумаги и картона; гвоздикой; ледоходами; гарусом, весьма разноцветным; волдырями из-за крутых горных подъемов; мраморными пресс-папье; вязигой — хрящевым шнуром из хребта осетровой рыбы; спут-

никами изумруда: фенокитом, хризобериллом, александритом, апатитом, плавленым шпатом, в то время как сам изумруд по зеленому цвету и прозрачности не уступает изумрудам Колумбии; винегретом изумительной окраски: из картофеля, огурцов, свеклы, моркови, причем все это полито уксусом, маслом, солью и перцем; асбестом, не уступающим канадскому, дающим гибкое и крепкое волокно, принадлежащее трем фирмам: барону Жирард, Кареву и торговому дому «Наследников А. В. Поклевского-Козелл»; дрекольем, хотя здесь отлично дерут также и розги, помимо местных бритв; свиным заливным: холодным кушаньем, подаваемым в студне; черноземом и суглинками; крепкой закупоркой бутылок: пробкой или втулкой, причем их здесь иногда обматывают еще проволокой, сверху покрывают бумагой, осмаливают, обвязывают веревкой, заливают сургучом с таким расчетом, что когда вы откроете бутылку наливки, то в нос ваш ударит запах необыкновеннейшего состава, а если человек выпьет, то почувствует приятнейшую и необъяснимую пустоту, весьма отличную от той пустоты, которою он обладает обычно; чугуном и торговыми рядами; крупными дыхательными органами, находящимися в груди; пожарами сердец и крыш, в большинстве крытых тесом; сафьяновыми мерлушками; холодными закусками, из которых прославлены на весь мир селедка, икра, балык, сардинки, кильки, анчоусы, колбаса, ветчина, сыр, копченый, маринованные грибы, корнюшоны, а также и конским пороком того же наименования, заключающимся в том, что конь «закусывает», то-есть прызет все, что попадет к нему под зубы, например в 1777 г., когда Ирбитская слобода была возведена в степень города и получила герб (кажется, серебряное поле с голубым андреевским крестом) за то, что население ее, побуждаемое священником В. Удинцевым и писарем И. Мартышевым, отбило пугачевские войска, «несмотря на общий беспорядок в том крае», то неизвестно кому принадлежащий рыжий конь с'ел соответствующий подвигу указ Екатерины II вместе с подштанниками целовальника, который привез этот указ,

и за то преступление «был конь тот бит кнутом до кровавого насморка»; хвойным лесом, а также и лиственным; полустанками; ревматиками, паралитиками, золотухой, рахитизмом и малокровием; скорняжным и овчинным промыслом; обжорством; куделью, солью, пером и пухом; закоулками; непочтительными иногородцами; склонными весьма к бунту; хождением «кубарем вследствие запоя»; портографией; метеорологическими станциями, а также изготовлением вручную спичечных коробок; словесностью и арифметикой; медно-слесарным делом: самоварами, подсвечниками, кастрюлями, топорами, подковами, ухватами, замками, ведрами, заслонками; ловчими птицами: соколами, кречетами и орлами; подорожниками и подорожными; вододействующими колесами и турбинами; разорениями, то-есть крахами; крупными частями женского платья, в особенности лифами, весьма сладостными для взора и осзания жителей; судками для уксуса, перца, горчицы, растительного масла, сахара и соли; лихачами о шесть пудов; высотами в футах над уровнем моря; листовым железом; рябиной; производством якорей и окрестностей, которые видны на несколько десятков верст; лифаями и чугунным литьем Кослинского завода: пепельницами и бюстами государственных деятелей; озерами и склонностями обитателей оных в пьяном виде ходить нагишом, оканчивающимся обычно упорным говением и одышкой; мостами, деревянными преимущественно; кумысниками, также деревянными, как и почтовыми отделениями; замшевыми подмышниками; глухарями и лесными малиновками; платиной и серой; польню; подливками к жареному гусю; узкими глазами лавочников и узловыми станциями; отличной связью пластики гор с особенностью их населения, то-есть с их усами и бородами; земляникой и трактирами; гончарами и деликатессами, а больше всего Урал отличен, и это мнение как исследователей, его посетивших, так и обитателей его, — удивительной способностью быстро сменять настоящее будущим, то-есть почти мгновенно превращать настоящее в прошедшее, о чем я и размышлял, привстав на локтях и

смотря, как улеглась пыль, политая кровью из моего носа.

Пока я размышлял об уральском изобилии, рядом со мной очутились, упав беззвучно в пыль, соломенная моя собака, мои тетради, фуражка и две шпаги. Я рассматривал все это, и мне казалось, что не стоит домогаться пая, который принадлежит мне в «XX веке»! Я получил все, что хотел бы получить из балагана.

Я встал. «Лучше бы мне еще полежать» — думал я, глядя на свои ноги. Ботинки мои совсем лопнули. Пора искать сапожника!

В селе мне встретилось несколько вывесок сапожников. Я заглядывал в окна, но, к сожалению, из денег у меня имелось несколько «катенок», да и то виденных у купцов! Так дошел я до конца села и остановился возле запертой наглухо кузницы. Железный ходок красного-прекрасного цвета упирался в станок дляковки лошадей. Тут я вспомнил коварного мастера Иоанна, но мне не удалось предаться горечи воспоминаний, потому что очень хотелось есть.

Размышляя над тем, что же мне больше всего требуется: починить ли ботинки, или же хорошо покушать, я вышел за село.

Миновав много десятин с прекрасными всходами, миновав тенистые рощи и крутые холмы, я пришел к глубокому заключению, что мне больше хочется есть, чем ходить в новых ботинках. К тому же ботинки совсем свалились, и я шел босиком, ловко ступая по теплой и высокой пыли. Вдоль дороги росли белые цветы. Чтобы разнообразить несколько горечь своего голода, я срывал цветочки и нюхал. К сожалению, голод не приобретал легкости и беспечности цветов, а попрежнему остро резал мой желудок и дрожью падал в ноги.

С глинистого берега речки я видел, как в верхних слоях воды плавают различные, вкусные рыбы, как всегда, не понимая того, что их пребывание в ухе было б более осмысленно, чем в уральских омутах. Я напился. Под ноги мне попала лягушка, но, к сожалению, я, не смотря на все усилия, попрежнему чув-

ствовав отвращение к холодным животным.

Когда приближалась телега, я сидел спиной к дороге и клал голову на колени. Мне казалось, что костистая моя спина и поднятые острые плечи должны внушать жалость, говоря: этому человеку нужно немного, несколько фунтов хлеба, без всяких приправ!

Как и прежде, мне трудно просить милостыню, хотя я и размышлял о том, что какая разнища, если ты вместо руки протягиваешь спину.

Поровнявшись со мной и разглядев мою спину, возчик вдруг басом кричал: — Но, но! Сдохла ты, што ли?

И гнал коня в галоп.

Пробовал я сидеть, повернув лицо к возчику. Это вызывало в нем странное рассуждение, вроде того, что:

— Чего ты уселся у дороги лошадей пугать!

Или:

— А ты еще не сдох? Скажи, пожалуйста, какой живучий!

Меня возмущало, что благодаря голоду они смотрят на меня так, как будто знают меня давно. В конце концов они заставили меня своими дурацкими шутками презирать их. Услышав стук колеса, я спускался в овраг или ложился в траву, или же делал крюк по пашне.

Ночь я провел в колке между двух берез, толстых и гладких, которые изгибом своих стволов образовали нечто вроде кресла. К сожалению, хоть я и владел толстыми тетрадами, наполненными, как я говорил самому себе, «огнем размышлений», но я не мог ими даже разжечь костра, потому что не имел спичек. Спустив ноги с березы, я думал об уральской природе весьма неодобрительно. Приятно смотреть из вагона, когда вокруг тебя поднимаются горы, но когда ты поднимаешься сам на эти горы, да вдобавок без куска хлеба...

Бедный Пим стоит на горе,  
И великое у него горе.  
Еды вокруг не перечесть.  
И хочется ему есть,  
Но удается ли ему  
До нее добреть?

Я заснул, так и не составив стихотворения. Выспался я отлично, хотя во сне

мне казалось, что по стволу ползут змеи.

Поковыряв кору, в надежде, что оттуда потечет березовый сок, я решил, что береза не более милостива ко мне, чем остальная природа.

Впрочем я шел отлично, тому помогало прохладное утро, ветер с гор и пустынная дорога. Я решил в ближайшем селе зайти к сельскому учителю и выменять на хлеб все мои книги мудрости. Я начну с разговора о замечательном моем отце. Мы коснемся похода его в Иерусалим. Если учитель религиозный, он умилится, если безбожник, он позабавится вместе со мной. Так от слова к слову доберемся мы до вопроса, одинаково сладостного для обоих:

— А вы ели сегодня, молодой человек?

Я поднимался в гору отличной березовой рощей. Стволы белые и прямые упирались в тугую землю, густо покрытую зеленой травой. Вверху колыхалась яркопрозрачная листва, а над нею—бледные, прозрачные облака. Я шел, размахивая соломенной собакой и готовя предстоящий разговор с учителем:

— Читаете ли вы книги мудрецов? — спрошу я его.

— Наша библиотека пополняется лишь «Русским паломником», а вы сами знаете, сколько там мудрости, — ответит он мне.

— Могу показать вам тетради, идя по которым, легко пройти путь от Платона и мимо позднейших мудрецов до скрытой мудрости факиров, — скажу я ему.

— Это чрезвычайно любопытно! У меня сейчас каникулы, и я рад бы познакомиться с мудростью, но ведь это наверно чудовищно дорого, — ответит он мне.

— Какое ж дорого? Краюха хлеба дороже и тяжелее моих тетрадей, — скажу я ему.

И вот тогда-то он поправит на носу стальные очки, вскинет бородку и, скосив серые глаза, воскликнет:

— Позвольте, а вы ели сегодня, молодой человек?

Взор его упадет на курицу, которая медленно шагает мимо крыльца. Он вспомнит, что курица и не несетя, и не

садится на яйца, тогда как собой чертовски жирна.

— Ловите ее, — крикнет он мне.

Я было протянул руки, чтобы в случае ловли фарфорово-белой курицы не промахнуться, как позади услышал топот.

Закинув руки за спину и отложив ловлю курицы до того времени, когда телега минует меня, я шел, наклонив голову, беспечно и весело. Если уж не успел свернуть, то надо гулять!

— Факир! Всеволод, ты?

Я повернул голову. На меня смотрели грустные глаза Нубии.

Держа в одной руке очищенную брюкву, в другой ломоть хлеба, намазанный медом, весь в сиянии отличных своих зубов, ехал верхом Петр Захаров.

Молча подошел я к Нубии, я хотел потрепать ее по шее, но вместо этого рука моя взяла ломоть.

— Или ты не мог его прикрыть бумагой? — сказал я с полным ртом. — Жевать невозможно, сплошная пыль.

Но, по правде сказать, мне казалось, что пыль способствует быстрому жеванию, так как лишает и хлеб, и мед присутствующего им вкуса, а, значит, и поводов для размышления. Затем я взял брюкву. Она распалась на две половинки. Я хотел было спросить, та ли это брюква, которую подавали мне хористки, но я никак не мог вспомнить, положил ли я ее тогда на тумбу или к себе в карман. Как бы то ни было, брюква эта показала мне крошечной.

Тогда Петр Захаров достал из кармана яблоко.

Отстраняя яблоко, я сказал с обидой:

— Проезжай! Ты совсем перестал уважать меня, ты даже думаешь, что я не знаю мифологии.

— Поспешная работа, — вздохнув, сказал Петр. — Я и сам понимаю, что опростоволосился, хотя в последнюю минуту и заменил яблоко брюквой. Впрочем должен тебе сказать, что они сами мне признались в любви к тебе. Она вспыхнула мгновенно...

Он слез с коня:

— Садись.

Я взялся было за гриву, но вдруг сказал:

— Не вернусь и отказываюсь от морального директорства.

— И не думаю уговаривать тебя, Всеволод. Вряд ли даже мы вернемся с тобой из Екатеринбурга.

Я вспрыгнул на коня. Взял яблоко.

— Как же ты догадался о пище, Петр? Правда, меня подкармливали здесь кое-чем...

— Ты не даешь мне закончить любовное признание. Так как мы не вернемся, то я расскажу тебе истину. Платонида проболталась первой. Карточная игра, брат, у многих повернула души. Девушки они с мечтаниями, хотя, казалось бы, профессия не должна способствовать возвышенным думам, как ты это можешь проверить хотя бы на Пашке, который например обещал мастеру Иоанну пятьсот рублей из денег выпрыска, если он саданет Всеволода по уху, а тот парень догадливый и сразу убежит из села, умолчав о шулерстве в «XX веке».

— Я ушел совсем по другой причине.

— Я-то понимаю, но ведь так думал Павел Ковалев. Ты слушай о девицах, а не о Павле Ковалеве. Ну так вот, как только у девиц всколыхнулись души, то они, естественно, стали присматриваться к людям, у которых душа подходящая к теперешнему ихнему измерению! Смотрят они, стоит возле столба Всеволод. С лица он не миф, но внутренности возвышенные и лишены алчности... Засосало им сердце...

— Ты полагаешь, что они разговаривали со мной серьезно?

— Утверждаю, что впервые в жизни они разговаривали серьезно, не касаясь конечно того случая, когда они начали ходить и восклицать: «мама!» Если б ты серьезно подумал об них, а подумать тебе, я признаюсь, помешала моя глупая выдумка с яблоком, и ты выбрал бы какую-нибудь из них, то посмотрел бы я, как ты не поверил в ее перерождение, когда б лицо ее загорелось счастьем. Я убежден, что и скотовод не отмахнулся бы от нее теперь, а ты получил бы от него несколько тысяч на свадьбу.

— Считаешь возможным, Петр, что я могу торговать женой?

— Во-первых, Всеволод, она еще тебе не жена, а во-вторых, какая же это тор-

говля, если мы охотимся за купцом. Или купец нас с'ест, или мы его слопаем. Да что спорить, если мы не вернемся туда, и брюква, и яблоко с'едены.

— Я бы не ел его, считай себя я Парисом.

— Уверяю, и Парис был довольно безобразен. Его украсили последующие века и усердные поэты. Главное, он уважал себя!

Так, шутя и распевая легкие песни, мы подвигались к Екатеринбург. Горы были оранжевые, синие, затем все вокруг покрывалось теплым и серым, и вновь от востока прорывался фиолетовый луч, сменяемый желтым!

Нубия старалась не опередить своим шагом хозяина. Я любовался уральской природой и чувствами, которые ко мне питали хористки. Пока мой курчавый павлодарец пел песни, я размышлял о любви. Напрасно он думает, что я не уважаю себя. Кому же мне передать яблоко? Правда, оно с'едено, но разве мне так и не найти десяти копеек для того, чтобы купить новых?

Я передам яблоко Платониде. Мне нравится ее подвижность, ее способность то плакать, то хохотать, то впадать в гнев, а то быстро забывать все, как она наверно забыла сейчас и любовь ко мне. Ее будет сдерживать практичная и бережливая Василиса. Она будет поучать, а рядом старик Степан Ломов все время требовать стеклянного цирка. Старик теряет свои силы и скоро прекратит свои выступления, но все-таки он успеет передать мне все тайны «клишника». Чем я больше думал о Платониде, тем для меня становилось яснее то чувство, которое я питал к ней. Поэтому-то я сказал с твердостью:

— В сущности, я давно люблю Платониду.

Петр Захаров не удивился.

— Из Екатеринбурга мы ей отобьем телеграмму. Телеграмма, брат, вернее яблока. Храбр не тот, кто имеет яблоко, а кто имеет жалость. Яблоко всегда хочется с'есть.

Он опять было раскрыл рот, чтобы затянуть песню, но я воспользовался случаем, когда после «репки» к нему

можно было обращаться с вопросами и он отвечал разумно:

— Зачем, Петр, ты идешь в Екатеринбург?

— Затем же, зачем и ты, Всеволод. Только ты будешь посылать телеграмму о том, что любишь Платониду, а я телеграмму о том, что приобрел коней в цирке А. Коромыслова.

— Тебе дали денег?

— С деньгами купит лошадей любой дурак. Правда, лошадей там не двести, а пока пятнадцать, но я все-таки куплю их без денег и задешево. Я вот смотрел, как ты стоишь у столба в задумчивости, и подумалось мне: поощрять шулерство нельзя, но и кушцов-то мне не жалко. Как быть? Если самому ввязаться в игру, так я немедленно увижу, что Талыг жульничает, и сразу — в морду!

— Ты мог остаться зрителем.

— Я не мог остаться просто зрителем. Я сказал балаганщикам: пока вы обыгрываете купцов, я приобрету на предполагаемые деньги цирк Коромыслова. Это был хитрый ход. Вряд ли бы они согласились на приобретение, выиграй бы они деньги. Я подумал: обыграют они или нет, а мне надо поступить так, чтобы выиграть цирк. К дверям нашего балагана, Всеволод, подошли счастливые и удачные события. Люлька, Всеволод, отброшена! Ребенок «XX века» уже держит в руках пачку банковых билетов, и ты опять стоишь возле манежа цирка, Всеволод.

— Я вернусь туда не ради ребенка, который держит в руках банковые билеты, а ради того ребенка, который будет держаться за мою руку.

Он сказал с уважением:

— В предстоящем цирке, я убежден, ты с такими мыслями даже у меня отобьешь любой предмет, не говоря о девушке.

Я простил ему все обиды! Я опять любовался им, его курчавой головой, пряничным лицом и его способностью запоминать все, что встретится. Вот мужик гонит корову, а Петр Захаров с одного взгляда узнает, чем больна корова и чем таких коров лечат. Он даст хороший совет и тут же нарвет целебных трав. Пройди хоть двадцать человек, а

он способен вспомнить, что у третьего с краю надет сыромятный пояс с пряжкой, скрученной из проволоки, а к поясу привязан кисет и молоток, что у шестого из кармана торчит «почаевская» книжка, что у восьмого — подстриженные рыжие усы и на желтом гайтане серебряный крестик. За плечами у Петра холстяная котомка, в ней синий фрак, ботинки и цилиндр. Он выхлопает фрак возле Екатеринбурга, свернет котомку и покроет ее газетой, а сверху положит цилиндр. Так он появится перед А. Коромысловым.

— Не махнуть ли нам вдвоем в Индию? — протяжно говорю я.

— У тебя слабо развито чувство товарищества, Всеволод. Мы придем туда со всем нашим цирком, вооруженные знаниями и машинами двадцатого века.

— Дурацкая мысль, — говорю я ему. — Неужели ты думаешь, что англичане не догадались привезти туда хороший цирк? Не сами ли мы находимся в шестнадцатом веке, а Индия в двадцатом?

— Тогда тем более скучно нам жить с людьми двадцатого века, так как люди

из шестнадцатого, которые сопровождают тебя вместе с нашим балаганом, будут нам приятны и веселы. Впрочем, у нас еще много времени впереди, чтобы обсудить путешествие в Индию.

Где-то далеко с горы спускаются девки. Они поют.

Петр Захаров подтягивает им. Постепенно мы повышаем голоса и, сами не замечая того, ускоряем шаги.

Песня приближается. Девки спускаются к селу. Голос Петра совсем уже освоил песню. Вот он врзаясь в толпу. Он поет и в то же время показывает знаками, что нравится ему у этой вот пунцово-розовой девки и чего нехватает у той, молочно-белой, и зачем вон та, опаловая, убрала то-то. На меня и на Нубию никто не смотрит.

Вот мы уже в селе. Девки, смеясь, расходятся.

В руках у Петра появилась крышка молока и груды шанег.

Он протягивает мне пищу:

— Питайся и размышляй. Помни, что принесшего воду презирают, а разбившего бутылку возвеличивают.

*(Продолжение следует)*

## Два стихотворения

А. РЕШЕТОВ

I. КИРОВСК

Этот город по годам ребенок,  
Родина,  
Твой пятилетний сын,  
Но широкоплеч,  
Высок  
И звонок  
Выросший, как в сказке, исполин.  
Доблести людей  
Живой свидетель,  
Светлый город заполярных гор.  
Слава большевистских пятилетий,  
Вышедшая зримо на простор.  
...Я пройду по улице широкой,  
По проспекту радости моей,  
Полюбуюсь красотой высоких,  
Звезды переспоривших огней!  
Это горняки  
К ночному небу  
Пламенные подняли цветы,  
Добывая дар свой,  
Равный хлебу,—  
Апатита белые пласты...  
Здравствуй, большевик,  
Горняк  
И химик, —  
Город мой,  
Я не случайный гость:  
Под луной твоей  
И мне с другими  
Строить эту славу довелось.

Потому  
Мечтательный,  
Веселый,  
Словно на свои живые дни,  
Я гляжу на фабрики,  
На школы,  
На дома культуры,  
На огни.  
В памяти встает  
Живой,  
Плечистый,  
По камням шагающий в рудник  
Твердую походкой коммуниста —  
Мудрый и бесстрашный большевик.  
Радуюсь рождению зданий этих,  
Город наш,  
Он знал твои пути...  
Славься, Кировск!  
Будь могуч и светел,  
Улыбайся,  
Побеждай,  
Расти!  
Озаряя горы,  
Реки,  
Склоны,  
Жизнь, сияй, прекрасна и ярка!  
Долго жить хотел Сергей Мироныч...  
Незабвенный,  
Будешь жить века!

## II. АВИАТОР

В полуденном небе  
 Дорога твоя,  
 И руль,  
 Высоту набирая,  
 Послушен тебе,  
 И гордятся края  
 Тобою  
 От края до края.  
 Летишь над полями,  
 Над лесом летишь,  
 Поешь на высоком просторе.  
 За озером эхо,  
 Качая камыш,  
 Пропеллеру весело вторит.  
 ...Я видел тебя  
 Над Москвой,  
 Над Невой,  
 Гордился отвагой и волей,  
 Сейчас с запрокинутой вверх головой  
 Стою с хлебобобами в поле.  
 И тут не впервые пропеллер поет,  
 Но все,  
 От подпаска  
 До деда,  
 Глядят на рокочущий твой самолет,  
 На таянье дымного следа.  
 За облаком легким  
 Скрываешься ты,  
 Возможно спокоен, как дома,  
 И все же  
 Земные пути не просты,

А небо нам меньше знакомо.  
 Рискуя,  
 Ликуя  
 И песни поя,  
 Родные края озирая,  
 Летишь,  
 И понятна мне слава твоя,  
 Как эхо  
 От края до края.

\*\*\*

Я пахал на волах кубанские степи,  
 Я охотился в тундре на росомах,  
 Я видел тоску  
 О смерти и хлебе.  
 Я потел в сугробах  
 И мерз в домах.  
 Я бежал от тебя  
 И звал тебя снова.  
 Я, солнцу веря,  
 Под градом рос.  
 Я слово искал  
 И во имя слова  
 Вот и сейчас бородой оброс.  
 ...Гостить в травинке  
 И падать с тучи  
 Ветры зовут  
 И стареть не велят..  
 Я только влюбленный,  
 Которого случай  
 Бросит в объятия твои, земля.

# Встреча

Рассказ

А. ПЕРЕГУДОВ

**Т**от день, когда Никита Лаптев потерял сына, навсегда и до малейших подробностей врезался в память. И будто не пятнадцать лет прошло с тех пор, а вчера случилось то, что долгие годы мучило раскаянием и наполняло дни тревогой и тоской...

Всю ночь Никита не мог заснуть, ворочался на жесткой вагонной лавке, выходил на площадку курить и часто спрашивал у проводника: «Скоро ли будет станция «Белый мох»?»

На рассвете Лаптев сел к окну и, не отрываясь, смотрел на темные заросли ельника и березовые перелески, утопающие в туманах. Вот в такое же туманное предутро, пятнадцать лет назад, вышел он со двора и, быстро шагая, направился к «Белому моху». Под ногами оседала земля, размягченная теплой осенью, и хорошо пахло этой землей, увядшей травой и тиной придорожных канав. За канавами по обеим сторонам дороги темнели сырые кусты, за которыми едва различимо возникали березовые островки.

На болото Лаптев пришел, когда уже всплыло из-за синего бора солнце и разорванные туманы таяли под его жидкими тепловатыми лучами.

Тощие, низкорослые сосенки тонули в глубоких мхах. Мхи губили лес, затягивали озеро, к топким его берегам нельзя было подойти, — толстой, упругой периной покрыли огромное пространство земли. Широкие поляны краснели спелой клюквой, баговник и вереск дурманно пахли. Иногда их запахи перебивал

пахучий аромат дегтя, которым Никита с вечера жирно смазал сапоги. Сапоги напоминали о неожиданных и быстрых сборах на охоту, напоминали Петьку Столярова, возбужденно рассказывающего, как на «Белом моху» он встретил лосей.

— Лосей нельзя бить, — сказал Ванька, поднимая голову от книги.

— Кто сказал — нельзя? — нахмурился Никита.

— Лесник Капустин.

— Много он знает, твой лесник... А ты помалкивай больше.. Больно умен стал. Книжки-то пора бы забросить, делом заниматься надо.. Делов — куда ни повернись — охалка.

— Потихоньку можно, — усмехнулся Столяров. — Ежели лося свалить, говядиной себя на всю зиму обеспечишь.

— Пойдем на двор, — позвал Никита Петьку и на дворе, под навесом, долго и подробно расспрашивал его: в каком месте встретились лоси и не рассказывал ли он еще кому-нибудь об этой встрече.

Перед сном, собираясь на охоту, раздраженно думал о сыне: «Никудышный парень.. Помощи от него никакой.. У других дети — радость, а у меня — печаль. У других в четырнадцать лет мальчонка за мужика работает, а у меня — что?... Читает да рисует чего-то на бумаге, а чего рисует — не поймешь: палки, колесики, зазубринки... На кой хрен это?..»

Обойдя озеро, Лаптев вышел к чащу бережняка и осинника. Где-то в

этих местах Петька Столяров встретил лосей: быка, корову и теленка. Никита заметил свежескусанные ветви и радостно взволновался.

«Эх, наткнуться бы на них» — подумал он и очень живо представил себе, как из чащуги полезут лоси, как громят ружье, и смертельно раненный бык сначала вскинется вверх, потом покорно и беспомощно ткнется мордой в землю.

Мечты об удачной охоте перебивались думами о сыне, и эти думы знакомы и больно тревожили сердце. Что делать с Ванькой? По всему видно, что ни земля, ни охота не интересуют его. Как вывести Ваньку в люди: отдать ли в науку к знакомому плотнику Серафиму Плахину, или на ткацкую фабрику в уездный городишко? Фабрика пугала Никиту дальностью расстояния, незнакомой жизнью города. Свихнется там мальчишка без отцовского глаза. Уж лучше в плотники: плотнику всегда и везде найдется работа.

Громкий треск в чащуге оборвал мысли Никиты. За частой порослью березняка кто-то стремительно бежал, ломая ветви и тревожно фыркая. Дрожавшими пальцами Лаптев взвел курки и стоял, слегка нагнувшись, недвижимо замерев, готовый выстрелить, как только покажется из чащуги рогатая голова. Треск быстро потух, но охотник все еще продолжал напряженно ждать. Прошло несколько минут, и вдруг слева хрустнула ветка. Никита медленно перевел взгляд в ту сторону, где снова под чьим-то тяжелым телом четко и сухо стрельнул пересохший валежник. Кололо сердце, широко раздувались ноздри, но руки твердо держали ружье, и зорек был взгляд цепких охотничьих глаз. Кто-то пробирался чащугой на опушку. Бесформенное темное пятно мелькнуло за тонкими стволами березок. Качнулась верхушка осинки. С ветки сорвался желтый лист и медленно падал, сухой и легкий, как перо. Подавшись вперед, Никита медленно поднимал ружье и вдруг резко опустил его.

На опушку вылез лесник Капустин. — Здорово, приятель, — сказал лесник. — За уточками пришел?

— За уточками, — оторопело ответил охотник.

— Так ты к озеру шел бы или на болото, какие здесь уточки...

Никита смущенно молчал.

— А я недалеко лосей спугнул. Не за ними ли ты, часом, собрался?

— Што ты... Нешто я не знаю, что лосей запрещено бить.

— То-то... Ну, пойдем, провожу до озера.

Лаптев молча шагал за лесником, с трудом сдерживая растущую с каждой минутой злобу. Он догадывался, кто выдал его леснику.

У сосняка Капустин свернул вправо. Отойдя шагов тридцать, остановился и крикнул:

— Слышь-ка!.. Ты, Никита, это дело брось!.. Мне вчера твой Ванька сказал, что ты к лосям подбираешься. Брось, а то, гляди, худо будет. По-свойски говорю.

...Поезд бежал между двух ярких стен березняка. Березы и осины, подожженные осенью, пылали багровыми и желтыми кострами. Над ними полз лохматый туман, сквозь который пробивались голубые оконца неба. Опавшие листья ржавым руном лежали на земле, над ними клубились и быстро таяли пар и дымок паровоза. Туман, березки, опавшие листья — все было так, как в то далекое утро, и Лаптеву казалось, что вот сейчас он снова переживет то, что случилось пятнадцать лет назад. Взбешенный, широко распахнув дверь, войдет он в избу и помутневшими от злобы глазами посмотрит на Ваньку. Сын испуганно взглянет на отца и снова опустит голову над книгой. Тогда Никита торопливо повесит ружье, подойдет к сыну и молча ударит его по голове. Потом схватит книгу, тетрадки, в бешенстве разорвет их и разбросает по полу.

— Вон!.. — истуленно кричит отец. — Вон из моего дома! Чтоб глаза мои тебя не видели!

У сына побледнеет лицо, запрыгают губы, он что-то попытается сказать, а Никита возьмет его за шиворот и выбросит в дверь...

Вагоном прошел проводник. Передохнув и проглотив горький комок в горле, Никита спросил у проводника:

— «Белый мох» скоро?

— Вторая остановка.

Дрожали руки, когда Лаптев перевязывал веревкой зеленый деревянный сундучок. Через полчаса он увидит сына. Каким-то стал теперь Ванька? Сколько лет Никита искал его, ходил по деревням и селам, ездил в уездный городок, спрашивал знакомых и незнакомых:

— Не попадался ли паренек, Ванькой звать?.. Убежал из дома.

Однажды плотник, Серафим Плахин, приехав из Казани, где он работал на строительстве, сказал Лаптеву:

— Видел твоего Ваньку: с беспризорниками по вагонам ходит.

И впервые подумал Никита: «Погибил сына...»

На болоте «Белый мох» нашли большие залежи торфа, начали рубить лес, рыть канавы. Говорили, что будут строить электростанцию. Изменялось знакомое и родное, что с детства было близко и любимо. Никита продал свою избу и ушел из деревни, где все напоминало ему о гибели сына. Он переезжал из города в город, работал землекопом, научился печному делу. На каждом новом месте пылливо оглядывал молодых парней, ожидая, что, может быть, в одном из них он узнает Ваньку.

Шли годы, и Лаптев уже свыкся с мыслью, что Ванька погиб, как вдруг получил от него письмо. Сын писал, что он работает на строительстве «Белый мох», и просил отца приехать к нему. Никита собрался в один день и перед отъездом очень беспокоился: дойдет ли его письмо раньше, чем он сам придет. На почте посоветовали ему послать телеграмму. Девушка за стеклянной стенкой взяла с Лаптева три рубля сорок пять копеек и обещала все сделать.

«Не обманула бы» — думал Никита, стоя у окна и жадно смотря на родные, но такие незнакомые места. Пятнадцать лет назад здесь стояли еловые чащи, лежали нетронутые болота, а сейчас на месте еловых чащ и болот расстилалось ровное полотнище земли, изрезанное канавами, протянулись дороги, выросли поселки. Вдали мелькнуло озеро, и на его берегу громоздились новые дома и выросло огромное серое здание с

черными трубами. Как все изменилось! Никите жаль было леса и топких болот, где так много выдилось разной дичи, но, заглушая эту жалость, росло нетерпеливое и тревожное ожидание встречи. Что-то делает здесь Ванька? Хотелось встретить сына степенным и вдумчивым мужиком, в добротных сапогах и новой сатиновой рубаше. Думалось: «Ванька постиг плотничье ремесло, в его руках играючи взлетает острый топор. Все его движения — даже когда он, отдыхая, курит махорку — медленны и хозяйственны, как у человека, знающего себе цену. И была боязнь увидеть сына худым и серым, потрепанным жизнью, с заискивающей торопливостью в походке и взглядах.

Поезд подошел к новенькой, недавно выстроенной станции. Никита вылез из вагона и остановился, не зная, куда идти. С зеленым сундучком за спиной, в потертом и заплатанном полушубке, стоял он, беспокойно оглядывая платформу. Из соседнего вагона вышли четверо пильщиков в сермягах. У одного из них была большая пила, обмотанная рогожей. Он держал ее на плече, как ружье. Из товарного вагона рабочие таскали тюки и клали на весы. У дверей станции стоял человек городского вида, в широком сером пальто, мягкой кепке, и кому-то улыбался. Сына на платформе не было.

«Обманула, — подумал Лаптев о барышне, обещавшей послать телеграмму, — взяла три рубля сорок пять копеек, и обманула...»

Он нерешительно двинулся к дверям станции.

Человек в широком пальто шагнул к нему навстречу и сказал:

— Здравствуй, отец.

Никита испуганно остановился, ослабели пальцы, и сундучок с глухим стуком упал на землю.

Сын обнял и поцеловал отца.

— Спасибо, что приехал! Я получил твою телеграмму.

Все еще не веря, что перед ним стоит сын, Никита оторопело ответил:

— Приехал... Здорово, Иван... — Оглядел дорогое пальто, кепку, белые, не плотничьи руки стоящего перед ним

человека. — Здорово, Иван Никитич...  
Вот ты каким стал...

Он пытался улыбнуться, но губы кривились неуверенно и жалко, будто собирался Никита заплакать. И взгляд его был насторожен и испуган. Боясь спросить, кем же работает этот как будто чужой человек, с черной аккуратно подстриженной бородкой, Лаптев повторил:

— Вот ты каким стал!

Сын засмеялся. И по мере того, как находил Никита в скуластом лице сына, в темных его глазах, в оскале белых зубов то, что осталось от Ваньки, растерянность и страх проходили.

— Ну, пойдем, что же мы тут стоим.

— Далеко идти-то?.. Сундучок у меня тяжелый. Может, лошадь какая попутная...

Сын не дослушал отца, поднял сундучок и легко вскинул на плечо.

— Я сам... Я сам... — засуетился Никита.

— Ничего, тут недалеко.

Они пошли мимо багажного сарая. Лаптев смущенно потупил голову, заметив, как посмотрели на них рабочие, тащившие тюки.

За станцией стоял новенький автомобиль. Он походил на большую, только-что выпущенную из мастерской, игрушку. Солнце играло на его лакированных крыльях, блестело в стеклах, зажигало нестерпимым светом никелированные части.

Сын подошел к автомобилю, открыл дверцу, поставил на мягкое сиденье перевязанный веревкой сундучок.

— А ты вот здесь садись, рядом со мной.

Рывкнул басистый гудок, автомобиль задрожал, круто повернул и покатил по шоссе.

Все было, как во сне: и сын, такой незнакомый и близкий, и машина, бегущая по местам, где недавно лежали болота и гнили еловые чащи, и даже солнце, заливающее светом прямое, как нитка, шоссе, было незнакомым, неправдашним солнцем.

Никита догадывался, кем работает его сын. «Это тебе не плотник» — ду-

мал он, гордясь и восхищаясь.

— До шофера дошел?

— Нет, я здесь работаю инженером.

— Ври! — быстро повернул голову отец.

Иван Никитич рассмеялся родным, ванькиным смехом.

— Подожди, приедем домой, обо всем расскажу: как беспризорником был, как учиться устроился и как инженером стал.

Старик был оглушен, раздавлен всем, что свалилось на него в это утро. Ему хотелось крепко обнять Ваньку, хотелось высунуться из автомобиля и кричать всему, что бежало навстречу: людям, телеграфным столбам, соснам:

— Смотрите: вот он, Ванька!.. Вот те и Ванька!

Но он не закричал, не обнял сына, он только сказал, внезапно осознав свою неправоту:

— Стало быть, книжки-то — не зря... Достукался.

— Достукался, — улыбнулся сын.

— Наука — ба-альшее дело!

И больше не было слов. В груди росла и ширилась радость, она мешала дышать, она распирала грудь, она замутила глаза слезами, и, боясь, что это никогда не испытанное ранее чувство заставит его заплакать, отец глубоко вздохнул и скосил глаза на сына:

— Казенная машина-то?

Сын ответил, и в голосе его впервые прозвучала гордость:

— Моя. Премировали меня за ударную работу.

По сторонам шоссе стремительно неслись деревья, мелькали зеленые домики с голубыми палисадниками, шаркались телеграфные столбы и кучи булыжника. Впереди выростало огромное здание электростанции.

Теплая слеза набухла и покатилась по коричневой щеке старика. Скрывая свое волнение, стараясь быть спокойным и попрежнему добродушно-суровым, он протянул руку и погладил мягкую обшивку кабинки, погладил любовно и ласково, как колхозник гладит горячего племенного жеребца. И сказал:

— Ничего... Шибко бежит...



## III

В его глазах — еще кровавый отсвет  
«Самосожженцев»<sup>1)</sup> древних

у костров.

Ведь это он апостолом юродства

Нам говорил: «Смиряться и  
немотствуй!»—

Среди кипящих зеленью садов.

Он говорил, пока во чревах бочек,  
Бунтуя, хмель кружился и вскипал...

Кулак медоточивый и начетчик,

Молитвой смутной—и ключами—

к ночи

Не ты ль в амбаре белых укрывал?

Начетчики и старцы... Нет, теперь вы  
Сожжете свечи чадные дотла.

Последние, склоняясь к книгам веры,  
Которых буквы—жирные, как черви,  
И заползут лишь в мертвые тела!

. . . . .

## IV

... История... Ее сырых отметин

Немало от затесов топора

Легло в Сибирь. Легко в глаза

глядеть ей:

Нам, прорубившим просеки

в столетья,

Среди трупоб, слепых еще вчера!

## II. ВОЗВРАЩЕНИЕ

И вот он, снег.

Пушистый, как меха,

Мерцающие в пальцах зворолова...

И вспомнитесь — сибирская доха,

И дым костров на вас повеет снова.

И зимние суровые цветы,

Рожденные, как изморось

в туманах,

Напомнят нам, что дики и

круты

Те пасмурные, темные хребты,

Где залегли таежные Саяны.

Там зоркий путь нам выведет

морозы...

Отцовские расступятся леса.

Услышим сквозь напевы тунгуса

Собачий лай и ровный скрип

полозьев.

Добычею оттянем пояса!

И дебри зим для нас раскроет

Север...

Там к речке через горный перевал

Сохатый нес рогов своих деревья...

А по весне, на солнечном сугреве,

Медведь лениво «на-дыбки» вставал.

... Там в тишине заснеженной

зимовья,

Что срублено из сосен смолевых,

Где пахнет шкуркой сохолов и кровью,

Мы лыжи и берданы — к изголовью,

Как равные, поставим среди других.

## III. РОДИНА

Семьей многоплеменной навстречу

Идем друг к другу

По путям твоим.

Как звездами,

Спокойствием отмечен

Наш ясный путь.

И каждое наречье

Для нас понятным стало

И родным.

И свет костров

Ложится нам на щеки.

Стремлению прорвавшейся струи

Мы дали силу

И под'ем высокий.

Мы пьем от бурь,

Переходя потоки,

Бойцы твои

И мастера твои!

Нам полной горстью

Черпать изобилье.

<sup>1)</sup> Самосожженцы — раскольники, в изуверстве сжигавшие себя (XVII—XVIII и др. вв.).

Упрямы руки наши  
И теплы.  
Ведь будни стали —  
Сказочно былью,  
Когда на всю  
Страну свою  
Накрыли —  
Зерном и снедью  
Полные столы!  
Когда от рук  
Доярки загорелой  
День пахнет теплой  
Сытостью хлебов,  
Когда ответным  
Гулом голосов  
Колхоз встречает  
                                в начполитотдела  
Труды и дни родных  
                                большевиков.  
\*\*\*  
В пимах с разводами, в подшитых,  
Широкоплеч, беловолос,

Стуча по срубам домовито,  
Деревней нашей шел мороз.

А ты, мой друг, в тот вечер синий  
Поведал думку нам одну:  
— Как тополя, как хмель на  
  тыне,  
Мы молоды. А, смотришь, иней  
Кудрям пророчит седину...

Но хмель завился желтокудрый,  
Сквозь дебри зим прошли леса.  
И кедр, в лохматых лапах,  
  мудро,  
Сверяет птичьих голоса.

... Так, ранним инеем повитый,  
Среди парней, среди девах,  
По-стариковски домовито  
И ты пройдешь, мой друг,  
  в подшитых,  
В больших, с разводами, пимах.

Москва.  
934.

---

# Год рождения 1905-й

Хроника одного детства

М. ЧУМАНДРИН

Часть первая

(Продолжение <sup>1</sup>)

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

**П**о всем прилегающим улицам затоппились газетчики, с газетами, привезенными московским поездом. Один из них зашел в лавку Наума Мологонова, снял шапку и сказал:

— Ну-с, Наум Карпыч, с войной вас... — И грустно добавил: — Поздравлять нечего, сами видите — Австро-Венгрия.

Он получил монету, надел шапку и по-военному козырнул: он уже чувствовал себя на войне.

К вечеру на телеграфных столбах и заборах расклеили манифест.

«Божией милостью, Мы, Николай Второй, император и самодержец Всероссийский, царь Польский, великий князь Финляндский и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляем всем верным Нашим подданным.

Следуя историческим своим заветам, Россия, единая по вере и крови с славянскими народами, никогда не взирала на их судьбу безучастно...»

Дальше говорилось о Сербии, Австро-Венгрии, о том, что Германия объявила России войну.

«Мы молитвенно призываем на Святую Русь и доблестные войска Наши Божие благословение» — кончался манифест.

Около забора люди толкались, кричали на Антона, наступали ему на ноги. Он начал было читать, но читать было скучно и трудно, Антон выбрался из толпы и побежал домой.

В лавке у Мологонова народу было больше обычного. Здесь же сидел околоточный Хрош, играя темляком шашки и шевеля огненными своими усами. Он слушал лавочника, чуть-чуть склонив голову, сидя на мешке орехов, поставив ногу на опрокинутый ящик.

— Теперь возьмите женщину. Она конечно пойдет в гору, — вдруг перебил он Мологонова и выразительно посмотрел на Соломониду. — Возьмите — мужчина: его перестреляют на театре военных действий. — Потом добавил, выпячивая грудь: — Полиция — это, впрочем, ведь тоже театр военных действий.

Про войну с японцами ребятам частенько рассказывал одноглазый Лукьян, юльмовский дворник. Под вечер он выходил на улицу, садился на скамью, широко ставил свои ноги в громадных подшитых валенках, — в них он ходил и зимой, и летом, для чего-то клал около себя тяжелый колун и начинал:

— Да... Призывает меня господин штабс-капитан, как сейчас помню: черный, усики маленькие и рост превосходный... — Лукьян, страшно морщил лоб и собирал в пучок свои лохматые бро-

<sup>1</sup>) См. «Новый мир», кн. 1 с. г.

ви. — «Вот тебе, — говорит, — мой квиток, иди, с кем-нибудь на деревню, бери, допустим, китайца, дай ему в зубы квиток, и чтоб к вечеру у господ офицеров была свинина, чтоб мой офицер был со свиной». — «Точно так, ваше благородие, слушаюсь». Пошли...

И все рассказы Лукьяна были в таком вот роде: там у китайца отняли свинью, там разрыли его огород, срубили капусту, в другом месте сожгли деревню и в одной фанзе сгорела старуха с двумя ребятишками, в третьем взорвали мост через реку, и утонуло много наших солдат, — вообще, всегда получалось что-то не то.

Выходило, что воевали с японцами, а доставалось то китайцам, то своим.

— А почему? — спрашивал Антон, следя за беспокойными движениями Лукьяна.

— Существует команда и есть штабс-капитан или там батальонный. Иначе — по строгости военного время...

Платошка Матросов, беспечный здоровяк, не особенно задумывался над рассказами дворника. Он слушал их с удовольствием, но, когда Лукьян кончал, пренебрежительно откликнулся:

— Брехня!..

За последнее время Лукьян особенно сдружился с Юзькой Перваком.

— Ты хлеб зарабатываешь, — это хорошо, семью кормишь. Значит, опора...

— Как дождь, его мать до фабрики на руках носит... — прежним пренебрежительным тоном отзывался Платон, кося в сторону Юзьки свои громадные глаза, в то же время не упуская из поля зрения всей улицы. Если издали показывались ребята, Платон так и загорался весь в предвкушении свалки.

— Ты озорной... — говаривал ему Лукьян, бегая по коленям своими быстрыми пальцами. — Озорные живут на виду, его всякий городской видит и запоминает. Жить надо тихо, чтоб тебя и увидели, да не заметили.

— Я не озорной, я только силач... — свысока отвечал Платон, не упуская из виду возможной своей жертвы.

Когда Антон узнал, что пошли разговоры о новой войне, он первым де-

лом отправился к Лукьяну. Тот скреб косарем ступеньки парадной и что-то напевал. Антон помолчал, поглядел, как из-под косаря летят засохшие ошметки грязи и спросил:

— Значит, война? Да? Австрийцы — это японцы?

Лукьян изумленно раскрыл глаза, бросил косарь наземь и засмеялся.

— Ай, Антон, Антон... Австрийцы так уж и будут австрийцы. Хотя все люди из одного гнезда, верное дело... — И дворник добавил тоном неисчерпаемой щедрости: — Какая такая война? Зачем? Живут себе люди — и пускай их живут! Разве нам жалко? Да живите, пожалуйста!

И все-таки, несмотря на Лукьяна, война началась.

Через весь город с Московского вокзала на Рязанский и обратно с барабанным боем, музыкой и песнями, со свистом и уханьем шли солдаты, только что остриженные, в новых сапогах, от которых воняло за три улицы, без винтовок, со скатанными шинелями через плечо, с коротенькими лопатками на боку, с манерками, флягами, обшитыми серым сукном. Рядом, стороной, по дощатым тротуарам, тесня встречных к домам и заборам, ловко вышагивали офицеры, большей частью молодые и тонкие, в ладно пригнанной одежде, в узеньких шагреновых сапогах, в белых перчатках.

— Запевай любимую! — кричали они, завидя издали женщину, и, бог ты мой, что за похабные это были песни! Их насчитывались десятки, превосходивших собою все, что могли извергнуть даже пьяные уста, — песни, превосходившие всю босяцкую ругань.

Казармы в городе были уже доотказа набиты все прибывающими и прибывающими полками. Они шли и днем, и ночью, и после захода солнца, и на утренней заре.

Большие дровяные сараи около станции, вся огромная привокзальная площадь, пустовавшие несколько лет кряду бани на берегу Ужги, — все это было набито доотказа людьми, а на площади рассеялись сотни серо-зеленых палаток. Проволочные заграждения со всех



Раненные зорко следили за сиделками и, когда те не видели, обращались к прохожим:

— Нельзя ли хлебца раненому герою?

Или:

— Будьте добрые, сколько можете на табачок.

В лавку к Мологоновой собирались соседи: сапожники, ночные сторожа, швейцар из окружного суда. Швейцар на один голос, не повышая, не понижая его, читал вслух газету. По большей части это была «Газета-Копейка». Кроме известий о войне, в ней печатались и длинные романы касательно разных там фронтовых героев.

Соломониду Мологонову к тому времени стали величать уже Соломонидой Андреевной. Она сидела за стойкой, окутанная самоварным ларом, позвякивала ложечкой о тоненькие края цветастой чашки, снисходительно прислушивалась к тому, что говорилось в лавке. Изредка она вставляла слово-другое.

— Была вот с японцем, теперь с германцем. И чего это не сидится людям?

— А ведь и верно! — подобострастно восклицал кто-либо.

Соломонида просто расцвела, она приобрела те самые достоинство и величавость в движениях, которые всегда отличают «хозяйку» от «нехозяйки». Изредка, оставляя кремлевский магазин на старшего приказчика, сюда заходил Наум.

— Давно бы я закрыл этот лоток, да, понимаете, только для вас и держим... — пренебрежительно говорил он привычным своим покупателям.

— Уж это известно, Наум Карпыч...

Антон работал в сортировочном отделении фабрики Юльма, вместе с Юзькой. Тряпичники со всего города свозили сюда разносортное тряпье, за день вымененное на глиняные свистульки, дешевые жестяные наперстки, грошовые гребешки... Юзька командовал группой таких же, как Антон, мальчишек и девочек. Он показывал им, что к чему, учил их отличать годный лоскут от безнадежного тряпья. Для лоскута был особый рундук, а потом на фабрику

приходили торговцы из Посольских рядов, и лоскут, выстиранный, пропущенный через особые прачечные вальцы, шел на кепки, к кукольным мастерам, к окраинным портным для приклада, — все шло туда, обратно, в каморки городской бедноты.

В первый день Юзька без малейшего удивления встретил Антона.

— Давай, давай, работа дураков любит... — и он, маленький и худой, прерзительно оттопырил губы. — Теперь ты слушай меня, ничего не делай без спросу.

В соседнем отделении, от самого входа и до конца длинного сарая, были расположены котлы, под ними непрестанно горел огонь, в котлах бурлила и ворочалась серая, пузыристая каша. Это варилось тряпье. Гнилой пар тянулся к выходу, и, окруженные зловонным дыханием котлов, здесь работали дети.

Заменив взятых в солдаты мужчин, женщины и дети работали конечно куда хуже их: тут и непривычка, и слабость давали себя знать. Работали с половины седьмого до двенадцати и с часу до семи.

В первый же день, придя домой обедать, Антон не мог дожидаться, пока мать соберет на стол. Он прилег на край сундука и мгновенно заснул, точно провалился куда-то. Во сне он плавал в тяжелом чаду, его заставляли лезть ногами в котел, а Юзька, совсем не похожий на себя, — и все-таки Антон знал, что это Юзька, — стоял над котлом, на скользкой, мокрой площадке и громко кричал, топая ногами:

— Заснул?

Антон с усилием открыл глаза, поднялся на локтях и с отчаянием подумал, что он теперь никому не нужен, что вот мать отделалась от него и рада этому. Он чувствовал в лопатках такую боль, как будто кто-то разрубил его спину между лопатками. Хотелось спать, поясницу ломило, кружилась голова. Он посторонним взглядом посмотрел на синюю эмалевую миску, наполненную до краев лапшой, — ему представился котел с тряпьем, и тошнота подкатила к горлу.

Разыскав свою шапку и не слыша, что говорила ему вдогонку мать, он вышел

из подвала. Около училища, как и всегда теперь, раненые беспокойно встречали и провожали прохожих. Сиделки лущили семечки в подезде. Из окон вблизи смотрели обросшие, серые лица. Спокойное осеннее солнце пригревало ему спину, в канавах стояла высокая, желтеющая трава. Как хорошо было бы сейчас разлечься здесь, укрыться в траве, ощущать, как травинки щекожут тебе щеки.

Антон чуть не заплакал, когда на Полевой улице, около Кривоноговской, почти у самой фабрики, увидел ребятишек, игравших в лодыжки. Особенно отличался старший, меднорыжий мальчишка лет семи, — он так ловко метал свою красную свинчатку, что кон мгновенно разлетался в стороны, точно шумная вобляная стайка.

Антон сошел на дорогу, ребята не замечали его. Он шел прямо на них, прямо на кон, и вот уже двадцать или больше пар лодыжек полегли в пыль. Ребятишки разом зашумели, побежали за обидчиком, кто-то из них пронзительно завизжал, но Антон не слышал ничего. Решительно подняв голову, сжав зубы от отчаяния и обиды, он уже подходил к воротам фабрики.

Со двора выезжали опростанные подводы, Антона в сарае ждали новые груды ссохшегося грязного тряпья, через полуоткрытые двери из соседнего отделения сюда плыли медленные вонючие испарения.

Так в забытии, в тоске, в озлоблении против зазнавшегося Юзьки, против матери, отдавшей сюда Антона, против Хроша, забравшего отца, — проходил день, другой, третий. Антона все время отталкивало от еды, и, лишь пересиливая себя, он наскоро глотал несколько ложек похлебки: перед его глазами все время стояли котлы с тряпичной кашей. Он потерял власть над своими членами: поднимал руку — в плече сразу же отдавалось тупой болью, и неизвестно почему начинала ныть шея. Он делал шаг, он садился, он пробовал бежать, то-есть делать все то, что делал он раньше, — начинала болеть поясница. Он мог целыми часами не двигаться с места. Ему все казалось, что, как только он стронется,

над его ухом раздастся тоненький свисток и надо будет итти на работу.

У Антона снова появилась мысль отправиться на Монастырку, к сторожу, — чего доброго, там отец, — ведь не даром «Главный» во время разговора вспоминал о нем.

Шла уже настоящая осень, шли непрерывные дожди, теперь следовало ожидать холодов.

В субботу, в сумерках, он пошел к Нине Матросовой.

— Скучаешь по отце, говоришь? — забеспокоилась она, по привычке прикрывая ладонью грудь, и вздохнула, опять принимаясь за шитье. — Нет, милый мой, придется подождать...

Перед самым уходом Антона в комнате появился Платон. Как всегда, он был сдержан, косился на сестру своим красивым карим глазом и щелкал хлыстом по полу.

— На Солдатское поле — пошли?

— Куда вы, на ночь глядя, в дождище?..

— Тебя, глупую, не спросили.

Платон наскочил на сестру, схватил ее за уши, начал трепать ее, поднялась веселая возня.

— Пусти, хулиган!

Эта взрослая девушка и мальчишка были как бы однолетками, — такая уж у них была хорошая дружба, и Антон наблюдал ее с некоторым недоверием. Он, если и видел взрослых в их отношениях с детьми, то обязательно в столкновениях, обидах, вражде.

Ребята вышли на улицу. Лил мелкий, еле слышный дождик, мимо проходили люди, по грязи прохлюпал обоз ломовиков.

— И сейчас — тоже война... — серьезно сообщил Платон. — Война, она ведь, знаешь, и днем, и ночью, и в дождь...

Антон плохо слушал его. Его мысли опять повернулись на Монастырку. Вдруг отец — там? Дождь, темень, а они с отцом сидят в шалаше, с ними — старик и собака, а наутро они встают и идут на реку, старик кладет в золу картофель. Они с отцом приносят рыбу... Тут мысли Антона приняли совершенно неясные формы, и он вдруг по-

чувствовал, что вот так незаметно-незаметно, а можно и позабыть отца, что он, Антон, пожалуй, уже и забывает его.

Антон неприязненно посмотрел на Юзьку, подошедшего к ним и молча ставшего около. Юзька уже не имел того победного вида, который отличал его на фабрике.

— Умариваешься? Очень? — спросил он Антона голосом молодого петуха, сыпо и, не дожидаясь ответа, откровенно добавил: — Я всегда. Вчера не обедал, не чайпил, — провалиться! Не могу...

Сказанное им мгновенно уничтожило грань, что за последние дни разделила приятелей. Юзька сразу предстал перед Антоном таким же беззащитным и слабым, как и он сам. Вот тебе и старшой, Юзька, дурак!..

— Обещали прибавку... — говорил между тем Юзька своим петушиным голосом. — Только врут, потому начали пугать: «Не имеем права держать вас, передохнете, как курята...»

Около них остановился кто-то высокий, чьею лица было не разглядеть в темноте. Он убежденно сказал:

— Именно курята!

Судя по голосу, это был подвыпивший мастеровой. Он громко продолжал, горячо размахивая руками:

— Не имеют права, а? Мальчишки-то? С этих лет? Уж лучше давай я! Давай я сдохну!

Он уже кричал на всю улицу, привлекая к себе редких прохожих.

Когда пьяный прошел, Платошка сказал недетским голосом, словно пригрозил кому-то:

— А я вот на войну убегу, я до Георгия дослужусь... — Потом добавил, хватая товарищей за плечи: — А если вместе? Одежу, форменный картуз выдадут, пистолеты,—настоящие!

Слова эти не показалися приятелям серьезными, только Юзька тихонько отозвался:

— У нас на фабрике — прямо могла...

У ворот школы, как всегда за последнее время, толпился народ, сиделки пели песни, кто-то умело и с чувством высвистывал.

В своем окне Антон заметил нечто необычное: лампа стояла на окне, дверь со двора была распахнута и, когда он спустился по скользким ступенькам в комнату, то увидел раскиданное по полу белье, корзинку вверх дном, кровать, сдвинутую с места, открытый и опустошенный сундук. Ключьями висели содранные, отсыревшие обои, зола и заглохшие уголья из печки щедро усыпали пол. Матери не было. Антон быстро перенес лампу на стол и, чувствуя недоброе, ринулся наружу. В дверях он столкнулся с матерью.

Она схватила его за волосы, нащупала рукою сзади себя отцовский ремень, всё время висевший на гвоздике, и жгучий удар пришелся по рукам Антона. С болью и изумлением он взглянул в лицо матери, — лицо это было спокойно, и лишь глаза, с расширенными зрачками, неподвижные и круглые, были страшны. Антон закричал и рванулся, но мать крепко держала его, она схватила его за горло, повалила на пол, придавила его всей своей тяжестью и начала молча, остервенело рвать его волосы, уши, щипать щеки, сразмаху бить по чему попало. Антон только рычал, он впился зубами в плечо матери, он почувствовал теплый запах ее тела и ударил ее ногою во что-то мягкое. Мать не обращала внимания на все это, она с поразительной точностью продолжала наносить ему удары.

— Убье-о-ошь! Чорт-дура! — взвыл наконец он, рванулся, вскочил на ноги и бросился к двери. Мать возилась на полу, ему захотелось еще раз вернуться к ней. Он упал на нее, ничего не видя, нащупал ее лицо и вцепился в него ногтями. Мать больше не сопротивлялась, она тихонько всхлипывала, закрывая лицо руками.

Антон похолодел, как только увидел растерзанную, потную, вытянувшуюся во всю свою длину мать. Он выскочил за дверь, задержался там и не услышал за собой шагов матери. Он потихоньку прошел дальше и заглянул в окно. Мать встала, отряхнулась и начала прибираться. Ее лицо вспухло, волосы толстыми неодинаковыми прядями свисали ей на виски, на лоб, на плечи.

Она вдруг заметила его и распахнула окно, он едва успел отскочить в сторону.

— Ты у меня, чертеныш, больше не заявляйся сюда... Из-за твоего проклятого арестанта, из-за отца, и мне не дают покоя... Убирайся, чтоб и следу твоего не было! — Она кричала все громче и громче: — Старого чорта Мологонова пушу, спать с ним буду, хоть сыта буду по крайней мере! Паршивец, пащенок! Весь в папашу!

Она упала грудью на подоконник и, дико разрыдавшись, начала биться головой об оконную створку. Волосы поднялись дыбом на голове Антона, он выскочил за ворота и, весь дрожа от ярости и испуга, оступаясь и наскакивая на встречных, помчался по Суворовской. Около госпиталя слышался женский смех, негромко звенела балалайка, гудела гитара:

За ласки-речи огневые  
Я награжу тебя конем!..  
Уздечко, хлыстик золотые,  
Седельце шито жемчугом!..

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В понедельник, 22 сентября 1914 года, Антон, Платошка и Юзька на станции Полоцк Витебской губернии пристали к 37-му парковому артиллерийскому дивизиону. На измученных, одичалых и посмирневших ребят обратил внимание невысокий, моложавый офицер. Он приказал своему вестовому накормить их и потом привести в вагон.

Это была часть, сформированная где-то в Ярославской губернии, вышла она из Ярославля 1 сентября, ехала в плоских, дырявых вагонах, в жуткой тесноте, и последняя настоящая дневка была в деревне Спасская-Полесь 15-го числа, и с той поры даже хлеб солдатам выдавали не каждый день: картошку на завтрак, картошку на обед, картошку к ночи.

Несколько дней дороги, в вагонах, набитых доотказу, под скамьями, на тормозах, на подножках, заставили забыть неловкость, испытанную Антоном после того, как он рассказал ребятам о драке с матерью.

— Нинка говорила — у матери твоей два часа обыск был. Искали чего-то... — говорил Платон.

— Не нашли? — с интересом откликнулся Юзька.

— Вот она и такая полоумная у тебя... — прежним тоном добавил Платон.

Навстречу гудели и гудели поезда, груженные сеном, солдатами, лошадьми, автомобилями, какими-то громоздкими ящиками, санитарными повозками, пушками, прикрытыми брезентом. Эта волна оглушительно рокотала на больших станциях, где собирались десятки эшелонов, где гудели площади у вокзалов, заплывавших зданиями, кричали офицеры, ржали кони. Временами волна спадала: проходили коротенькие составы, — два-три классных вагона, две-три теллушки и ни возгласа, ни выкрика не слышалось оттуда. Чем дальше, тем меньше на станциях виднелось вольного народа, тем гуще были солдатские толпы. На перронах уже не было разряженных женщин с цветами и коробками шоколада, не попадалось больше благородных стариков с седыми подусниками, раздающих папиросы, медленно обходящих вагон за вагоном. Кончилась полоса тылового торжества — подходил фронт.

После Полоцка прошли сутки, — пожалуй, даже более суток, — и только на станции Багратионы выдали обед, как и все эти дни, состоящий только из немытого, мелкого, точно лесной орех, картофеля.

Станция Багратионы была последней большой остановкой перед Седлецом, а там уже начиналась полоса фронта и стояла крепость — Иван-город. В Багратионах в целости сохранилось лишь самое здание станции. Кипятильник был разломан на дрова, и два кирпичных куба стояли саженья в сорока от станции, посреди самого поля. Отхожее место представляло собою лишь яму, огороженную восемью столбами, — крыша была сорвана прочь. Вокруг всей станции разлагались испражнения, — некуда было ступить шагу, похоже, что был отдан приказ делать здесь как можно больше всяческих безобразий.

Ребята бродили на станциях, и никто из офицеров не обращал на них внимания, даже тот, кто приказал их устроить. Солдаты сперва было заинтересовались:

— Что, родители злые?..

Или:

— Ай украли чего?..

Но потом отстали, только большой, рыжеусый солдат, которого все называли «Хохлом», внимательно выслушав все, что рассказали ребята, отозвался:

— Домовой вас тащит сюды...

Ему никто не ответил, только толстый телефонист с короткими пальцами, беспрестанно ими шевеливший, принялся внимательно рассматривать «Хохла». А тот свесил ноги из теплушки, полулег, опираясь на локти, поглядел на ребят своими маленькими голубыми глазами и добавил:

— Того нужда, того начальство, а вас какой домовой? Эх, пареньки, вам бы сейчас только в самую пору собак гонять, истинный господь...

Попрежнему ему не ответили. Рыжеусый полузакрыв глаза и вдруг запел высоким, сильным голосом:

Умер бедняга в больнице военной!..

Долго родимый страдал.. —

рокоцущим голосом подхватил короткопалый телефонист, и голос «Хохла» опять взвыл вверх:

Эту солдатскую жизнь! Постепенно!

Тяжкий недуг доканал!..

Рано его от семьи оторвали...

Он оборвал песню так же неожиданно, как и начал. Солдаты недоуменно заволновались.

— Рано, рано его от семьи оторвали!.. — с горечью, словно о самом близком своем друге, повторил «Хохол», подняв голову. — Рано его оторвали...

Кто-то рассмеялся. Антон, ничего не понимая, смотрел кругом: на серьезные и насмешливые, на грустные и тупые, на веселые и злые лица. Почему-то ему припомнился отец, каким видел его Антон в последний раз: его ведут из комнаты под руки, а сзади идет Хрош; ни отцовских глаз, ни лица не припомнилось больше Антону.

Он придвинулся к Платошке и сказал громким шопотом:

— Что теперь про нас думают? Утопили, скажут, а?

— Не то... — отозвался толстый телефонист, услышав этот шопот. — В газетах опишут — маленькие герои. Со всем, как из английского журнала... Так то вот, дети...

И протянул к нему с плачем ручонки!..

Мальчик-малютка грудной!.. —

опять неожиданно взмыл голос рыжеусого.

Эшелон медленно и безостановочно шел вперед. Земля гудела под колесами, мимо текли мокрые, желтые поля, изредка наискось пересекаемые неглубокими оврагами. Над оврагами стояли одинокие дубы, горевшие желтым пламенем листьев.

Воскресенье взглянуло веселым утром. В листья многочисленных станционных деревьев блестели и дрожали росинки дождя, земля быстро просыхала, офицеры суетились, ездовые прилаживали сходни и готовились выводить из вагонов лошадей. Это была станция Вольвольницы. Бои шли уже совсем рядом, до позиций оставалось часа два ходу. Изредка на северо-западе слышался отрывистый взрыв, и все затихало снова. На станции, словно на праздничном базаре, была толчея. Ржали кони, в сторонке, разрисованные крупными пятнами, стояли орудия, высокие ящики на двух колесах, санитарная повозка, походная кухня. Под крышей полуразобранного сарая складывались мешки с припасами, прямоугольные тюки сена.

Офицер, тот самый, что приказал построить ребят, пробежал мимо, без оружия, без фуражки и пояса:

— Почему лошади калечатся? — кричал он кому-то, весь взмокший и заросший густой щетиной.

К обеду все успокоилось, вестовой молодожавого офицера показался в вагоне, где обитали ребята, и позвал их к капитану. Моложавый капитан был уже побрит и сейчас наливал из манерки чай. Золотой подстаканник горел на солнце так, что на него было больно смотреть.

На столе валялись куски серебряной корки от сыра.

— Дай им... — коротко сказал капитан.

Вестовой сунул каждому по несколько штук печенья.

— Так зачем же вы пожаловали к нам, молодые люди? — склебывая чай, прожевывая булку с сыром, продолжал капитан, заглядывая в опустошенную манерку. — Воевать? Бросили бы вы это грязное дело, без вас противно...

Все трое молчали, разглядывая голые стены купе.

— В газете хотите пофигурять? Юные герои — защита родины?

Капитан оглядел столик и, видимо, не найдя того, что было ему нужно, полез в чемодан, достал оттуда бутылку водки и, немного подумав, налил стакан до половины — сморщился, взглянул в окно и вдруг разом, одним глотком, выпил.

— Этот вот у нашего генерала, да, — он придел своего юношу во все казенное, дал ему полсалона — живет балбес, как на даче... — уже нетвердо продолжал капитан, глядя в упор на Антона. — А вас и в баню не сводят. Эх вы, романтики...

В Вольвольницах однако накормили как следует. Горячая каша, в которой попадались жирные куски свинины, обжигала рот, к чаю выдали белых, хрустящих сухарей, сушеных яблок. Солдаты после обеда подобели, преувеличенно бодро козыряли офицерам, задирали друг друга, затевали веселую возню.

Уже за полночь с северо-запада опять стали докатываться сначала отдаленные, потом все более громкие орудийные выстрелы. Антон приподнял голову, и ему сначала показалось, что тронулся поезд и это сейчас гудят колеса.

Вагон разногласо храпел, кто-то хрипло кашлял, рядом ворочался Платон и говорил во сне:

— Нинка, хочешь кольцо? Надо? Кольцо?..

У самой двери кто-то приподнял голову, громко застонал и опять уронил голову на скамью. Антон вздрогнул от испуга и—до чего близкой, желанной показалась ему сейчас их комната в подва-

ле!.. Он уткнулся лицом в картуз и беззвучно заплакал. Ему было жаль самого себя, он знал, что там, дома, мать сидит с ума от тревоги по нем, что соседи ругают его, как неслуха и безотцовщину, а старик Мологонов, — наверное старик опять ходит по ночам к матери. Она не хочет его, но ведь она одна, что она может сделать? Антон чувствовал, что задыхается в темной теплушке...

Но, как и вчера, яркое утро оживило станцию. Солдаты громко плескались водой, наскоро вытирались, кто бежал за кипятком, кто в сторонке от товарищей доставал из мешка остатки домашней снеди, отрезал ножом и, стараясь это делать незаметно, жевал, торопливо прикусывая хлеб.

Прошел капитан, опухший, опять небритый, с глазами, налитыми кровью. Он покачивался на-ходу, — видимо,пил всю ночь.

— Наташили голоштанцев! — набросился он на «Хохла». — Украдут казенное имущество! Отдам под суд, сукина сына!

Он сильно толкнул солдата в плечо и заторопился дальше.

В девятом часу эшелон тронулся в путь дальше, уже проселком. В сторонке, прямо по овсам, верхами, тесной кучкой, ехали офицеры, окружая высокого бородатого человека в кожаной тужурке. Это, видимо, был старший.

Навстречу дивизиону в санитарных повозках, в крестьянских длинных телегах, пешком — двигались раненые, а на одной из телег лежали рядышком двое убитых, с ногами, торчащими из-под простыни. Когда оглянулись, увидели: на одном из убитых желтые домашние туфли, на другом — грязные сапоги с блестящими голенищами.

Бородатый начальник, поровнявшись с телегой, перекрестился, за ним перекрестились и остальные офицеры. Моложавый капитан ехал в сторонке на тонконогой серой кобыле. Лошадь непрерывно и обильно роняла пену на дорожную пыль.

По сторонам дороги стояли неснятые овсы, яровая пшеница, ячмень. Попадались целые поля васильков, в сторонке

виднелись зеленые сады, на горизонте стеной чернел лес, — и не чувствовалась здесь ничьей хозяйской руки.

На тонких столбах повисло множество телефонной проволоки, она бежала все время вдоль дороги, не сворачивая в сторону, как-раз на деревню Незабытково, где назначено было остановиться дивизиону. Высоко над полями трепетали поздние жаворонки, звеня под желто-голубым небом. Иной раз в канаве виднелось сломанное колесо, белел конский череп.

Деревня была пуста, беленые избы стояли с выбитыми стеклами, без крыш. По улицам бродили большие псы, испуганно отскакивавшие в сторону, когда к ним приближался человек.

В этот же день Антон увидел пленных. Это были крупные люди, во всем сером, в мятых, мягких шапках, тупоносых штиблетах с толстыми подметками. Когда артиллеристы заговаривали с ними, пленные вежливо улыбались и начинали свою речь, вроде как по-русски, но все же понять их было трудно.

— Чехи... — сказал, гремя котелком «Хохол», когда подвезли кухню и начали раздавать кулеш, не заправленный ничем. — Смирный народ, и чего это они идут против?..

— А чего ты — против?.. — оборвал его толстый телефонист, фамилия которого была Косьмин.

«Хохол» ничего не ответил, он вытер ложку полою шинели и пригласил:

— Ну, приступим, значит...

— Аристов-то — опять, что ли, накачался? — спросил он через минуту.

— Надо полагать... — огрызнулся телефонист. — Ты что? Решил свои капиталы пересчитывать разве?

— Какие мои? — отмахнулся «Хохол», опуская ложку в манерку. — Пускай их пьянствуют, раз капитан и средства имеются, — не мое это дело.

Вечером в большой избе на пригорке, рядом с разбитым помещением школы, офицеры устроили вечеринку. Вестовые принесли туда два самовара и корзину с закусками, потом заиграл граммофон.

К ночи справа от деревни, верстах в трех, часто застрочил пулемет, его мерную трескотню перебивали глухие вы-

стрелы винтовок. В конце деревни тонко ржали кони.

Из офицерской избы доносилась музыка, пение, бешеный топот ног, потом весь этот шум прорвался близкими выстрелами, — стреляли в офицерской избе, — и затем все замолкло.

Наутро выяснилось, что обезумевший от водки капитан начал стрельбу, его обезоружили и освободили только под утро. Когда Платошка и Антон проходили по улице, из окна офицерской квартиры их окликнули. Звал Аристов. Он сидел за столом и пил чай. Старший, бородатый офицер, сняв с себя ремни и оружие, расстегнувшись, закусьвал и говорил равнодушным тоном:

— Ну, зачем вы их, капитан? Очень они вам нужны...

Капитан молча подозвал ребят к столу и придвинул к ним кусок газеты, на котором лежал сахар.

— Берите...

— А где же третий мушкетер, а?

Как-раз утром телефонист ушел проверять связь с соседним дивизионом, и Юзька увязался с ним.

— Привыкает к обстановке? — опять равнодушно спросил бородатый. — Ну, а вы, молодые люди?

Выставив вперед ногу, он не слушал, что говорил капитану Платошка, и только хлестал нагайкой по сапогу. Потом внезапно взглянул прищуренными глазами на Аристова и сказал:

— Передохнут они у вас, капитан, — вон вы сами-то ни к какой матери не годны.

Он вышел за дверь, и тотчас же там, за перегородкой, послышался визгливый женский хохот.

— Да, фронт! — тихонько и хрипло заговорил капитан. — Ну, тебя я еще пристрою... — он взял Платошку за плечи и повернул к свету. — Ты рослый, — ну, пушечное, не пушечное, а все же — мясо. А тех куда прикажешь?.. Особенно — того? Заморыша?..

Платошка и Антон вернулись к себе в сарай, там в квадрате ворот, откуда приятно пахло сеном, стояла кучка солдат. Перебивая друг друга, они громкими голосами кричали что-то. В середине круга на полене сидел толстый те-

лефонист и дрожащими пальцами вертел цыгарку. У ног его лежал юзькин картуз, с вырванным клоком околыша, весь в каких-то темных склизких пятнах.

— Как он отстал от меня, я даже не заметил, а потом оглянулся, кричу ему — вижу, он что-то копается в земле. А я уже проверил все — все в исправности, иду к нему. Вдруг — взрыв, у меня в глазах потемнело, вижу — земля поднялась к самому небу, черный такой столб. Ну, опомнился, бегу! Что же: прыгает ворона какая-то, чорт ее не знает! Какие-то лоскутья... — телефонист вздохнул и громко ударил картузом оземь. — На куски разорвало, только вот и нашел...

Он пнул картуз ногою...

— Значит, на кусочки его, а?.. — горячо спросил «Хохол» и вдруг скривил рот. — Уезжайте вы, ребятенки, Христа ради, ну что вы здесь потеряли? Война ведь, туда ее!..

Антон отошел от сарая и, теряя власть над своими движениями, опустился посреди дороги прямо в пыль. Спереди кто-то мчался сюда верхом, кто-то кричал, наконец всадник, наскочив на него, круто взял влево и тотчас же соскочил наземь.

— Ты что? А, мерзавец?.. — громкая пощечина ожгла Антона.

— У него, ваше благородие, дружка разорвало...

Аристов вскинул Антона к себе на седло.

— То-есть?! — заорал он, страшно ворочая глазами.

— Позвольте доложить, ваше благородие!.. — взволнованно начал телефонист. — Неразорвавшийся снаряд.

— Вольноопределяющийся, вы были с ним?.. — не переставал орать капитан. — За чем смотрели?.. Под суд захотели? Образованный?

Платон, прислонившись к стенке сарая, только покусывал губы и зло косил своим круглым глазом.

Капитан тронул Антона за подбородок, взглянул ему в лицо и, махнув рукою, опять вскочил в седло.

— Телефонист! Потом — зайдете ко мне!

Скоро дали обед. Платон с удовольствием уписывал это, но Антону еда не шла в горло. Он почувствовал слезы в горле, встал и, чтобы не заметил Платошка, пошел за сарай. Там он растянулся в траве, уткнулся в нее лицом, закрыл глаза и забылся, — впал вроде как в беспамятство.

Платошка только под вечер разыскал его, он еле мог поднять Антона на ноги и торопливо сказал:

— Идем, Аристов велел...

Они помчались по деревне, лавируя между ящиками, орудийными лафетами, солдатами, запрягавшими лошадей.

Капитан снова был пьян, он громко звенел шомполом револьвера по стакану и качался на месте.

— Ну вот что, огольцы, сейчас мы выступаем на передовые позиции... — он погрозили шомполом. — Идите во-свои-си! Я за вас не хочу отвечать!.. — он задумался и расстегнул пояс.

Он откинулся на скамье и захрапел, не закрывая глаз.

— Вы здешние? — через несколько минут, встряхиваясь, спросил он. — Ну, то-есть, где это я вас заметил?

— Никак нет, не здешние, ваше благородие! — отрывисто сказал Платошка и рассказал капитану, откуда и как они попали в эшелон. Платон уже осваивался с обстановкой и сейчас даже ловко козырнул.

Капитан смерил его критическим взглядом.

— Надо тебя одеть, — эх ты, солдат императорской армии...

Капитан громко захохотал.

— Выходит, ребята, мы с вами — земляки? — серьезно сообщил он потом.

— Дозвольте остаться, ваше благородие! — беспрестанно козырял Матросов.

Антон отправили обратно на Вольвольницы. Капитан выдал ему какую-то записку с печатью, три рубля денег и велел отвезти на станцию.

— Мы ведь земляки, ребята... как ранят, приеду отдыхать домой, мы увидимся, Ажогин, — уже протрезвев говорил он. — Ну, прощай, золотая рота...

Итак, Антона Ажогина накормили, дали ему немного денег и отправили на Вольвольницы.

К вечеру холодело, и босые ноги совершенно коченели. Антон дожидался санитарного поезда; его подали из тулика, комендант посадил мальчишку на тормозную площадку, и поезд пошел туда, откуда недавно приехал Антон. Он появился здесь с товарищами, — сейчас же один, подобно остаткам разбитой армии, он отступал к Висле, Иван-Городу, Седлецу, Багратионам, Молодечно. На все, что мелькало перед его глазами, Антон смотрел безразличными глазами человека, которому наскучило все.

Навстречу шло множество поездов с солдатами. Солдаты сидели, свесив ноги из теплушек, из вагонов вырывался разухабистый рев гармошек, иногда каким-то резким эхом проносилась оглушающая песня, и опять прежний ровный стук колес по рельсам.

В Москве санитарный поезд оставили, выгрузили раненых, состав зашел в тупик, и Антон дня два болтался по городу. Вагоны у здешней конки были куда больше, чем в их городе, и ходили без лошадей, с громким жужжанием. Извозчики возвышались над прохожими, и казалось, того и гляди, пролетки начнут валиться набок.

Антон наконец стал расспрашивать, как ему попасть на станцию: ехать домой. Городовые — величественные и большие, совсем не похожие на тех, что были в родном городе, — или грозно цыкали на мальчишку, или обещались отпривести его в участок.

Один из них так было и поступил: он без дальних слов схватил мальчишку за шиворот и засвистал. Свисток был большой, желтой кости. Из него вырывался злобный, торжествующий свист. Немедленно вокруг городского образовалась толпа, слышались возбужденные голоса любопытных, потом на мгновение все призамолкло: у самого тротуара остановилась щегольская пролетка, и оттуда прыгнула наземь красивая молодая дама.

— Что случилось? Городовой, что случилось?

Городовой вытянулся и приложил растопыренные пальцы к лакированному козырьку картуза.

— Дозвольте доложить...

— За что вы его, городской?

Антон так и встrepенулся. Он быстро достал из кармана записку капитана Аристова и сунул ее барыне в руку.

Она взглянула на нее и только всплеснула руками.

— Как вам не стыдно, городской?!

— Не могу знать!

Маленькая, похожая на даму, очень красивая девочка, стояла в коляске, точно кукла, широко открытыми глазами глядя на происходившее перед нею.

— Дорогой мой, мы поедем сейчас ко мне. Лиза, это счастье!.. — она весело заговорила с девочкой и втащила грязного, босоногого, обовшивевшего Антона в коляску, стоявшую тут же.

Лошадь мчала Антона с его новыми знакомыми по узким улицам, обгоняла трамвай, разгоняя в стороны людскую толчею. Он ничего не понимал. Вскоре коляска остановилась у богатого парадного под'езда, с каменными львами на ступеньках.

Дама быстро втащила Антона наверх, приказала горничной вымыть и переодеть Антона, а сама понеслась по комнатам, оглашая веселым своим голосом чуткую тишину квартиры.

К вечеру изумленный Антон уже примерял гимнастерку, штаны, сапоги, фуражку. Все это было пригнано по точной мерке, и, когда Антон взглянул на себя в зеркало, он поразился: так он хорош был в своем военном облики, и даже последние дни, голодовки, ночевки под дождем на тормозе, гибель Юзьки — все это отошло в сторону. Он остроганно взглянул на красивую даму и вдруг подошел к девочке. Она была по плечо ему, такая хрупкая и тоненькая.

Он взял девочку за руку и, не зная, зачем это делает, прижал эту руку к своей груди.

— Прелесть! — закричала веселая дама и опять помчалась по комнатам. Через минуту в комнате появился муж дамы: высокий господин, в золотых очках, с красной бородой.

— Да! Гм... Гм... — откашливался он, глядя на Антона поверх очков.

— Юный герой, прекрасно! Я повезу его завтра в общину, завтра как-раз за-

седание! Нет, я обязательно повезу его!.. — дама вертела его, как игрушку, а он, растерянный, смотрел на высокого господина и старался не рассмеяться от радости.

Антону, усталому и счастливому, долго не давали покоя. Его таскали из комнаты в комнату, фотографировали, кто-то рисовал его, говорили, чтобы он пел солдатские песни...

— Я не разделяю твоих восторгов... — сказал жене господин с красной бородой, и все пошел в столовую. Оттуда слышался звон ножей, вилок, посуды, Антон стоял и все ждал, когда его позовут в столовую, но вышла кухарка и сказала:

— Иди, — хотя перекуси чего, воин!..

Ему дали суп, из которого уже было выловлено мясо, и потом кусок холодной рыбы. Антон сел за стол, потупившись, не глядя на рыхлую, бледную кухарку. Он думал, что сейчас красивая дама хватится его и обругает толстуху. Однако ничего подобного не случилось. Его уложили спать тут же в кухне. Но сон уже отошел от Антона, и он долго с завистью слушал звон посуды и веселый голос хозяйки в столовой.

На другой день, чуть светало, Антона разбудила возня в кухне: оказывается, это мыли, скребли столы, немолодая смиренная женщина мыла в глубоком тазу целые горы тарелок, мисок, ножей, вилок и много других даже неизвестных Антону вещей.

— Ну-ка, воин, вставай, ополосни личность да помоги! — прикрикнула кухарка, быстро поворачиваясь в кухню. — У нас за спасибо и кот не живет... Повар придет, а у нас грязь...

Она кстати пнула ногой кота и опять заметалась по кухне, то с куском мяса, то с корзинкой овощей, то с кастрюлей.

Судомойка предложила Антону вытирать посуду. Он, заспанный, поминутно судорожно зевал и ронял на пол то один конец полотенца, то другой.

— Воевать умел, — а полотенце? — кричала кухарка.

Антон молчал. От вчерашней его радости не осталось и следа. Даже те дни, что он провел в дивизионе, что пролетели, как дурной сон, уже наполовину за-

бывшийся, — даже те дни среди солдат казались ему теперь куда какими счастливыми.

Попозже пришел повар. Старик был в тужурке с ясными пуговицами, в коричневой мягкой шляпе, с пенсне на шелковом шнурке.

— Трудитесь? Разумеется, полезно, ничего не скажу. Между прочим, надели бы чего погрязнее, — это изгваздает, другого вам никто не даст, папаши с мамашей здесь нету.

Сам повар стал переодеваться тут же, в присутствии женщин. Он снял тужурку, — под ней оказалась белоснежная куртка, снял синие брюки, — там оказались другие, — белые. На гвоздике над плитой висел высокий белый колпак.

Старик мыл руки. Затем, держа в левой руке колпак, он долго причесывал свои реденькие волосы на висках. В то же время он не переставал говорить. Говорил он гладко и своим разговором как-то напоминал Антону Хроша.

— На фронте были, а вытереть соусник не в состоянии? Странно и непонятно. Возраст у вас верно малозначительный, что ли. Я ничего не скажу, но ведь человек вы, по всему видать, не из дворян или там из чиновников, стало быть, вы и раньше трудились?..

— Много он натрудится! — вступилась судомойка, останавливаясь мыть посуду и глядя на мальчишку.

— Много ль, мало, — это покажут данные. Но непозволительно думать, что в наше время проживешь без труда. Этого не может быть, раз вы, допустим, не дворяне или не министры.

Кухарка громко рубила мясо. Повар все еще расспрашивал.

— Ну, а как наши серые герои? То есть на позициях? Без перемен или что? Или стремительные контр-атаки? Как?

— Я не знаю, как... — ответил неуверенно Антон. И он сразу же с места начал рассказывать, как разорвало Озьку.

— Ты сам, что ли, это видел? — равнодушно спросила кухарка, ловко поворачивая баранью ногу.

— Сам, ей-богу!.. — поверив своей лжи, продолжал Антон и начал сообщать подробности, которых не мог видеть даже телефонист Косьмин: напри-

мер, что глаза Юзьки полетели отдельно, а голова—отдельно. Но потом он смутился, ему стало невероятно тяжело от своего рассказа, глаза его наполнились слезами.

— Как? Это был ураганный огонь противника?—гладкими газетными фразами допрашивал повар. — Сам ткнулся? — и, вставая и беря со стены, из специальной подставки, нож, добавил:— Никакого смысла, знаете... Сам-то что? Это и щенок, допустим, по дурусти может в тесто попасть...

Он как бы осуждал Юзьку за то, что тот не подвернулся под австрийский снаряд, а предпочел погибнуть по-своему.

Все бóльшая и бóльшая тяжесть овладевала Антоном, он боялся даже заговорить о еде, потому что тогда ему пришлось бы иметь дело с недоверчивой, равнодушной кухаркой, с поваром, который вот придирается к нему за то, что он, Ажогин, сам не пострадал на фронте.

Часов в одиннадцать в кухню вошла барыня. Она была в мягких туфельках на босу ногу, в голубом халате с меховой оторочкой, с распушенными волосами. Она уже не казалась Антону такой красивой, как вчера.

— Спал? — обратилась она к нему. — Кушал? Все хорошо? — в ее голосе были какие-то новые нотки, которые не проскальзывали вчера. Похоже было, что она была недовольна Антоном.

— Тут, барыня, он про войну рассказывал... — усмехнулась кухарка. — У него товарища на куски разорвало.

— На куски?! — ахнула хозяйка, сразу же повеселела и помчалась в комнаты...

Опять, как и вчера, после магазина, по всей квартире раздался ее ликующий голосок. Позже она звонила кому-то по телефону. К утреннему чаю уже позвали и Антона. Его посадили на угол стола и заставили рассказывать. Он повторил целиком свой кухонный рассказ, потом подумал и прибавил:

— Капитан этот, Аристов, — хороший мужик, а так все!.. — он даже махнул рукой. — «Хохол» и этот, тол-

стый, Косьмин, — тоже хорошие мужики, а то все — сволочи.

Муж хозяйки поднял свою красную бороду и внимательно посмотрел в глаза жены. Барыня пожалала плечами и еле заметно улыбнулась:

— Ты не говори таких слов при ней, Тосик, — она обняла дочку.

— Ну, а дальше? Ты, понимаешь, очень мало рассказываешь... Или ты необщительный? Ну, а как офицеры? Атаки? Сестры милосердия? Ну же!..

Так и завертелась его жизнь: утро—кухня, мытье посуды,—это было самое противное. Настоящим отдыхом для него было рассказывать повару о том, что он наблюдал за немногие дни среди солдат.

— Удивительная вещь... Станцию ломали? Зачем это?.. Это что, — от превосходных сил противника?—потом старик на мгновение задумывался и решал:—Глупо, знаете... Ломать! Это всякий сможет, и солдат не надо... Нет никакого интереса, знаете...

Но Антон знал, что старику это понравилось. Когда что-нибудь его не интересовало и в самом деле — повар просто отмалчивался.

Перед обедом Вера Владимировна — так звали хозяйку — везла Антона в какие-то богатые дома, где в огромных комнатах сидело много злых и добрых на вид, молодых и старых, красивых и некрасивых женщин. Все они говорили скучными, тихими голосами, одна из них обычно сидела с колокольчиком, одна писала что-то, потом Вера Владимировна поднималась и говорила:

— А теперь, господа, вот этот юный герой...

Антон что-нибудь рассказывал, иногда — одно, иногда — другое. Он видел, что все это интересно для нарядно одетых дам, и он не жалел фантазии. Старухи слушали его — иные с поджатыми губами, иные с раскрытым ртом, средних лет—горделиво, как бы приписывая себе участие во всех тех событиях, о которых повествовал Антон; совсем молоденькие — потупив голову, словно речь шла о чем-то не совсем приличном. В глазах Антона все эти женщины как-то мало отличались друг от друга, точно животные одной породы, различные

голько по масти. И его рассказы они слушали так, что Антон стал всех их считать гораздо ниже и гораздо глупее себя.

Однажды Вера Владимировна около полуночи пришла на кухню, подняла Антона с постели и велела ему поскорее одеться. Сама она была почему-то в офицерском костюме, с медалью на груди, в каракулевой серой шапочке.

На улице застоявшаяся лошадь била копытом слегка подмерзшую землю. Они сели, и кучер помчал их по тихим ночным улицам.

Большой бело-розовый дом был ярко освещен. Вдоль тротуара стояли десятки хороших лошадей и даже несколько блестящих автомобилей. На лестнице, в коридорах, в зале стояло и расхаживало множество людей, каждый из которых был одет, точно в балагане. Офицеры, мужики, солдаты, медведи, черти, пастухи, — больше всего все же было в военных костюмах.

— Ряженые, да это же ряженые!.. — Антон взглянул на Веру Владимировну: лицо ее уже было полузакрыто шелковой полумаской. Вера Владимировна позвякивала кружкой, сделанной в виде солдатской папахи. Кружка была на широкой бархатной ленте.

— Тосик, это тебе!..

Оказывается, все следили за ним и Верой Владимировной, и, когда она надела кружку ему на шею, все люди кругом захлопали в ладоши. Вера Владимировна легонько подтолкнула Антона. Он увидел, что несколько женщин с такими же кружками стояли неподалеку, как бы ожидая сигнала.

— Господа! — коротконогий и усатый господин перегнулся надвое, потом распрямился и закричал несколько в нос: — Внимание! Только бумажные и золото!.. — он ударил в ладоши, музыка оглушительно заиграла марш.

Антону пришлось дважды переменить кружку, — так быстро наполнялась она деньгами.

Потом Вера Владимировна танцевала с каким-то молодым офицером. У него был маленький, круглый рот, губы не закрывали его золотых зубов, на груди подпрыгивали целых три креста.

Антон пошел по комнатам: в одной — играли в карты, в другой — на бильярде, а дальше выпивали и закусывали. В одной из задних комнат четверо людей с привязанными бородами беседовали с официантом. От имени бородатых говорил самый толстый и самый крикливый.

— Ну, позволь: пройдешь по зале! Гольшом, а? Что для тебя составляет? А для фронта — три «катюши»? Ну, четыре, а? Ну — полтыщи?

— Закон-с, Иван Фролыч... — бледный, отвечал официант, перекидывая салфетку с руки на руку.

— Да что — закон. Гольим-то? Милый друг! — не унимался бородатый. — Какой это закон, посмотрю я, помещает тебе пожертвовать полтыщи раненым? Ну и жертвуй! Вот тебе! — он совал в руку официанту пачку скомканных бумажек.

— Никак-с, Иван Фролыч, — совсем уже тихо говорил официант, опять перекидывая салфетку. — Засмеют-с. Вот даже они-с...

— Кто засмеет? — грозно вращал глазами толстый, оглядывая своих собутыльников. — За помощь доблестной армии-то? — он лез к соседям и совал им под нос кулак.

Антон понял: назревал скандал, и благоразумно улизнул.

В полдень к Вере Владимировне приехал круглоротый офицерик. Он внимательно выслушал все, что заставляли говорить Антона, промолчал, а потом, когда встали из-за стола, подошел к хозяйке.

— Ну, как понравился мой найденш?..

— Врет, — тонким голосом сказал офицерик, и сказал это так, что получилось: «врят». — Все врят!

Потом, когда хозяйка на минуту вышла из комнаты, он подошел к Антону, двумя пальцами больно схватил его ухо и спросил, еще больше округлив свой рот, хищно сверкая золотыми зубами:

— Ну, как? Будешь? А? Геройский дух показываешь, — штя?

Вера Владимировна вернулась в комнату.

— Находятся идиоты, дают разные бумажки вот таким лгунишкам, жуликам... Он едет по России, завоевывает

доверчивые сердца... — золотая улыбка в сторону Веры Владимировны. — Странно, как еще не обокрал вас?

— И какой испорченный!.. — сказала она, оглядываясь в сторону Антона. Он уже стоял в дверях и переминался с ноги на ногу.

— Чего мняшься? — сверкнул зубами гость. — Хочешь уйти? Штя? Наоборот, — стой! Слушай!

Этим же вечером кухарка отвела Антона на вокзал, сунула ему в карман гимнастерки мяту рублевку и, заплакав, толкнула его к крайнему вагону. Антон снова вспомнил дни прифронтовых скитаний, «Хохла», капитана Аристова, голодную жизнь на станциях, санитарные поезда, Юзьку, — он вспомнил все.

Однако здесь, на станциях, было еще по-иному: вокзалы стояли, украшенные зеленью, портретами царской семьи, пышно декорированными иконами Георгия Победоносца. К теплушкам еще подбегали молодые девушки, почти каждая из них со стопкой книжек на левой руке. Барышни подсказывали к теплушкам и писали на них крупными буквами, отложим почерком:

*«На Берлин», «На Вену».*

*«Привет от русских девушек серым героям».*

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Антон прибыл к себе в город мокрым октябрьским вечером. Поезд остановился далеко в поле, у длинного моста, перекинутого через Ужгу, немного повыше сахарного завода. С откоса завод был виден хорошо. На его просторном дворе шло ученье. Не было клочка двора, свободного от солдат, они кололи штыками соломенные чучела, под дождем ложились на землю, делали какие-то упражнения с ружьями.

Знакомая Суворовская улица была разбита вдребезги, мостовая разворочена, деревянный тротуар исковеркан, перила моста через овраг, пересекавший улицу, сорваны, и самый мост зиял крупными, зловещими дырами. Город разрушался, точно занятый чужой, ненадежной армией. Антон проходил мимо

знакомых домов и видел их, опутанные телефонными проводами, с оторванными ставнями, с пузатыми завалинками, из-за которых сыпалась крупная комковатая земля. Повсюду одиночками, группами стояли, прохаживались, брели, ехали солдаты, — с ковригами хлеба, с бельем, с сумками, с манерками подмышкой, верхами, на артиллерийских двуколках, на передках походных кухонь.

Все это месило дорожную грязь, толкалось, покрикивало, толкало встречных, пугало горожан.

Солдаты торговали на улицах горячим хлебом, крупой, махоркой. Торговки почти все были одеты в ватные солдатские телогрейки. Офицеры раз'езжали в казенных колясках, на извозчиках, вскакивали на-ходу в вагоны конки, разгуливали с барышнями, небрежно щелкали хлыстами по зеркальным своим голенищам, звякали шпорами.

Это напоминало Антону станции, встречавшиеся ему на пути к фронту. Особенно ему припомнились Багратионы, обнаженный кипяtilьник, разрушенное отхожее место. Он подошел к лавке Мологонова и заглянул внутрь: там было полно народу. Краснощекий, светлосый фельдфебель, не обращая внимания на публику, держал Соломонида за ручку. Она тоненько смеялась, пряча подбородок в узенький воротничок котикового сака. За прилавком вертелся черноголовый мальчишка, он проворно отпускал покупателей. На стеклянном кружке перед Соломонидой минутно звякала мелочь. Соломонида, не отбирая руки от фельдфебеля, другой считала медяки и сбрасывала их в ящик.

Черноголовый мальчишка, вертясь, как бесенок, лязгал чашкой весов, ловко нажимал пальцем на чашку, кидал сразмаху пустой ковш в мешок и вновь отпускал покупателей. Вся стена над головой Соломонида была увешана портретами царя, царицы, его семьи, фотографиями каких-то военных.

Антон молча остановился посреди лавки.

— Уйди-ка, уйди, выдеру!.. — спокойно проговорил фельдфебель, заметив Антона, и по-хозяйски шагнул к мальчишке. Соломонида, видимо, узнала Ан-

тона, но только улыбнулась одними уголками губ, ничего не сказала, повела плечами, одернула сак и подкинула в железную печку несколько тонких поленьев.

— Я за матерью, — зло сказал Антон, направляясь к Соломониде. Он еще надеялся, что она отнесется к нему, как и раньше, но она попрежнему улыбнулась и покачала головой.

— Ты иди, откуль пришел... — негромко сказала она. — Безотцовщина проклятая, еще украдешь чего... Вояга...

Фельдфебель цыкнул на него, Антон выскочил за дверь и помчался во двор. Он прикинул к пыльному, с грязными брызгами, стеклу, но ничего не увидел: так было темно в подвале. Он подбежал к двери, на ней висел ржавый замок. Антон начал крутить кольца, на которых замок висел. Незапертый, он разомкнулся, дверь распахнулась. Антон ступил в сырую комнату. Доски пола были уже выломаны, из комнаты несло плесенью, в помещении не было ничего, только в углу валялся стоптанный башмак, с наполовину отодранной, проношенной насквозь подошвой. В другом углу лежала кучка мусора и виднелся бумажный бело-сине-красный флажок. Антон поднял его, сел на подоконник, опустил глаза, сжал дрожащие губы. Он понял, что больше ему не увидеть матери. Он вспомнил сразу все взаимные их обиды, и свои обиды показались ему куда меньше и пустяжнее тех, что должна была испытывать мать.

От него забрали отца, на мелкие куски разорвали дружка Юзьку, теперь потерялась мать, — что могло быть хуже всего этого? Антон чувствовал голод, он машинально искал глазами по комнате и тяжело встал. Сапоги его были грязны, он продрог, сидя в мокром подвале в одной гимнастерке. Рублевка, завернутая в клочок газеты, была в кармане цела. Он поднял с полу ржавую гайку и вышел на улицу. Там он огляделся, вдруг запустил гайкой в окно соломониной лавки и устремился в сторону вокзала. Ему чудились за спиной звон разбитого стекла, крики, свистки, чудилось, что за ним гонятся, — он остано-

вился и оглянулся только у полудедаевского трактира. Нет, сзади все было спокойно: шли прохожие, люди входили в лавку, видимо, Антон промахнулся. Это была уже новая обида!

В портерной у Полудедова было шумно. Ловко размахивая грязными полотенцами, сновали половые, глухо звеня пивными кружками и чайной посудой, в дыму, под самым потолком, плавали лампы «молнии» с круглыми жестяными абажурами, из кухни доносился горячий запах пищи, на буфете громоздился граммофон с золотой трубой. Граммофон играл оглушительные песни, один из посетителей — высокий человек в широкой крылатке — стоял, чуть ли не влезая головой в трубу. Сам Полудедов сидел в сторонке за порожним столом и шелкал на счетах. Перед ним, на мраморной доске столика, стояла маленькая рюмка, наполненная красным вином, прикрытая ломтиком сыра. Из пиджака виднелась расшитая белая рубашка, с колен Полудедова свисали громадные кисти шелкового крученого пояса.

Антону подали тарелку горячей требухи с картошкой. Он, давась и обжигаясь, жадно принялся есть. Кругом менялись люди, они разговаривали, шумели, ревущий граммофон глушил их слова, и вот в тот момент, когда Антон уже получил сдачу и встал уходить, хлопнула дверь, резко загремел звонок на ней, задребезжали стекла, и в портерную ввалилось несколько солдат.

— Наташка! Наташка!.. Го-го-го! — раздались разнообразные голоса из-за столиков.

Цепляясь за плечи солдат, всхлипывая и смеясь, с ними шла высокая пьяная женщина. Антон узнал ее голос: это была мать, Наталья Ажогина.

Робость и даже страх охватили Антона. Куда только делось его недавнее желание увидеться с матерью?! Он отодвинулся в самый угол стола, беспокойно глядя на вошедших; один из солдат пошел прямо к стойке, но другой вместе с матерью отправился в глубину портерной, как-раз к тому столику, где оставался еще Антон.

«Ладно, ладно...» — глотая слезы, думал Антон, когда парочка рассаживалась рядом.

— Кш!.. — сказал солдат, стряхивая мальчишку со стула и браво смотря на Наталью.

— Кш... — улыбаясь, повторила она, покачнувшись на стуле. Но тут она широко раскрыла глаза: узнала его.

— Послушай... — сказала она, поправляя упавшую на ухо прядь волос и, видимо, внезапно трезвея. — Где же это тебя носило, гадину?!

Она схватила со стола тарелку и неверной рукой пустила ее в сына. Тарелка с сухим треском ударилась в плечо высокого старика в поддевке и разлетелась на куски. Старик вскочил, увидел солдат, пьяную бабу, начал что-то кричать, — мать подошла к нему, грозно сложила на груди руки и начала ругаться словами, которых не слышал Антон даже от отца. Нет, это была другая мать!..

«Будет бить...» — подумалось Антону, ему припомнилась их драка перед самым его отъездом на позиции, он вздрогнул и торопливо выскользнул вон. Мать и солдаты, — в этом было что-то, напомнившее ему жизнь у старика Мологонова, его ночные посещения Натальи, всю жизнь с того дня, как арестовали отца. «Нет, при Ажогине все было по-другому...» — думалось ему.

Он пошел на вокзал и (в конце концов он был обычным ребенком, несмотря на свой воинский вид и, так сказать, фронтовые переделки) прошел к запасному пути, куда ставили порожние составы. Под откосом всегда можно было найти множество чудесных вещей: твердые папиросные коробки, фольгу, обертки от конфет, огрызки карандашей, иногда — даже мелкую монету. Все это попадало сюда из-под нещадной метлы проводников классных вагонов.

В многочисленных играх, принятых у детей городских предместий, — играх, столь же изобретательных, сколько и суровых, — почти всегда в качестве премии за ловкость, изворотливость и умение осилить другого фольга, конфетные обертки, коробки от папи-

рос были обязательной наградой. «Черная маска» шла куда дороже даже «Шантеклера», великолепной многоцветной картинки от шоколадных конфет, а какие-нибудь «Тары-бары» не стоили и карамельной обертки. Фольга сама по себе не играла заметной роли, но расправленная осторожными пальцами, отглаженная ногтем, затем спрессованная в виде монеты, становилась подлинной драгоценностью, и Антон знал немногих счастливых, обладавших хотя бы двумя десятками этих жемчужин.

Когда-то и у него самого было десять-двенадцать таких штук, но разве уберешь их в такое тяжелое время? К тому же он пошел в солдаты, и ему стало не до пустяков. Все пошло пылью и прахом!

Он бродил сейчас под откосом и, даже не нагибаясь, видел золотые россыпи. Что такое? Или за три недели, что он не был дома, все его друзья и приятели разлетелись кто куда? Он на момент усомнился в неизбежности вчерашних ценностей. За то время, что он шатался по белу свету, видимо, изменилось многое: «Король Альберт», «Русь», «Цесаревич», — нет, при нем не было таких папирос.

К вечеру он пошел к Матросовым. Они жили все в той же небольшой комнате, все та же стопка книжек лежала на окне, прибавилось цветов, — это были недорогая герань, златоцвет, георгин, золотой шар, фикус на полу. На привычном месте висел костюм дяди Сергея, его кепка «аэроплан». В углу стояли его начищенные гамбургские сапоги.

Нина гремела машинкой, и на пол, под ноги девушки, почти ежеминутно валялись брезентовые подсумки. Она не оглянулась даже и тогда, когда Антон подошел и остановился за ее стулом, видимо, просто не слышала. Раньше всегда аккуратная и даже нарядная, сейчас Нина, видимо, перестала или просто ей некогда было следить за своей наружностью. Ее волосы были растрепаны, локти застиранной кофточки протерты, и вообще в комнате было что-то незнакомое Антону раньше. Он нерешительно обогнул машинку, и тут Нина увидела его.

— Антоша... — она бросилась к нему и привлекла его к себе. — И ты, и Платон? Вместе? Где Платон? Его разве нет? — тормошила она его. — Как хорошо шито, это казенное? — она пощупала его гимнастерку. — Выдали? А где Платошка?.. Говори!

Антон рассказал ей все, что ему пришлось испытать с первого дня их бегства. Нина, притихшая, слушала мальчишку и, когда он кончил, молча, изучающе поглядела на него и затем, как маленького, посадила к себе на колени.

— Глупые вы ребята, ах, какие вы еще дураки, — зачем вас несло в эту кашу?.. Ну что же ты, говори! — она резким движением столкнула Антона на пол и встала сама. А тут дядю Сережу — она говорила об отце — забрали в солдаты: «Не бастуй!..» Отец юзкин помер, мать теперь побирушка... Я вот корплю за этими сумками для солдат: полкопейки сумка, строчу тесемки, пришиваю пуговицы, — полтора ста штук в день, больше не успеваю, — разве у меня только и дела, что это? Говори!

За тонкой переборкой чей-то знакомый голос неясно запел, убаюкивая ребенка.

— Знал юльмовскую Феню? Она переехала сюда, Отрепьева у ней взяли в солдаты, сейчас она ходит стирать белье, — спокойно, словно выполняя какую-то обязанность, говорила Нина.

Антон уже не смущался этой повзрослевшей, зеленоглазой девушки. Когда он собрался уходить, Нина встала и, отбрасывая ногой груды готовой работы, спросила:

— Ты мать видел?

Антон очень спокойно рассказал ей о встрече с матерью и сразу же назвал мать таким именем, что у Нины сразу вспыхнули уши. Она принужденно засмеялась и взяла Антона за плечи.

— Значит, знаешь... Тебе с ней жить нельзя, понимаешь? Ты оставайся здесь, мне очень одной скучно, — и она испуганно добавила: — К Фене ходит телеграфист, он и ко мне стучится... А ты ведь заступишься, да? Говори! — и она снова нехотя рассмеялась.

Она сдернула с него фуражку, швырнула ее на подоконник, потом вдрут

уткнулась лицом в кучу еще не начатых брезентовых сумок и заплакала.

— Нет, я не отпущу тебя!.. — слышалось сквозь рыдания. — Будем дожидаться Платошку, дядю Ваню, я тебя буду учить... Ну, куда ты пойдешь?

Разумеется, Антон остался. Да и куда бы он пошел в самом деле?

Он охотно стал помогать Нине: отнесил готовые сумки в мастерскую на Суворовскую улицу, получал новую работу, ходил в лавку, а по вечерам, перед самым сном, Нина рассказывала ему разные вещи. Сначала он не понимал их смысла: в ее рассказах не было даже упоминаний ни об одном из людей, кого знал Антон.

«Какое ей дело до этого?» — времени думал он, но в конце концов, рассказы были так интересны, что первые недоумения уступили место все возрастающему желанию слушать и слушать дальше.

— Или, например, железо. Ведь мы его знаем недавно. Раньше был камень. Пойдем как-нибудь с тобою в Кремль, там есть такая выставка-музей, я покажу, какие были топоры из камня. Все — из камня. Поэтому и есть: каменный век. Понятно? Говори!..

Видимо, она и сама недавно узнала про все это, потому что ее речь была не всегда уверенной и твердой. Но зато как она переживала свои слова! Она то вскакивала на постели, то понижала голос, то хватала Антона за плечо или же заканчивала тихо, как бы опасаясь расплескать смысл, наполнявший ее слова:

— Так вот постепенно научился человек делать огонь. Понятно? Говори!..

Конечно многое и сейчас казалось странным Антону: подумаешь, невидаль, — огонь!..

Постепенно он возвращался мыслями к старым своим приятелям — Юзьке и Платону. Но одной памятью о них, ближайших и вернейших своих друзьях, не ограничивался Антон. Он свел знакомство с Витькой Солонкиным.

Отец Витьки был переплетчиком в типографии Фортунатова. Витька оказался весельчаком и вралем. Врал Витька нелепо и просто так, для собственного удовольствия.

— Ты знаешь, сколько мне лет? — спрашивал он. — Скоро будет тринадцать.

А в самом деле он был ровесник Антону.

Или:

— Вчера меня хотела бешеная собака укусить. Здоровая, глаза — все равно, как два кулака, — во!..

— Укусила? — спрашивал кто-либо из сверстников, с уважением глядя на Витьку.

— Так я ей и дался!..—и все в таком же духе.

Но, в общем, это был малый ничего, у него всегда имелись в запасе обрезки цветной бумаги, принесенные отцом с работы. Он в изобилии наделял ими своих друзей и приятелей, — нет, жадность не была свойственна Витьке Солонкину.

Впрочем, кроме Солонкина, Антон познакомился и со Стрелецким, сыном почтового чиновника. Казя Стрелецкий учился в гимназии, ходил в перелицованных брюках, из-под которых торчали носки грубых сапог, номера на два больше, чем это нужно.

Антон впервые встретил гимназистика в мастерской, куда они оба принесли сдавать работу. Стрелецкий странно выглядел здесь в своем гимназическом виде. Он испуганно глядел на привезенный им большой узел, лежавший в детской коляске. Именно эта коляска и остановила внимание Антона. Когда-то она была окрашена в голубой цвет, теперь краска с нее слезла, и левая рессора держалась на ремешке, которым привязали ее к оси.

Маленький гимназистик начал было тихонько насвистывать, словно его не касались и эта старая коляска, и узел в ней, но Антона было нелегко провести.

— Ты где живешь? — спросил он.

Тот ничего не успел ответить: к ним приблизился брюхатый человек с отвислыми щеками и длинной шеей. Он поднял на лоб очки и посмотрел на ребят.

— Молодой человек, это ваше?

Он вытащил из коляски узел, бросил его на пол, распахнул дребезжащую дверь мастерской и толчком ноги выка-

тил коляску на тротуар. Оттуда послышались испуганные восклицания, кто-то, сбитый с ног, поднялся и с криком и руганью полез сюда, но хозяин снял телефонную трубку и негромко сказал в трубку:

— Или позвонить в участок? Я могу. У меня — работа на оборону..

За дверью на улице, куда уже откатился этот посторонний шум, слышались возбужденные голоса, плакал ребенок, кто-то властно говорил:

— А если в морду ему? Не имеет он такого полного права!..

— Чорт окаянный, «в морду»...—спокойно говорил хозяин, расхаживая по мастерской. — Теперь, господа, с рубля три копейки в пользу солдатиков, война. Надо жертвовать... Вам три копейки — что? Пустяки, а соберите по всей губернии или по всей России — большие миллионы!

— Да ведь и так мало, Настасий Артемьевич, — начала было женщина с красивым белоснежным лицом, на котором, словно нарисованные, лежали длинные черные брови, — при наших заработках...

— Я вас не держу, сударыня, может, вам где и больше дадут, вы — дамочка симпатичная. Да что это я с вами болтаю?! — вдруг прикрикнул Анастасий Артемьевич. — Не понимаете? Для серых-то героев?

— Я ничего не говорю, господин Бархатов... — красивая швейка подняла и опять опустила глаза. Хозяин уже прошел к себе в контору, и оттуда вышел приемщик, солдат, — от него шагов за десять разило водкой.

— Опять нажрался? — без стеснения спрашивали его женщины. Он почти каждую толкал локтем, легонько пощипывал, заливался веселеньким смешком.

Потом он остановился перед красивой швеей и сразу стал серьезнее.

— Здравия желаю!—козырнул он.— Ну, что тут у вас такое?

Он пересмотрел несколько подсумков и отодвинул узел в сторону.

— Брак!.. — коротко сказал он, покачиваясь из стороны в сторону. — Брак. Барюша, ничего не могу поделать.

— Какой такой брак? — спокойным, низким голосом спросила она. — Тут другое, скажите, а не брак...

— Петли. Видите — строчка, да? Петли, мадам! — оборвал ее солдат и вернулся в контору.

Все зашевелились и понесли узлы в кладовую.

— Недотрога... — бормотал солдат, показавшись опять. — Вашей сестры нынче лопатой не огребешь...

Домой Антон пошел вместе с Казей Стрелецким. Казя осторожно ступал по дощатому тротуару, выбирая, куда ставить ногу.

— А то еще закон божий... — негромко сообщал он. — Сейчас у нас новый завет, про Гефсиманский сад, про чашу.

— Про какой сад? — привыкший к вранью Витьки Солонкина, спрашивал Антон, всматриваясь в милостивое, чуть-чуть веснучатое лицо гимназиста. — Ты это правду?

— А как же? — прежним голосом говорил Казя. — Это все знают, у меня по закону — пятерки. Я — поляк, но не католик! — неизвестно к чему прибавил он.

— Почему пятерки?

— Какой ты... — без всякого нетерпения отозвался Стрелецкий. — Ну, пять, — значит, очень хорошо.

Разговор вышел совсем непонятным для Антона.

И тут опять обида зашевелилась в его сердце: выходило, что люди, которых знал Антон, имели при себе много интересного, а ему ничего не говорили, или говорили так, что не было никакой возможности разобраться в сказанном. Антону показалось вдруг, что здесь он никому не нужен, что он около Нины лишний, что ему придется, пожалуй, уйти отсюда и жить так, как жил он еще не так давно: вокзальные ночлеги, непрерывная смена чужих лиц вокруг, чужие голоса, окликающие его...

Он пришел домой, Нина встретила его чужим, безразличным взглядом и тотчас же отвернулась.

Закусив губу, Антон смахнул с ресниц слезинку и повернулся прочь.

— Ты куда? — Антон уже стоял в дверях, мям в руках картуз, нерешитель-

но переминался с ноги на ногу. — Ты не уходи, мальчик, мне просто нехорошо: отца арестовали...

— Какой отца? — он так привык к Нине за эти немногие дни, что думал только о ее делах.

— Уже забыл отца? Ну, дядя Ваня, ну — Ажогин!.. — выкрикнула она и упала лицом на стол.

Затем, успокоившись, она рассказала ему, что сегодня Ивана Ажогина видели в участке. Он приехал сюда, и вероятно сразу же его арестовали вновь.

Антон плохо понимал слова Нины: как это — сидел в тюрьме и вдруг приехал? Нет, тут что-то было не так!..

За обедом Антон рассказал ей о разговоре между красногорим солдатом и Варварой.

— Такая высокая, белое лицо?.. — и Нина добавила: — Она, Варя Квасцова. Ей не дают проходу... Какие сволочи!..

Нина уже успокоилась, причесалась, только чуть-чуть припухшее лицо напоминало о ее слезах.

— Варя очень красивая, и к ней все лезут, а когда она посылает их к шу-ту, ей и пакостят, подлецы!..

Она на мгновение задумалась, потом вдруг насторожилась и вскочила на ноги: кто-то шел по коридору сюда. В дверь стукнули и, не ожидая отклика, толкнули ее. Нина шагнула навстречу вошедшему: это был Иван Ажогин, бородатый, обтрепавшийся, но все же он, Иван.

Нина на мгновение замерла, но потом бросилась к Ажогину и прямо повисла у него на шее. Он бережно обнял ее одною рукой, другой подхватил сына и отнес их обоих на постель. Антон не замечал ничего, кроме этого веселого, бородатого лица, он не слышал, о чем говорила Нина. В комнате странно-громко раздавалось тиканье часов, косой солнечный луч падал на пол, застланный пестрым половиком, из-за окна доносилась злая солдатская песня. Отец, опять отец, — Ажогин был с ними. Антон заглянул на него снизу, потом вдруг схватил его за руку, погладил ее и вдруг тихонько, совсем тихонько рассмеялся и

снова поднял на отца свои ликующие, радостные глаза.

— Ну, ну,—негромко говорил Иван.— Очумел, наследник...

Но Антон уже, как щенок, метался около, толкая отца, оттаскивая от него Нину и смеясь, и сердито дергая его за рукав.

— Тебя же видели в участке?..

— Документы выправлял, — посмеивался отец в самое лицо Нины. — Отправлеч на родину, без права выезда.

Нина негромко мурлыкала какую-то песенку, гремела грязными тарелками, споласкивала их, — собирала на стол.

— Вот ты и приехал... Вот и приехал ты, да?

Так говорила она, время от времени задерживая свои движения и взгляды на Ивана. Он молча улыбался любующимися глазами, глядя то на нее, то на сына.

— Ваня... — сказала она тихо, и у Антона захватило дух: таким тоном давно-давно когда-то называла отца мать. — Ваня, ты оставайся с нами, ведь Антон живет здесь...

— Значит, оставаться с вами?—отец усмехнулся в бороду: она была у него темная, широкая. Борода, это странно, молодила отца: на лице его ярко выступали веселые зеленые глаза. — Не прогоните? А я было думал, что ты у меня — вроде как сноха, Нина, а?.. Думаю, Антошка уже пристроился.

Нина покраснела. Видимо, ей не понравилась шутка Ивана.

Он пальцами пощекотал Антону подбородок и принялся есть. Ел он жадно, — вероятно давно уже он не брал в рот горячего.

— Сюда прямо из Орла, вот это город — грязница! — глухо говорил он, громко жуя.

— Ты бы обрился, Ваня... — видимо, думая о своем, говорила Нина.

— Не хорош? Ну, ладно...—он подтолкнул Антона плечом. — Она вот велит обриться. А? Вот тебе и новую мать купили. Как? Сойдет?..

Наутро, проснувшись ранее обычного, Антон увидел на кровати темную голову отца на подушке рядом со светлой Нины. Нет, это было не то, как у На-

тали с Мологоновым. Все было как будто и то, и не то в одно время: вот на полу, освещенные солнцем, лежали тяжелые сапоги отца, на одном из них весело стоял маленький башмачок Нины. На полу у ножки кровати валялся ее гребешок.

Но главное было опять-таки не в том. Когда, бывало, Антон замечал под утро валенки Мологонова, — чувство обиды и унижения охватывало его. Нет, сейчас он видел другое: разметающуюся Нину, мягкие ее волосы, раскинувшиеся по подушке, слышал спокойный, осторожный храп отца. Получалось, что Ажогин пришел туда, где его ждали, и Нина встретила его именно так, как она хотела его встретить.

Для Антона началась очень, очень хорошая жизнь. После долгих обещаний, проволочек и «завтраков» отца взяли опять в железнодорожные мастерские. Платили отцу меньше, чем на прежней работе, но на троих, да еще с тем, что получала Нина, хватало. Нина оказалась хорошей хозяйкой, и их комната просто сияла, убранная заботливыми ее руками.

Она ни за что не хотела бросить свои подумки.

— Ну, мало ли что... — говорила она. — Нет, нет, Ваня, и не уговаривай...

Правда, теперь она стрекотала машинкой много меньше прежнего, она попрежнему учила Антона, чаще рассказывала ему прежние, забавные истории. Иногда это были просто веселые пустячки, иногда же Нина пересказывала какие-то, повидимому, большие и серьезные книги. Но и то, и другое было одинаково интересно. Нина говорила обо всем так, словно это касалось ее лично.

— Понимаешь, в Англии, — это есть такой народ: англичане... — говорила она, трепеща ресницами и прижимая руки к груди, — есть фабрики. Там работали — еще недавно работали малые дети, им пять или шесть лет, а они работали с шести утра и до десяти вечера. Там и спали. Это — на фабрике-то, так прямо и спят! Голые,—нет денег одеться. Им не платят. Понятно? Говори!..

Отец приходил с работы усталый, грязный, но веселый. Он сажал Антона

на одно, Нину на другое колено и спрашивал:

— Ну как, наследник?

— Что как? — подымал голову Антон.

— Новая мать, говорю, как? Не дерется?

И оглушительно хохотал.

Иногда отец посылал Антона на кладбище Сорока Мучеников, где в сторожке на чердаке жила теперь Наталья. Антон старался не видеть ее, и это иногда удавалось ему. Но однажды он все-таки столкнулся с ней.

— Я у сторожа деньги оставил: Ажогин прислал... — хмуро сказал он, опасливо отходя в сторону. Он глядел на мать, ту самую, кто родила, вспоила и вскормила его. Она сидела сейчас на завалинке, хоть трезвая, но опухшая, с несчаными, жидкими космами волос, с синими, отечными руками, в солдатской рваной шинели.

— Запоздали, дряни... — хрипло говорила она. — Прощлый раз тоже запоздали. Отец-то, Ванька, — с этой все еще?..

Она выругалась так нехорошо, что Антон вскочил на ноги и схватил с дорожки крупный камень.

— Ну, бей... — прежним, бесстрастным тоном предложила мзгь и погрозила. — Я еще приду к вам, я поговорю с этой!..

Она повторила свое отвратительное ругательство.

— Брось! — угрожающе крикнул Антон.

Наталья не переставала бормотать свои бессмысленные ругательства. Тогда Антон подскочил к ней и, что было сил, ударил ее по лицу, испугался и ринулся прочь. Уже издали он слышал:

— Не имеешь полного права. Мерзавец! Городовому скажу! — видимо, так кричала она, когда ее били пьяные мужики и солдаты.

Антон вернулся домой, потрясенный только-что происшедшим. На все расспросы Нины от отмалчивался, безотрывно глядя в окно.

Дело шло уже к зиме. По утрам Антон видел лужицы, застывшие на дороге. Иногда уже выпадал снег, правда,

сразу же таявший. Улицы пустели с каждым днем. Становилось все холоднее и холоднее.

Сейчас Антон сидел и бессмысленно глядел в окно: по дороге проехал воз с гробами: голубыми, белыми, серебряными и простыми, некрашеными. Прогнали целое стадо гогочущих, грязных гусей. Задерживаясь почти у каждого ворот, медленно и вразвалку по той стороне прошел городской Атьев. Старик как-то осел, сделался тяжелее, — весною в Кудашевском саду он был подвижнее и молодцеватей. Или осень, или старость.

— Нинок... — вдруг обернулся Антон туда, откуда слышался неумолчный стрекот машинки. — А если мать? Бить ее — можно?

Нина вскочила, роняя с колен заготовку, подбежала к Антону, взяла обеими руками его голову, прижала к груди и, задыхаясь, спросила:

— Ты сошел с ума! Это — мать-то?

— Она называла тебя...

Он повторил ругательства, которыми она осыпала Нину.

— Это надо с ума сойти! — уже вся дрожа, повторяла Нина. — Господи, что они делают с детьми... Что они делают с детьми!..

Она разодрала на себе блузку, лиф и, шатаясь, подошла к самовару, стоявшему на столе. Она налила в стакан воды и громко, стуча зубами о его края, выпила все.

Антон, находившийся в каком-то оцепенении, медленно шагнул к ней, но, сделав несколько шагов, мягко, неслышно свалился на чистый полосатый половик.

Он очнулся и не мог определить, утро сейчас или вечер. Он увидел отца, возившегося у окна и легонько постукивавшего молотком: отец вставлял вторые рамы. Антон перевел взгляд направо: на кровати сидела Нина, затаив дыхание, наблюдая за ним. Она держала в руке ложку, видимо, собираясь выпить какое-то лекарство.

— Дядя Ваня, глаза открыл! — негромко вскрикнула она.

Ажогин резко обернулся и подошел к сыну. Отец опять оброс бородой. Это

странно, — последний раз Антон видел его бритым. Сколько же дней Антон пролежал в беспамятстве?

Оказывается, был воскресный вечер, — прошло четыре дня.

Скоро пришел железнодорожный доктор, низенький человек с плечами ужасающей ширины, в золотых очках на переломленной переносице. Он ворочал Антона с боку на бок, удивленно вскидывал на него очки и говорил в нос:

— Ну, ничего... Поднимемся... Вообще ты — молодец.

Оказывается, доктор приходил до этого два раза, Антон в бреду яростно ругался с матерью, плакал, бил кулаками в стенку, скрипел зубами.

Он поправлялся медленно и, точно впервые в жизни начиная ходить, держался за стены, за стулья, когда ему надо было сделать по комнате шаг-другой.

К нему уже возвращалась способность думать и вспоминать. Он, как наяву, видел кладбищенскую сторожку и мать на завалинке. Он отчетливо слышал ее ругательства, мысленно подходил к ней, бил ее по лицу. Он уже снова начинал чувствовать нехорошее возбуждение.

Он с усилием встал и напился воды, — это успокоило его. Он подошел к окну и совершенно неожиданно увидел на улице Наталью. Она, спотыкаясь, бежала по дороге, словно гналась за кем-то, кто шел по этой стороне. Антон заглянул вбок: к дому подходили Нина и отец.

Мать кричала что-то, чего нельзя было расслышать через двойные рамы, Нина шла, прямо держа голову, отец нес за нею большой узел: они возвращались из пошивочной мастерской.

Они оба вошли в комнату. Нина задернула окно светленькой занавеской и отвела Антона подальше от окна.

— Антоша, сын... — сдавленным голосом, густо покраснев, сказала она и пристально посмотрела на отца. — А, может быть, Ваня, ты поговоришь с ней? Иди к ней... Жена... Разве она виновная? Вернись, — ну?..

Антон похолодел: что такое? Нина велит отцу уйти от них? Опять к Наталье?

— Ну, — жена ведь...

Отец подошел к ней, подхватил Антона на руки, обнял Нину и дрогнувшим голосом сказал:

— Глупые ребята, ну куда же я вернусь? Нет, уж вернуться я не хочу, бог с ней!..

Он приоткрыл занавеску и взглянул на улицу. Мать, кривляясь и поминутно заголяя подол, что-то кричала, собрав вокруг себя кучу мальчишек.

— Она же не виновата...—осторожно сказала Нина и открыла швейную машинку.

— Ну, а я виноват? — отец жадно заглянул Нине в глаза.

Она прижала руки к груди.

— Господи, ну что делают с людьми, что с ними делают!..

Отец молча отошел к двери и закурил, пуская дым в коридор, — это была его последняя привычка. Он исподлобья следил за тем, как Нина ходила по комнате, следил за Антоном, изредка сдувал пепел с папироски.

— Куда ж я пойду? — сумрачно заговорил он снова.—Куда я пойду от тебя, от Антошки, от товарищей?

— Она ведь жена... — тихонько возразила Нина.

— А ты?

Нина изумленно подняла брови, потом опустила их.

— Я не могу уйти и отдать ей Антона, наследника...

— Но ведь она не виновата...—горячо, прижав к груди руки, в который уж раз повторяла она.

Тогда вмешался Антон. Он взял ее руку, маленькую, жесткую руку, спальцами, исколотыми иголкой, и сел рядом с Ниной.

— Ты не знаешь ее! — закричал он, опять как бы наяву видя и кладбищенскую сторожку, и полудедовскую портерную и в ней — мать. — Я бы ее!

— Дурак, — серьезно и ласково вместе с тем сказал отец. — Ты еще без конца глуп, наследник. Вырастешь — переменишься.

Вечером к отцу пришел тот самый сутулый рабочий, которого везносу в Кудашевском саду ударил полицеймейстер. Антон не знал даже имени сутулого, он не видел его более полугода, но отец запросто пожал гостю руку. Нина тоже поздоровалась с ним, назвав его дядей Ефимом.

На лице Ефима, изуродованном оспой, блестели, точно искусственные, зубы: белые, крупные, как у молодого.

О чем бы ни говорил он, речь его шла все время в вопросительной форме.

— Разве мы каторжные? Или в дисциплинарном батальоне? — беспокойно спрашивал он то отца, то Нину, то даже Антона. — Правила читали? Значит, если купил селедку, то ешь сразу? А если я не хочу? Или средства не позволяют? Если я кусок с'ел, да оставил на другой день? Или — на два? А? Нельзя? Штраф? Рубль пятьдесят? А?

Он достал из фуражки сложенную вчетверо промасленную бумагу и, расстелив ее на коленях, начал читать монотонно, не запинаясь, с ударением на «о»:

— «Правила, коим должны подчиняться рабочие колбасного заведения Б. С. Твердохлебова, когда они находятся вне работы при квартире...»

Ефим читал, далеко отнеся руку с бумагой. Иногда он прерывал себя и начинал осаждать слушателей вопросами:

— Не позже десяти часов? А если я хочу в лес? Или под воскресенье пойти по рыбу? Да задержусь? Да на всю ночь? А? Тогда — что? Опять полтора целковых? Не грабиловка?

Он строго оглядел всех, кто находился в комнате, и продолжал читать далее.

— «Постели и постельное белье рабочие должны иметь за свой счет, чистые и опрятные...» Извините, господин Твердохлебов, а если грязные, — если других нет? Полтора рубли? Опять? — бормотал Ефим.

Потом он сложил бумагу и тем же голосом начал рассказывать историю какого-то возчика, который вот уже второй месяц не получает ничего, — заедают штрафом.

— Спит в углу, верно? Сырость, что ни положи на постель — сыреет сразу? Грязнится? Бац — рубль пятьдесят, штраф, за что? Или фортка, она ведь сломана, да? Холодина? Он сам починил — опять рубль с полтиной? А? «Не смей самолично»?.. Куда это годно? И вообще — казармы, а?

— Хуже... — тихонько промолвила Нина.

— Хуже, да? — мельком взглянув на нее, спросил Ефим. — Соломы в мешок набить нельзя? Говоришь, «сор»? Спи на голой лавке? Принес соломы — штраф? Рубль с полтиной? А?

— Ну-ка дай... — спокойно сказал отец, взял бумагу, перечел ее про себя и громко закончил:

— «Утверждаю. Губернский фабричный инспектор губернии Боярский».

— Боярский? — усмехнулся Ефим, как бы наигрывая что-то пальцами на коленях. — А почему Боярский? Он — от кого?

— От нас только мы сами... — угадывая его мысли, отозвался отец, пряча в карман «Правила». Потом он оделся и куда-то вышел с Ефимом. Нина долго смотрела в окно им вслед и, когда они скрылись из виду, вздохнув, пошла к Антону.

— Что делается на белом свете!.. — тихонько и жалобно сказала она. — И чего только творится, господи.

Она начала прибирать комнату, напевая тихую песенку:

Лет шестнадцать я  
По людям ходила...

Вечером отец вернулся. Он привел с собою уже немолодого солдата, с кругло остриженной головой, с лихо закрученными усами. Но глаза у солдата были смущенные, он прятал руки под стол.

— Лукьянов, очень приятно! — сказал он, привставая, когда в комнате появилась Нина.

Увидев, что Нина начала собирать на стол посуду, — готовиться к чаю, — солдат вскочил и в одно мгновение в полном порядке расставил чайник, поднос, сахарницу и стаканы. Он делал это с той ловкостью, какая достигается только привычкой. Он на мгновение за-

стыл над столом, оглянул все и опять сел на место, снова смущенно пряча руки под стол.

— Ну, знаете! — только и нашлась сказать Нина.

— Практика-с! — возразил солдат. — Мы еще не так очень давно в «Лондоне» работали, официантами.

Нина продолжала удивляться ловкости гостя, а он осмелел, положил фуражку на свободный стул, подкладкой вверх, расправил усы и приготовился слушать Ивана.

— Ну, так вот... — как бы продолжая начатый разговор, заговорил отец. — Положение очень даже глупое: к зиме обещали войну кончить, а где ей конец? Зима на носу, новые возраста берут, к чему же это, если конец? Как бы тебе сказать: вроде получается — обман.

Лукьянов неопределенно улыбнулся и провел ладонью по голове, рано начавшей лысеть.

— Вот ты давеча — этому в морду... Это хорошо конечно, но только это ведь мало. А на фронт все равно пойдешь... — прихлебывая горячий чай и обжигаясь, говорил отец. — А для чего? Что за радость?

— Значит, не итти?... — неопределенно улыбаясь, спросил солдат, нащупывая фуражку.

— Зачем же? Итти. Но для чего? Цель? Узнать цель!

— Приказали, а ты помалкивай, вот вам и цель. Э, дорогой мой!..

Лукьянов уже покровительственно хлопал Ажогина по плечу и придвинул к себе стакан.

Солдат сидел недолго и ушел, почти беззвучно ступая тяжелыми сапогами. Отец провожал его в сени и, когда вернулся, Нина, мывшая посуду, сказала:

— Чем-то он неприятный. Ты лучше не водился бы с ним. Подведет.

— Все может быть.

И отец начал рассказывать: шел он по Суворовской, видит — толпа. Оказывается, какую-то женщину сгоняют с квартиры. Какую-то солдатку. Двое ребят сидят под дождем, прикрываются клеенкой со стола. Кругом — прохожие, конечно спрашивают женщину — что, почему? Кто-то дал ребятам по кара-

мельке, одни люди стояли здесь, другие шли мимо и ругались на толпу, запрудившую тротуар. Стоявший в стороне молчаливый солдат с рыжеватыми, лихо закрученными усами шагнул во двор, сильно хлопнул калиткой и через минуту вышел обратно, подталкивая перед собой домохозяина. Это был кудашевский бухгалтер Степанский. Его желтое лицо вытянулось, он бестолково и молча размахивал длинными, тонкими руками.

Публика на тротуаре расступилась, когда пущенный сильной рукой солдата Степанский перелетел через канаву и еле еле удержался на ногах. Он беззвучно разевал рот и с ужасом глядел на публику. Солдат подошел к нему и раза два ударил его по уху. Бухгалтер тихо ахнул, но солдат встряхнул его за шиворот.

— Вы что? Имеете дело с собаками или с людьми? — спокойно и угрожающе спросил он, не отпуская Степанского. — Мужа гоните на позиции, а ее, сукины сыны, на улицу? Да ведь вас мало застрелить из поганого ружья, гадов!

Он дал хозяину по щеке еще раз и, не обращая больше на него внимания, сильно толкнул окно подвала. Окно распахнулось, солдат начал спускать туда табуретки и узлы, промокшие на улице. Напоследок он взглянул на Степанского. Тот вызывающе стоял уже у окна в доме и грозил солдату кулаком. Солдат усмехнулся:

— Только выкинь их — приду и застрелю, как щенка, будьте спокойны... — он козырнул Степанскому и отошел прочь.

Тут его нагнал Иван Ажогин, разговорился с ним, узнал, что его зовут Лукьяновым, и пригласил к себе.

— Молодец в общем... — задумчиво говорил Иван, когда солдат ушел. — Может, из него жулик выйдет, может, действительно, человек. Во всяком случае голову свернуть может. Очень свободно...

— Ведь Степанский опять эту бабу выгонит...

— Конечно выгонит, Нинок... — горячо сказал Иван. — Какой может быть

разговор. Вот почему я и заговорил с этим Лукьяновым. Смысл? Ну, набил морду. Ну, другой раз набил. А смысл?

Однако в тоне и словах отца не было заметно, что он осуждает солдата за историю со Степанским.

Нина только молча покачивала головой.

Уже засыпая, Антон услышал, как в дверь тихо постучались. Это опять вошел «Сутулый». Антону показалось, что он видит его уже во сне.

— Мальчишка что — спит? Он сразу у вас засыпает? Ничего, шустрый мальчишка? — спрашивал он.

Потом в сознании Антона все смешалось, и он перестал вообще видеть что-либо, — приятная тяжесть завладела им, и он заснул.

Он очнулся на момент, когда лампа светила уже красно-желтым пламенем. Нина спала, не раздеваясь, громко дыша. Отец и Ефим что-то возились у стола, шуршали бумагой.

Антон заснул вторично, опять ощущая давешнюю приятную тяжесть.

Утром Антон проснулся. Он увидел пустую, смятую постель справа, чулок Нины на одеяле. Самой Нины в комнате не было. Отец спал, сидя и положив голову на стул.

Ефима уже не было. На полу в беспорядке валялись сбитые в кучу половики. Отец громко храпел, его сильное дыхание поднимало уголок газеты, лежащей на столе.

Когда Антон сделал несколько шагов по комнате, отец скрипнул зубами, вздохнул и поднял голову от стола. Глаза его были воспалены, они блуждали кругом, потом остановились на Антоне.

— Как у тебя ноги? Крепкие? — хрипло откашливаясь, спросил он. — Быздоровел, наследник?

— Где Нина?

— Скоро придет. Слушай, наследник... — отец уже встал на стул и принялся рыгаться за иконой Николая угодника. Потом спрыгнул со стула и спросил:

— Ты Грязевскую улицу знаешь, участок? Ну, там еще каланча наверху! Знаешь? Вот и хорошо.

Отец сел за стол, достал из ящика пачку печатных листов, сложил их в большую коробку из-под штиблет и перевязал ее бечевкой.

— На! — отец сунул коробку в руки Антону и подтолкнул его к двери. — Рядом с полицией. Дом два. Войди на двор, в углу — дверь, так тебе откroют...

Отец проводил Антона до калитки и дорогой объяснил все.

Только не торопись. В случае чего отдохни. Запомнил, как поступить, если что?

Антон кивнул головой.

Был редкий в эту пору солнечный и теплый день. От Флора и Лавра шел густой, спокойный колокольный гул. Навстречу Антону ехал обоз ассенизаторов, хрустел льдинками в дорожных колеях и пел песню:

Чудный месяц плывет над рекою,  
Все об'ято ночной тишиной.  
Ничего мне на свете не надо-о-а!...

Как и всегда, по Суворовской поминутно проходили солдаты, хмурые, молчаливые, громко топоча сотнями ног.

Сопровождая двух оборванцев, Антона обогнал городской Атьев. Он расталкивал встречных ножами шашки.

У ворот дома, нужного Антону, ничего не было, но по двору у ворот прохаживался невысокий, сухонький человек в твердой черной шляпе. Он живо подмигнул Антону и сделал несколько шагов за ним. Но, обеспокоенный его присутствием, Антон прошел прямо в угол двора и стал там мочиться. Идя мимо окон маленького домика, он заметил опущенные занавески, и ни малейшего звука не донеслось до него оттуда. Под самым окном валялись выдернутый из земли куст герани и глиняный поддонник от цветочной банки.

Антон деловито заправил рубашку в штаны, запахнул куртку и, не оглядываясь, пошел на улицу. Человек вышел в ворота и стал глядеть ему вслед. Антон, не прибавляя шагу, свернул в боковой переулочек и на выходе к Ужгинской, столкнулся с Ниной.

— Был? — быстро спросила она, словно знала все.

— Дом номер два?  
 — Ну? — вопросом же ответила она.  
 — Какой-то мужик в шляпе, никого не слышно.

— Занавески опущены?  
 — Опущены, конечно... — Антон отвечал, не понимая, что могло произойти в той квартире.

— Иди быстро домой, со мной не ходи. Если дяди Вани нет, — она по привычке так называла Ажогина, — положи все за икону.

Нина перешла на другую сторону и скрылась в воротах свечного завода.

Когда Антон пришел в свою комнату, отца не было.

Только теперь Антон почувствовал смертельную усталость. За те несколько дней, что он просидел в комнате, он будто разучился ходить и сейчас даже не нашел в себе сил подняться на стул и положил бумаги на место.

Он лег на сундук и стал вспоминать все, что он видел сегодня. Вспоминать, собственно, было нечего: веселый человек на дворе того дома, Атьев, наконец обеспокоенная чем-то Нина.

На стене висели потемневшие старые часы с боем. Часы были велики, пожалуй, даже побольше иконы. Они отбивали время глухим и надтреснутым звоном, причем последний удар всегда получался еле слышным.

Антон с трудом поднялся на стул. Ему хотелось подшутить над Ниной. Он открыл боковую дверцу часов, внутри со скрипом ворочались большие зубчатые колеса, покрытые паутиной.

Антон взглянул на одну из бумаг. Печатными буквами бледным фиолетовым цветом на ней было написано: «Товарищи рабочие! Вы работаете у Твердохлебова, не зная ни отдыха, ни людского отношения...»

Дальше ему читать не захотелось. Он бросил коробку на пол, бумаги — их было не так много — сунул в ящик часов, закрыл его и спрыгнул на пол. Ноги ныли, словно он прошел сегодня десяток верст. Он сел на подоконник и стал глядеть на улицу. Вскоре, когда Антон совсем не ожидал этого, к дому подошел Казя Стрелецкий. Он стоял, сунув руки в рукава шинели и при-

стально выискивая кого-то в окнах дома. Антон постучал по стеклу. Казя наткнулся взглядом на Антона и приветственно замахал ему руками, приглашая его выйти на улицу.

Антон впервые попал в квартиру Стрелецких. Отец семьи, болезненный, старообразный человек, за последнее время получил повышение, его перевели на вокзал помощником начальника почты, увеличили оклад, но, видимо, дыр в хозяйстве имелось больше, чем следовало. Три большие комнаты были почти голы, если не считать спальни родителей, где еще сохранилась кое-какая обстановка. На спинках кроватей висели два одинаковых образца: дева Мария с младенцем на руках. В углу стояла кадка с громадной, упиравшейся в потолок пальмой.

По всем комнатам шныряли дети, — пять или шесть человек. Вскоре пришла Стася, — самая старшая, — высокая девушка в коричневом платье, с белоснежной полоской воротничка вокруг загорелой шеи. Она поймала Казимира и, щекоча ему лицо своими тонкими вьющимися волосами, спрашивала:

— Ну, что сегодня? Боже ж ты мой, ты, как настоящий хулиган! Грязен! Ужасно.

Она говорила приятно-грубоватым голосом, видимо, просто так, для шутки: Казя, как всегда, был чист и аккуратен. Стася говорила резко на «о», и например вместо «настоящий» — «настоящий», и это нравилось Антону. Она чем-то напоминала ему Нину, только Нина была мягче и ласковей.

Из самой дальней комнаты по коридору донесся громкий женский голос, не по-русски кричавший что-то. Потом женщина закашлялась.

— Стаська, шить! Мама зовет шить — сегодня привезли белья еще! К завтра! — позвал Казя.

Девушка прошла мимо, шурша уже другим, светлым платьем, размахивая серым передником.

У Казимира были какие-то странные игры. Он сажал Антона в старое кресло в углу, заставляя его класть ногу на ногу, потом подходил к креслу и еще издали говорил:

— Пан Антон, поверьте чести, — у меня ничего не осталось, кроме жены и вот этих детей. Прошу — смилосердуйте, пан Антон!

— А я что? — недоумевал Антон.

— Ну, а ты говори что-нибудь!.. — нетерпеливо отвечал Казимир и повторял: — Ничего, кроме жены и малых детей...

Под ногами всегда ползал кто-либо из ребят.

Из кухни мчалась нянька, крупная еврейка, Хана, она подхватывала ребенка, тащила его куда-то к себе, и долго оттуда доносился в комнаты детский рев. Вскоре Хана показывалась опять и, поправляя черные волосы, падающие ей на лоб, гневно выговаривала:

— Вы, паныч, как ненормальный. Дети стонут, а вам — игра?

Казя только молча махал рукой и сурово поджимал губы.

Домой Антон возвращался вместе с новым своим приятелем. Дорогой Казя был разговорчив, он подробно и радостно рассказывал о том, как их семья жила раньше.

— Есть город Лодзь. Не правда? Там есть такие Вулки. Вот у нас был дом, два этажа. Папа был начальником на почте, только она была маленькая, он уехал потом в Россию, в Москву, а его не взяли на службу, потому что — поляк. Не правда? У нас был садик и там беседка, и около — лебедь, фонтан...

— Какой такой лебедь? — недоверчиво улыбаясь, спрашивал Антон.

— Нет, честно слову! — горячо подтверждал Стрелецкий. — Когда папа отвернул кран, изо рта у лебедя пойдет вода, она пойдет вверх, высоко-высоко!..

Мало ли сказанной приходилось слышать Антону! К сказанному Казимиром он отнесся равнодушно, как к самому обычному, ничем не замечательному вранью. Но, чтобы не обижать Казю, он снисходительно спросил:

— Ну, а зачем это? Лебедь — зачем?

— Для того, чтобы — красиво! — опять горячо воскликнул приятель.

— Так... Ну, ладно, положим... — совсем по-взрослому отметил Антон.

Дома ребят встретил невысокий, серолицый человек, с обвисшими длинными усами. Он быстро вскочил при появлении в комнате Антона и Казимира, загородил собою вход и, не сказав ни слова, ловко, не давая детям опомниться, обыскал Антона, потом Стрелецкого и сразу же сел к столу.

— Который из вас будет Ажогин? Вы-с? Ну, так вот-с садитесь...

Антону не терпелось взглянуть, что с бумагами, но рядом сидел этот серолицый, с обвисшими усами человек. Антон боялся даже взглянуть на часы: усач мог заметить его беспокойный взгляд.

Антон пересел поближе к окну, откуда он бросил быстрый взгляд на часы: дверца скрывала то, что было внутри. Но прикрыта она была неплотно, и Антону показалось, что серолицый уже нашел бумаги. Антон даже зажмурил глаза, — такой страшной показалась ему эта мысль. Но «гость» сидел спокойно, не спуская впрочем с Антона глаз.

Вдруг Казя заплакал, и через мгновение просто заревел неожиданно-грубым голосом. Это удивило даже Антона, — Стрелецкий ведь был старше его. Но дело объяснилось просто: Казе нужно на минуту выйти. Серолицый, подумав, снял со стены, с гвоздя, висячий замок, пропустил Казимира вперед и, повозившись несколько мгновений у двери с той стороны, громко зашагал по коридорчику.

Антон быстро схватил скамеечку, вскочил с нее на стул, потом встал на скамеечку и заглянул внутрь часового ящика: все было на месте. Он уже готовился было прыгнуть на пол, как дверь распахнулась, и в комнате показался Казимир с серолицым. У Антона захолонуло сердце, и он обмер.

— Ай, дети-дети-дети!.. — укоризненно заговорил серолицый. — Что с вами ни делай, а у вас на уме одно...

Он достал из кармана крупные серебряные часы, взглянул на них и, щелкнув крышкой, снова спрятал в карман.

После этого он отстранил Антона и влез на стул. Антону хотелось громко закричать, укусить этого чужого человека, ударить его чем-либо тяжелым, или, наоборот, убежать. Но ноги его словно приросли к полу, Антон, как в дурном сне, чувствовал свои беспомощные, ставшие чужими, ноги. Лицо его сразу покрылось испариной. Ноги подкосились, и он опустился на стул.

Серолицый открыл переднюю дверцу, перевел стрелку немного вперед и тяжело спрыгнул на пол.

— А придут родители — заругают: «Зачем часы стронул?» Ай, дети, дети, дети!..

Ни отец, ни Нина больше не показались в этой уютной комнатке, и Антон провел ночь один, каждую минуту вскакивая, заслышав чьи-либо шаги под окном.

На другой день Антону сказали, что отец арестован и будет немедленно послан на фронт, что Нина посажена в тюрьму, причем в такое место, куда не допускают посторонних.

*(Продолжение следует)*

---

# Люди и факты

## НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПЛАН НА 1935 ГОД

Г. Стрельцов

**В**ыполнив досрочно план первой пятилетки, трудящиеся Советского Союза, под руководством большевистской партии, приступили к осуществлению величественного плана второй пятилетки. Основными задачами этого плана являются: уничтожение классов и построение бесклассового социалистического общества в нашей стране, завершение технической реконструкции всех отраслей народного хозяйства и подъем материального благосостояния трудящихся.

Прошло два года второй пятилетки, и всякому видно, что эти важнейшие задачи второго пятилетнего плана осуществляются партией и рабочим классом успешно.

О наших успехах и достижениях на пути к построению социалистического общества, об этих победах, не знающих себе равных во всей мировой истории, рассказал тов. Молотов в своем замечательном докладе на VII Всесоюзном съезде советов. С величайшей радостью и гордостью за наш героический рабочий класс, за нашу великую большевистскую партию, за гениального вождя партии и всех трудящихся товарища СТАЛИНА, ведущего нас от одной победы к другой, прочтут этот блестящий доклад народы нашей страны и трудящиеся всего мира. В ярких образах тов. Молотов показал, что великое дело переустройства человеческого общества на новых социалистических началах, дело, за которое погибло немало лучших

людей человечества, уже торжествует на одной шестой части нашей планеты.

В 1922 году в одной из своих последних речей ЛЕНИН, чье бессмертное имя стало знаменем миллионов людей, борющихся за свое освобождение во всех странах мира, высказал твердую уверенность в том, что настанет время, и Россия нэповская станет Россией социалистической. В речи на пленуме Московского совета Ленин говорил:

«Позвольте мне закончить выражением уверенности, что как эта задача ни трудна, как она ни нова по сравнению с прежней нашей задачей, и как много трудностей она нам ни причиняет,—все мы вместе, не завтра, а в несколько лет, все мы вместе решим эту задачу во что бы то ни стало, так что из России нэповской будет Россия социалистическая». (Ленин, т. XXVII, стр. 366).

С тех пор прошло 12 лет — срок очень небольшой, с точки зрения мировой истории. И вот, через двенадцать лет, опираясь на бесспорные факты, глава советского правительства имел возможность с полным правом заявить:

«Россия нэповская стала Россией социалистической. Наша страна преобразовалась. В основном эта великая задача, поставленная Лениным, нами осуществлена. Клятва, данная ушедшему Ленину 11 лет тому назад тов. Сталиным, выполнена».

В этой сжатой формуле отражены и существо коренных сдвигов, происшедших в экономике и классовой структуре

нашей страны, и гигантская роль товарища Сталина в осуществлении этой задачи.

Да, наша страна стала страной социалистической, страной, в которой —

«социалистический уклад является безраздельно господствующей и единственно командующей силой во всем народном хозяйстве» (Сталин).

Нам удалось не только создать крупнейшую в мире промышленность, обеспечивающую самостоятельность и независимость СССР от капиталистического мира. Нам удалось решить труднейшую задачу пролетарской революции — задачу социалистической переделки мелкого, индивидуального крестьянского хозяйства. В колхозах объединено теперь  $\frac{4}{5}$  всех крестьянских хозяйств, причем колхозы, вместе с совхозами, объединяют 90 процентов всех посевных площадей. На базе сплошной коллективизации ликвидировано кулачество как класс.

«Теперь можно сказать, что коллективизация сельского хозяйства в нашей стране в основном завершена» (Молотов).

Наиболее ярким выражением огромных успехов строительства социализма являются изменения, происшедшие в классовой структуре Советского Союза.

В 1913 году буржуазия (помещики, крупная и мелкая городская буржуазия, торговцы и кулаки) занимала в составе населения страны (в нынешних границах СССР) 15,9 процента. В 1928 году ее удельный вес снизился до 4,5 процента. А теперь? Теперь, по остроумному замечанию тов. Молотова, «буржуазные элементы остались у нас лишь вроде некоего напоминания». К началу 1934 года буржуазных элементов насчитывалось в СССР всего 174 тысячи человек против 22 миллионов в 1913 году и 6,8 миллиона в 1928 году. Ясно, что эти остатки буржуазных элементов, как бы ничтожны они ни были, вредили и всячески будут вредить нашему делу. Об этом нужно помнить всегда. Величайшее преступление делает тот, кто думает, что по мере нашего продвижения вперед враг становится ручным и безобидным. Злодейское убийство тов. С. М. Кирова гнусны-

ми контрреволюционными подонками бывшей зиновьевской группы говорит о необходимости еще большего усиления революционной бдительности.

Однако налицо величайшей важности исторический факт: на 170 миллионов населения в СССР в стране осталось только 174 тысячи человек остатков эксплуататорских классов. Таков один из великих итогов победоносной революции и победоносного строительства социализма.

В 1913 году удельный вес крестьян-единоличников (без кулаков), неоперированных трудящихся кустарей и ремесленников, составлял 65,1 проц., а в 1928 году — 72,9 проц. А теперь? К началу 1934 года их удельный вес понизился до 22,5 проц. Зато гигантски вырос удельный вес колхозников и кооперированных кустарей и ремесленников. В 1928 году их еще не было, а к началу 1934 года они занимают в составе населения СССР — 45,9 проц. Благодаря победе колхозного строя облик деревни изменился коренным образом.

Гигантски вырос за эти годы пролетариат. В 1913 году в составе населения страны он занимал 16,7 проц., в 1928 году — 17,3 проц. А теперь его удельный вес возрос до 28,1 проц. К началу 1935 года рабочие вместе с колхозниками занимают более трех четвертей населения Советского Союза. Из 170 миллионов населения свыше 124 миллионов падает на пролетариат и колхозное крестьянство, кровно связавшее свою жизнь с борьбой за социализм.

Огромное принципиальное значение этих изумительных цифр прекрасно подчеркнуто тов. Молотовым на VII съезде советов:

«Все эти данные имеют большое принципиальное значение и заслуживают серьезного изучения. Они показывают, что подавляющая масса населения нашей страны неразрывно связала свою жизнь с социализмом, что мы на деле движемся по пути к бесклассовому социалистическому обществу».

«Не только рабочие, но и крестьяне в своей массе вступили в ряды строителей

социализма и строят своими руками социалистическое общество. В результате этого непосредственным социалистическим строительством теперь уже занято подавляющее большинство населения нашей страны.

Таков основной итог нашего развития за эти годы. Таков основной итог ленинской партии и сталинского руководства всем социалистическим строительством» (Молотов).

Замечательно хорошо показал тов. Молотов «две линии мирового развития»: неуклонный рост Советского Союза, с одной стороны, и хаос и разрушение мирового капиталистического хозяйства — с другой. Гордо прозвучали его слова о том, что наша страна не знает ни потушенных доменных печей, ни бездействующих предприятий, ни безработицы, что Советскому Союзу не страшны никакие кризисы. Зато во всех капиталистических странах мы видим все эти разрушительные явления. Достаточно отметить тот факт, что ни одна из капиталистических стран не достигла докризисного уровня промышленного производства 1929 года, тогда как промышленное производство СССР выросло по сравнению с 1929 годом на 139 проц.

Растет и крепнет наша могучая страна, и одним из наиболее ярких показателей этого роста является решение VII съезда советов, вынесенное по предложению пленума ЦК ВКП(б), об изменениях в Конституции СССР в направлении «дальнейшей демократизации избирательной системы в смысле замены не вполне равных выборов равными, многостепенных — прямыми, открытых — закрытыми», а также об уточнении социально-экономической основы Конституции в соответствии с нынешним соотношением классовых сил.

Это решение имеет величайшее историческое значение и открывает новую эпоху в развитии страны социализма. Это решение является свидетельством величайшей мощи Советского Союза и ярким доказательством того, что советская власть является самой крепкой, самой прочной властью в мире.

И здесь, в политическом, как и в экономическом развитии, можно проследить «две линии мирового развития».

Известно, по какому пути идет капитализм. Это путь ликвидации последних остатков буржуазной демократии и парламентаризма, путь неприкрытой террористической диктатуры финансового капитала.

«Во всех странах капитализма идет развитие — от жалкой буржуазной демократии к открытому и неограниченному насильству со стороны верхушки капиталистов» (Молотов).

От восхваляемой социал-фашистами буржуазной демократии, от так называемых «демократических свобод», которые всегда прикрывали господство ничтожного меньшинства капиталистов и помещиков над большинством трудящегося населения, остается все меньше и меньше.

«От буржуазной демократии и парламентаризма — к неприкрытой террористической власти капитала над трудящимися под фашистским флагом — таков путь развития буржуазных стран за последний период» (Молотов).

Советский Союз идет по совершенно другому пути, по пути развития подлинной демократии для трудящихся. Диктатура пролетариата есть железная власть, опирающаяся на насилие. Мы крепили и еще больше будем крепить органы диктатуры пролетариата, ибо только через усиление диктатуры пролетариата рабочий класс может построить социализм.

Но Ленин не раз подчеркивал, что диктатура пролетариата есть высший тип демократизма, ибо она осуществляется в интересах огромного большинства для подавления ничтожного меньшинства. Он говорил:

«Пролетарская демократия в миллион раз демократичнее всякой буржуазной демократии; советская власть в миллионы раз демократичнее самой демократической буржуазной республики» (Ленин, т. XXIII, стр. 350).

Разницу между капиталистической демократией и демократией при диктатуре пролетариата прекрасно показал товарищ Сталин:

«Демократия при капитализме есть демократия капиталистическая, демократия эксплуататорского меньшинства, покоящаяся на ограничении прав эксплуатируемого большинства и направленная против этого большинства. Только при пролетарской диктатуре возможны действительные «свободы» для эксплуатируемых и действительное участие пролетариев и крестьян в управлении страной. Демократия при диктатуре пролетариата есть демократия пролетарская, демократия эксплуатируемого большинства, покоящаяся на ограничении прав эксплуататорского меньшинства и направленная против этого меньшинства» (Сталин. Вопросы ленинизма, 9-е изд., стр. 32).

Теперь мы получили возможность пойти по пути еще большего развития нашей советской демократии, ибо обстановка в стране изменилась коренным образом.

«К настоящему времени принципы общественной собственности победили во всех отраслях народного хозяйства, в городе и в деревне» (Молотов).

96 проц. производственных фондов принадлежит теперь государству, колхозам и кооперации. Частная же собственность на средства производства, которая еще 10 лет тому назад составляла больше половины всех производственных фондов СССР, занимает теперь лишь 4 проц.

Капиталистические элементы в стране ликвидированы, остались лишь их жалкие остатки. Уже в 1934 году количество лишенных избирательных прав составило лишь 2,5 проц. общего числа избирателей.

«В то время, как всё новые буржуазные страны ликвидируют остатки избирательных прав населения, Советский Союз все ближе подходит к полной отмене всяких ограничений всеобщего избирательного права» (Молотов).

Вносимые в Конституцию поправки имеют огромное значение. Как уже отметил тов. Молотов, введение прямых и закрытых выборов еще более укрепит связь органов советской власти с трудя-

щимися массами нашей страны и поможет вскрыть слабые участки в нашей работе.

Замена не вполне равных выборов равными для всей массы трудящихся нашей страны «должна еще больше сблизить рабочих и крестьян, должна еще больше укрепить их союз, а значит, и мощь советской власти» (Молотов).

Изменения в Конституции знаменуют собой огромный рост мощи пролетарского государства и его уверенность в победе. На примере СССР трудящиеся всего мира могут видеть, где и при каких условиях возможен подлинный расцвет демократии для трудящихся.

Таковы некоторые итоги истекших последних лет. Будущее обещает еще больший рост нашей страны, ибо у нас «нет никаких внутренних препятствий к дальнейшему росту нашей страны» (Молотов).

У нас есть еще трудности, но эти трудности, как указал тов. Сталин на XVII партийном съезде, «являются трудностями нашей организационной работы, трудностями нашего организационного руководства», то-есть такими трудностями, устранение которых зависит от нас.

«После того, как правильность политической линии партии подтверждена опытом ряда лет, а готовность рабочих и крестьян поддерживать эту линию не вызывает больше сомнений, — роль так называемых объективных условий свелась к минимуму, тогда как роль наших организаций и их руководителей стала решающей, исключительной. А что это значит? Это значит, что ответственность за наши прорывы и недостатки в работе ложится отныне на девять десятых не на «объективные» условия, а на нас самих, и только на нас» (стенографический отчет XVII съезда ВКП(б), стр. 33).

Из этого следует, что наша страна, достигшая невиданных в мировой истории темпов роста, имеет такие безграничные возможности для дальнейшего развития, каких не знала и не может знать ни одна капиталистическая страна.



Итак, план первых двух лет второй пятилетки выполнен успешно. На протяжении этих лет успешно решались все основные политические и хозяйственные задачи второй пятилетки. Народно-хозяйственный план на 1935 год—третий год второй пятилетки, — опирающийся на достижения предшествующих лет, обеспечивает дальнейшее движение вперед в решении великих задач, поставленных вторым пятилетним планом.

Прежде, чем переходить к освещению цифровых данных, следует отметить одну из важнейших особенностей 1935 хозяйственного года. Эта особенность вытекает из решений ноябрьского пленума ЦК об отмене карточной системы на хлеб и некоторые другие продукты. Нет сомнения в том, что это крупнейшее мероприятие партии в еще большей мере оживит всю хозяйственную жизнь страны, окажет свое благотворное влияние во всех отраслях народного хозяйства.

На XVII съезде партии товарищ Сталин говорил:

«Чтобы экономическая жизнь страны могла забыть ключом, а промышленность и сельское хозяйство имели стимул к дальнейшему росту своей продукции, надо иметь еще одно условие, а именно—развернутый товарооборот между городом и деревней, между районами и областями страны, между различными отраслями народного хозяйства» (XVII съезд ВКП(б), стенограф. отчет, стр. 26).

Но одним из важнейших результатов отмены карточной системы на хлеб является как-раз резкое усиление развертывания товарооборота между городом и деревней. Тем самым и промышленность, и сельское хозяйство получают те стимулы для дальнейшего роста, о которых говорил товарищ Сталин и которые необходимы для того, чтобы хозяйственная жизнь страны забила ключом. Укрепление советского рубля так же самое способствует дальнейшему росту всего народного хозяйства. Все планирование хозяйства сверху донизу становится более устойчивым, борьба за хозяйсчет становится более действенной.

Таким образом, отмена карточной системы на хлеб и некоторые другие продукты накладывает свою печать на все дальнейшее хозяйственное развитие страны.

Остановимся прежде всего на том, каким образом будет расти в 1935 году наша промышленность. По плану 1935 года валовая продукция всей промышленности должна возрасти до гигантской суммы в 62,5 миллиарда рублей, что дает прирост против 1934 года на 16 проц. Темп прироста промышленной продукции взят именно таким, какой намечался вторым пятилетним планом. Правда, он несколько ниже рекордного за последние годы процента прироста продукции в 1934 году (17,4 проц.). Однако по абсолютной величине прирост 1935 года значительно выше прироста продукции 1934 года: в то время как абсолютный годовой прирост в 1934 году составил 7,9 млрд. рублей, в 1935 году он составит 8,6 млрд. рублей. Эти данные показывают, какой огромный размах получает промышленное производство в нашей стране в 1935 году.

Следует отметить, что, выполнив план промышленного производства продукции 1935 года, Советский Союз, занимающий ныне третье место в мире по объему промышленного производства, займет второе место в мире, оставив позади такие крупнейшие промышленные страны, как Германия, Англия, и уступая лишь Соединенным штатам Америки. (Для сравнения взят докризисный уровень производства 1929 г.).

Огромный размах получает в 1935 году наша тяжелая промышленность. Валовая продукция тяжелой промышленности должна достичь в 1935 году свыше 24 миллиардов рублей, дав прирост на 19,6 проц. против 1934 года. Запроектированный темп прироста превышает наметки второго пятилетнего плана на 2,7 проц.

В 1935 году должно быть произведено 24,9 млрд. киловатт-часов электроэнергии, почти на 4,5 млрд. больше, чем в 1934 году. Столь значительный прирост имеет огромное значение для ликвидации того дефицита в электроэнер-

гии в некоторых важнейших промышленных районах, какой имеется теперь.

Производство каменного угля должно возрасти до 112,2 млн. тонн, на 18,5 млн. тонн больше, чем в 1934 году. Для выполнения этого задания будут проведены мероприятия по дальнейшему расширению механизации угледобычи, а также механизации доставки и откатки угля.

Добыча нефти возрастает в 1935 году до 30,3 млн. тонн — почти на 5 млн. тонн больше, чем в 1934 году. Будет значительно расширена добыча нефти в новых нефтяных районах, как Востоконепфть, Эмбанепфть, Туркменнепфть, Средазнепфть и Сахалиннепфть.

Выплавка чугуна должна возрасти до 12,5 млн. тонн против 10,4 млн. тонн в 1934 году, выплавка стали — до 11,8 млн. тонн (в 1934 году—9,6 млн. тонн), производство проката — до 8,2 млн. тонн против 6,7 млн. тонн в 1934 году.

План производства металлургии построен под углом зрения ликвидации отмеченного товарищем Сталиным разрыва между выплавкой чугуна, с одной стороны, и выплавкой стали и производством проката, — с другой. Если выплавка чугуна должна возрасти на 19,7 проц., то выплавка стали — на 23,4 проц., а производство проката — на 22 проц. Для выполнения этих заданий запроектировано дальнейшее улучшение коэффициента использования доменных и мартеновских печей, а также улучшение работы прокатных цехов.

Производство черновой меди возрастает с 53,3 тыс. тонн в 1934 году до 71 тыс. тонн в 1935 году, или на 33,2 проц. Как видим, план по меди предусматривает значительное смягчение отставания цветной металлургии от потребностей народного хозяйства. Значительно должно возрасти производство и других видов продукции цветной металлургии. Так например, цинковая промышленность возрастает на 66,1 проц., свинцовая — на 69,1 проц. алюминиевая — на 73, 6 проц., никелевая — на 111,8 проц.

Исключительно большой прирост продукции запланирован по металлообра-

ботке и машиностроению. Валовая продукция металлообработки и машиностроения достигает в 1935 году 16,1 млрд. рублей, — на 19,3 проц. больше, чем в 1934 году. Чтобы понять значение этих цифр, заметим, что одна только продукция металлообработки и машиностроения превышает в полтора раза стоимость продукции всей крупной промышленности царской России.

Внутри машиностроения особенно быстрое развитие получают такие отрасли, как производство товарных вагонов, комбайнов, локомотивов, металлообрабатывающих станков, энергетического и нефтяного оборудования. Производство вагонов возрастает с 29,6 тыс. шт. в 1934 году до 80 тыс. шт. в 1935 году, производство судостроительной промышленности — на 28 проц. Выпуск комбайнов увеличивается с 8,3 тыс. в 1934 году до 20 тыс. штук в 1935 году.

Производство металлообрабатывающих станков возрастает с 18,5 тыс. шт. до 26 тыс. штук в 1935 г. Столь значительный рост станкостроения обеспечивает снабжение станками внутреннего производства наших вновь строящихся заводов, в особенности значительно расширяющихся заводов автомобилестроения.

Расширяется сильно производство энергетического оборудования, по которому в прошлом году было резкое невыполнение плана. Производство локомотивов возрастает с 316 штук в 1934 году до 1000 штук в 1935 году. Производство паровых котлов возрастает на 92 проц., паровых турбин — на 92,3 проц., турбогенераторов — на 81 проц., дизелей — на 179,9 проц., нефтяного оборудования — на 40 проц.

В 1935 году наше машиностроение должно освоить огромное количество новых видов машин и оборудования. Так например, в 1935 году должно быть освоено новых 74 типа — размеров металлорежущих станков, ряд видов кузнечно-прессового оборудования, мощных теплофикационных турбин, мощных котлов высокого давления, значительное количество машин для текстильной промышленности, сто новых типов

оборудования для пищевой промышленности и т. д.

Большой прирост продукции запроектирован также по химической промышленности, продукция которой должна возрасти на 15,7 проц., в том числе производство серной кислоты на 23,4 проц., производство азотных удобрений — на 54,1 проц. Особенно значительно возрастает производство синтетического каучука — этой новой отрасли промышленности, созданной по инициативе товарища Сталина и получившей в нашей стране такой размах, какого нет ни в одной стране мира. Производство синтетического каучука должно возрасти в 1935 г. на 78,5 проц.

За последние годы наша тяжелая промышленность работала хорошо, и недаром в резолюции по докладу славного руководителя тяжелой промышленности тов. Орджоникидзе VII съезд советов признал работу тяжелой промышленности вполне удовлетворительной. Это является залогом того, что и план 1935 г. тяжелой промышленностью будет выполнен успешно.

Лесная промышленность закончила 1934 год неудовлетворительно, в особенности по вывозке леса. План по вывозке выполнен всего лишь на 85,2 проц., то-есть значительно хуже, чем всеми остальными лесозаготовителями. Оценка неудовлетворительной работы лесной промышленности дана в недавно опубликованном решении СНК СССР и ЦК ВКП(б). В этом решении указаны также основные мероприятия, необходимые для улучшения работы лесной промышленности и для выполнения плана 1935 года. В 1935 г. Наркомлес должен произвести свыше 107 млн. кубометров продукции, что дает прирост против 1934 г. на 17 проц. Следует подчеркнуть, что улучшение работы лесной промышленности и полное выполнение ею плана 1935 г. имеет исключительно важное значение в связи с огромной программой капитального строительства в 1935 г. и необходимостью обеспечить эту программу, так же, как и производственную программу 1935 г., лесоматериалами.

Значительно возрастает в 1935 г. производство предметов потребления. План 1935 г. построен под углом зрения осуществления одной из важнейших директив XVII партийного съезда — о повышении уровня потребления трудящихся в 2 — 3 раза к концу второй пятилетки.

Легкая промышленность, которая работала в 1934 году неудовлетворительно, должна дать продукции в 1935 году на 10 млрд. руб. против 8,96 млрд. в 1934 году, что дает прирост на 11,7 проц. Отдельные отрасли легкой промышленности должны дать еще более значительный прирост продукции: льняная промышленность возрастает на 51,9 проц., валяльно-войлочная — на 23,7 проц.; шелковая — на 20,8 проц., трикотажная — на 16,7 проц.

Важнейшей задачей легкой промышленности в 1935 г. является улучшение ассортимента и качества выпускаемой ею продукции. Планом 1935 г. предусмотрено повышение производства высокосортных товаров и снятие с производства низкосортных товаров.

Продукция пищевой промышленности, которая добилась существенных сдвигов уже в 1934 г., возрастает в 1935 г. на 14,8 проц., а по отдельным отраслям еще больше: по макаронной промышленности на 36,6 проц., по консервной — на 22,2 проц., по плодо-овощной — на 20,7 проц., по кондитерской — на 17 проц. Значительно возрастает в 1935 г. также производство мясной промышленности, сахарной, рыбной, мукомольно-крупяной и др.

Большую роль в деле увеличения производства предметов потребления должна играть местная промышленность. Партия и правительство придают огромное значение развитию местной промышленности. Для улучшения ее работы в 1934 г. был проведен ряд мероприятий, в том числе создание республиканских наркоматов местной промышленности. В 1935 г. продукция местной промышленности увеличивается на 13,6 проц. и достигает огромной суммы в 6,9 миллиарда рублей.

Как видим, задания в 1935 г. по всем отраслям промышленности исключительно

но велики. Выполнение этих заданий возможно лишь путем освоения новой техники, путем лучшего использования вновь созданных производственных мощностей, путем повышения производительности труда и улучшения качественных показателей. В 1935 г. производительность труда по всей промышленности должна вырасти на 11 проц., в том числе по тяжелой промышленности на 14,3 проц.

Особенно важное значение имеет задание по снижению себестоимости. В 1934 г., как известно, некоторых успехов в этом отношении добилась лишь тяжелая промышленность, снизившая себестоимость продукции на 4,5 проц. В 1935 г. вся промышленность должна снизить себестоимость продукции на 3,7 проц., в том числе тяжелая промышленность на 6,2 проц. Это задание по снижению себестоимости может быть выполнено лишь при условии выполнения задания по производительности труда и при условии максимальной экономии в расходовании материальных ресурсов: топлива, металла, леса и др.

Наконец ответственнейшей задачей всех отраслей промышленности является решительное улучшение качества продукции. Эта задача, подчеркнутая товарищем Сталиным на XVII съезде партии, далеко еще не решена. Тов. Орджоникидзе на VIII съезде советов правильно говорил:

«Надо усвоить наконец, что продукция, выпускаемая нами, должна быть комплектной и безусловно высшего качества. Завод, который дает продукцию несоответствующего качества и некомплектную, позорит себя на всю страну».

Очевидно, что эти слова в не меньшей мере относятся и к работникам легкой промышленности, пищевой и др.

Особо стоит вопрос о качестве продукции некоторых отраслей, производящих средства производства. Их продукция должна быть и доброкачественна, и технически совершенна. Возьмем например машиностроение. Очевидно, что машина должна быть не только хорошо из-

готовлена, но она должна находиться на высоком техническом уровне, она должна быть последним словом техники. Мы много сделали в том отношении, чтобы не только освоить лучшие образцы заграничной техники, но и создавать свои собственные конструкции машин. Однако нельзя отрицать наличия некоторого консерватизма у некоторых из наших машиностроителей, приводящего к тому, что выпускаемые машины не всегда находятяся на уровне передовой техники. На VII съезде советов тов. Орджоникидзе указал на то, что:

«У наших машиностроителей пока еще нет достаточно развитого вкуса к новым конструкциям и новым машинам, к усовершенствованию механизмов, а без этого неизбежны отставание и застой. Против такого консерватизма должна быть поднята самая решительная борьба».

Эту замечательную мысль должны усвоить все работники нашей промышленности. Ведь мы уже достигли такой ступени развития, что не можем просто равняться на заграничную технику. Усваивая лучшие образцы заграничной техники, а это делать нужно, мы можем и должны еще шире разрабатывать и внедрять в производство свои собственные конструкции мощных высокопроизводительных машин, способных обеспечить максимальную механизацию труда, способных заменять десятки и сотни людей. Капитализм не может ставить себе таких задач, ибо в капиталистических странах не используется и наличное оборудование, ибо капитализм по своей природе вообще ставит довольно узкие границы развитию техники. Еще Маркс указывал, что, так как капиталист «оплачивает не применяемый труд, а стоимость применяемой рабочей силы, то для него применение машины целесообразно лишь в пределах разности между стоимостью машины и стоимостью замещаемой ею рабочей силы» («Капитал», том I, стр. 371, изд. 1923 г.). Мы же, в силу преимуществ социалистической системы, находимся в исключительно благоприятных условиях. Возможности для технического прогресса у нас безграничны.

Борьба за высокое качество продукции, за ее соответствие требованиям передовой техники является одной из важнейших сторон освоения новой техники.

Успех освоения новой техники решается людьми, и поэтому забота о живых людях, об их росте является актуальнейшей задачей настоящего времени. Эту задачу со всей силой поставил товарищ Сталин в беседе с работниками металлургии. Он говорил:

«Нельзя технику отрывать от людей, приводящих технику в движение. Техника без людей мертва. Лозунг «Техника в период реконструкции решает все» имеет в виду не голую технику, а технику во главе с людьми, овладевшими техникой. Только такое понимание этого лозунга является правильным. И поскольку мы уже научились ценить технику, пора заявить прямо, что главное теперь — в людях, овладевших техникой» (см. «Правду» от 29 декабря 1934 г.).

И отсюда товарищ Сталин делает следующий замечательный вывод: «Надо беречь каждого способного и понимающего работника, беречь и выращивать его. Людям надо заботливо и внимательно выращивать, как садовник выращивает облюбванное плодородное дерево».

Итак, «главное теперь в людях, овладевших техникой». Выполнение этого важнейшего лозунга есть необходимое условие нашего дальнейшего движения вперед.

Перейдем к сельскому хозяйству.

Первые два года второй пятилетки ознаменовались крупнейшими победами в сельском хозяйстве. В 1933 г. партии удалось добиться перелома в развитии полеводства, а в 1934 г. — в развитии животноводства. В течение первых двух лет второй пятилетки колхозы уже показали огромные преимущества перед единоличными хозяйствами. Об этом красноречиво говорит следующая таблица, приведенная тов. Куйбышевым в докладе на Московском областном съезде советов:

**Валовой сбор на одну душу населения в колхозах и крестьянских хозяйствах (в центнерах):**

На 1 душу населения:

В бедняцко-средняцких хозяйствах	
в 1929 году . . . . .	6,1
В кулацких хозяйствах в 1929 году	9,2
В колхозах в 1933 году . . . . .	10,2
В проц. к бедняцко-средняцким хозяйствам . . . . .	167,2
В проц. к кулацким хозяйствам . . . . .	110,9

О быстром росте доходности колхозов говорят также и данные, сообщенные тов. Молотовым на VII съезде советов на основе материалов обследования 83 тыс. колхозов по трем республикам Союза — РСФСР, Украине и Белоруссии. Оказывается, что в этих колхозах выдача зерна на один колхозный двор повысилась с 5,5 центн. в 1932 г. до 10,9 центн. в 1934 году, то-есть в два раза.

«В то время как сотни миллионов крестьян в капиталистических странах и в угнетаемых империализмом колониях и полуколониях терзаются кризисом и не мало деревенских тружеников вымирает с голоду, в наших деревнях покончено с нищетой, и честному труженику открыта дорога к хорошей жизни» (Молотов).

Но надо заметить, что это лишь первые шаги в реализации преимуществ колхозов перед единоличным хозяйством. 1935 год, а тем более последующие годы, будут годами дальнейшего развернутого использования превосходства колхозов.

По плану 1935 г. продукция сельского хозяйства должна вырасти с 14,8 миллиарда рублей в 1934 г. до 17,25 миллиарда рублей в 1935 г., или на 16,3 проц., в том числе зерновая продукция на 8,3 проц., продукция технических культур на 21,8 проц. и продукция животноводства на 17,2 проц. Как видим, при общем громадном росте особенно значительный прирост должны дать отрасли, по которым в настоящее время имеется отставание, — технические культуры и животноводство.

Из всех этих цифр особенно замечательной является цифра прироста всей

продукции сельского хозяйства на 16,3 проц. Эта цифра говорит о многом.

Во-первых, о том, что наше сельское хозяйство растет темпами, которые абсолютно невозможны в условиях капитализма. В Соединенных штатах Америки, в которой земледелие является самым механизированным из всех капиталистических стран, средне-годовой прирост продукции сельского хозяйства в первое десятилетие двадцатого столетия не превышал 3,1 проц., а в период 1925—1929 гг. — 1,7 проц. Следовательно, наше социалистическое земледелие, являющееся самым механизированным и самым крупным во всем мире, будет расти в 1935 г. темпами, во много раз превышающими американские темпы.

Во-вторых, эта цифра замечательна в том отношении, что она показывает, что в текущем году темпы прироста продукции сельского хозяйства догоняют темпы роста промышленной продукции и даже несколько превышают последние. Таким образом, в нашей стране ликвидируется то вековое отставание сельского хозяйства от промышленности, которое является неотъемлемым свойством капиталистического способа производства.

Известно, что капитализму свойственна противоположность между городом и деревней, выражающаяся в том, что город преобладает над деревней в экономическом, политическом и культурном отношении, что город эксплуатирует деревню, что буржуазия, подчинив деревню господству города, обрекает миллионные массы деревенского населения на состояние, которое Маркс в «Коммунистическом манифесте» метко назвал «идиотизмом деревенской жизни». Теперь не только теоретически, но и практически, на опыте СССР, доказано, что только победа пролетарской революции и строительство социализма обеспечивают ликвидацию противоположности между городом и деревней. В СССР ликвидация этой противоположности осуществляется практически. Это находит свое экономическое выражение в общем бурном росте промышленности и сельского хозяйства на социалистических

началах. Это находит свое политическое выражение во все более крепнущем союзе рабочего класса и крестьянства и в том, что мы уже на деле осуществляем уничтожение классов. Это находит свое выражение в гигантском росте культурного уровня деревни, приближающегося с каждым годом к уровню культуры в городах.

Таково огромное принципиальное значение факта ликвидации в нашей стране отставания сельского хозяйства от промышленности.

В 1935 г. количество МТС возрастет с 3.500 в 1934 г. до 4.170 к концу 1935 г. Планом 1935 г. предусмотрен дальнейший рост механизации сельского хозяйства и, в особенности, преодоление разрыва между степенью механизации обработки и механизацией уборки, что должно привести к значительному уменьшению потерь урожая. В то время как по почвообрабатывающим и посевным машинам намечен рост на 23 проц., по уборочным и молотильным машинам намечен рост на 49,1 проц. В частности производство комбайнов, которые в 1934 г. сыграли огромную роль в уборке урожая, увеличивается с 8,3 тыс. в 1934 г. до 20 тыс. в 1935 г., то-есть почти в два с половиной раза. Возрастет также уровень механизации технических культур. В 1935 г. сельское хозяйство получит новых 1.630 тыс. тракторных лошадиных сил против 1.556 тыс. лош. сил в 1934 г. В результате в сельском хозяйстве будет сосредоточено в 1935 г. 5.173 тыс. тракторных лош. сил против 4.975 тыс. лош. сил, намечавшихся по пятилетнему плану.

Обязанностью всех работников сельского хозяйства является улучшить техническое использование этих гигантских материальных и технических средств, которые они получают от пролетарского государства. Эти средства используются еще совершенно неудовлетворительно. Одним из важнейших условий этого, как и выполнения всех заданий в области сельского хозяйства, является настойчивая борьба за создание постоянных квалифицированных кадров рабочих (трактористов, комбайнеров, машинистов и т. д.). Изумительные успехи тяжелой

промышленности объясняются в решающей мере именно тем, что в ней уже созданы огромные квалифицированные кадры рабочих, инженеров, механиков, мастеров, успешно осваивающих новую технику. Этого надо добиться и в сельском хозяйстве.

Центральной задачей 1935 г., как и всей второй пятилетки, в области сельского хозяйства является повышение урожайности. Исключительная важность этой задачи подчеркивается тем, что в 1935 г. посевная площадь остается в общем стабильной. Следовательно, выполнение заданий по росту продукции сельского хозяйства может быть выполнено лишь при условии выполнения заданий по повышению урожайности. Эти задания следующие: урожайность зерновых должна быть повышена до 9,4 центнера с одного га против 8,5 в 1934 г., урожайность хлопка — до 9,2 центнера против 8,1 в 1934 г., урожайность сахарной свеклы — до 125 центнеров против 96 в 1934 г.

Пути для решения этой задачи — это широкое применение новейших агротехнических мероприятий, удобрения, лучшее освоение новой техники, рост производительности труда.

Особенно большие требования предъявляются в 1935 г. к нашим совхозам. Совхозы являются крупнейшими государственными предприятиями в сельском хозяйстве, вооруженными богатейшей техникой. Они имеют все условия для того, чтобы быть образцами крупного социалистического земледелия, по которым должны равняться колхозы. Однако до сих пор совхозы не стоят еще на высоте поставленных перед ними задач. В 1935 году совхозы должны решительно улучшить свою работу, добившись выполнения больших заданий, которые на них возлагаются, в особенности по повышению производительности труда. Для выполнения этих заданий совхозы имеют все необходимые материально-технические предпосылки.

Выше уже отмечен достигнутый перелом в развитии животноводства в 1934 г. и запроектированный рост продукции по животноводству на 17,2 проц. против 13,5 проц. в 1934 г. 1935 год

должен быть, следовательно, годом дальнейшего роста животноводства, дальнейшего увеличения поголовья всех видов скота. По плану 1935 г. количество лошадей должно увеличиться на 11,9 проц., крупного рогатого скота — на 14,1 проц., овец и коз — на 17,3 проц., свиней — на 27,3 проц. Важнейшую роль в этом деле должны играть колхозные товарные фермы, которые решением июньского пленума ЦК ВКП(б) (1934 г.) признаны основной и решающей формой социалистического животноводства.

Следует отметить, что в 1935 году будут сделаны дальнейшие шаги по реализации указания товарища Сталина, сделанного на I всесоюзном съезде колхозников, о необходимости ликвидации бескоровности среди колхозников, а также по обеспечению колхозников, не имеющих скота, молодняком свиней и овец.

Наше сельское хозяйство уже к началу 1935 г. превратилось из отсталого в один из передовых участков социалистического строительства. Изложенные выше данные показывают, что 1935 г. будет годом дальнейшего, еще большего роста сельского хозяйства по всем его отраслям.

Важнейшей народнохозяйственной задачей 1935 г. является решительное улучшение работы ж.-д. транспорта. Транспорт является сейчас самым узким местом в народном хозяйстве. На VII Всесоюзном съезде советов работа ж.-д. транспорта получила суровую и вполне заслуженную оценку. Тов. Молотов в своем докладе, говоря о причинах плохой работы ж.-д. транспорта, указал: «Транспорт больше всего нуждается сейчас в дружной работе всей массы его работников и особенно — в настоящем большевистском руководстве». Работники ж.-д. транспорта должны сделать из этого все необходимые выводы и добиться полного выполнения тех больших заданий, которые предусмотрены планом 1935 г. Совершенно очевидно, что задача коренного улучшения работы относится не только к ж.-д. транспорту, но и к другим видам транспорта — речному, морскому и местному транспорту.

Грузооборот ж.-д. транспорта должен возрасти в 1935 г. до 358 млн. тонн против 316 млн. тонн в 1934 г., то-есть на 13,3 проц., по речному—до 59 млн. тонн — рост на 13,5 проц., по морскому — до 26,8 млн. тонн — рост на 21,1 проц.

Особенно важными задачами ж.-д. транспорта являются повышение средне-суточной погрузки вагонов и повышение скорости движения. По этим показателям ж.-д. транспорт в 1934 г. работал неудовлетворительно. Средне-суточная погрузка составила в 1934 г. 55,8 тыс. вагонов при задании в 62 тыс. вагонов. Скорость движения товарных вагонов была низка: среднекоммерческая скорость товарных поездов достигла в 1934 г. лишь 14,2 километра в час.

В 1935 г. среднесуточная погрузка вагонов должна возрасти до 63 тыс. вагонов, а среднекоммерческая скорость товарных паровозов до 15,3 километра.

Партия и правительство, придавая исключительную важность работе ж.-д. транспорта, оказывают ему всемерное внимание и поддержку. Это находит, в частности, свое выражение в огромном приросте материально-технических средств ж.-д. транспорта. В текущем году производство паровозов для НКПС повышается до 1.723 штук против 1.326 штук в 1934 г., а производство товарных вагонов до 80 тыс. против 29,6 тыс., то-есть больше чем вдвое. Кроме того, транспорт получит в 1935 г. 30 тепловозов и 50 электровозов.

Таким образом, работники ж.-д. транспорта получают все необходимое для того, чтобы с честью выполнить поставленные перед ними задачи. Все дело зависит от них самих, от качества их работы. В этой связи необходимо подчеркнуть исключительную важность повышения дисциплины среди работников ж.-д. транспорта и необходимость ликвидации той расхлябанности, которая царит на железных дорогах и которая приводит к большому количеству аварий.

В 1935 г. в ж.-д. транспорте будет осуществлена большая строительная программа. В ж.-д. транспорт вкладывается новых 3,9 миллиарда рублей против

3 миллиардов руб. в 1934 году. Будет значительно расширена ж.-д. сеть, которая возрастет в 1935 г. на 7 тыс. километров, тогда как в 1934 г. она возросла на 4 тыс. километров. Значительно расширяется и усиливается ремонтная база ж.-д. транспорта.

«1935 год должен быть годом настоящего перелома к лучшему в работе железнодорожного транспорта» (М о л о т о в).

Что касается автотранспорта, то в 1935 году он получит огромный размах. Автопарк возрастет до 257,5 тыс. машин против 179,5 тыс. в 1934 г., т.-е. на 43,4 проц., в том числе по грузовым автомобилям парк возрастет до 190 тыс. машин против 129,9 тыс. в 1934 году. Помимо этого, в 1935 году будут выполнены большие работы по новому дорожному строительству: планом предусмотрено постройка 48 тысяч километров дорог.

Наконец в 1935 г. предусмотрен дальнейший рост гражданского воздушного флота, возрастет парк самолетов и сеть воздушных линий.

По всем отраслям народного хозяйства в 1935 г. будет осуществлена огромная строительная программа. В народное хозяйство будет вложено новых 21 миллиард 190 миллионов рублей. В 1935 г. в строительстве будут найдены 2 тысячи крупных строек, из них 150 будут начаты вновь.

Отпускаемые государством средства концентрируются главным образом на завершении или ускорении строительства наиболее важных объектов, в силу чего в 1935 г. будет значительный прирост новых производственных мощностей. Основные фонды народного хозяйства возрастут в 1935 г. до 139,5 миллиарда рублей против 121 миллиарда рублей в 1934 г., то-есть на 15 проц., в том числе фонды тяжелой промышленности — на 20 проц.

В 1935 г. будет пущено и расширено большое количество электростанций. Будут введены в эксплуатацию 41 шахта, мощностью в 23,3 млн. тонн; будут введены в эксплуатацию 14 крекингов и 6 трубчаток, а также построено 32 новых крекинг-установки, что имеет огром-

ное значение для ликвидации отставания нефтяной промышленности.

Особенно велики вложения в черную металлургию. План капитального строительства по черной металлургии построен под углом зрения ликвидации разрыва между выплавкой чугуна, выплавкой стали и производством проката. В 1935 г. будут введены в эксплуатацию 6 новых доменных печей мощностью 1,8 млн. тонн; 30 мартеновских печей мощностью в 2 млн. тонн стали; несколько электропечей мощностью в 200 тыс. тонн стали; 1 блюминг и 22 прокатных стана мощностью в 1,85 млн. тонн проката.

Большие средства вкладываются и в машиностроение, в особенности в транспортное машиностроение. В 1935 г. будет введен в эксплуатацию на 50 проц. своей проектной мощности крупнейший вагоностроительный завод, не знающий равных себе в мире, — Нижне-Тагильский вагоностроительный завод. Будет пущена в эксплуатацию мощная Бежецкая сталелитейная, которая должна давать фасонное литье для транспортного машиностроения. Будет более быстрыми темпами развернуто строительство новых паровозостроительных заводов — Орского, Новочеркасского, Кузнецкого, а также Каширского электровозного завода. Наконец в 1935 г. будет начато строительство двух новых вагоностроительных заводов — Кузнецкого и Красноярского, каждый из которых будет выпускать по 10 тысяч 4-осных вагонов в год.

План капитального строительства, как и производственная программа, предусматривает форсированное развитие советского станкостроения и устранение его отставания от потребностей народного хозяйства. В 1935 г. оканчивается строительство Харьковского завода радиально-сверлильных станков. Будет развернуто строительство Киевского завода по производству станков-автоматов.

В 1935 г. значительно расширяется мощность предприятий, производящих двигатели внутреннего сгорания, большие капитальные работы предусмотрены также по заводам, производящим полиграфическое оборудование, текстильное и др.

В отраслях, производящих предметы потребления (легкая и пищевая промышленность), также будут осуществлены огромные строительные работы. Ускорение темпов развития этих отраслей видно не только из производственной программы, но и из программы капитального строительства. Капитальные вложения в отрасли, производящие предметы потребления, увеличиваются в текущем году на 7,9 проц., тогда как объем вложений в отрасли, производящие средства производства, снижается на 6,3 проц.

В 1935 г. будут введены в эксплуатацию 26 новых предприятий легкой промышленности, в числе которых такие крупнейшие предприятия, как Ташкентский и Барнаульский хлопчатобумажные комбинаты. Большие работы будут проведены также и в пищевой промышленности.

Для осуществления этой гигантской строительной программы предусмотрен значительный рост строительных материалов и строительных механизмов.

Важнейшей задачей 1935 года в области строительства является рост повышения производительности труда на строительстве на 20 проц. и снижение стоимости строительства на 12 проц. Выполнение этих заданий является важнейшим условием выполнения плана капитального строительства в 1935 году.

Большое развитие получает в 1935 г. товарооборот. Решения ноябрьского пленума ЦК об отмене карточной системы на хлеб и на некоторые другие продукты, а также рост продукции промышленности и сельского хозяйства — все это создает для развертывания товарооборота в текущем году исключительно благоприятные условия.

Уже в 1934 году мы имели огромный рост товарной продукции почти по всем ее видам. Как видно из вышеизложенного, в 1935 году будет дальнейший рост товарной продукции сельскохозяйственных продовольственных товаров, в том числе по товарной продукции зерновых хлебов на 10,7 проц., по картофелю — на 22,9 проц., по овощам — на 33,3 проц., по мясу — на 10,8 проц., по молочным продуктам — на 12,5 проц. и т. д. Выра-

стет также и продукция по промышленным товарам широкого потребления и предметам питания, в том числе по консервам на 18 проц., макаронам — на 31,4 проц., сахару — 16,3 проц., льняным тканям — 103,7 проц., бельевому трикотажу — 37,6 проц., по метизам ширпотреба — 33,3 проц., по патефонам — 117,1 проц., пластинкам — 284,6 проц., велосипедам — 25 проц.

Весь розничный товарооборот достигнет в 1935 г. огромной цифры в 80 миллиардов рублей, что дает прирост против 1934 г. на 33,1 проц. Если к этому добавить то, что в 1935 г. будет происходить дальнейший рост колхозной торговли, станет ясным огромное развитие товарооборота в 1935 году.

Большое развитие торговли в 1935 году видно из того, что во всем обороте государственно-кооперативной торговли нормированный отпуск товаров составит лишь 7 проц., вся остальная масса товаров пойдет в порядке открытой продажи их всему населению.

Товаров будет в стране очень много, значительно больше, чем в прошлом году. Вся задача заключается в том, чтобы наладить правильную торговлю этими гигантскими массами товарной продукции, что возможно лишь при условии коренного улучшения работы наших торгующих организаций. Все дело в правильной, хорошо налаженной советской торговле, в качестве работы торгового аппарата и его работников. В этой связи необходимо подчеркнуть задачу, поставленную решением ноябрьского пленума ЦК ВКП(б), — задачу создания квалифицированных кадров работников торговли.

Развертывание товарооборота, установление единых твердых государственных цен на целый ряд важнейших продуктов создает благоприятные условия для снижения цен на продовольственные и промышленные товары. В 1935 году розничные цены государственной и кооперативной торговли будут снижены на общую сумму в 3 миллиарда рублей.

Наиболее общим показателем роста материального благосостояния трудящихся является непрерывный рост на-

родного дохода в нашей стране. Не в пример капиталистическим странам, где народный доход падает, а доля трудящихся в народном доходе понижается, народный доход в СССР возрастет в 1935 г. до 64,5 миллиарда руб., дав прирост против 1934 г. почти на 9 миллиардов рублей. При этом удельный вес социалистических форм хозяйства в народном доходе достигнет 97,5 проц.! Не в пример капиталистическим странам, где безработица растет из года в год, в народное хозяйство нашей страны будет вовлечено в 1935 году дополнительно свыше 1 миллиона рабочих и служащих, а их общее число возрастет до 24,3 миллиона человек. Фонд заработной платы возрастет в 1935 г. (с учетом компенсации повышения цен на хлеб) на 8,1 миллиарда руб. Это обеспечивает повышение среднегодового уровня зарплаты рабочих и служащих до 2.031 руб. против 1.791 руб. в 1934 г., то-есть на 13 проц.

Следует подчеркнуть, что в настоящее время в связи с отменой карточной системы на хлеб и некоторые другие продукты правильная организация заработной платы имеет решающее значение для выполнения всего народнохозяйственного плана.

«Пока денежная зарплата была не главным, а лишь одним из элементов в оплате труда рабочих, что было неизбежно при карточной системе, до тех пор в известной мере подрывалась и ее роль в производстве и в строительстве. Теперь заработная плата превращается в основной регулятор, а ее повышение — в решающий стимул для рабочих и служащих. И это должно повести к большому усилению роли зарплаты и в производстве, и в строительстве» (М о л о т о в).

Текущий год будет годом дальнейшего культурного роста трудящихся нашей страны. Число учащихся в общеобразовательных, начальных и средних школах достигнет в 1935 году 25,6 млн. человек против 24 млн. в 1934 г. Число учащихся в вузах, втузах и техникумах возрастет до 1,3 млн. человек. Следует отметить, что особо быстрыми темпами растет в 1935 г. ко-

личество учащихся в педагогических и медицинских учебных заведениях в связи с огромным вниманием, которое уделяется партией и правительством делу народного просвещения и здравоохранения. Число научных работников достигнет в 1935 г. 42 тысяч человек против 39,5 тысяч человек в 1934 г. Значительно расширяется материально-техническая база научной работы.

Число клубных учреждений возрастет с 63,8 тысяч до 69,9 тысяч. Увеличивается количество массовых библиотек, особенно в деревне. В связи с колоссальным ростом спроса на газеты, журналы, книги, что является показателем роста культурного уровня трудящихся нашей страны, значительно увеличивается тираж газет, журналов, а также укрепляется материально-техническая база печатного дела. Тираж газет увеличивается в 1935 г. на 1,5 млн. экземпляров, а книжно-журнальной продукции — на 420 млн. листов-оттисков.

Особое внимание уделяется планом 1935 года вопросам народного здравоохранения. На VII съезде советов тов. Молотов указал, что:

«Партия и правительство признали необходимым в текущем году пойти на значительное увеличение расходов по больницам и на увеличение зарплаты всего врачебного персонала. Мы хотим, чтобы дело здравоохранения двигалось вперед быстрее, чтобы здоровье трудящихся крепло и чтобы у нас еще больше рождалось советских богатых».

Наконец в 1935 г. будет осуществлено большое жилищно-коммунальное строительство. В 1935 г. будет введено в эксплуатацию новых 7 млн. кв. метров жилплощади.

В 1935 г. будут происходить дальнейшие сдвиги в размещении производительных сил страны, рост новых районов, особенно окраинных и национальных. Башкирия, Казакстан, Средняя Азия, Закавказье — во всех этих районах, бывших когда-то на положении полуколоний царской России, кипит гигантская строительная работа, которая

получит дальнейшее мощное развитие в 1935 году. Огромный размах получает дальнейшее развитие второй угольно-металлургической базы на востоке (Урало-Кузнецкий комбинат). Урало-Кузнецкий комбинат, созданный по инициативе тов. Сталина, является детищем первой пятилетки. Он создавался буквально на глазах. Немало было затрачено средств и сил на создание этой новой мощной угольно-металлургической базы. Но все эти затраты уже теперь дают огромный народнохозяйственный эффект. Посмотрите! В 1913 г. промышленность царской России, создававшаяся в течение многих десятков лет, смогла дать 4,2 млн. тонн чугуна, 3,5 млн. тонн проката, 29 млн. тонн угля. А в 1935 г. один только Урало-Кузнецкий комбинат, созданный в течение нескольких лет, даст нашей стране 3.825 тыс. тонн чугуна, 2.595 тыс. тонн проката, 24.792 тыс. тонн угля!

Создание Урало-Кузнецкого комбината — одна из наиболее замечательных страниц в истории социалистической индустриализации, одна из наиболее ярких иллюстраций великой мощи нашей страны, способной за короткий срок творить то, что в условиях капитализма создавалось столетиями.

Мы далеко не исчерпали всех элементов плана 1935 года. Но и приведенного выше достаточно для того, чтобы стало ясно, что народнохозяйственный план 1935 года знаменует собой дальнейший рост нашей страны во всех областях социалистического строительства, дальнейшие сдвиги на путях к построению социалистического общества в нашей стране.

С законной гордостью трудящиеся Советского Союза оглядываются на пройденный путь и с радостью смотрят в будущее.

Наша великая большевистская партия и ее гениальный вождь товарищ Сталин являются верной гарантией того, что второй пятилетний план, как и его составная часть — план 1935 года, — будет выполнен успешно.

# За рубежом

ПЬЕР-ЭТИЕНН ФЛАНДЕН

Н. Корнев

*Рисунки худ. Бор. Ефимова.*

Летом и осенью 1889 г. Париж переживал бурные дни, вошедшие в историю Третьей республики под названием «буланжизма». Молодая республика содрогалась под ударами контрреволюционного движения, пытавшегося уже тогда установить то, что мы теперь назвали бы военно-фашистской диктатурой. Диктатором должен был быть генерал Буланже, вышедший из состава радикального правительства, в котором он занимал пост военного министра. Взбесившиеся мелкие буржуа, дедушки и отцы всяких нынешних «участников великой войны», членов организации «Боевого креста» и других фашистских лиг, распевали песенки с припевом: «Нам нужен Буланже! Даешь Буланже!» Буланже чествовали банкетами аристократы, а батиньольские купцы устроили ему грандиозный обед в одной из самых больших зал Парижа. Буланже, уезжавшему из Парижа в провинцию (куда он был назначен командиром одного из армейских корпусов), на вокзале были устроены проводы, которые историк Третьей республики Зеваес сравнивает с похоронами Виктора Нуара, убитого на дуэли во время Второй империи. Манифестация на этих похоронах была, как известно, одним из предвестников начала конца царствования маленького Наполеона.

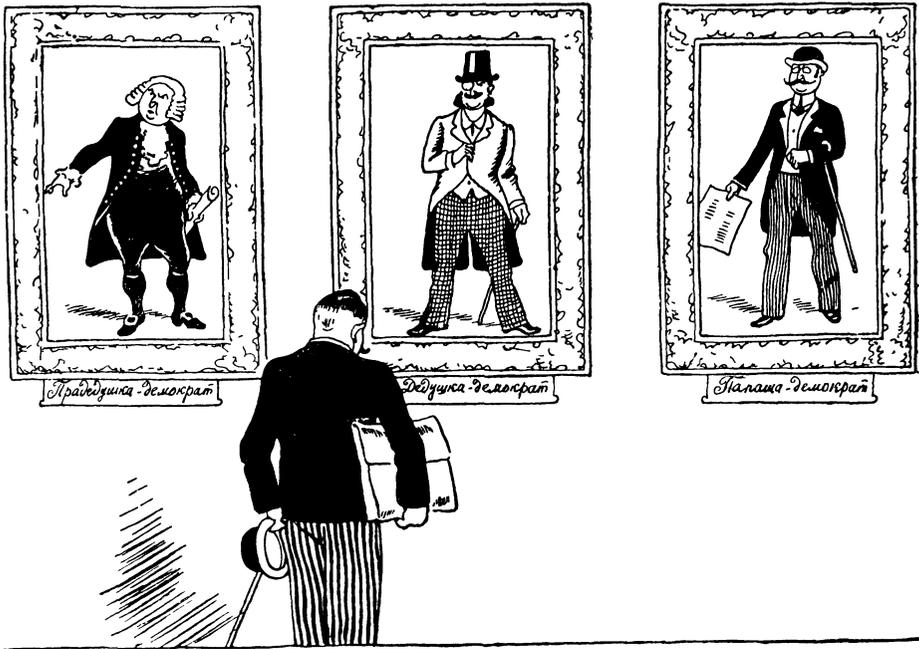
Но буланжистские демонстрации оказались на этот раз неверными предвестниками начала распада Третьей республики. На поверку оказалось, что

французская буржуазия пока не нуждается в организации военно-фашистской диктатуры для борьбы с нарастающим рабочим движением, что она может еще отстоять свои формы управления государством с помощью «традиционной демократии». Против буланжизма встала прежде всего средняя буржуазия Франции, доказавшая спасением демократической республики всей французской буржуазии, прежде всего французским банкирам, тогдашним хозяевам страны, что не нужны какие-либо особые меры для спасения господства «третьего сословия» от наступления четвертого, то-есть рабочего класса.

Нынешний первый министр Франции Пьер-Этиенн Фланден родился в Париже как-раз в этот бурный буланжистский год. Его старшему брату Шарлю, впоследствии довольно видному врачу, тогда было шесть лет, но он, несмотря на этот свой весьма младенческий возраст, бегал со взрослыми по улицам Парижа и рвал в клочки афиши и листовки сторонников Буланже. «Нас преследовали тогда отставные военные, — рассказывает он, — пытавшиеся избить нас своими тросточками и палками. Но у нас в крови была любовь к свободе, стремление защитить республику против ее врагов». Брат нынешнего главы французского правительства рассказывает репортеру журнала «Вю» о том, как сильны республиканские и демократические традиции в семье Фланденов. «Сколько раз слышали мы рассказы

о наших предках?! Наш прадед Гаспар Фланден играл активную роль во время Французской революции. Нашего дедушку Шарля Фландена выгнали из школы иезуитов за то, что он отказался ходить ежедневно в церковь. Он стал медиком и ученым химиком, написал известный трактат о ядах. Но политика все же увлекла его: он принял участие в июньской революции 1848 г. и основал даже газету «Общественное спасение». Этот дедушка Фланден был арестован после декабрьского переворота маленького Наполеона. Его обвиняли в том, что он находится в переписке со своими бельгийскими друзьями-республиканцами и что с их помощью он ввозит во Францию нелегальную республиканскую литературу. Наполеоновская полиция заявила тогда, что «это сообщение тем более опасно, что его члены не знают друг друга», то-есть хорошо соблюдают правила конспирации. Дедушку Фландена подвергли многолетнему тюремному заключению, и он сделался заклятым врагом империи. Когда ему затем предложили стать во главе французского санитарного управления, при условии посещения императорского дворца Тюильри, дедушка Фланден произнес известную фразу, вошедшую, так сказать, в историю республиканской Франции: «Скажите вашему императору, что если я войду в двери Тюильри, то только в том случае, если смогу затем выкинуть через окошко императора!» Этот Фланден был одним из тех немногих французов, которые наотрез отказались принести присягу императору. «Понимаете ли вы теперь, — говорит брат нынешнего французского премьера интервьюировавшему его журналисту, — что обозначает для нашего поколения республика? Несколько времени тому назад я встретил знакомого крестьянина-старика, который мне сказал: «Господин Шарль, мы все помним, как наши отцы страдали во время Второй империи из-за своих убеждений. Никто не согласится, чтобы притрунулись к республиканской конституции и попытались доверить ее механизм одному единственному человеку».

Эти республиканские традиции особенно живы были в семье Пьера-Этиенна Фландена. Его отец получил от своего родителя, как мы видели, яркого врага монархии, решительно республиканское или, как говорят во Франции, гражданское воспитание. Недаром дом дедушки был во времена Второй империи местом, где собирались представители всякого рода противников империи. Когда отцу Пьера-Этиенна Фландена было всего восемь лет, он уже активно участвовал в избирательной кампании. Тогда императорское правительство выставляло повсюду официальных кандидатов. Малышу было поручено захватить возможно больше официальных бюллетеней и заменить в них имена казенных кандидатов именами республиканцев. Третья республика вспомнила конечно об этих республиканских доблестях: отец нынешнего премьера был сначала заместителем прокурора в провинции, а потом переведен в Париж (здесь у него и родился сын Пьер-Этиенн); был прокурором в Алжире, потом был избран депутатом парламента, сенатором и наконец в 1918 г. сделался генеральным резидентом в Тунисе, стало быть, одним из крупнейших чиновников Третьей республики. Отец нынешнего премьера в семье Фланденов отнюдь не является таким единственным чиновником республики: дедушка Пьера-Этиенна Фландена с материнской стороны, Ипполит Рибьер, — префект (губернатор), сенатор, докладчик проекта закона об обязательном светском (нерелигиозном) образовании. Его сын, стало быть, дядя Пьера-Этиенна Фландена, — депутат и сенатор (при этом все эти депутаты и сенаторы избираются в одном и том же родном округе Ивонн). Кузены Пьера-Этиенна Фландена: один — директор банка «Национальный кредит», другой был начальником кабинета Раймонда Пуанкаре. Небольшой город Кюр обязан своим благоустройством республиканским заслугам семьи Фланденов: дороги и мост выстроены стараниями дедушки Фландена, школы — Фланденом-отцом, электрическая станция и автобус — нашим



современником Фланденом, который долгое время был мэром этого городка и сохраняет это свое звание даже во время своего премьерства.

«Из чувства благодарности к нашей семье, — говорит Шарль Фланден, — эти славные люди из округа Ивонн сделали моего брата в 1914 г. депутатом. Правда, многие избиратели говорили: «Это совсем младенец». Ибо Пьеру-Этиенну Фландену было тогда всего 25 лет: он только-что достиг того возраста, который требуется для избрания в парламент. Он был избран благодаря своему ораторскому таланту».

Пьер-Этиенн Фланден является, таким образом, классическим примером, весьма красочной иллюстрацией к главе «Как делаются депутатом?» известного памфлета «Республика на товарищеских началах» Роберта Жувенеля. В этой главе говорится: «Депутатом делаются так, как могут. Проще всего иметь отца, который сам депутат. Многие удовлетворяются тем, что они имеют соответствующего тестя. При этом тесть необязательно должен быть депутатом. Можно стать депутатом с помощью промышленности, через наблю-

дательные советы промышленных предприятий... Но самое простое — дослужиться до звания депутата с самых нижних чинов. Достаточно, если вы имеете в каком-нибудь небольшом округе некоторые связи, чтобы сделаться муниципальным советником. Тогда дорога открыта». Роберт Жувенель прибавляет еще: «Для того, чтобы быть депутатом, совершенно необязательно быть честным человеком. Но для того, чтобы стать депутатом, очень хорошо, если про вас говорят, что вы честный человек. Все знают строгие нравы провинций... В большинстве случаев кандидата в депутаты знают с самых ранних лет его детства. Его извинят за то, что у него нет гения, ораторского искусства, каких-либо специальных знаний, его извинят даже за отсутствие программы, но от него потребуют постоянных привычек, добрых и скромных нравов и уважения к принятым на себя обязательствам. Законодательный мандат в первый раз является почти свидетельством «высоких моральных качеств».

В этом же памфлете, написанном двадцать лет назад, но отнюдь не утратившем своей актуальности и своей по-

учительности, говорится о той роли, которую играют во французской политике всякие личные секретари и атташе различных министров. «Эти люди, — говорит Жувенель, — имеют право играть механизмом (управления страной), и они пользуются этим правом. Их приводит в министерство министр, «патрон», который им говорит: «Вы можете все трогать». Быть может, он им еще говорит: «Вы должны попробовать стать в чем-либо полезными». Секретари и атташе бродят по всей «фабрике», то-есть министерству: они смотрят на все с любопытством, пытаются потрогать всякие ручки и поршни этого механизма. Ибо таким образом они получают возможность ознакомиться с действием правительственного механизма. Эти секретари мечтают о большой административной и политической карьере, при которой можно было бы избежать продвижения вперед исключительно за выслугой лет, со ступеньки на ступеньку. «В кулуарах Бурбонского и Люксембургского дворцов (то-есть палаты и сената), — говорит Жувенель, — в журналистских союзах, политических комитетах существует такая флюктуирующая толпа молодых людей, которые не имеют никаких специальных знаний или устремлений, но которые хотели бы специализировать себя по линии выгодной карьеры. Это и есть секретари депутатов, которые затем становятся в большей или меньшей мере сотрудниками министров. Первая часть их карьеры заключается в том, что они пишут рекомендательные письма от имени своего «хозяина». Мечтают они о том времени, когда они будут писать письма от имени государства. Ибо эти люди тщеславны». Эти молодые люди не получают никакого жалованья: «они пришли сюда не во имя немедленных каких-то выгод. Они пришли сюда, чтобы создать себе какие-то права. Иногда эти права признают, и это скандально! Очень часто этих прав не признают, и это, быть может, тоже скандал. Конечно эти люди ничего или почти ничего не сделали. Но ведь они были на месте и, быть может, они искренно хотели быть полезными. Во всяком случае их остави-

ли: они не могли дать своего труда, но они дали свое время. Если им не дали денег, то им во всяком случае дали право на что-то надеяться. Они недовольны, и, быть может, не без оснований... Одной из красот этого режима (то-есть республиканского режима) является такое создание категории привилегированных людей, из которых немедленно же делают бунтовщиков».

Пьер-Этиенн Фланден был таким частным секретарем известного французского политика Лага и еще более известного Александра Мильерана. Благодаря своему пребыванию в толпе частных секретарей и своему происхождению от деда, отца и дядюшки — республиканских депутатов и сенаторов, он имел, стало быть, не один, а сразу несколько шансов преуспеть в области политической карьеры. Происхождение дало ему депутатский мандат и сразу же, по выражению Жувенеля, свидетельство в наличности высоких моральных качеств. Высокое покровительство двух крупнейших политиков Третьей республики явилось гарантией того, что избиратели, которые избрали Фландена-деда, Фландена-отца, дадут Пьеру-Этиенну Фландену, что называется, старт по той проторенной политической дорожке, по которой он побежит к заветной цели руководства правительством. История современной Франции пожелала однако, чтобы при появлении на политической сцене Пьера-Этиенна Фландена повторилась, конечно с теми изменениями, которые диктует наша эпоха империалистических войн и пролетарской революции, та ситуация, которая дана была уже однажды, в год появления Пьера-Этиенна на свет, то-есть в год буланжизма.

\*\*\*

Пьер-Этиенн Фланден был избран депутатом, то-есть начал свою политическую карьеру, в 1914 году, в год выхода в свет памфлета «Республика на товарищеских началах». То было время классического расцвета этой республики на товарищеских началах. Знаменитый французский историк Мишле, которого цитирует Роберт Жувенель, утверждает, что «республика есть большая дружба». Один из классических пред-

ставителей такой «республики друзей», Эдуард Эррио, утверждает, что «республиканский режим есть режим оптимистический». Смысл всего этого тот, что республика является формой правления времен преуспеяния страны, когда можно делить между собой в политическом мире куски государственного пирога и крохи всяких административных благ, не вызывая таким фамильярным обращением с государством протестов ни с чьей (буржуазной конечно) стороны, ибо, поскольку у всех дела идут более или менее хорошо, нет особенно завидующих или злобствующих протестантов. Создается атмосфера, если не дружбы, как утверждает Мишле, то во всяком случае того «великого содружества», о котором говорит Жувенель: «Между людьми, которым так или иначе поручено управление и контроль государственных дел, устанавливается атмосфера интимности. Речь идет не о взаимных симпатиях, уважении или доверии: речь идет о товарищеских отношениях в собственном смысле этого слова, нечто среднее между сословным чувством солидарности и сообщничеством». Поль Моран, написавший двадцать лет спустя (к изданию 1934 г.) предисловие к памфлету Жувенеля, совершенно справедливо замечает, что речь идет о той эпохе, когда среднему французу (то есть в первую очередь французской средней и мелкой буржуазии) нужны были деньги в очень ограниченном размере: французы до мировой войны не знали инфляции, они еще не слышали о долларе. Если не считать двух-трех крупных скандалов (панамский к примеру), республика знает только небольшие скандалы, которые удается очень быстро ликвидировать. «On s'arrange», — утверждает Альфред Капюс, повторяя фактически словечко слуги Стивы Облонского: «Образуется». «Мировая война, — говорит Моран, отражая психологию «среднего француза», — мобилизовала, разрушила и восстановила богатства и людей Франции в сверхускоренных темпах. Затем пришли послевоенные времена с разорениями на любом перекрестке, со своими «бумагами», инфляцией, гордым отсутствием морали, циническим

отсутствием культуры». На французском горизонте появляются имена Гуалино, Романино, Стависского, Симоновича. «Между тем политический персонал (Французской республики) несколько не изменился: он остался верен



республике на товарищеских началах, но сама эта республика изменилась, — продолжает Моран, — это товарищество, в котором было столько от сообщничества, теперь является только сообщничеством. Тому, быть может, есть свои основания. Некогда республика на товарищеских началах не могла сожрать больших кусков. За сорок лет (с 1879 по 1920 г.) она сожрала фактически только два больших пирога: строительство Панамского канала и миллиард конгрегаций (после отделения церкви от государства). Участники управления республики на товарищеских началах делятся всякими мелкими доходами из секретных фондов. Лишь с 1920 г. начинают большие пироги: миллиарды от продажи американских военных запасов, оставшихся во Франции по окончании войны, миллиарды репараций (восстановление разрушенных войной провинций, Франции в особенности), биржевые миллиарды во время инфляции

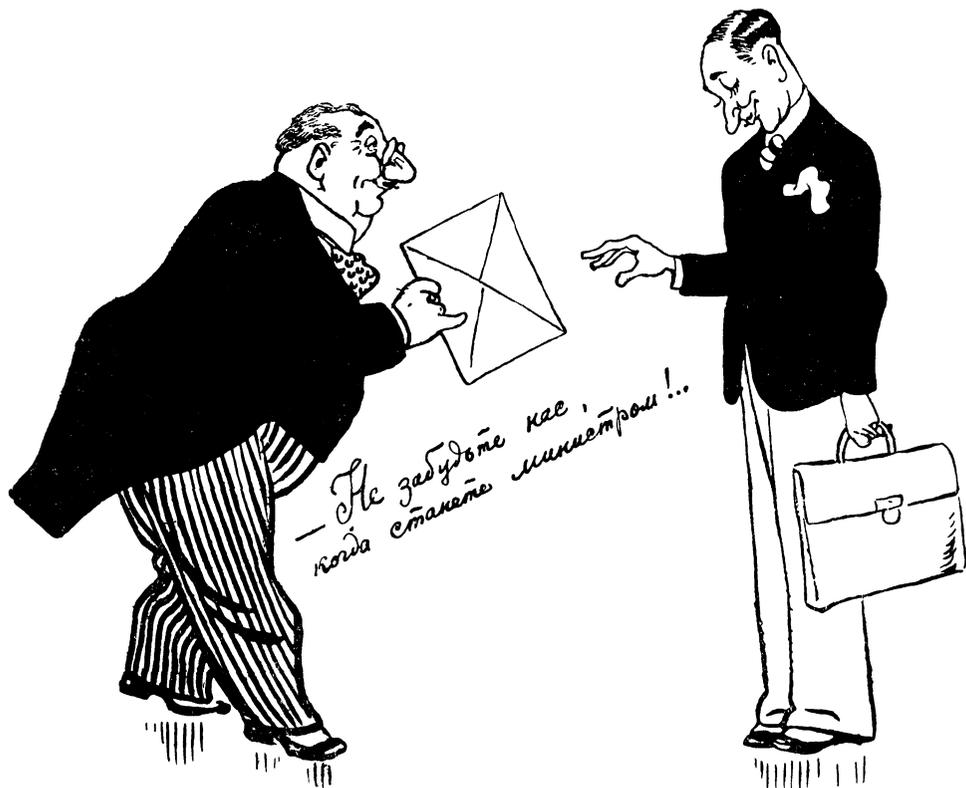
и т. д. «Становится детски легким опустошать копилки мелких сберегателей, очень удобным грабить государство; некоторое сообщничество печати и парламента дает возможность устроить настоящий танец франков. Становится плотью то государство, о котором мечтали левые партии (Моран намекает здесь на радикалов и социалистов) и которым довольны также правые партии. Ибо если политические руководители рабочего класса (читай: социалисты бюлловского толка) получают пенсии, субсидии, синекуры и теплые местечки, то капиталисты получают правительственные заказы, преференциальные тарифы, кредиты без возврата... Государство становится крупным капиталистом, брюхо которого так наполняется, что, того гляди, лопнет... Речь идет уже не о местах продавцов в лавочках табачной монополии и не о крестах Почетного легиона для «товарищей» (то есть участников управления республики на товарищеских началах), их друзей, жен. Миллионы танцуют перед их глазами, они могут своими руками схватить чеки на огромные суммы... Безнаказанность становится обеспеченной, ибо те, кто главным образом пользуется этим режимом, все эти шантажисты, которые с улыбкой проходят через свои процессы и снова появляются у министров, хранят в тайне, что бы ни случилось, папки своих дел и документов. Да вообще ничего или почти ничего не случается, ибо страна покрывается огромной сетью: если срезать одну или две петли, все распадется; поэтому стараются исправить прореху, ибо республика товарищей стала республикой сообщников». Так говорит Поль Моран, своими интеллигентскими и импрессионистски-декадентскими формулировками подтверждая только тот исторический факт, что Франция стала страной монополистического финансового капитала, целиком и полностью запустившего свои щупальцы во все области народного хозяйства и государственного управления. Никто не может сказать, где кончается государство и где начинаются интересы частных лиц, где экономика и где политика. Нельзя больше установить той

точной грани, где начинается злоупотребление властью и использование служебного положения, особенно если речь идет не о мелких чиновниках, а о министрах. Еще один весьма важный момент. Мишле говорил: «Во Франции не рождаются молодым, им становятся». В переводе на язык политиков это означало, что начинающий политик должен был соблюдать в первые времена своей карьеры скромное молчание. «В этом здоровом и на основах иерархии построенном обществе новички продвигались шаг за шагом, ибо спокойные времена принадлежат людям солидного возраста. Но беспокойные времена — наилучшие времена для начинающих, для дебютантов. Вот почему ныне молодые и не думают щадить стариков, слабости которых им известны. Отцы их в большинстве случаев умерли, молодежь может проникнуть к центру политической власти, как в пустой и заколдованный замок. Несколько удивленные, нажмут они кнопки, и придет в движение вся эта огромная административная машина».

Пьер-Этиенн Фланден рано понял те знамения времени, о которых говорит в своем предисловии к последнему изданию памфлета о республике на товарищеских началах Поль Моран. Он начал свою политическую карьеру в год великой империалистической войны. Родственные и политические связи, быть может, счастливый случай, привели к тому, что молодой депутат и адвокат (Фланден получил, кстати сказать, юридическое образование) попал в управление междусоюзнической воздушной связи в качестве директора одного из департаментов. Разве можно ставить Фландену в вину, разве можно сделать политическому молодцу укор в том, что он пользуется случаем и завязывает связи с представителями крупной промышленности, работающей на оборону, что он расширяет эти связи за пределы Франции (в особенности богаты его связи в Англии), что он наконец специализируется на авиационных заводах, которым он очень рано пророчит весьма цветущее будущее. Фланден учится летному делу, принимает даже некоторое

активное участие в мировой войне в качестве летчика и получает, таким образом, блестящую квалификацию для статс-секретаря по делам авиации в правительстве своего старого покровителя Мильберана. Фландену всего тридцать один год, но он почти министр. Три года спустя он занимает пост министра,

«независимыми» газетами объявления и другие жирные подачки монополистического капитала. Акционерное общество «Аэропосталь» было поэтому лишь в высшей степени счастливо, когда бывший министр Фланден согласился в своем адвокатском естестве стать юрисконсультом этого общества. Говорят,



правда, всего один день, ибо он вступает в правительство Франсуа-Маршала, которое оформляет отставку президента республики Мильберана. Это ничего, что Фланден был министром всего только один день, он все-таки министр в отставке и общепризнанный кандидат на всякие министерские посты. Ясно, что авторитет и кредит Фландена в промышленных и финансовых кругах повышается. Вы помните, что Жувенель говорил о сообщничестве между парламентом и печатью? Фланден долгое время занимает пост управляющего делами «Сосьетэ де пресс и де публицитэ», то-есть он фактически руководит тем обществом, которое распределяет между различными

что гонорар был весьма и весьма крупный... Но ни в каких законах демократической республики не указываются предельные размеры юрисконсультских гонораров бывших и будущих министров демократической республики. Ведь общество «Аэропосталь» при определении этого гонорара считалось с возможностью того, что его юрисконсульт станет снова министром. Случилось это так, что Фланден действительно стал министром, да еще министром финансов (в кабинетах Тардье и Лавалья). В качестве министра финансов он выдал обществу «Аэропосталь» большую правительственную субсидию. Противники Пьера-Этиенна Фландена утверждали, что он в ка-

честве бывшего юрисконсульта «Аэропосталь» прислушивался к ходатайствам этого общества о государственной субсидии внимательнее, чем к ходатайствам других обществ. Его противники утверждали, что бывший юрисконсульт должен был знать, что общество «Аэропосталь» находится накануне банкротства. Но, быть может, именно поэтому и дал государственные деньги этому обществу Фланден, справедливо считая, как министр финансов, что поддержка «Аэропосталь» в интересах всего французского монополистического капитала. Докладчик парламентской комиссии Ренодель утверждал, что Фланден был не только юрисконсультом «Аэропосталь», но и формальным представителем этого общества, что он вел от его имени переговоры не только с французскими, но и с иностранными правительственными учреждениями. Ренодель указал тогда на то, что Фланден вел от имени «Аэропосталь» переговоры в Риме, хотя он был уже тогда членом французского правительства. Итальянский министр авиации Бальбо не знал-де, когда именно Фланден выступал перед ним в качестве его французского коллеги, когда просто в качестве представителя частного акционерного предприятия. Бальбо, действительно, не так легко мог определить границы различных полномочий и компетенций Фландена, ибо Фланден только-что был в Неаполе в качестве председателя французской делегации на международной воздухоплавательной конференции. Но Пьер-Этиенн Фланден отнюдь не согласен с бывшим французским министром финансов Бокановским, который после конференции в Неаполе заявил: «Нужно положить конец переговорам лиц, которых, собственно говоря, никто на ведение таковых не уполномочивал и которые притом являлись представителями интересов частных лиц». Фланден считает, что защищать интересы такого крупного капиталистического предприятия, как общество «Аэропосталь», значит защищать интересы французского монополистического капитала, значит защищать интересы французского империализма. Бурное заседание французской палаты де-

путатов от 13 марта 1931 г., на котором разбиралось дело Устрика, разрушило целый ряд политических репутаций Франции, положило конец политической карьере целой плеяды крупнейших деятелей Третьей республики. Но Пьер-Этиенн Фланден вышел из этого заседания с высоко поднятой головой. Своей вошедшей в историю французского парламента речью он поднял всю проблему защиты интересов частнокапиталистических предприятий, что называется, на принципиальную высоту. Вождь социалистической партии Леон Блюм в этот день заявил, что он «говорит о всех этих делах (то-есть о деле Устрика и деле «Аэропосталь») без всякого удовольствия», ибо в этом деле были замешаны некоторые «социалисты», в том числе и сам Блюм. Фланден же говорит об этом деле без всякого стеснения. Не только потому, что он прежде всего человек храбрый, умеющий за себя постоять (не даром в кулуарах палаты его долго называли «акулой»), любящий называть вещи своими именами (только демократические ханжи называют такую черту характера цинизмом), но еще и потому, что он признает существующим то, что Роберт Жувенель назвал республикой на товарищеских началах. Фланден умеет к факту существования этой республики подойти диалектически. Фланден начинает свою речь со справки о том, какую роль играют в капиталистическом мире политики всякого рода. Фланден прежде всего с цифрами и фактами в руках доказывает, что в правлениях и наблюдательных советах акционерных обществ сидят представители решительно всех партий. Фланден возражает против очень распространенного, но неверного изображения дела так, что речь идет исключительно о министрах и бывших министрах. «Министр,—заявляет Фланден, и он архиправ в этом своем утверждении,—иногда куда менее влиятелен, чем председатель парламентской комиссии, докладчик или вождь партии». Отсюда вывод: при возникновении подозрения о наличии злоупотреблений надо расследовать деятельность всех политиков, так или иначе причастных к

данному делу. Но читатель помнит, что говорит на этот счет Поль Моран: если распустились две-три петли в огромной сети, то надо их немедленно заштопать! Поэтому министр Фланден и спрашивает палату: «Но где вы найдете правильный критерий для определения правильности и достаточной основательности ваших подозрений?» Фланден спрашивает далее: «Неужели вы будете определять основательность ваших подозрений по величине полученного данным политиком гонорара? Ведь гонорары получают не только адвокаты, не только юрисконсульты. Гонорары получают за свои советы инженеры-консультанты, консультанты по финансовым вопросам, журналисты, делавшие рекламу данному предприятию». Но ведь в капиталистическом мире гонорар не обязательно должен выплачиваться звонкой монетой или чеком. «Иногда гонораром является политическая помощь данному лицу, поддержка его депутатской кандидатуры со стороны влиятельных избирателей, устройство на более или менее выгодную должность сына данного политика, брата его или зятя». В последних словах намек на вождя социалистов Леона Блюма, сын которого получил теплосчетчик в одном из предприятий Устрика. Фланден переходит теперь от защиты к нападению: «Эти вот господа (то-есть социалисты) очень любят разоблачать разложение и коррупцию буржуазного строя. Они очень любят разглазговать о продажности буржуазных парламентариев, преступлениях по должности чиновников, превышениях власти членов правительства. Ежедневно кричите вы (социалисты) о язвах капиталистического строя. Но тогда не надо пользоваться ими». Фланден при этом упоминает дела социалистов, выступавших в защиту крупных капиталистов, незаконно нажившихся при восстановлении разрушенных войной провинций Франции, он говорит о социалистах, служащих юрисконсультами крупных капиталистических предприятий (Леон Блум был в то время юрисконсультом парижского универмага «Галери Лафайет»), он упоминает о деле депутата Муте, замешанного в афере по выпуску

акций несуществовавшего при советской власти «Бакинского нефтяного общества». Он говорит о социалистах, защищавших венгерских фальшивомонетчиков. Он кончает свою речь угрозой: «Пусть мой пример будет вам, социалистам, грозным предупреждением. Перед вами не министр, защищающий свой портфель, и не человек, защищающий свою честь. Перед вами стоит республиканец, который выступает перед другими республиканцами и говорит им: остерегайтесь! Достаточно долго длился саботаж республиканского строя». Фланден сходит с трибуны под гром аплодисментов большинства буржуазных депутатов палаты. Во французской палате принято оратора, произнесшего удачную речь, поздравлять с одержанным успехом. Фландена поздравляют наперебой почти все руководящие политики Третьей республики. В первую очередь спешат поздравить его руку Андре Тардьё и Пьер Лаваль. Ибо Фланден, действительно, выступил блестящим (хотя с точки зрения некоторых стариков слишком откровенным) защитником республики на товарищеских началах.

Старики недовольны Фланденом за его слишком сильную откровенность. То, что старикам кажется недостатком в речи Фландена, в действительности является ее главным достоинством. Поль Моран указывает на то, что одним из основных принципов Третьей республики было «не вредить друг другу и уважать традиции дома». Этот принцип был прежде и раньше всего воплощен в партии радикал-социалистов, то-есть партии, которая являлась партией-тампоном, или средоточием между реакционными и консервативными партиями республики и социалистической партией (до того момента, когда она стала явно сотрудничать с буржуазией). По остроумному выражению Поля Морана, радикал-социалисты преуспевали потому, что они за свою посредническую деятельность получали комиссионные с обеих сторон. Поль Моран прав в своем утверждении, что ныне одной из причин слабости радикальной партии является «разрушение товарищеской атмосферы» в Третьей республике. Иначе говоря, в

условиях общеэкономического кризиса обостряется классовая борьба, класс становится против класса. Не только радикалы, но и социалисты не могут больше играть роли надежного средостения между монополистическим капиталом и рабочим классом. «Судя по некоторым признакам, можно поставить диагноз, что среди обитателей острова Пингвинов (намек на знаменитый роман Анатоля Франса) слабеет чувство солидарности», — говорит Поль Моран, и этим своим утверждением он дает замечательное объяснение приведенной нами выше речи Фландена, основной целью которого было именно укрепить это чувство солидарности всех борцов за сохранение французской буржуазной республики. «Некогда, — свидетельствует Поль Моран, — парламентские ссоры, сколь бурны они ни были в амфитеатре зала заседаний, утихали в кулуарах, и в буфете удары кулаком превращали в дружеское похлопывание по плечу. Но ныне драка столь жестока, что противники, только что обменивавшиеся оскорблениями с трибуны, бросавшие друг другу в лицо истины, которые, быть может, и были истинами, не могут по выходе из зала обращаться опять друг к другу с дружеским «ты». Битва заставляет трещать стены Бурбонского дворца, и она продолжается затем в Париже на столбах газет, на собраниях, в выступлениях по радио». Заслугой Пьера-Этиенна Фландена перед французской буржуазией, перед Третьей республикой является то, что он, не скрывая, что скрыть невозможно, то-есть факта обострения классовой борьбы во Франции, сумел воспользоваться внешними формами обострения этой классовой борьбы, чтобы организовать кампанию восстановления солидарности в буржуазном лагере. Его лозунгом является не тот лозунг, с помощью которого германский фашизм пришел к власти и который гласил: «Пусть хуже, но иначе!» Лозунг Фландена гласит: «Лишь бы продолжалось нынешнее положение».



«Перемирие продолжается!» (La trêve continue!). Этими двумя весьма лапи-

дарными словами начинается правительственная декларация Фландена, с которой он представился парламенту в качестве главы второго «общенационального» правительства Франции. Собственно говоря, свою кандидатуру в организаторы перемирия Фланден выдвинул еще в бытность свою министром общественных работ в первом «общенациональном» правительстве старика Думерга, изложив ту программу руководимой им группы «Альянс демократик», которая привела в восторг главный орган французской буржуазии «Тан». Фланден заявил тогда, что он «отклоняет всякие проекты новых налогов, в особенности всякие проекты прямых налогов. Надо принять всевозможные меры для того, чтобы осуществить экономию в государственном бюджете, в особенности необходимо сократить расходы государства по линии социального обеспечения». Программа Фландена очень проста: он хочет переложить решительно все издержки по экономическому кризису во Франции на плечи трудящихся масс. Руководящий буржуазный орган «Тан» после опубликования этой программы Фландена пришел в восторг от того, что Фланден так резко формулирует свою программу, «не принимая в расчет каких-либо соображений избирательного порядка». Фланден становится-де выше соображений политического порядка, он подходит к центральной проблеме французской буржуазии исключительно с финансовой точки зрения, как и подobaет специалисту по финансовым вопросам. В этом «Тан» усмотрел признак «гражданской доблести». Но дело конечно не в гражданской доблести Пьера-Этиенна Фландена, а в том, что именно Фланден, быть может, раньше других французских политиков, правильно понял тот кризис, который переживает основная партия французской буржуазии, партия радикалов, и сумел сделать из этого своего понимания соответствующие политические выводы. В газете «Тан» была напечатана в связи с конгрессом радикалов в Виши беседа с Фланденом, из которой яснее ясного вытекало, почему руководитель небольшой, но влиятельной «Альянс демо-

кратик», представляющей интересы крупного капитала в палате, решил так откровенно и четко, «без всяких политических соображений», формулировать свои требования. Фланден усмотрел в решениях съезда радикалов по вопросам финансового порядка тенденцию, которая позволяла ему надеяться на то, что радикалы всерьез и надолго пошли на блок с правыми партиями, что формула необходимости объединения «у ора большой матери Франции» обозначает поправление радикалов, что по указке монополистического капитала они стали теперь только некоторым, для успокоения мелкобуржуазных масс, необходимым атрибутом правительств «национального объединения», то-есть правительств, осуществляющих установки монополистического капитала без военно-фашистской диктатуры, но как бы под сенью оной. Когда в 1909 г. Бриан образовал свое первое правительство, предоставив радикалам невлиятельные министерства, хотя радикалы были руководящей партией парламента, Жорес произнес одну из своих лучших речей: «Был в древности небольшой островок, который стал навеки знаменитым вследствие приключений коварного Одиссея. Мы имеем теперь в нашей среде нечто подобное. Из островка независимых социалистов (партия Бриана) бросился в море отважный мореплаватель, который взял в плен эскадру радикалов и вывесил на ней свой флаг». Фланден конечно не коварный Одиссей и не отважный мореплаватель, которым был Аристид Бриан. Он — просто весьма сметливый и расчетливый политик, который лишь очень своевременно учел возможность использования полнейшего развала среди радикалов, этой классической мелкобуржуазной партии, в обстановке общекapи-талистического кризиса, переходящего в кризис политический.

В своей речи, произнесенной на банкете «Альянс демократик» (январь 1935 г.), Фланден между прочим сказал: «Я не думаю, чтобы было возможно предпринять разумный пересмотр французских учреждений под давлением бедствий и различных шумных демонстраций» (намек на демонстрацию

всяких контрреволюционных организаций). Для этого необходим минимум спокойствия духа. В виду паралича экономической активности я хотел бы прежде всего начать с активизации продукции хлеба и вина. Я хотел бы найти средство против безработицы с помощью восстановления нормального течения дел.. Повсюду, где приспособление продукции к потреблению сможет осуществляться свободно под давлением вечных законов спроса и предложения, я остаюсь сторонником свободы и свободной конкуренции. Но, так как я прежде всего реалист, я не могу закрывать глаза на то, что теперь искажает и парализует автоматическое взаимодействие спроса и предложения. Поэтому я говорю: организованная свобода. Поэтому я также говорю: защита свободы! Почему публично обсуждаемые соглашения промышленников должны считаться более опасными, чем уже существующие и тайным образом заключенные? Неужели необходимо, чтобы народное хозяйство переносило повышение цен, вызванное картелированием некоторых отраслей промышленности, и в то же время страдало от несчастий безработицы в неорганизованных областях промышленности? Необходимо напомнить кой-кому из вас, что различные формы вмешательства, которые искажают соотношение между спросом и предложением, имеют своим источником одну и ту же причину. Иногда бывает и так, что общественная власть должна выступить против власти денег (?!). Если забота о сохранении свободы личности не может привести к разрешению сильному душить слабого среди бела дня, то тем более уважение перед экономической свободой не может быть смешано с представлением о привилегиях капитала над трудом и тем более с претензиями некоторых современных собирателей сбережений, что именно они имеют право управлять во имя своих интересов экономической нации». Фланден, стало быть, против «власти денег» отнюдь не крупного капитала. В этой своей речи Фланден между прочим заверял своих слушателей в том, что «холодная воля господствует

над его делами и его словами» и что «он не даст себя отклонить от избранной им политической линии».

Смысл этой речи Фландена конечно ясен без особых комментариев. Фланден говорил в ответ своим противникам в день представления его правительства в парламенте: «Мы имеем кризис. Мы имеем кризис моральный, мы имеем кризис политический, мы имеем кризис экономический и кризис социальный. Я хочу выйти из этого кризиса. После того, как это мне удастся, я спрошу себя, вышел ли я из него на основании того или другого ортодоксального учения». Фланден хочет активизировать французское народное хозяйство, он хочет найти ту кнопку, которую надо нажать, чтобы опять нормально заработал главный мотор народного хозяйства. Ему удалось недавно побудить палату согласиться большинством решительно всех буржуазных партий на издание закона о выпуске пяти миллиардов франков новых казначейских билетов. Ибо Фланден исходит из основной установки, что во Франции развитие народного хозяйства тормозится из-за отсутствия кредитов, хотя имеется достаточно золота, которое однако остается в чулках мелких буржуа, которые копят деньги и боятся доверить их промышленности. Отсюда в приведенной выше речи выпад против этих представителей мелкой буржуазии. Отсюда и выпад, несколько неожиданный на первый взгляд, против «власти денег». Фактически получается, что Фланден идет дорогой инфляции, которой может пользоваться только тяжелая промышленность и которая конечно может вызвать на первых порах некоторое оживление в отдельных областях промышленности. Тем более, что Фланден, по сути дела, стремится к поддержке крупных и крупнейших промышленных предприятий за счет мелких и средних. Недаром один из органов тяжелой промышленности, «Юзин», пишет по поводу планов Фландена: «Восстанавливаются условия, при которых смелые предприниматели снова будут иметь возможность инициативы... ибо все основано на восстановлении права на прибыль». Речь идет об обяза-

тельном картелировании отдельных, пока еще не картелированных, отраслей промышленности, об уничтожении пособий по безработице, которые передаются в форме субсидий тем предприятиям, которые оказываются в состоянии дать работу у себя новым рабочим. Весьма сомнительно, чтобы с помощью всех этих мероприятий можно было серьезно бороться с кризисными явлениями во Франции, но Пьер-Этиенн Фланден умеет создавать прежде всего иллюзию такой борьбы, он умеет производить впечатление, что он в действительности борется с экономическим и социальным кризисом, из которого, как он говорит, вытекает кризис политический и моральный. Фланден при этом сумел не только сплотить вокруг себя представителей решительно всех буржуазных партий, но сумел, несмотря на его признание обострения классово-борьбы во Франции (быть может, именно поэтому?), привлечь на свою сторону вождей реформистских профсоюзов во Франции и руководителей социалистической партии. Не даром в день представления Фландена палате Леон Блюм заявил: «Мы констатируем, что республика снова дышит. Мы снова находимся, господа, на нормальной основе, на легальной основе парламентской жизни. Вот в чем заключается большое событие». И Леон Блюм выразил надежду, что председатель совета министров его поймет, если он ему скажет, что в этих нормальных условиях социалистическая партия должна играть по отношению к правительству Фландена роль оппозиции. Фланден и не думает удивляться. Он очень доволен. «Энформацион», этот орган парижской биржи, писал после образования правительства Фландена: «Ставка огромна. Речь идет о существовании режима (парламентской демократии). Председатель совета министров сказал, что мы теперь делаем последний опыт с парламентаризмом. Эта декларация несколько месяцев назад вызвала бы бурю негодования, теперь вызвала аплодисменты. Господин Фланден, которого привязывают к свободе традиции его семьи (мы видели это из его биографии.—Н. К.) и склон-

ности его характера, хочет быть хранителем (демократических) учреждений Франции». Действительно ли он этого хочет — конечно, неизвестно. Но известно, что в нашу эпоху, когда в странах так называемой парламентской демократии сторонники ее умоляют монополистический капитал сохранить эту систему, обещая дать всевозможные доказательства, что они могут служить интересам монополистического капитала не хуже (а быть может, в некоторых условиях даже лучше), чем военно-фашистская диктатура, — в этих условиях Пьер-Этиенн Фланден со своим опытом парламентского управления должен быть и является конечно фигурой весьма красочной и колоритной. Ибо он, с одной стороны, как мы видели из его речи по делу Устрика, понимает требования эпохи монополистического капитала, с другой стороны, действительно сумел до наших дней донести из прошлого семейные республиканские и демократические традиции. Не даром орган радикалов «Эр нувель» дает ему следующую характеристику: «Не приходится сомневаться в том, что Фланден, следуя по стопам одного из своих знаменитейших предшественников и другого великого парламентария, объявил себя убежденным сторонником и решительным защитником республиканских учреждений, демократии и парламентского режима. Поведение его неприемлемо для тех, кто хочет, чтобы перемирие послужило не делу спокойной и методической реформы парламентских работ, а лишь делу полнейшего разгрома конституции, которое вдохновилось бы при этом методами, существующими за нашими границами (то-есть в Германии. — Н. К.). Пьер-Этиенн Фланден хочет, чтобы перемирие, умиротворение умов, свободная игра учреждений, стабильность нашей валюты позволили стране восстановить доверие к самой себе, восстановить народное хозяйство, осуществить свою безопасность и найти снова свое благосостояние. Это и есть та цель, которую всегда преследовали республиканцы, и они одобряют, что нынешнее правительство (Фландена) преследует эту цель твердо, решительно и лояльно.

Республиканцы верят человеку, который сказал: «У меня нет другой цели, кроме спасения нации от угрожающей ей двойной опасности — разрушения ее народного хозяйства и гибели ее свободных учреждений.



«Демократия при капитализме есть демократия капиталистическая, демократия эксплуататорского меньшинства, покоящаяся на ограничении прав эксплуатируемого большинства и направленная против этого большинства. Только при пролетарской диктатуре возможны действительные «свободы» для эксплуатируемых и действительное участие пролетариев и крестьян в управлении страной. Демократия при диктатуре пролетариата есть демократия пролетарская, демократия эксплуатируемого большинства, покоящаяся на ограничении прав эксплуататорского меньшинства и направленная против этого меньшинства». Такое определение демократии при капитализме и демократии при пролетарской диктатуре дает товарищ Сталин в «Основах ленинизма». В. И. Ленин, как известно, утверждал: «Пролетарская демократия в миллион раз демократичнее всякой буржуазной демократии. Советская власть в миллионы раз демократичнее самой демократической буржуазной республики» (т. XXIII, стр. 350. «Пролетарская революция и ренегат Каутский»). Эти всем известные слова В. И. Ленина и его лучшего ученика, вождя коммунистической партии И. В. Сталина привел в своем блестящем докладе на VII съезде советов тов. Молотов, мотивируя те исторические поправки к Советской Конституции, которые он вносил на съезд по поручению февральского пленума ЦК ВКП(б), где вопрос о замене неравных, косвенных и открытых выборов равными, прямыми и закрытыми выборами в советы был поставлен по инициативе товарища Сталина. Противопоставив в исторических, классически четких и исчерпывающих формулировках Ленина и Сталина пролетарскую демократию «демократии» в капиталистических странах, тов. Молотов

заявил: «В то время, как в Советском Союзе поставлен теперь вопрос о дальнейшей демократизации избирательной системы в смысле замены не вполне равных выборов — равными, многоступенных — прямыми, открытых — закрытыми, во всех буржуазных государствах мы видим развитие государственной системы в противоположном направлении, в направлении отрицания демократии и перехода к фашизму. Ни для кого до последнего времени не было секретом, что капиталисты умели обеспечить свое господство над массами трудящихся при любой системе буржуазной демократии, при любом парламенте и избирательных правах. Во всяком буржуазном государстве так называемым «общественным мнением» командует капиталистическая пресса, которой помогают не только весь государственный аппарат и полиция, но и целая армия попов и буржуазных литераторов, профессоров и деятелей искусства. Могушественные капиталистические тресты в больших странах распоряжаются сотнями газет и многими тысячами газетчиков и журналистов. Помещения для собраний, не говоря уже о церквях, находятся в руках господствующих классов, в то время как рабочая и вся демократическая печать живет под полицейским каблуком и подвергается бесчисленным полицейским репрессиям. В любом буржуазном государстве господствующими партиями в стране и в парламенте являются партии капиталистов и помещиков. Как видите, до недавнего времени капиталисты удобно устраивались при любой системе буржуазной демократии и парламентаризма... Но с некоторых пор положение изменилось. Недовольство в народных низах стало пугать господствующие буржуазные классы. Буржуазия стала изгонять остатки буржуазной демократии и парламентаризма из своей системы управления». Классической иллюстрацией к этим словам тов. Молотова может служить история французской демократии, история Третьей республики. Никто не может оспаривать утверждения, что на европейском континенте Третья республика является вот уже шестьдесят пятый год страной классической демократии, и

механическим подтверждением этого утверждения является тот неоспоримый факт, что Пьер-Этиенн Фланден без малого сотый глава французского правительства. Другими словами, французский парламент в среднем каждые девять месяцев, с закономерностью женщины, которой (закономерности) позабывал бы автор «Плодородия» Эмиль Зола, рождает новое правительство Третьей республики. Но вот перед нами небольшой и очень любопытный памфлет Даниеля Галеви, которого никто не может заподозрить в приверженстве коммунизму или марксизму. Галеви в кратком очерке истории Третьей республики доказывает, что ее правительства почти никогда не соответствовали действительному соотношению сил в парламенте, то-есть что результаты всеобщих выборов весьма сильно — сказали бы мы — исправлялись волей монополистического капитала, по указке руководящих слоев французской буржуазии. Даниель Галеви, излагая всю историю Третьей республики, как историю бессилия и бесплодия партии радикал-социалистов, этой руководящей партии французской буржуазии, забыл только упомянуть о том, что речь идет о той партии французской буржуазии, которая имела перед собой в Третьей республике задание уловления душ мелкой и отчасти средней буржуазии, тогда как социалистическая партия должна была создавать иллюзии насчет истинного содержания «демократической» республики в рядах рабочего класса. Но Даниель Галеви не замечает также, что, доказывая беспрестанное номинальное могущество (наличие иногда подавляющего, всегда значительного количества депутатских мандатов) радикалов в палате, отнюдь не сопровождающееся фактическим управлением страной, он в то же время дает великолепную винетку к докладу тов. Молотова о том, что «капиталисты умели обеспечить свое господство над массами трудящихся при любой системе буржуазной демократии». Галеви совершенно справедливо считает родоначальником радикал-социалистической партии Ледрю-Роллена и приводит знамена-

тельные слова из одной его речи: «Мы — ультра-радикалы, если вы понимаете под этим словом партию, которая хочет, чтобы великие символы свободы, равенства и братства были претворены в действительность. Да, мы все ультра-радикалы, но слова пугают только детей». А французская буржуазия отнюдь не была ребенком, Третью республику она основала совсем взрослой. И, быть может, поэтому она доверила радикалам прежде всего министерство внутренних дел. «Надо быть хорошим специалистом, чтобы стать во главе министерства финансов,—говорит Галеви.—Надо знать Европу, чтобы управлять министерством иностранных дел. Но министерство внутренних дел: нужно лишь назначить пятьсот префектов и супрефектов (губернаторов и вице-губернаторов), чиновников «Сюрте Женераль» (охранки), полиции. Вот это дело для радикалов!» И при малейшем волеизъявлении руководящих кругов буржуазии, которое немедленно отражается конечно на чиновничьем и полицейском аппарате республики, Ледрю-Роллен произносит свое классическое изречение: «Я—их вождь. Стало быть, я должен следовать за ними!»

Галеви рисует несколькими резкими штрихами самых выдающихся радикалов, вождей партии и первых министров Франции. Вот к примеру Сарриен. Вивиани сказал о нем в надгробной речи: «Он был со своим здоровым умом, со своим чрезвычайным умением заранее понять впечатление, которое произведет на страну данное мероприятие или данный закон, действительно сыном той буржуазии, которая после генеральных штатов двинулась вперед». Так говорилось в надгробной речи. Пока Сарриен жил, его называли в парламенте «старым животным». Он редко подымался на трибуну, был очень осторожен в кулуарах, но он охотно разговаривал с глазу на глаз в интимных уголках парламентского дворца и от своих поклонников получил за это еще кличку «сфинкса с головой теленка». Вот его антипод Леон Буржуа, придумавший лозунг «солидарности» и вздохнувший свободно, когда его правительство смогло уступить

свое место правительству реакционера Мелина.

В истории Франции знаменитое дело Дрейфуса занимает особое место. Если верить радикалам, то это было их дело и победа фрейфусаров была их победой. «Они лгут», говорит Галеви, и он прав в своем утверждении, ибо «эта гражданская война была слишком жестока для радикалов». Во время процесса Зола слышен голос только одного радикала, а именно Клемансо, но будущий диктатор времен империалистической войны уже тогда не был, собственно говоря, радикалом. Когда Мелин заявляет в палате: «Дела Дрейфуса не существует!», радикалы ему аплодируют, ибо он выражает их страстное желание избавиться от опасности гражданской войны. Когда другой министр говорил радикалам: «Посмотрите на ваши избирательные округа», радикалы немедленно успокаивались, ибо они знали, что буржуазия отнимет у них, если захочет, мандаты. Леон Буржуа просил тогда не произносить слова «справедливость». Когда дрейфусары победили и республика была вне опасности, буржуазия доверила власть не радикалам, столь многочисленным в палате, а умеренному Вальдек-Руссо, генералу Галифе и ренегату социалистического движения Мильерану. Радикалам даются некоторые весьма второстепенные портфели, и Жорес пишет тогда в своей «Маленькой республике» полную иронию статью о радикалах, «уклоняющихся от власти».

В 1901 г. происходит первый съезд радикальной партии. Что же, разве он вырабатывает точную программу, формулирует точные требования? Программа, говорится в воззвании съезда, «была установлена нашими отцами, и она слишком часто подтверждалась жертвами во имя свободы, чтобы мы могли теперь уклониться от ответственности». «Радикальная партия, — пишет Эдуард Берль, — имеет связи, но никак не формулировки». В 1902 г. на общих выборах побеждает левый блок. Что же, разве радикалы берут власть? Первым министром Франции становится Комб. Министерства финансов, иностранных дел, военное попадают

в руки просто «республиканцев», отнюдь не радикалов. Как только Комб осуществил отделение церкви от государства, на его место стал реакционер Рувье с целой плеядой учеников Гамбетты, классических оппортунистов. На следующих выборах радикалы снова побеждают. Во главе правительства становится Сарриен, «старое животное», который очень быстро уступает свое место Клемансо, который сам себя назвал «первым полицейским Франции». После Клемансо — Бриан, который дает опять-таки радикалам лишь невлиятельные министерства. «История последующих лет, — пишет Галеви, — знаменательна: самое надежное большинство (то есть радикальное большинство в палате) оказывается эфемерным. Никто у радикалов не отнимает власти; они ее оставляют на произвол судьбы, они ее теряют. Радикалы и радикал-социалисты образуют блок, против которого ничего нельзя сделать. Если цифры что-либо означают, то радикалы являются хозяевами положения. Но радикалы почти не существуют. Давление внешних событий, предчувствие и неизбежность страшных событий (то есть войны), вся эта магия особых условий создает атмосферу, в которой они не могут дышать». Иначе говоря, французский империализм, французская буржуазия готовится к войне. Поэтому «даже Бриан больше не подходит, он кажется им (радикалам) слишком им подобным, слишком расплывчатым... Они нуждаются в ком-либо, кто бы ими мог владеть. Общественное мнение (читай: монополистический капитал) называет Пуанкаре, который подозрителен правым как республиканец, левым как сторонник сильной власти. Пуанкаре берет в свои руки председательство в совете министров, и радикалы несут ему свое подчинение и свой голоса». А что им было делать, если такова была воля руководящих слоев французской буржуазии?!

«Положение радикалов было бы отчаянное, — говорит Галеви, — если бы они не нашли Кайо. Именно нашли. Ибо если среди радикалов находится иногда

настоящий человек, то только случайно. Кайо не был радикалом. Он происходит из богатой семьи, его отец был одним из министров Мак-Магона». Это значит, что руководящие круги буржуазии дают мелкобуржуазной партии, если нужно, не только депутатские мандаты, но и «вождя». Кайо было поручено накануне империалистической войны сделать попытку договориться с Германией. Затем надо было его и его партию скомпрометировать. Другой историк Третьей республики, Франсиз Делези, утверждает в своей книжке «Демократия и финансисты», что есть исторический закон: «правым партиям дают вождя, который приходит с левой стороны, бывшего революционера, который им импонирует своей энергией, оттенком известной грубости. С другой стороны, по законам симметрии, левым партиям нужно давать вождя, пришедшего с правой стороны, который импонирует им своим воспитанием и своим большим состоянием». Кайо — не первая попытка буржуазии Третьей республики навязать мелкобуржуазной радикальной партии своего вождя: первой попыткой была кандидатура Мориса Берто, крупного банкира, который сыграл бы несомненно выдающуюся роль в истории Третьей республики, если бы не погиб во время авиационной катастрофы.

Мировая война. «Радикалы отступают на второй план, — говорит Галеви: война имеет свои законы, это не законы радикалов». Вернее: по законам империалистической буржуазии во время войны надо править только с помощью абсолютно своих людей. После победоносной войны радикалы буржуазии больше не нужны. Их кормят подачками: в каждом правительстве сидят два-три радикала. Но «великий спектакль победы плохо скрывал, — говорит Галеви, — усталость (масс), печаль, возвращение перед войной и ту революционную тоску, которая всегда свирепствует после войны». На выборах 1924 г. побеждает левый картель. Именно тогда Эдуард Эррио произносит свои слова о «республике, как об оптимистическом строе». Но Эррио и его преемники слева не долго стоят во главе пра-

вительства. Снова появляется Пуанкаре. Его приветствуют возгласами: «Вы появляетесь только в дни несчастий». — «Я хотел бы, чтобы меня призывали в другие дни». Так мог бы сказать, собственно говоря, и Пьер-Этиенн Фланден, которому ныне поклоняются радикалы, как некогда они поклонялись Раймонду Пуанкаре. Ведь радикалы в нынешней палате снова победители на выборах (1932 г.). При этом радикалы поклоняются Фландену, как мы видели из статьи их органа «Эр нувель», еще более ревностно, по той простой причине, что появлению Фландена предшествовала не только новая неудача Эррио, но и катастрофа правительства Даладье, доказавшего после стольких возложенных на него слева надежд, что фашизм слева не бывает. Бывает только фашизм справа, а именно фашизм военно-буржуазной диктатуры. Появление Пьера-Этиенна Фландена во главе правительства означает, что французская буржуазия с фашистской диктатурой в формальном браке пока состоять не желает. Она производит с помощью парламентских методов «последний опыт». Радикалы, которые никогда, как мы видели выше, в действительности не знали, что такое истинная власть, и не могли как партия широких народных масс (пусть мелкобуржуазных) иметь власти в условиях капиталистического строя, довольны, что Пьер-Этиенн Фланден сохраняет все внешние атрибуты демократии. Раньше они сами эти атрибуты сохраняли. Теперь эти атрибуты сохраняют в неприкосновенности за них. Вот почему в стране классической «демократии» республика считается «оптимизмом в себе». Ибо без этого оптимизма не было бы в условиях беспримерного экономического и политического кризиса самой «демократии». Но разве не показательно, что именно

Фланден, который дал столь исчерпывающее раз'яснение насчет увязки службы отдельным капиталистическим предприятиям и капитализму в целом, стоит ныне во главе правительства самой демократической из стран Европы? Отличительной чертой характера Фландена является его откровенность (противники называют его циником). «XIX век и начало XX века прошли под знаком развития буржуазной демократии и парламентаризма,—говорил тов. Молотов на VII с'езде советов.—В демократизации избирательной системы находила свое выражение уверенность буржуазии в росте своих сил, ее уверенность в способности буржуазной власти подчинять себе массы, как бы в соответствии с их собственной волей, с волей избирателей (см. к примеру изложенную выше кратко историю радикальной партии во Франции. — Н. К.). За последние два десятка лет положение в корне изменилось. Прежней уверенности в силе капиталистического строя у многих нет. Тревога за завтрашний день растет у буржуазных классов». Именно тогда появляются в качестве хранителей устоев демократии такие политики, как Фланден, которые никогда не верили и не думают верить в целительные свойства демократии. Вместо веры у них семейные традиции, которые надо брать на веру. Наоборот, такие политики издеваются открыто над демократией. «Если у буржуазии нет больше веры даже в свою демократию и в свой парламентаризм, — говорит В. М. Молотов, — то это нам понятно. Буржуазный строй смотрит уже в свою могилу». Но Пьер-Этиенн Фланден — могильщик с некоторым оттенком юмора. В его философии есть что-то от юмора шекспировского могильщика. Это вносит в его фигуру некоторые смягчающие черты. Во всяком случае он занятен.

# Наука и техника

1. В. Е. ЛЬВОВ — Научное обозрение. 2. А. А. БАГДАСАРОВ — Переливание крови

## 1. НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В. Е. Львов

### 1. Год 1935 и философия сэра Дж. Джинса

Год 1935 — год итогов. Тридцать пять лет теории квантов. 14 декабря 1900 года аудитория Берлинского физиологического общества в молчании слушает доклад Макса Планка, — чтение, по ту сторону которого осталась старая физика. Тридцать лет теории относительности. В дни, отмеченные разрывами шимоз на Ялу, баррикадами на Пресне, выстрелами «Потемкина», очередная желтая книжечка (август 1905) «Анналы физики» со статьей «Zur Electrodynamik bewegter Körper», подписанная безвестным консультантом дюринского бюро патентов<sup>1)</sup>, навсегда вклинивается в физику.

Десятилетие волновой механики. Потомок Роганов и Монморанси, сменивший выцветшие лилии на запачканный мелом профессорский пиджачок, герцог Луи де-Брогль, будит членов сонной академии сообщением, что и кресла, на которых они сидят, и воздух, которым они дышат, и сами они — только стучки в олн, странным образом вибрирующих в эфире...

Да, есть чему подвести итоги. «Эпоха крутых ломок и поколебания основных принципов» (Ленин) неутомимо продолжает стучаться в двери философов.

Вот уже тридцать с лишним лет ходит вокруг да около эпохи этой буржуазная философия. Сколько имен и сколько лиц прошло когда-то на экране ленинского «Материализма и эмпириокритицизма»! Эрнст Мах, Поль Дюгем, Чарльз Пирсон, Абель Рей... Не ищите их. Одних уж нет, а те далече. Новые времена — новые лица.

Мы будем говорить о сэре Джемсе Х. Джинсе, Ф. Р. С.<sup>1)</sup>

Научная и литературная карьера этого человека, книгами которого зачитываются сейчас тысячи грамотных людей по обе стороны океана, заслуживает конечно того, чтобы о ней вкратце узнал советский читатель.

Мы видим начало его дней в прославленной кембриджской alma mater, где гольф и крикет на зеленой лужайке соединяются с греческими стихами и математикой. Занятия механикой и электромагнитной теорией под руководством Пойнтинга довершают первоначальное накопление знаний, и первый самостоятельный труд: «Динамическая теория газов» (1904) выводит 27-летнего бакалавра в ряды лучших знатоков его специальности. Специальность эта звучит неплохо: профессор экспериментальной философии. Мы не забываем: дело происходит в Англии. Когда-то, при Вэруламском Беконе, во

1) Эту должность Альберт Эйнштейн занимал вплоть до получения кафедры в Дюринском университете (1907).

1) Ф. Р. С. (Феллоу оф Ройал Сосайти) — сокращенный титул британских академиков.

времена, когда занятия физикой и химией зачислялись по ведомству (единственно существовавшему тогда) схоластической философии, возник этот термин — экспериментальная философия (читай: теоретическая физика, или, точнее, астрофизика).

И вот, профессорствуя в Кембридже, изучая спектры спиральных туманностей в Гринвиче, наблюдая звезды в Капштадте, он приступает к капитальной задаче, решение которой мерещится ему еще на ученической скамье. Распутать нить происхождения солнечной системы, давно запутанную наследниками Канта и Лапласа. Великая гипотеза! Воспоминанье о ней свежо и не изгладится так скоро. Первичная туманность. Самопроизвольное, все убыстряющееся вращение. Разрыв на части центробежной силой. Кружение осколков вокруг центрального ядра....

Выдержав семь десятилетий, гипотеза эта рухнула, как известно, на восьмом десятке лет.

Ее сменила космогония Джинса. Время действия то же: около двух миллиардов лет назад. Одинокое, еще «бездетное» солнце несется в мировом пространстве. Случайная встреча с другой проходящей мимо массивной звездой. Выброс клока раскаленной материи. Закручиваясь силой притяжения, — после ухода свершившей свое дело звезды, — пелена обвивается десятками витками спирали вокруг солнца. Каждый виток, стусившись, дает одну большую или рой малых планет.

Восемь написанных на эту тему работ (1911—1919) приносят их автору буквы Ф. Р. С., баронетство, международную научную славу, заслуженное первенство в астрофизике обоих континентов.

Новое поприще остается все же впереди. Сидя еще за гимназической партой, он пишет полные темперамента и публицистического жара журнальные статьи. Товарищи всерьез рекомендуют ему переменить мантию королевского звездочета на стило фельетониста. Он остается равнодушным к этим лаврам тогда. Надолго ли?.. Кто раз отве-

дал запаха типографской краски, тот не отстанет от него никогда. И «двуполюе» рождение планетного мира из случайной встречи двух звезд, — вот тема, разве не благодарная для оформления ее оружием интегралов и дифференциалов в такой же мере, как и для обработки летучим словом?.. И он, тряхнув стариной, прибавляет к восьми специальным своим трудам девятый — «Таинственную вселенную» (1927), книгу, протравленную всеми кислотами взволнованного литературного слова.

Громадный успех. Никто со времен Лукреция не писал так о природе и ее загадках. Никто не говорил так запросто, разбрасывая блестящие острословные фразы, жонглируя сравнениями, спускаясь искусными глиссандо от пафоса к бурлеску, от философского обобщения к веселой шутке, — никто не писал так о звездах, атомах, электронах, квантах.

Какой успех! Какой большой успех! Сэру Ричарду Грегори, книгоиздателю, это ведомо лучше, чем кому-либо в Англии. И вот, вслед за «Таинственной вселенной» уже следуют: «Вселенная вокруг нас»<sup>1)</sup>, «Новые декорации науки», «Звезды на своих путях»<sup>1)</sup>, «Сквозь время и пространство» («подарок детям к рождеству»).

Автор, «чувствующий себя между планетами и атомами столь же свободно, как мы между кушеткой и ночным столиком» (рецензент «Дейли Мейль»), этот автор становится популярен, как Демпси, известен, как Освальд Мосли. Уже в гостиницах и на раутах, между репликами об очередном регби и о состоянии беговой дорожки, только и говорят, что о спектральных линиях и протонах. Уже искусники паркетных острословий «квантуют» танцевальные па и «вычисляют орбиты» своих партнеров...

Салонная физика! Предел культурных возможностей для системы, в которой подлинны массы отделены проволочными запраждениями от научно-по-

<sup>1)</sup> Есть русские переводы: «Вселенная вокруг нас», ГИЗ, 1932, и «Движение миров», ГТТИ, 1933.

пулярной книги, и снобистское клеймо на ней столь же неизбежно, как марка Шеффилда на безопасной бритве.

... Собравшись на очередную сессию в тихом университетском Эбердине, «Британская ассоциация для развития науки» («British association for Advancement of Science»), корпорация, группирующая цвет натуралистов королевства, — могла ли эта ассоциация сделать лучший выбор, предоставив председательское кресло популярнейшему из своих сочленов? И 5 сентября 1934 года взоры присутствовавших с любопытством обратились к кафедре, с которой традиционное президентское послание (Presidential address) подводит, как всегда, последний итог естественной истории мира.

И сэр Джемс Х. Джинс бодро взбежал по ступенькам, некогда гнувшимся под ногами Ньютона и Фарадея. Его «философия эпохи» — концентрат многих устремлений современного буржуазного естествознания — прочтена, размножена и распространена<sup>1)</sup>.

## 2. Отменена ли старая физика?

«... Старое, терпеливо созидавшееся здание теоретической физики рухнуло» — начинает свою повесть о природе вещей сэр Джемс, и мы сразу же вынуждены невежливо прервать эту повесть, напоминая о вещах, столь же простых, сколь и затененных в докладе почтенного теоретика.

Мы вспоминаем тяжелые недоумения читателей массовых журналов и слушателей популярных лекций, посвященных вопросам текущей физики. Иной темпераментный оратор так разгорячится, что у него — смотришь — уже все старое естествознание «лежит в грудях развалин», и из этой груды, словно феникс из пепла, восстают новые теории, новая механика, новое электричество, новый магнетизм... Смущение охватывает слушателя. Как так? Неужто может это быть? Старая механика — го-

ворите вы — отменена, и Ньютон «ликвидирован», а между тем на основе этой «рухнувшей» механики благополучно строятся дома, мосты, метро и многие другие отличные сооружения социализма... Как же ухитрится сосуществовать эта старая механика рядом с новой физикой, продельвающей в своих лабораториях какие-то свои, мудреные и опять-таки неизменно удающиеся опыты?..

Нужно вскрыть эту основную теоретико-познавательную проблему. Нужно понять связь, существующую между старой и новой наукой. Истинный смысл и характер этой связи не требует уже сейчас долгих комментариев.

Мы знаем после бессмертных ленинских работ: «что из суммы относительных истин в их развитии складывается абсолютная истина, что относительные истины представляют из себя относительно верные отражения независимого от человечества объекта, что эти отражения становятся все более верными, что в каждой научной истине, несмотря на ее относительность, есть элемент абсолютной истины, — «все эти положения сами собою разумеются» для всякого, стоящего на точке зрения диалектического материализма»<sup>1)</sup>.

Эти ленинские положения и находят себе совершенно адекватную, полную и точную иллюстрацию в нынешней ситуации в физике.

Сравнивая картину мира классической до-квантовой и до-релятивистской<sup>2)</sup> физики с современным ее этапом, мы сейчас же получаем возможность констатировать конкретную и притом весьма простую математическую связь между старой физикой и новой. Эта связь, по почину Н. Бора, носит название «принципа соответствия» и заключается в следующем.

Максимально возможной в природе скоростью является, как установил Эйн-

<sup>1)</sup> «Картина мира новой физики». См. приложение к № 3384 «Nature», 8 сентября 1934 г., стр. 355.

<sup>1)</sup> Ленин. Избр. произв., т. VI, стр. 197. Подчеркнуто мной. — В. Л.

<sup>2)</sup> «Релятивистский» — в смысле принадлежащий к теории относительности Эйнштейна

штейн, скорость света. Быстрее света не может двигаться ни одна вещь в мире. Обозначаемая обычно латинской буквой *c*, скорость эта равна 300.000 километров в секунду, то-есть невообразимо велика по сравнению с обычными скоростями, наблюдаемыми в земной практике. Каждая точка обода турбины Днепрогэса, вращаясь, делает для примера не больше 2 километров в секунду: в сто пятьдесят тысяч раз меньше по сравнению со скоростью света.

Можно сказать, что скорость света, с точки зрения привычных скоростей земной механики, — чрезвычайно большая величина. И вот ближайшее рассмотрение формул теории относительности показывает, что стоит только положить в этих формулах  $c = \infty^1$ , то-есть считать скорость света бесконечно большой, чтобы уравнения новой механики Эйнштейна, сокращаясь, автоматически перешли в уравнения прежней механики Ньютона. Последняя, отнюдь не «упраздняясь», остается, как видим, функционировать, как частный случай более общей механики Эйнштейна. Конкретно: эйнштейнова механика включает в свое поле зрения не только сравнительно медленные (не свыше сотен километров в секунду), но и очень, быстрые, приближающиеся к пределу «*c*», перемещения. Ньютонова же механика, верная лишь в тех лимитах, пока без достаточной погрешности можно положить  $c = \infty$ , захватывает лишь ограниченный сектор действительности, а именно сектор, связанный с малыми скоростями. И так как техника и непосредственное восприятие мира органами чувств имеют дело как-раз с очень малыми (по сравнению с «*c*») скоростями, то и не удивительно тогда, что «старая» механика в большинстве случаев является целиком и полностью достаточной для производства инженерно-конструкторских расчетов. Впрочем в новейших высоковольтных электроустановках и в рентгеновских трубках большого напряжения, где электроны мчатся с гигантской, исчисляемой десятками

тысяч километров, быстротой, уже приходится практически оперировать с формулами новой механики, уже приходится выходить за пределы механики старой, честно несущей зато свою службу на других участках познания.

Ровно через 3 года после открытий Эйнштейна это положение вещей формулируется Лениным:

«... остается несомненным, что механика (старая механика Ньютона.—В. Л.) была снимком с медленных реальных движений, а новая физика есть снимок с гигантски быстрых реальных движений»<sup>1)</sup>.

... Тот же основной «принцип соответствия» математически связывает старую физику и с теорией квантов Планка.

Вспомним, что такое теория квантов и в чем суть ее новейшего варианта — так называемой «волновой механики» де-Брогля — Шрёдингера.

Теория квантов устанавливает, как известно, что количество энергии, участвующей в любом физическом процессе, не может быть бесконечно мало, но всегда больше некоторого вполне определенного предела. Таким образом, в то время, как теория относительности дает в известном смысле верхний предел, верхний лимит, выше которого не может подняться интенсивность любого физического процесса (если считать за мерилу этой интенсивности скорость механического перемещения), теория квантов выясняет нижний предел, ниже которого не опускается самодвижение вещества. Этот последний, этот наименьший предел «затухания» движения материи, может быть вычислен, если взять за мерилу количественной его стороны произведение из величины энергии на время, в течение которого расходовалась энергия. Произведение это называется в физике «действием» и измеряется в очень мелких единицах, именуемых «эрг-секундами».

Для примера: «действие» самолета, пролетевшего на полной скорости из Ленинграда в Москву, равно примерно сесткиллиону (единица с 21 нулем) эрг-

1) Знак  $\infty$  обозначает бесконечно большую величину (сокращенно: «бесконечность»).

1) Ленин. Избр. произв., т. VI, стр. 163.

секунд. «Действие» мухи, промахавшей крылышками в течение минуты, — около миллиона эрг-секунд. Наименьшее же количество «действия», которое может быть совершено в природе, так называемый «квант действия», обозначаемый латинской буквой «h», равен, как вычислил Планк, 0,00 000 000 000 000 000 000 000 006 эрг-секунды.

Ясно, что по отношению к тем физическим процессам, которые разыгрываются в непосредственных масштабах земной практики, эта величина h может быть спокойно приравнена к нулю. Осязаемость и реальность «кванта действия» h должна почувствоваться, лишь как только от мира сравнительно крупных тел мы обратимся к миру мельчайших, в триллионы раз меньших мухи (и обладающих во столько же раз меньшим действием), объектов: электронов, протонов, атомов... И — заранее говоря — нужно будет здесь ожидать тогда, что законы природы, выведенные в предположении, что  $h = 0$ , будут более или менее отличаться от законов, полученных на основе допущения, что h не равно нулю. Мир мельчайших количеств материи, мир атомов и электронов, другими словами, должен качественно отличаться от мира крупных масштабов, мира привычных «твердых», «жидких» и «газообразных» тел земной практики.

И действительно, та механика, которой подчиняются, даже и при малых скоростях, мельчайшие атомные частицы материи (и которую открыл в 1924 г. под названием «волновой механики» Луи де-Брогль), оказывается резко непохожей как на классическую механику Ньютона, так и на эйнштейновскую механику относительности, упоминавшуюся выше. И — что самое важное — опять и опять, математические закономерности волновой механики Де-Брогля, при подстановке в них  $h = 0$ , оказываются автоматически переходящими в формулы самой обыкновенной механики Ньютона. Эта последняя расшифровывается, таким образом, как частный случай волновой

механики, соответствующей допущению, что размеры (а следовательно, и «действие») движущегося тела достаточно велики.

И на арене физики 1935 года — в итоге — вместо усиленно рекламируемых иными не в меру красноречивыми гидами живописных «развалин» оказываются налицо три относительно верных отражения объективной физической реальности: три слепка, три снимка с картины мира, каждый из которых отличается разным масштабом охвата реальности и разным ракурсом подхода к ней.

И первый из этих снимков, первый и наиболее узкий аспект картины мира, именуемый «классической физикой», копирует, как мы видели, область больших (сравнительно с атомом) пространственных размеров и малых (сравнительно со скоростью света) скоростей. Вторая, несколько более широкая, даваемая теорией относительности картина охватывает область любых скоростей, но опять-таки лишь крупных объемов материи. Наконец третья — «квантовая» или «волновая» — физика, дополняя в известном смысле теорию относительности, дает тот аспект реальности, который соответствует любым (как большим, так и малым) объемам, но зато лишь крупным скоростям...

Вот это постепенное расширение поля познания, эта экспансия физики вглубь и вширь материи может быть графически удобно изображена в виде следующей картины трех накладывающихся друг на друга и отчасти «включенных» один в другой квадратов.

Мир физики Эйнштейна и мир волновой механики де-Брогля, включая в себя порознь классическую физику Ньютона, не объединяются еще, как видим на этой схеме, в своем основном содержании, охватывая и з о л и р о в а н н ы е пока-что еще друг от друга участки мирового бытия.

Конкретно говоря, физика покамест еще бессильна включить в свое поле зрения те физические процессы, в которых очень малые порции материи движутся с огромными, близкими



к пределу, скоростями. Это соответствовало бы, математически, тому условию, что как квант действия  $h$  не считается за бесконечно малую величину ( $h$  не равно 0), так и скорость света  $c$  не признается величиной бесконечно большой ( $c$  не равно  $\infty$ ).

Очередной задачей 1935-го и дальнейших годов в физике является, следовательно, новое расширение физической теории таким образом, чтобы охватить материальные явления, разыгрывающиеся с любимыми скоростями и в любых пространственных масштабах мира. Расширение это должно включить тем самым в новую концепцию в качестве математических частных случаев и волновую механику (при  $c = \infty$ , но  $h$  не равно 0) и теорию относительности (при  $h = 0$ , но  $c$  не равно  $\infty$ ) и законы механики Ньютона (при  $h = 0$ ,  $c = \infty$ )...

Вот эта грандиознейшая познавательная задача пока что, оказывается, явно не по зубам буржуазной физике. Десять лет уже прошло со времени последнего гениального взлета западноевропейской физической теории — с открытия волновой механики де-Броглем и Шрёдингером, — и на этом фактически прекратилось всякое дальнейшее движение впе-

ред<sup>1)</sup>. Впрочем одно, что известно уже относительно механики будущего, это... ее название. «Релятивистская квантовая механика» — так звучит это название. Младенец окрещен, но самого младенца в живых не видно. Будем надеяться, что молодой гений науки пролетариата-диктатора поможет в ближайшее время сделать решающий шаг в направлении к цели.

Но так или иначе, даже и добившись создания искомой теории, мы отнюдь не достигнем, ясное дело, «абсолютной физической истины». Отнюдь не сможем считать работу физики законченной. Ведь «всеобъемлющая» картина мира грядущей «релятивистской квантовой механики» будет обнимать «все» физические явления лишь с точки зрения двух критериев, выражаемых, математически, величинами: «скорости» и «действия». А кроме этих двух, пока известных нам критериев бытия материи, сколько новых, не учитываемых еще, скрывает физическая реальность! Ведь в нашем победном мар-

<sup>1)</sup> Набросанный в 1928 г. П. А. М. Дираком эскиз релятивистской квантовой механики так и остался эскизом, заведомо не дающим полного и четкого решения задачи.

ше вглубь и вширь материи мы дошли еще лишь до ядра атома в области микро-космоса и до галактики (то-есть комбинации из 30 миллиардов звезд) в макро-мире. Мы знаем, другими словами, какие причины связывают миллиарды звезд в чечевицеобразные кучи, называемые галактиками, мы знаем, какие силы сцепляют ядро и электроны в зерно, называемое атомом. Но мы не знаем, в какие высшие единицы группируются мириады самих галактик, равно как не знаем, какие события разыгрываются внутри электрона, внутри протона, внутри атомного ядра...

Именно оттуда придут новые, неведомые еще физические величины, новые характеристики мирового бытия, требующие пристройки все новых и новых квадратов к той окаймленной пунктиром площади, которая изображена «последней» на нашей схеме. Область познания физической реальности — говоря языком данного чертежа — есть плоскость, уходящая со всех сторон в бесконечность. «Природа бесконечна». «Развитие физики вызывает постоянную борьбу между природой, которая не устает давать материал, и разумом, который не устает познавать... Природа бесконечна, но разум также бесконечно превращает «вещи в себе» в «вещи для нас»...<sup>1)</sup>).

### 3. Груши и бананы сэра Джемса

Основное различие между физикой 1895-го и физикой 1935 года — согласно сэру Джемсу — заключается отнюдь не только в том, что вторая благополучно здравствует, тогда как первая представляет «груды развалин». Разницу эту следует, оказывается, продолжить еще и дальше.

Мы можем вернуться теперь к сэру Джемсу Джинсу.

«Классическая физика, — утверждает сэр Джемс, — принимала, что сведения, доставляемые уму через органы чувств, имеют отправной пункт (starting point), и называла этот отправной пункт «материей». «Старая физика воображала, что изучает объективную природу, имеющую

самостоятельное существование, не зависимое от воспринимающего ее ума»<sup>1)</sup>).

И вот какова была причина столь наивного, по мнению оратора, заблуждения.

«Ребенок, когда его учат алгебре, спрашивает: что такое  $x$ ,  $y$ ,  $z$ , и удовлетворяется, когда ему отвечают, что  $x$ ,  $y$  и  $z$  суть числа яблок, груш, бананов или чего-нибудь в этом роде. Подобным же образом старый физик не удовлетворялся  $x$ ,  $y$  и  $z$  и пытался выразить их в образах яблок, груш и бананов».

Этими яблоками, грушами и бананами были атомы, электроны, волны эфира, пространство, время.

Действительно: «есть простой способ показать, что позади  $x$ ,  $y$ ,  $z$  на самом деле ничего нет... Дело в том, что физическое знание оперирует в конечном счете исключительно с измерениями или, точнее, сравнениями между измерениями. Тип физического знания, — это сказать, что линия  $N\alpha$  в спектре водорода обладает длиной волны столько-то долей сантиметра. Но сам сантиметр определяется вслед за тем как такая-то доля земного радиуса или как расстояние между отметками на таком-то стержне. Знание, таким образом, ограничивается числовым отношением... Физическое знание всегда состоит из чисел, и физическая картина мира с необходимостью есть чисто математическая картина. Все же, что привносится туда, помимо математических формул, есть человеческими руками сделанная декорация (scenery). Все наглядные, вещественные детали картины, все яблоки, груши и бананы суть только притчи (parables), с помощью которых мы пытаемся сделать физику более понятной... И если Кронекер<sup>2)</sup> сказал, что в арифметике бог создал целые числа, а человек все остальное, то точно так же в физике бог создал математику, а человек все остальное...»

Для примера: «возьмем положение: «свет состоит из волн». Единственная специфика световых волн заключается в форме соответствующих уравнений.

1) «Nature», № 3384, 1934. Стр. 355—360.

2) Известный немецкий математик, работавший в середине XIX столетия.

1) Ленин. Избр. произв., т. VI, стр. 199.

Пространство же и время, в рамки которых включаются эти волны, есть притча и декорация».

Дойдя вместе с почтенным президентом до этого пункта, мы при всем желании не можем открыть здесь, даже в лулу, что-либо новое по сравнению с многожды разбиравшимися «вздорными мечтаниями» той, по словам Ленина, «небольшой кучки специалистов», которая пытается создать «как бы некоторый экран между физической реальностью и математикой». «Реакционные поползновения, — писал 25 лет назад Ленин, — порождаются самим процессом науки. Крупный успех естествознания, приближение к таким однородным и простым элементам материи, законы движения которых допускают математическую обработку, порождает забвение материи математики. «Материя исчезает», — остаются одни уравнения...<sup>1)</sup>).

Поедая с аппетитом груши и бананы, импортируемые из колоний его величества, сам сэр Джемс еще пятнадцать лет назад навряд ли в глубине души настаивал бы на том, что его желудок наполняется «чистыми  $x$ ,  $y$  и  $z$ », за которыми не скрывается никакого вещественного содержания...

Что же — спрашивается — случилось такое в эти последние годы, что заставило нашего оратора усомниться в материальности сочных даров земли и самой земли и всего того, что ее окружает?!

Вспомним<sup>2)</sup> конкретное содержание волновой механики, в том ее виде, в каком она была установлена в 1924—26 гг. де-Броглем и Шрёдингером. Механика эта вскрывает прежде всего тот основной факт, что поведение мельчайших частиц материи, как например электронов, протонов, альфа-частиц и так далее, не заключается в перемещении этих телец по непрерывным, прочерчивающим пространство, как ракета или как снаряд, траекториям. Если мы вспомним, в этой связи, что образ камня, описывающего параболу в воздухе,

является, может быть, самым привычным из образов внешнего мира в том его аспекте, в каком он непосредственно отражается нашими органами чувств, вспомнив это, мы поймем всю необычность картины, представившейся в 1925 г. перед умственным взором физиков. Но мы не закончили еще беглый набросок этой картины.

Отдельные мельчайшие частицы, входящие в состав атомов,—сказали мы,—не выписывают никаких непрерывных траекторий в пространстве. Они не кружатся, в частности, как это пытались представить первое время, наподобие планет, вокруг ядра атома. Но эти частицы перемещаются прерывным образом, как бы вспыхивая, то здесь, то там, то-есть появляясь и исчезая, снова появляясь и опять исчезая в разных точках пространства... Здесь нет по сути дела отдельных, индивидуально различаемых частиц с определенными, прослеживаемыми от начала до конца биографиями. Здесь нельзя занумеровать каждую частицу, как бы пришили к ней отличительный значок или номер. Ведь срок существования частицы исчисляется триллионными долями секунды. «Вспыхнув» на мгновение здесь, она тотчас же исчезает с тем, чтобы новое появление было обнаружено вслед за тем в новом месте пространства. Появление той же самой или уже другой частицы? Вопрос этот не имеет принципиального смысла, поскольку здесь нет уже больше счета частиц, движущихся по индивидуальнольным траекториям, но есть только счет «оптом», счет числа совершенно однородных и неразличимых<sup>1)</sup> «вспышек», приходящихся в одну секунду на данный объем пространства.

В частности в тех случаях, когда «вспышки» (то-есть прерывные появления и исчезновения) частиц нанизываются вдоль более или менее узкой поло-

<sup>1)</sup> Ленин. Избр. произв., т. VI, стр. 195—196.

<sup>2)</sup> См. об этом подробно в нашей статье «Вопрос о причинности в современной физике», «Новый мир», кн. 2. 1933.

<sup>1)</sup> Неразличимых в тех пределах, пока речь идет о частицах одного и того же качества,—например об электронах. Там же, где сталкиваются на одном и том же участке частицы разного качества, там накладываются друг на друга две мозаики, два калейдоскопа «вспышек».

сы в пространстве, наблюдатель получает иллюзорное впечатление непрерывного «полета частицы по определенной траектории» (так воспринимается, для примера, на фотопластинке прохождение испускаемых радием электронов сквозь наполненную водяным паром «вильсонову» камеру). Тогда же, когда плацдармом «вспышек» электронов оказывается более или менее обширный участок, наблюдатель констатирует присутствие в пространстве чего-то вроде размытого электронного «облака» (наподобие облачка от разорвавшегося в воздухе артиллерийского снаряда). Облака, быстро меняющего свои очертания и обладающего разной степенью плотности в разных своих местах<sup>1)</sup>.

Распределение и чередование электронных «вспышек» в пространстве и во времени — в общем итоге — не является, как уже можно догадаться, беспорядочно хаотическим распределением. Иначе не существовало бы вообще никакой внутриатомной механики, никакого закономерного течения событий в атомном мире. Но это распределение и это чередование управляются некоторым природным механизмом, называемым — как помнит наш читатель<sup>2)</sup> — «пси-волной», или «волной материи». Впервые открытая в 1923 г. Луи де-Броглем, волна эта разыгрывается в заполняющей все бесконечное пространство непрерывной среде — эфире, — и эта волна «рождает» из себя электроны таким манером, что, чем больше размах колебаний пси-волны<sup>3)</sup> в данной точке, тем большее число раз в секунду появляется, «вспыхивает» в этой точке электрон. И так как места наибольшего размаха эфирных волн являются вместе с тем и местами наибольшего

выделения несомой этими волнами энергии, то мы можем сказать, что количество порождаемой пси-волной электронной продукции строго пропорционально энергии этой волны в данный момент времени и в данном месте.

Еще, иначе говоря, электроны, протоны и прочие мельчайшие частицы материи суть не что иное, как те точки (или, точнее, малые объемчики) эфира, в которых на мгновение сосредоточивается энергия де-Броглевых волн. Электроны и протоны — нечто в роде пузырьков пены, вскипающих на гребне особенных волн, изборозжающих распростертый в бесконечном пространстве основной субстрат мира...

Зная, как меняется от точки к точке размах колебаний и как перераспределяется в пространстве и во времени энергия пси-волны, можно предвычислять в каждом конкретном случае густоту и очертания того «облака», в которое сливаются для наблюдателя отдельные электронные «вспышки»...

Таков удивительный калейдоскоп событий, открывшийся перед исследователями глубочайшего подполья материи 10 лет назад...

Какие же выводы делает из этой картины Джинс?

Так как места нахождения электронов в любой момент времени совпадают, как мы видели, с местами, где сосредоточена энергия эфирных волн, то, рассуждая чисто математически, можно при описании атомных явлений вообще не упоминать об электронах, но говорить лишь о распределении энергии пси-волн. Можно ограничиться картиной волн, и только одних волн, в атомном пространстве...

Именно с этой, на первый взгляд довольно безобидной и не слишком порывающей с объективной реальностью, операцией и начинается наш президент.

«Волны (электронные волны де-Брогля), — говорит он, — не суть только описание природы человеческим умом, но они соответствуют самой природе, как таковой... Электрон же существует только в нашем уме, поскольку современная физика не дает пока никакой математической спецификации электрона, кроме

<sup>1)</sup> Неравномерность плотности «облака» происходит от того, что на разные точки объема в 1 секунду приходится неодинаковое число «вспышек», неодинаковое число мгновенных появлений электрона.

<sup>2)</sup> См. нашу статью «Спор об эфире», «Новый мир», кн. 10, 1934 г.

<sup>3)</sup> Эти колебания не надо понимать на примитивный механический лад; пси-волна представляет собою волнообразный процесс особого качества.

указания на связь между интенсивностью волны и вероятностью встречи электрона в данном месте».

«Наблюдения и опыты, — продолжает оратор, — подкрепляют целиком и полностью волновую картину не только как картину нашего представления о природе, но и как картину самой природы (as a picture of Nature itself)»<sup>1)</sup>.

На первый взгляд все в порядке. Природа, состоящая из материальных волн, на самом деле, нисколько не уступает «классической» природе, вылепленной из дискретных материальных объектов: «тел», «электронов», «атомов»...

Заложенная с превеликим искусством философская пестарда взрывается однако как раз в тот момент, когда ее не ждут.

Волны де-Брогя, — услышали мы, — составляют подлинную природу атома и, следовательно, всего мира, взятого в целом. Но что представляют из себя, спрашивается, по своей теоретико-познавательной природе сами эти волны как таковые?.. Пристально взглядываясь в математические строки волнового уравнения де-Брогя—Шрёдингера, м-р Джинс к своему удовлетворению обнаруживает, что по внешнему виду этого уравнения волны де-Брогя оказываются распространяющимися не в трехмерном пространстве, с которым привыкла оперировать физика, а в заведомо условном, чисто математическом пространстве, состоящем из шести, девяти, двенадцати и еще большего числа измерений. Шестимерное пространство! Не слишком ли это много для самого либерального материалиста-физика?

И, в общем итоге, «...волновая картина мира все же оказывается чистым «построением ума», а сами волны могут быть названы «волнами познания (waves of knowledge), имеющими пребывание только в человеческом уме»<sup>2)</sup>.

Но как же так! Всего лишь несколько минут назад те же самые волны были квалифицированы, как составляющие

«картину не только нашего представления о природе, но и картину самой природы».

Противоречие? Вовсе нет.

«... Простое решение вопроса заключается очевидно в том, что внешний мир имеет существенно ту же самую природу, что и идеи ума...» «Природа состоит из волн, которые суть волны того же самого качества, что и волны познания, существующие лишь в уме...»

Но если природа и внешний мир состоят из идей «моего» ума, то этот мир есть уже не внешний, а внутренний, и все переливающееся бесчисленными красками мировое бытие оказывается тогда проглоченным в пасти субъективно-идеалистического шпагоглотателя?

Именно так.

«... Генеральный тезис новой физики звучит: природа состоит в такой же мере из воспринимаемых вещей, как и из самих восприятий... Природа не есть объект в соотношении субъект — объект, но есть само это отношение... В старой физике воспринимающий человеческий ум был наблюдателем, в новой физике он есть действующее лицо событий (in the old physics the perceiving mind was a spectator, in the new it is an actor)...» «Этот тезис находит себе окончательное выражение в картине, согласно которой природа состоит из волн того же самого качества, что и волны познания, существующие в уме». «В этом смысле можно сказать, что новейшая физика отталкивающего (forbidding) материализма... подвинулась в сторону философского идеализма».

Головокружительное салто маститого президента, прыгнувшего с трамплина «отталкивающего» материализма дней своего творческого расцвета на платформу открытого солипсизма, благополучно совершен, но остаются еще кое-какие неровности, которые срочно требуется загладить и подчистить.

«Это (то-есть проповедь субъективного идеализма в физике. — В. Л.) приводит

<sup>1)</sup> «Nature», № 3384. 1934. Стр. 361.

<sup>2)</sup> Там же. Стр. 362.

нас однако к фундаментальной трудности, присущей любым формам философского идеализма... Если природа, как мы нашли, состоит в широких пределах из построений нашего ума, то каким образом все различные умы конструируют одну и ту же вселенную? Почему, коротко говоря, все мы видим над собой одно и то же солнце, одну луну, одни звезды?..»

Действительно, как убедить почтеннейшую публику в том, что развиваемая перед нею самоновейшая философия природы не является, — как говаривал о солипсизме Ленин, — «философией сумасшедшего дома», более приличествующей для сеанса черной и белой магии в какой-нибудь Третьей империи, чем в качестве тезисов для председательского доклада на собрании старейшей в Европе корпорации естествоиспытателей...

«... Старая корпускулярная картина мира, оперировавшая внутри пределов пространства и времени, расщепляла материю на множество дискретных частиц, а свет — на поток фотонов (частиц света). Новая и более точная волновая картина, преодолевшая (transcends) рамки пространства и времени, сливает фотоны обратно в единую струю света, а поток параллельно движущихся электронов — в непрерывный электрический ток... В биологии та же тенденция обнаруживается по отношению к клеткам тела животных и растений. Но то, что верно для познаваемых вещей, то может быть верно и для познающих умов. Когда мы (люди) рассматриваем самих себя в рамках пространства и времени, мы кажемся себе разобщенными индивидуумами; когда же мы перейдем за границы пространства и времени, мы можем оказаться лишь неделимыми частями непрерывного потока жизни... Отсюда только один шаг до решения проблемы, предложенного многими философами от Платона до Беркли и находящегося целиком в кругу картины мира новой физики...»

Было бы небезынтересно напомнить тут читателю это «решение проблемы»,

данное 250 лет назад шотландским попом Беркли. «Решение» это заключается, как известно, в вере в господу бога, возбуждающего по единообразному рецепту в отдельных человеческих умах (представляющих эманацию этого же самого бога) комбинации ощущений, называемые внешним миром.

Ровно 25 лет назад неизбежный приход физического идеализма в лоно Беркли был предсказан, как известно, Лениным, и это предсказание вызвало в то время бурю негодования со стороны оравы филистеров, возмущенных столь печальной перспективой для невинности опекаемой ими махистской девицы.

«... Меньшинство новых физиков под влиянием ломки старых теорий великими открытиями... скатились к идеализму... Начав с Канта... они пошли к Юму и к Беркли»<sup>1)</sup>.

Историческое значение рассмотренной речи Джинса заключается, следовательно, в первую очередь в том, что впервые безо всяких экивоков и недомолвок физический идеализм всенародно расписывается здесь в получении того «волчьего» идеологического паспорта, который 25 лет тому назад был вручен этому идеализму Лениным.

Крот истории роет неплохо! Понадобились два десятилетия напряженных идеологических боев большевизма со «стоящим во всеоружии, располагающим громадными средствами и продолжающим неуклонно воздействовать на массы»<sup>2)</sup> агитпропом реакции в физике, чтобы заставить наконец этот агитпроп полностью раскрыть свои карты, свое подлинное поповско-фашистское лицо.

Это сделано.

Не меньший интерес представляет эбердинское экспозе и для выяснения той новой тактики физического идеализма в волновой механике, которая наметилась в самые последние месяцы и наиболее талантливо, как всегда, нашла формулировку в речи сэра Джинса.

1) Ленин. «Материализм и эмпириокритицизм». Изд. 2-е. 1925. Стр. 281.

2) Там же.

Разбирая два года тому назад на страницах «Нового мира»<sup>1)</sup> тогдашнюю ситуацию в физике атома, мы следующим образом сформулировали смысл первоначальной фальсификации волновой механики, на путь которой отдельные буржуазные физики встали на следующий же день после гениального открытия де-Брогля... «Вся суть маневра, — писали мы, — заключается в том, что синтез между непрерывностью и прерывностью материи, вчерне намеченный де-Броглем, нарушается с таким расчетом, чтобы из реальности оказалась вычеркнутой непрерывная волна материи... Вычеркивается и объявляется математической фикцией объективно-реальная волна, связанная с электроном и определяющая поведение электрона в пространстве и времени... И раз не существует более материальная волна, то не существует более и какая бы то ни было причинная необходимость появления электрона в данный момент в данном месте... Ведь причиной появления электрона там, а не здесь, является волна. А ее теперь нет. И раз нет волны, то нет и никакой причины, которая бы с необходимостью заставляла электрон появляться в точке № 2 через секунду после того, как он находился в точке № 1... Теперь получается, что сама природа вещей такова, что электроны прыгают без причины с места на место. А это равносильно тому, что электрон как бы сам выбирает, куда ему идти: налево или направо»...

Положение было ясно. Было ясно, что же, собственно говоря, выигрывала в те годы физическая поповщина в результате только-что рассказанной операции. Она выигрывала, как видим, «ликвидацию» закона причинности (индетерминизм) в мире электронов и атомов. Она получала «свободу воли электрона». Она получала много весьма полезных для себя вещей, но она не получала все же самого главного... Да, безусловно, электроны, обладающие «свободой воли», «выбирающие», куда им идти: направо или налево, являлись до некото-

рой степени более подходящими для зачисления их по духовному ведомству, нежели электроны, следующие железному закону материалистической причинности.

Да, безусловно, на «беспричинных» электронах можно было строить и умело подогревать ту индетерминистскую кампанию, которая заполонила вплоть до 1933 г. все учебники по волновой механике и была распространена миллионными тиражами среди читателей журналов всех стран.

Все это, говорю я, было хорошо. Но «вся беда» оказывалась в том, что эти, «освобожденные» от материалистической причинности, электроны все же продолжали еще как-никак существовать в качестве независимых от человеческого сознания материальных объектов во внешнем мире. И как таковые объекты они должны были еще лить воду на мельницу «оттапливающего» материализма...

Это раз. Помимо этого, полная беспричинность, столь соблазнительно наклеивавшаяся в физике еще два-три года назад, уж слишком резким образом оказывалась противоречащей самой специфике естественно-научного исследования, уж слишком явно выдавала этим противоречием те белые нитки методологической фальсификации, которыми она была шита, чтобы можно было долгое время настаивать на этой фальшивке.

Слишком велико было, в-третьих, то могучее обаяние точности и закономерности, которыми издавна импонировало естествознание (и в частности физика) в глазах широких масс, чтобы можно было легкомысленно колебать этот авторитет, растрчивая капитал, который выгоднее было бы попытаться обратить для одурачивания тех же самых масс.

Слишком отчетливыми и наглядными были наконец доказательства существования волн материи в многочисленных конкретных опытах (о них — ниже).

И в довершение всего, с точки зрения чисто-богословской, концепция полного индетерминизма и неограниченной «свободы воли электрона» могла быть в свою очередь признана по меньшей мере дискуссионной, как противоречащая

<sup>1)</sup> См. «Новый мир», кн. 2. 1933. «Вопрос о причинности в современной физике».

принципу диктатуры боженьки, вряд ли легко согласуемого с беспардонно-анархическими электронами Борна, Гейзенберга и прочих квантовых механиков первого призыва.

При учете всех этих обстоятельств дни повальной моды на индетерминизм явным образом были сочтены, и на пороге 1935 года мы и являемся в действительности свидетелями нового курса и новой официальной директивы, с обычным температуром провозглашенной 5 сентября 1934 г. с эбердинской кафедры.

Суть и смысл вышецитированной декларации сэра Джинса заключается, как мы видели, в том, что стихийно-диалектический синтез прерывных и непрерывных свойств физической материи (синтез волны и частицы) оказывается разорванным на этот раз по линии «упражнения» не волны (как в 1926 г.), а частицы. Нереальными, обреченными якобы только неуклюжей ограниченности людского восприятия, объявляются ныне: электроны, фотоны, протоны и любые другие материальные корпускулы... Волны же, электронные волны, получают милостивую амнистию... Но если существуют волны, то существует и полный детерминизм, полная причинная обусловленность явлений. Ход распространения всякой волны управляется, как известно, вполне определенным математическим законом, и все без исключения физические эффекты, имеющие произойти в пространстве, где распространяется волна, могут быть предсказаны и предвычислены на любой срок вперед.

... И, не моргнув глазом (после того как индетерминистская свистопляска не сходила в течение 10 лет со страниц его же собственных «Таинственных вселенных» и «Вселенных вокруг нас»), сэр Джинс великодушно провозглашает отныне и навеки... полный и неограниченный детерминизм. Да будет детерминизм! «... Картина волн, подтверждаемая всеми экспериментами, дает полный детерминизм (a complet determinism)...»

Вы так заинтересованы в причинности, товарищи материалисты, — пожалуйста, возьмите себе ее! Сэр Джинс

охотно вам ее уступает. Но не спешите радоваться. «Между двумя детерминизмами, старым и новым, есть однако существенная разница... Так как волны, участвующие в новой картине мира, суть «волны познания», существующие только в уме, то и детерминизм, даваемый этими волнами, есть в конечном счете детерминизм самого ума»...

То есть природа кажется нам причинно-закономерной лишь потому, что вся природа эта уместается внутри черепной коробки сэра Джинса Джинса, в коей коробке господом богом заведен полный и нерушимый порядок...

По существу этой глубокомысленной «природы» образца 1935 г. остается сказать немного. Мы видели уже, что узловым методологическим моментом всей «картины мира» доктора Джинса является истолкование объективно-реальной волны материи (предварительно оторванной от находящихся с нею в единстве частиц) как чисто-«мыслительной», математической волны, заведомо не связанной с трехмерным пространством «отталкивающих» материалистов...

Ведь уравнения этих волн пишутся не в 3, а, как правило, в 6, 9, 12 и большем числе измерений. Как быть с этим сомнительным, на первый взгляд, пунктом?

Гвоздь вопроса состоит, очевидно, в том, что если бы волны материи, волны де-Брогля действительно ничего общего не имели с трехмерным пространством, то эти волны никогда и не смогли бы быть восприняты и наблюдаены на опыте в рамках трехмерного пространства.

Но они наблюдаются в этом пространстве! Серия замечательных опытов, неоднократно осуществленных Г. П. Томсоном, Руппом, Дэвиссоном-Джермером и другими, совершенно наглядно, конкретно и осязаемо показывают это. В указанных опытах очень быстрые электронные пучки, проходя через тонкие металлические пластинки, оставляли на фотографической пластинке кольцеобразные (так называемые дифракционные) отпечатки, могущие получиться только в результате прохождения как их-то

связанных с электронами волн, — и никаким иным способом!

Наиболее здравомыслящие исследователи, как например известный американский теоретик Карл Дарроу, давно уже обратили внимание на это решающее всю проблему обстоятельство.

«Скептики, — пишет Дарроу<sup>1)</sup>, — могли бы с основанием указать, что надежда увидеть когда-либо наглядно распространение де-броглевых волн (если напираться на их многомерность и математическую абстрактность. — В. Л.), так же необоснованна, как надежда увидеть когда-либо воочию любые другие математические функции, скажем  $x$  и  $y$  из какого-либо алгебраического уравнения... Ведь «сказать, что волны существуют только в неевклидовом пространстве, практически означает почти то же самое, что сказать, что в физическом смысле они не существуют вообще. Почему же в частном случае, который приводит к волнам в трехмерном пространстве, эти волны должны быть более реальны, чем в общем случае?...»

Из всего сказанного прямо следует тот вывод, что формальная многомерность уравнений де-броглевых волн является лишь чисто-внешним математическим оформлением этих волн, является вычислительной ширмой, за которой скрывается самое конкретное трехмерное волновое содержание.

Другими словами, мы, физики, не научились еще «по-человечески» записывать наши впечатления от электронных волн де-Брогля в виде сколько-нибудь внятной трехмерной математической записи... Но из этого также мало можно вывести, что волны эти не существуют в трехмерном пространстве, как нелепо было бы заключить на основании бесцветности фотографических изображений, что в природе нет цветов и красок!

С этой точки зрения представляет дискуссионный интерес недавнее высказы-

вание одного из руководящих советских физиков: «... казалось, что новые материальные электронные волны можно представить себе в достаточной степени наглядно, как волны, проходящие в трехмерном пространстве, хотя и отличные от электромагнитных... Эта попытка оказалась неудачной... От такой наглядности пришлось отказаться»<sup>1)</sup>.

От какой, собственно говоря, наглядности пришлось отказаться? Если дело идет о трактовке де-броглевых волн как чисто-механических колебаний эфира, то о невозможности такой «наглядной» трактовки с самого начала не было двух мнений. Если же вопрос ставится о де-броглевой волне, как о некотором вполне реальном колебательном (хотя и не механическом) процессе, разыгрываемом в трехмерном пространстве и во времени, если вопрос ставится так, тогда ни о каком принципиальном отказе от такой наглядности не может быть и речи. Может идти, повторяю, речь только о провизорной технической невозможности «заснять» в настоящее время пси-волну трехмерным математическим аппаратом. Может идти речь о «нужде», из которой отнюдь не следует делать «добродетель»...

И это обстоятельство немедленно же выдвигает перед нами новые вопросы, полные животрепещущего принципиального интереса не только для специалистов, но в первую очередь для напряженно следящих за штурмом материи обширных читательских масс...

Какую роль, спрашивается, играет наглядность в новой и в старой физике? Действительно ли так уж безнадежно непредставимы пейзажи, раскрывающиеся в глубоких недрах материи перед современной физикой? Действительно ли навсегда прошло время для создания физических моделей, дающих четкую расстановку материальных событий в пространстве и во времени? И так ли уж фиктивны те

<sup>1)</sup> К. К. Дарроу. «Введение в волновую механику Шрёдингера». Русск. перевод. «Успехи физических наук». Вып. 4. 1929. Стр. 500 — 501.

<sup>1)</sup> Акад. А. Иоффе. Стенограмма доклада на сессии Института философии Комкадемии (20—23 июня 1934 г.). «Развитие атомистических воззрений в XX веке», «Фронт науки и техники». 9. 1934. Стр. 30.

«груши и бананы», которыми населена чувственно воспринимаемая нами арена мира?

#### 4. Можно ли „наглядно представить“ новую физику?

Общий стон по поводу «непонятности» новой физики, несущийся сейчас со стороны естествоиспытателей смежных с нею специальностей (не говоря уже о широких читательских массах), — этот стон бесспорно обязан не только математическому туману, напускаемому в новую картину мира физическими обскурантами, но явно зависит и от какой-то более глубокой подоплеки.

Да, действительно, мир, раскрываемый физикой 1935 года, — по самой природе вещей, — менее нагляден, чем мир, представлявшийся перед взором физики года 1895-го. Но где границы этого ущерба наглядности? И в чем его сокровенная причина?

«Наглядность» — как показывает уже грамматический корень этого слова — заключается в возможности воссоздавать ход исследуемого события в виде определенного зрительного образа. Зрение («глядение») есть тот физиологический канал, который дает нам наибольшую сумму непосредственных впечатлений от внешнего мира. Слепота в весьма значительной степени отсекает человека от этого мира. Слух, осязание, обоняние выполняют явно второстепенную роль...

Полностью отменяя всяческие мистические спекуляции<sup>1)</sup> на этом приоритете зрения над другими человеческими чувствами, мы должны тем не менее в полном согласии с фактами констатировать, что многие привычки нашего повседневного мышления, привычки нашего разумного сознания оказываются, в основном, настроенными на зрительные образы. Мы «ясно представляем» себе лишь то, на что глядим (или на

что можем посмотреть мысленным взором). Миллионы лет биологической эволюции человека приучили его ориентироваться — в первую и основную очередь — на зрение. И раз так, тогда наиболее доступными для понимания, наиболее легко закрепляемыми сознанием должны оказаться те фрагменты, те аспекты физической реальности, которые поддаются расщеплению и до конца с помощью зрительных образов.

Что же это за аспекты?

Из всего бесконечно разнообразного, включающего в себя как прерывность, так и непрерывность, океана материи человеческий глаз зачерпывает, во-первых, только прерывную сторону бытия, только отдельные, дискретные пятна, рассеянные на непрерывном фоне мира.

Действительно, для того, чтобы увидеть, надо осветить окружающее глаз пространство световой волной.

Набежав на неоднородность (щель, экран, бугор) на своем пути, волна перекачивается через нее, изменив свое направление. Так возвышающийся над морем риф дробит накатывающийся на него водяной вал.

Не будь этих «риффов», не будь неоднородностей в эфире, будь мир построенным из сплошь однородной по всем направлениям среды, он никак не подействовал бы на ход приближающейся к глазу (или к прибору) волны и не произвел бы никакого дифференцированного впечатления на человеческое сознание. Посмотрев на такой мир, человек не воспринял бы ничего, кроме ровного белесого тумана, залепляющего со всех сторон вселенную... Но это не так. Мы не просто видим, но различаем. Различаем неоднородности в материальном субстрате мира. Мозаика разбросанных то здесь, то там пятен этих неоднородностей и составляет содержание той кинофильмы, которая ежеминутно и ежесекундно проносится на экране нашей сетчатки...<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Принадлежащие в частности модной сейчас на Западе идеалистической школе «эйдетики».

<sup>1)</sup> «Острота» различения варьируется при этом в зависимости от того, какими волнами пользуется и какими приборами дополняет свой глаз наблюдатель. Невооруженный че-

Из всей сложности и из всего многообразия изменений и процессов, идущих в материальном субстрате мира, человеческий глаз улавливает, далее, лишь процесс перемены мест, занимаемых отдельными дискретными неоднородностями в пространстве.

Неважно, что эта смена мест происходит в конечном счете, как мы видели, прерывным образом! Неважно, что мельчайшие неоднородности эфира, мельчайшие «пятнышки», называемые электронами, фотонами, протонами и т. д., «вспыхивают» время от времени, появляясь и исчезая то в одном, то в другом месте, наподобие пузырьков пены за кормом быстро идущего корабля!

Неважно потому, что человеческий глаз все равно не в силах заметить эту млокочущую в глубочайшем подполье материи корпускулярную толчею. Но подобно тому, как мерцание мириадов кишащих в морской воде светящихся бактерий сливается для глаза в одну широкую фосфорическую струю, подобно этому и калейдоскоп отдельных прерывных перемен места мириадов частиц сливается аппаратом восприятия в одно плавное перемещение более или менее крупного «пятна» (например летящего над полем футбольного мяча) по непрерывной траектории. Так густой, пролетающий вдалеке косяк перелетных птиц превращается для наблюдателя в сплошное темное облачко, стремительно движущееся как одно целое в поднебесьи.

Остается добавить, что зрительный образ непрерывно перемещающегося в пространстве «пятна» неизбежно предполагает перемещение с достаточно умеренной скоростью. Глаз должен, други-

ловеческий глаз способен различать неоднородности размером не меньше одной десятой миллиметра. К тому же этот глаз настроен только на световые волны строго ограниченного (от 4 до 8 сотыхсантиметра) диапазона длин. Неоднородности, меньшие 4 сотыхсантиметра, таким образом, не могут быть различимы прямо на глаз ни в какой оперирующей с видимыми световыми волнами микроскоп. В этих случаях приходится действовать уже косвенными путями, заменяя глаз фотографической пластинкой и видимые световые волны — невидимыми волнами Рентгена или де-Брогля.

ми словами, успевают следить за прохождением «пятна» через все последовательные точки пространства. Летящий же с ураганной быстротой предмет, например пуля, вообще не оставляет никакого зрительного впечатления, так как мозг просто не успевает тут притти в возбуждение в течение молниеносно-малого времени прохождения объекта перед экраном сетчатки.

Сами «пятна», сами агрегаты электронов, протонов, атомов должны быть, в свою очередь, достаточно крупны, так как зрительный эффект кажущегося слитного перемещения возможен, как говорилось, лишь при взаимоналожении огромного количества отдельных корпускулярных «вспышек».

... Итак, медленные, плавные перемещения дискретных «тел» по непрерывным траекториям в пространстве. Но как-раз в кругу именно этого, единственно доступного зрительному восприятию, аспекта вселенной и находилась, как мы видели, самая ранняя из картин мира, созданных физикой по ходу ее истории. Мир Ньютона. Мир малых (по сравнению со светом) скоростей и больших (по сравнению с атомом) размеров. Мир планет и лун, маховых колес и веретен, «груш» и «бананов»... Но тогда неудивительно, что этот, описываемый уравнениями ньютоновой механики, мир, находясь почти целиком в поле (вооруженного или невооруженного) человеческого глаза, оказывался до конца «наглядно ясным» и не требовал никаких особых усилий для своего осмысления.

Можно ли однако отсюда сделать вывод, что этот «добрый старый» макрокосмос является в действительности лишь чистой иллюзией нашего восприятия? Что он населен призраками? Что все груши, бананы, футбольные мячи, столы и стулья, взятые сами по себе, en gros, в том виде, в каком они рисуются нашему зрению, являются фикциями, не соответствующими никакой реальности?..

Вскроем эту проблему. Да, конечно, те крупные, плавно и непрерывно перемещающиеся «пятна» неоднородностей эфира, которые проносятся

перед сетчаткой под видом футбольных мячей, водяных струй или газовых облаков, все эти, якобы сплоскнутые пятна в основе своей являются составленными из роев мельчайших «пятнышек», не совершающих никаких плавно-непрерывных перемещений... Но все дело в том, что самый процесс аггломерации, самый процесс соединения мириадом электронов и протонов в обемистые рои («тела») не является чисто-субъективным, «мыслительным» процессом, существующим лишь в человеческом мозгу. Но этот процесс имеет вполне объективно-реальный эквивалент во внешнем мире. На самом деле: переходу от одного электрона (прерывно «вскипающего» то здесь, то там) к плавно летящему футбольному мячу (составленному из мириадом электронов) соответствует в объективной реальности переход от одного определенного объема эфира к в дециллионы раз большему объему. И суммарное перемещение этого последнего объема, взятого как целое, совершенно независимо ни от каких особенностей человеческого зрения, должно происходить и фактически происходит непрерывно-толчкообразным, а непрерывно-плавным образом... Об этом факте свидетельствуют лучше всего уравнения волновой механики де-Брогля. Достаточно, как мы видели, применить уравнения эти не к одному электрону, а к крупной материальной массе (подставив  $h = 0$ ), чтобы формула прерывной смены мест переписалась автоматически в формулу непрерывного перемещения. Бесполезно было бы гадать здесь — «кто же это так догадался подставить уравнения», что они приводят как-раз к тому же самому результату, что и образы, даваемые человеческим зрением. Но единственно мыслимым выводом является то, что сами эти образы наряду с уравнениями являются отражением в двух разного сорта зеркалах одной и той же объективно существующей реальности...

И невзирая на все вопли о «наивном реализме» (самый страшный грех с точки зрения обскурантствующих естество-

испытателей!), современный физический материализм должен, в итоге, со всею решительностью считать доказанным бытие «груш», «бананов» и всех вообще макроскопических предметов внешнего мира — в том самом виде (в той самой, выражаясь фигурально, коже и с тем самым мясом), в каком они совершенно точно и адекватно отражаются нашими органами чувств.

Другое дело однако, что, кроме этих наглядно воспринимаемых дискретных макрообъектов: кроме груш, бананов, планет и солнц, существует еще множество других аспектов физической реальности, заведомо не поддающихся полной расшифровке их в зрительных образах.

Сюда относится прежде всего вся громадная область процессов и свойств, связанных с непрерывностью материи, то-есть с эфиром.

Мы не можем «наглядно представить» себе эфир, мы не можем «почувствовать» его строение и движение, потому что наш глаз (и настроенное на него привычное мышление) по самому своему устройству, как мы видели, имеет дело только с прерывностями, различаемыми на непрерывном фоне мира. «Увидеть» же самый этот фон так же невозможно, как увидеть воздух в наполненной вещами комнате. Но там, где нет прерывности, там нет и смены мест отдельных прерывных пятен в пространстве. Там нет, значит, и того единственно доступного зрительному восприятию аспекта физического движения, который называется механическим перемещением.

Первое же знакомство физики с этой закулисной, непрерывностной стороной бытия материи выразилось, как известно<sup>1)</sup>, в невозможности механически-наглядно освоить электромагнитную волну, открытую в 1885 г. Герцом. Нам ясны теперь причины этой невозможности.

«Электромагнитная» (она же радио-, она же световая) волна есть колебатель-

<sup>1)</sup> См. подробно в нашей статье «Спор об эфире». «Новый мир», кн. 10, 1934.

ный процесс, разыгрывающийся в эфире, и как таковой процесс она так же мало поддается наглядному описанию, как и внешний вид жителей на Марсе... Это не мешает физике с достаточной точностью, чисто-количественно, описывать ход этой волны в пространстве и во времени, пользуясь определенными математическими выкладками...

С выходом физики в 1905 г. из «малого мира», из ньютонова мира незначительных скоростей и крупных объемов, в более просторный мир Эйнштейна число «ненаглядностей» закономерно множится и растет, как снежный ком. Попав в эйнштейнов мир, мы не можем прежде всего подыскать зрительного, наглядного эквивалента так называемой кривизне пространства или, точнее, эфира. Мы не можем «представить» себе пространство и эфир «кривыми» и по той простой причине, что зрительный образ «искривления» не содержит ничего иного, кроме и з м е н е н и я ф о р м ы определенных, д и с к р е т н ы х предметов. Искривиться для глаза может струна, рельс, лист бумаги или железа, но отнюдь не уходящая со всех сторон в бесконечность непрерывная среда, не имеющая ни дискретных «краев», ни «формы»... Тем не менее феномен так называемой «кривизны пространства» явным образом существует, поддается точному описанию с количественной его стороны, и одним из повседневных проявлений этого феномена является, как мы знаем, падение по параболе камня или движение земли по эллипсу вокруг Солнца.<sup>1)</sup>

Отлично! Но вот вопрос, ответ на который имеет решающее значение для прогноза всех дальнейших судеб материалистической физики.

Положен ли какой-нибудь принципиальный предел сужению наглядности в физике, и ли же клубы непроницаемого математического тумана обещают закутать физические открытия ближайшего будущего, сделав невозможным никакое рациональное их изяснение?!

<sup>1)</sup> См. нашу статью «Спор об эфире». «Новый мир», кн. 10, 1934.

Не наступит ли и впрямь завтра то положение, о котором один из упавших духом буржуазных интеллигентов растерянно вещает в следующих выражениях:

«... Новая физика непонятна большинству из нас. Она развивается таинственно, как мистическое настроение в монастыре... Ее пророки уже сейчас едва понимают друг друга, а может быть, и самих себя...»<sup>1)</sup>

«Папа» современной западно-европейской физической теории, Нильс Бор считает, что дело идет именно к этому. Планируя релятивистскую квантовую механику (то-есть ту физику ближайшего будущего, которая будет включать в себя как теорию относительности, так и волновую механику), «мы должны, — пишет Н. Бор, — быть готовы к еще большому отказу от наглядности...»<sup>2)</sup>.

Одним из главнейших «пережитков» наглядности, застрявшим еще в новой физике по наследству от физики старой, Нильс Бор считает в частности «пространственно-временную координацию событий», то-есть описание материи в трехмерном пространстве и во времени. «Координация» эта потерпела, по мнению Бора, свой первый ущерб в теории относительности Эйнштейна, открывшего, как мы знаем, что пространство может быть не только «прямым» (евклидовым), но и «кривым». Волновая механика якобы продвинула эту тенденцию дальше, заставив волны де-Брогля распространяться не в трех-, а в многомерном пространстве. Следующий же и последний шаг, — пророчествует датский физик, — должен будет заключаться в полной ликвидации пространства и времени в физике.

С точки зрения сэра Джемса Джинса, такая ликвидация была бы конечно вполне закономерным явлением. Ведь пространство и время в его концепции суть лишь «декорации, вводимые чело-

<sup>1)</sup> Santayana. Quelques tours dans la pensée et dans la philosophie moderne. Цит. по А. С. Gifford. L'imortalité de l'Univers, «Scientia». Ноябрь. 1934. Стр. 124.

<sup>2)</sup> Н. Бор. Квантовый постулат и новое развитие атомистики. «Успехи физических наук». Том VIII. Вып. 3. 1928. Стр. 337..

веческим умом для описания явлений», и если театральный режиссер имеет право, когда ему заблагорассудится, выбросить обветшавшие декорации вон, то почему не может сделать этого физик?..

Некоторые другие авгуры идут еще дальше. Излагая последние опыты атомно-ядерных бомбардировок, произведенные Ф. Жолио и Э. Ферми в Париже и Риме<sup>1)</sup>, и останавливаясь на затруднениях, возникших по вопросу о том, как построены, то-есть из каких еще более мелких телец состоят, простейшие, пока найденные внутри атомных ядер, частицы: протон и нейтрон, ленинградский физик М. П. Бронштейн ставит такой прогноз:

«... Очевидно в будущей теории смысл самого слова «состоять» будет иным, менее узким, чем тот, в котором мы обычно употребляем это слово...»<sup>2)</sup>

Но позвольте, какой еще иной, более «широкий» смысл может быть у слова «состоять», кроме того, что некое целое есть сумма каких-то определенных частей? Пустяки. *Nous avons changé tout cela!*..

«В природе, может быть, имеют место события, выходящие за пределы нашего наглядного представления о том, каким образом целое может состоять из частей...»<sup>3)</sup>

На этом месте следует сказать: стоп. Довольно иррациональной чертовщины, господа! Веревка есть веревка простое, и единственный физический смысл слова «состоять», если начать расшифровывать это слово дальше, заключается в том, что один материальный объект занимает объем трехмерного пространства, находящийся внутри другого, большего объема. Сказать, что могут «иметь место события, выходящие за пределы» этого смысла, означает, таким образом, то же самое, что сказать,

что могут иметь место физические события, разыгрывающиеся вне трехмерного пространства и времени.

Там же, где кончаются трехмерные пространства и время, там кончается и физика. «Материализм имеет право выводить, что никакие измышления и ни для каких целей, выходящие за пределы пространства и времени, недействительны...»<sup>1)</sup> «Пространство и время... не простые формы явлений, а коренные условия бытия...»<sup>2)</sup>.

Действительно, пространственность, протяженность, объемность, как это сформулировал еще Спиноза, имманентно выражают множественность материальных вещей во вселенной и их структурность, с другой стороны. Множественность и разнообразие вещей необходимо связаны с тем, что одни из них находятся *вне* других. Структура же, то-есть факт сложного строения (имеющий место на всех ступенях бытия материи), предполагает, что одни вещи заключены *внутри* других. Универсальный гносеологический смысл понятий, выражаемых словами: *вне* и *внутри*, соотносительны, в итоге, универсальной реальности физического пространства. Феномен же физического времени («длания»), как также хорошо известно, есть прямое и непосредственное отражение факта беспрестанного изменения *всех* без исключения *материальных* вещей и всего бесконечного мира, взятого в целом.

Можно напомнить еще, что объективная реальность трехмерного пространства и времени в крупных масштабах вселенной непосредственно доказывает, что ощущения пространства и времени дают человеку правильную ориентировку во всей его практической деятельности. Без координации действий в пространстве и во времени не возможен был бы ни один шаг, ни один физический опыт... «Человек не мог бы биологически приспособиться к

<sup>1)</sup> См. подробно об этих опытах в наших «Научных обозрениях», «Новый мир», кн. кн. 6 и 12. 1934.

<sup>2)</sup> М. П. Бронштейн. Искусственная радиоактивность. Сорена. 5. 1934. Стр. 78 (подчеркнуто мной. — В. Л.).

<sup>3)</sup> Там же.

<sup>1)</sup> Ленин. Избр. произведения, т. VI. Стр. 133.

<sup>2)</sup> Там же. Стр. 127.

среде, если бы бы его ощущения не давали ему об'ективно-правильного (подчеркнуто Лениным) представления о ней<sup>1)</sup>.

Гарантией же того обстоятельства, что пространство и время являются формами материального бытия и в тех мельчайших масштабах, где утрачивается возможность непосредственного ощущения (то-есть в масштабах электронов, фотонов и любых малых частиц), служит связь этих частиц с эфиром. Не существует, как мы знаем,<sup>2)</sup> частиц, отдельных от эфира, но эфир и частицы являются лишь двумя сторонами бытия одной и той же материи. Распростертый в бесконечном пространстве эфир включает в себя электроны, фотоны и т. д., и выйти с этими частицами «за пределы» пространства значило бы выйти за пределы эфира, то-есть материи. «Вещество, — говорит по этому поводу Ленин, — ...существует не иначе как в пространстве с 3 измерениями, а следовательно, и частицы этого вещества, хотя бы они были так мелки, что видеть мы их не можем, «обязательно существуют в том же пространстве с 3 измерениями»... «Может устареть, — продолжает Ленин, — и стареет с каждым днем учение науки о строении вещества, о химическом составе пищи, об атоме и электроны, но не может устареть истина, что человек не может питаться мыслями и рожать детей при помощи одной только платонической любви». А точка зрения, «отрицающая об'ективную реальность пространства и времени, так же нелепа, внутренне гнила и фальшива, как отрицание этих последних истин»...<sup>3)</sup>.

И — в итоге всех итогов — перспективы «наглядности» во всем дальнейшем развитии физики оказываются далеко не столь уже безнадежно-мрачными, как его вид малюют господа авгуры!..

Мы видим, что одни из важнейших элементов всякого зрительного образа — трехмерное пространство и время —

целиком и полностью сохраняют свою силу на всех стадиях экспансии физики вширь и вглубь материи. Пространство и время — вот неизменная связь между аппаратом наших органов чувств и событиями, разыгрывающимися в любых, самых потаенных уголках материального мира! Ибо там, где есть пространственно-временная расстановка событий, там есть и полная возможность зрительного осмысления этих событий с помощью геометрического чертежа, с помощью графической модели, представляющей снимок с об'ективно-реального хода явлений в пространстве и во времени.

Именно так, не имея возможности представить себе воочию, что, собственно говоря, происходит в «толще» эфира в те мгновения, когда он является ареной электромагнитных (световых и радио-) волн, мы можем отлично охватить одним взглядом ход распространения этих волн в пространстве, нанося на чертеж сетку так называемых «силовых линий». Аналогично: покрывая лист бумаги черной краской с таким расчетом, чтобы сравнительная густота почернения была пропорциональна интенсивности электронных волн от точки к точке, мы можем получить ясную картину взаимоналожения этих волн в пространстве внутри и вовне атома.

Не передавая конечно ни в какой мере самого качества тех об'ективно-реальных процессов, которые идут в эфире и лежат в основе электромагнитных и де-броглевых волн, указанные чертежи и рисунки являются в то же время достаточно ясной копией с геометрического аспекта изучаемой реальности.

Столь же благодарные возможности открывает в будущем и пространственно-временная экспозиция строения атома.

Углубляясь внутрь атома, мы не можем более рассчитывать, правда, на построение механической атомной модели, сколько-нибудь похожей на те образы, с которыми мы привыкли иметь дело на арене макромира. Тщетными оказались, как было сказано, все попыт-

<sup>1)</sup> Ленин. Избр. произв., т. VI. Стр. 130.

<sup>2)</sup> См. статью «Спор об эфире: «Нов. мир», кн. 10. 1934.

<sup>3)</sup> Ленин Избр. произв., т. VI. Стр. 136.

ки представить атом в виде миниатюрной планетной системы: электронов, кружащихся вокруг центрального ядра! Но одно, в чем мы можем быть твердо уверены, это то, что основной плацдарм поведения электронов, составляющих атомную оболочку, заключен внутри объема трехмерного пространства поперечником в  $10^{-8}$  сантиметра. Мы столь же уверены, далее, и в том, что в самом центре этого последнего объема имеется область диаметром в  $10^{-13}$  сантиметра, обладающая положительным электрическим зарядом, и эту область мы называем ядром атома. Гениальные опыты последнего пятилетия, в особенности опыты, произведенные дочерью и зятем Марии Кюри, столь же убедительно и наглядно (да, наглядно!) убедили нас в том, что в центре объема самого атомного ядра, внутри пространственной области диаметром в  $10^{-13}$  сантиметра заключены еще более мелкие (диаметром около  $10^{-16}$  см.) образования, получившие название протонов и нейтронов... На очереди стоит тогда переход к еще меньшим объемам, на очереди стоит углубление вглубь самих протонов и нейтронов. И вот тут хотят остановить, хотят схватить за фалды материалистическую физику! Хотят убедить эту физику в том, что она гонится за синей птицей, поскольку, дескать, сами понятия про-

странства и времени, сами понятия «вне» и «внутри», «раньше» и «позже», «части» и «целого» должны будут «устареть», потеряв свой старый, «узкий» и приобрести какой-то новый, известный только достопочтенным авгурам, иррациональный «смысл»...

Finita! Совершенно прав был т. Э. Кольман, когда он констатировал в своем последнем выступлении, что «излюбленный прием» физических обскурантов состоит в том, чтобы рисовать физиков-материалистов «как консерваторов, не способных свыкнуться с новыми, не обладающими привычной наглядностью, понятиями...» «Не надо забывать, что, борясь на словах против закостенелого требования наглядности, физические идеалисты понимают под этим не отказ от старых материальных пространственно-временных представлений данного физического явления, а отказ от возможности материальной пространственно-временной его интерпретации вообще, хотя бы и в новых представлениях, ограничивая познание одними математическими символами»...

Этот прием и этот маневр вскрыты. Путь к проникновению материалистической физики во все меньшие и меньшие объемы бесконечного пространства ясен. Мы увидим в ближайших «Обозрениях», какие великие новизны ожидают в 1935 г. физику на этой дороге гигантов.

## 2. ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ

Приват-доцент А. А. Багдасаров

История применения метода переливания крови уходит в седую старину. Еще Овидий в своих «Метаморфозах», устами Меден, дает совет перелить кровь старцу Пелиасу.

История переливания крови в течение многих столетий представляла собой чередование самых необоснованных, зачастую фантастических, надежд с не менее необоснованным и упорным отрицанием этой операции как лечебного метода.

Два главнейших препятствия тормозили развитие трансфузии крови. Это, во-первых, тот факт, что кровь вне сосудистого русла свертывается и уже не может быть использована для переливания, и, во-вторых, наступление агглютинации (склеивание красных кровяных шариков) в результате введения крови от несовместимого донора.

Только после открытия Ландштейнером закона о разделении человечества по агглютинационным свойствам крови

на четыре группы (1901 г.) переливание крови в течение последних 30 лет получило широкое распространение в практической медицине. Этот закон устанавливает недопустимость смещения крови определенных групп. Последним этапом в истории переливания крови является предложение Гюстена о прибавлении к крови лимоннокислого натра (цитрата), что предохраняет ее от свертывания. Это предложение было широко использовано в империалистическую войну армиями Антанты. Десятки тысяч раненых, несмотря на острые кровопотери, были спасены путем переливания им цитратной крови.

В германской армии переливание крови применялось очень мало (там пользовались главным образом физиологическим раствором).

В русской армии трансфузия крови совершенно не применялась. В нашей стране этот метод появился впервые в 1917 г. и до 1926 г. являлся уделом нескольких клиник крупных университетских центров.

В 1926 г. в Москве был основан А. А. Богдановым Институт переливания крови, который на основе углубленной научной и практической работы, развернул по СССР до 150 своих филиалов и опорных пунктов, в том числе несколько институтов (Минск, Ленинград, Казань).

Переливание крови заняло бесспорное место в хирургической и терапевтической практике как вполне безопасный, во многих случаях действенный, а в некоторых случаях и незаменимый способ лечения. Тысячи людей обязаны своей жизнью Центральному институту переливания крови. Мы ежедневно убеждаемся в колоссальном значении переливания крови при остро наступающем, резком малокровии, при потере крови. Огромен эффект трансфузии крови у лиц резко обескровленных, с угасшим состоянием, с еле нащупываемым пульсом, с критическими цифрами кровяного давления.

Легко представить значение этого метода на поле сражения при потерях крови в результате тяжелого ранения. Здесь переливание крови является не

методом выбора, как говорят французы, а неотложной помощью, которая не только спасает жизнь бойца, но и возвращает его в наикратчайший срок обратно в строй.

Мы имели блестящий эффект при долго заживающих, вяло гранулирующих язвах. Тот, кто помнит обстановку военных госпиталей, знает, какое там имелось скопление людей с гноящимися ранами, ожогами, пролежнями...

Но переливание крови — не только могущественный фактор в руках органов здравоохранения во время войны; он — не менее мощное орудие борьбы с промышленным, сельскохозяйственным и уличным травматизмом.

При хроническом малокровии на почве повторных кровотечений (геморрой, язва желудка, фиброма матки) своевременно предпринятая трансфузия крови дает, как правило, прекрасный эффект.

Велика роль переливания крови как предоперационного пособия. Иногда тяжелое состояние больного в результате малокровия и падения кровяного давления не позволяет хирургу произвести неотложно требуемую серьезную операцию (при язве желудка, болезни Верльгофа и др.). Здесь предпринятая до операции трансфузия крови, а в некоторых, особенно тяжелых случаях, также и повторное переливание после операции решают исход оперативного вмешательства. В таких случаях шансы на успех увеличиваются в 2—3 раза.

\*\*\*

Целый ряд факторов обуславливают развитие дела переливания крови. Одним из таких факторов является проблема донорства<sup>1)</sup>. Донорство должно быть одной из важнейших проблем в области нашего здравоохранения и в деле обороны страны. Поэтому вокруг этого вопроса должна быть развернута правильная и энергичная пропаганда.

Донор — социально-полезное лицо. Звание его почетно. Далекое не все хирургические учреждения имеют у себя донорские кадры. Нам известно немало

<sup>1)</sup> Донор — лицо, дающее кровь.

случаев в практике солидных хирургических учреждений как в Москве, так и на периферии, когда операция переливания крови не могла быть произведена только из-за отсутствия донора, и больной погибал в результате кровотечения. В каждом хирургическом учреждении должен быть организован так называемый кабинет доноров, на учете которого постоянно должны находиться донорские кадры. Они комплектуются из учащейся молодежи, дружинников Красного Креста, актива Осоавиахима и т. д. Как правило, кровопускания переносятся донорами прекрасно. На учете Центрального института переливания крови находится до 300 доноров, периодически являющихся в институт, где они, перед взятием крови, подвергаются всевозможным исследованиям (на сифилис, малярию, туберкулез). Нами тщательно выполняются следующие положения: максимум пользы больному и никакого вреда донору. В Центральном институте имеются доноры, «работавшие» с основания института и дававшие кровь больше 50 раз в течение 7½ лет.



Часто в мирное время в хорошо оборудованных хирургических стационарах из-за отсутствия донора погибают больные, нуждающиеся в срочном переливании крови. Отсюда легко представить себе те затруднения, которые возникнут в условиях военной обстановки, когда для спасения истекающих кровью бойцов понадобятся не сотни, а тысячи и десятки тысяч кубиков крови.

Вот почему Центральный институт приступил к разрешению проблемы применения консервированной крови, то есть крови, заблаговременно заготавливаемой и длительно сохраняемой. Были испробованы физиологические растворы, жидкость Тироде, Нормозаль и др., наконец биохимиками института (проф. Балаховский) была составлена жидкость, названная «ИПК» (Институт переливания крови), в составе хлористого натра, хлористого калия, сернокислого магния и лимоннокислого натра.

Эта жидкость позволяет сохранять свойства крови в течение 15—16 суток и транспортировать ее на любые расстояния. Инструкторы института с успехом переливали консервированную кровь в многочисленных филиалах — в Тифлисе, в Минске, в Хабаровске, в Омске и т. д. Эту кровь можно переправлять при помощи любого вида транспорта, в том числе и на самолетах.

Изучение такой крови, несмотря на то, что она претерпела всевозможные виды транспорта и всевозможные виды хранения, включительно до камеры хранения багажа, неизменно давало положительный результат: кровь не теряла своих бактерицидных, биологических и морфологических свойств.

Более чем в тысяче случаев была перелита консервированная в ИПК кровь, и всегда с хорошими результатами. В настоящее время многочисленными филиалами ЦИПК широко пользуются этой кровью. Как в Москве, так и на периферии в институтах переливания крови всегда хранятся в операционной, на леднике, запасы консервированной крови всех групп. Кровь высылается в опорные пункты по первому требованию, по телефону. Мы идем дальше и сейчас уже разрабатываем новый метод, который позволит в экстренных случаях еще меньше зависеть от наличия соответствующего донора. Мы имеем в виду переливание сыворотки, которую заготавливаем стерильно, сохраняем до трех месяцев и с успехом переливаем. Колоссальным преимуществом этого способа является возможность не считаться с группами донора и реципиента.

Важным моментом в вопросе донорской проблемы является переливание так называемой утильной крови (проф. Спасокуцкий), т. е. крови, выпускаемой у больных с терапевтической целью и не имеющей противопоказания к ее использованию. Сюда включаются огромные количества крови, получаемой у гипертоников (люди с повышенным кровяным давлением), уремиков, при эклампсии и т. д. Теоретическое значение этого достижения также очень велико: оно вынуждает клинициста подойти к

пересмотру целого ряда вопросов, связанных с токсикозами.

Сотрудниками института глубоко изучается, — как клинически, так и экспериментально, — механизм действия перелитой крови и критерии для суждения о дозировке и лечебном эффекте переливания крови. Работы сотрудников института, на основе выдвинутой акад. Богомольцем теории, установили, что, помимо заместительного действия (возмещение утерянной или недостающей крови), переливание крови оказывает могучее стимулирующее (возбуждающее) действие на кроветворные органы и весь организм больного. В связи с этим заслуженным деятелем науки проф. Спасокукоцким выдвинут вопрос о переливании несовместимой в групповом отношении крови (в малых дозах, 10 — 20 куб. см.)..

Эта работа позволяет в настоящее время с большим успехом пользоваться «иногруппным переливанием» во многих случаях тяжелого малокровия, главным образом являющегося осложнением тяжелых инфекционных заболеваний.

В развитие донорской проблемы следует также упомянуть и о разрабаты-

ваемомся в настоящее время в институте вопросе лечебного использования крови некоторых животных (гетерогенное переливание крови). Последние работы института указывают на преимущественное значение небольших количеств козьей крови, которая является в некотором отношении, по своим биологическим признакам, сходной с человеческой.

Интересным и новым достижением является иммунотрансфузия, т.-е. переливание крови при различных инфекционных болезнях (заражение крови, ревматизм), взятой от предварительно иммунизированных доноров (т.-е. подготовленных всprыскиванием убитых микробов).

Огромным достижением советской медицины является разрешенный в последний год Ленинградским филиалом Центрального института вопрос о консервировании на жидкости «ИПК» заведомо малярийной крови. Установлено, что на 4—5-й день такая кровь теряет свои патогенные (вредные) свойства и может быть использована с лечебной целью. Это открывает большие возможности для применения переливания крови в местностях, пораженных малярией

# Литература и искусство

1. А. СТАРЧАКОВ — А. П. Чехов. 2. С. ДИНАМОВ — „Король Лир“ Вильяма Шекспира.  
3. А. ЛЕБЕДЕВ, М. ЛИСЕНКО, П. СЫСОЕВ — Е. А. Кацман. 4. Письма В. А. СЕРОВА.

## 1. А. П. ЧЕХОВ

### А. Старчаков

(К 75-летию со дня рождения)

#### I

В феврале 1886 года в «Новом времени» был напечатан рассказ Чехова «Панихида». Автора поздравляли знакомые, друзья. То было первое выступление Чехова в большой печати.

Остались позади времена, когда Чехов в обществе газетчиков, которых он и сам называл жуликами, часами просиживал в передней «Будильника» в ожидании гонорара. «Бывало, я хаживал в «Будильник» за трехрублевой раз по десяти» — жаловался Чехов в письме к Лейкину, редактору петербургских «Осколков». Еще недавно работа у Лейкина казалась своего рода аттестатом. Но теперь уже и Лейкин торопился принести свои поздравления по поводу дебюта в «Новом времени».

У дверей впервые постучалась литературная известность. Не нужно было больше просить извинения за серьезный тон, звучавший в отдельных юмористических рассказах, и с виноватым лицом давать обещания «серьезничать только по большому празднику». Наконец мерещилось материальное благополучие, — Суворин платил по двенадцати копеек за строчку, — сумма невероятная по московским обычаям.

Чехов встретил удачу добродушной, слегка иронической улыбкой. Ни восторженных мечтаний, которым любит предаваться талантливая молодость, ни широких, часто несбыточных планов, обычно сопутствующих успеху. В шуточном письме к брату Михаилу Чехов так рассказывал о своем знакомстве с Сувориным.

«Он очень любезно меня принял и даже подал руку.

— Старайтесь, молодой человек! Я вами доволен. Но только почаще в церковь ходите и не пейте водки... Дышите...

Я дыхнул... Суворин дал мне денег и сказал:

— Надо беречь деньги... Подтяните брюки...»

Рассказывая брату в шуточном письме о литературной победе, о первой встрече с редактором «Нового времени», Чехов, по всему вероятно, вспоминал Таганрог, бакалейную лавку отца, хозьяйские разговоры.

Когда вскоре после знакомства Чехов предложил Суворину написать рассказ о том, как сын крепостного, молодой человек, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чиновничьих, целовании поповских рук, много раз сеченный, выдавливая из себя по каплям раба, в сущности, он предлагал Суворину написать рассказ о себе, о своей молодости.

Чехов и сам, проклиная судьбу, часами просиживал в промерзлой лавке, наблюдая за молодцами, не раз битыми тяжелой рукой Павла Егоровича. Он и сам был певчим (слабостью отца было церковное и домашнее богослужение). Каждую субботу семья Чеховых отправлялась ко всенощной и по воскресеньям после обедни глава дома, собрав семью перед киотом, читал акафист.

#### II

Самовлюбленного и болтливого старика Рашевича дочери называют жабой («В усадьбе»).

В рассказе «Отец» старик Мусатов издевается над своими детьми. Но дети терпят и считают своим долгом рабски повиноваться вздорному старику.

«Меня отец порол жестоко» — говорит Иван Дмитриевич в повести «Палата № 6».

В рассказе «Тяжелые люди» мелкий землевладелец Ширяев гнетет сына Петра своей скаредностью.

В повести «Моя жизнь» архитектор Полозов бьет по лицу взрослого сына, давит его своей пошлостью, требует от него рабской покорности установившемуся порядку.

В повести «Три года» мы находим целую обвинительную речь сына, направленную против отца:

«Отец начал учить меня или, попросту говоря, бить, когда мне не было еще пяти лет. Он сек меня розгами, драл за уши, бил по голове... Мы должны были ходить к утренней и к ранней обедне, целовать попам и монахам руки, читать дома акафисты».

Как не узнать в этой страстной речи Лаптева исповедь самого писателя?

Целую галерею отцов, выживших из ума, ругающихся над живой жизнью, рукоприкладствующих, находим мы в творчестве Чехова.

Но тупость, пошлость, насилие Чехов принимал с печальной фаталистической улыбкой. Он знал, что живет в азиатской стране, что у него нет родины. В «Палате № 6» Иван Дмитриевич говорит о насилии, попирающем право, об оконных решетках, напоминающих ему каждую минуту о тупости и жестокости насильников. Но Чехов называет эти речи «нескладным попури из старых и еще не допетых песен». Люди 60 — 70-х годов носили в своем сердце действительную священную ненависть. Ее не знал Чехов. Он смеялся, иронизировал, иногда даже мечтал о лучшем будущем, утверждая, что Россия живет накануне какого-то великого торжества, что готовится здоровая, сильная буря, которая уже близко и скоро сдует с нашего общества лень, равнодушие и гнилую скуку. Он говорил, что через двести, триста лет жизнь будет невообразимо прекрасна. Но ему и в голову не приходила

возможность поднять руку на мир, где с такой легкостью тиранили, мучили, рукоприкладствовали. Этот мир казался ему чудовищно прочным, незыблемым, устойчивым.

«Революции в России никогда не будет» — писал Чехов в письме к Плещееву.

Потому он встречал иронической улыбкой всякую попытку поколебать существующий порядок. И по поводу студенческих волнений в Москве (молодежь требовала университетской автономии) он писал письма Суворину, глубоко реакционные по своему содержанию. И Павел Егорович, лавочник, с такой щедростью раздававший пощечины, был до конца своих дней окружен почтительными заботами сына. В Мелихове, в небольшом имении, купленном Чеховым уже в годы, когда он был известным писателем, по ночам можно было слышать негромкое и унылое чтение: то Павел Егорович в своей комнате, как годы назад в Таганроге, читал акафист сладчайшему Иисусу и пресвятой богородице.

### III

Как многообразна была действительность, получившая отражение в творчестве Чехова!

В крошечном рассказе «Случай из практики» Чехов дает мимолетную, но выразительную картину жизни фабричных. Они живут впроголодь, в нездоровой обстановке, делают плохой ситец и только изредка в кабаке отрезвляются от кошмара, называемого жизнью. Надсмотрщики следят за работой двух тысяч человек, записывают штрафы, ситец продается на восточных рынках. Но счастлив на фабрике только один человек: Христина Дмитриевна, приживалка Ляликовой, владелицы фабрики, самодовольное, сытое и тупое существо.

Где причина бедствия этих людей? Она для Чехова не ясна. Более того, она, по его мнению, неустранима. Улучшение в жизни фабричных рабочих Чехов сравнивает с попыткой врачевать неизлечимую болезнь.

В одном из своих писем к Суворину Чехов говорит о том, что он против об-

щины, что крестьянская община трещит по всем швам, что культура и община — понятия несовместимые. «Кстати сказать, наше всенародное пьянство, глубокое невежество — это общинные грехи» — читаем мы в том же письме.

И, словно желая развернуть этот тезис, Чехов написал повесть «Мужики». С бытом крестьянства он был прекрасно знаком, проживая годами в своем крошечном имении Мелихово, в Серпуховском уезде. Решительно нарушив народнические каноны, Чехов мастерски показал нищую, невежественную, пьяную деревню во всем ее неприглядном виде. Ни тени возвышающего обмана, — перед читателями встает первобытное голодное становище. Здесь обворовывают друг друга, ненавидят, терзают. Здесь страшно жить.

Повесть походила на обвинительную речь, обращенную к тем, кто еще пытался идеализировать деревню. Отдельные отрывки повести по своему построению ничем не отличаются от ораторской речи. «Кто держит кабак и спаивает народ? — Мужик. Кто украл у соседа, поджег, ложно показал на суде за бутылку водки, кто в земских и других собраниях первый ратует против мужиков? — Мужик».

Повесть вызвала оживленные споры. Ее подняли на щит молодые марксисты. Но Михайловский писал, что повесть «Мужики» дурна, что напоминает она черновик, и отрывочные, раздробленные впечатления не позволяют сделать каких-либо общих выводов.

Повесть была страшной картиной распада, одичания общинной деревни. Но напрасно современники искали ответа: с кем же был Чехов? С народниками или с их антагонистами? И если община была плоха, если в ней, по мысли Чехова, было все зло, то где же лежал иной путь? Чехов не мог дать ответа, ибо, по его собственному признанию, «какой-то туман застилал от глаз самое важное». («Новая дача».) И, не умея дать ответа, он иногда возводил свое незнание в принцип, он говорил, что художник не должен быть судьей, но только бесстрастным свидетелем, что задача художника — только ставить вопросы, но не его

дело решать их. Он говорил о том, что пора уже сознаться, что «на этом свете вообще ничего не разберешь, и художнику незначает скрывать от толпы своего незнания». «Если художник, которому толпа верит, решится заявить, что он ничего не понимает из того, что видит, то уж это одно составит большое знание в области мысли и большой шаг вперед». (А. П. Чехов. Письма. Т. II. Стр. 101—103).

Не давая прямого ответа ни на один вопрос, Чехов с огромной силой воспроизводил унылую и тягостную правду окружающей жизни. Страшны его крестьяне из повести «Мужики», из рассказа «Новая дача». Еще страшнее жизнь мещан, мелких накопителей, вышедших из недр той же деревни и ценою преступления, бешеной эксплуатации, лжи скопивших кое-какие средства. Смертельным приговором, прочитанным кулачеству, разбогатевшему мещанству, звучат такие произведения, как «Убийство», «В овраге», «Бабы». Чтобы не делиться добром, убивают Якова кулак Матвей и его сестра Аглая. Обдаёт кипятком младенца, сына скромной Липы, мещанка Аксинья, только за то, что на младенца был описан надел земли. До убийства доводит нежную, любящую Машеньку сытый, тупой мещанин Матвей Саввич.

Но разве интеллигенция, купечество, чиновничество в изображении Чехова лучше, чище, нравственнее? Лихорадкой стяжания охвачены купцы, инженеры, врачи. Уже за шесть миллионов перевалил капитал купца Лаптева, но ничего не изменилось в его азиатском, темном амбаре, где торгуют аграмантом, тесьмой, булавками. Скупает имения, спекулирует землей инженер Должиков («Три года»), скупают дома врачи Белавин, Ионьч. И среди этого хоровода накопителей, себялюбцев, пошляков бродят одинокие беспомощные мечтатели, бессильные что-либо изменить, что-либо противопоставить миру, где полновластным господином является сытая, хищная пошлость.

Речи чеховских мечтателей о прекрасном будущем напоминают инкрустации: они вправлены в повествование и, орга-

тически не связанные с ним, живут своей обособленной жизнью.

Ученый Ярцев произносит речь, что придет время — и нынешнее положение фабричных рабочих будет казаться нам таким же нелепым, каким теперь кажется крепостное право, когда меняли девок на собак. Но напрасно мы стали бы искать в речи Ярцева хотя бы отдаленный намек на то, какими же путями придет человечество к этим блаженным временам. О небе в алмазах, о грядущем, когда все страдания потонут в милосердии, говорит Соня («Дядя Ваня»). Но и эта речь не связана со всем содержанием пьесы. И беспомощной мечтой звучит речь Ольги из «Трех сестер» о том, что страдания мира перейдут в конце-концов в радость и счастье. Эти речи, эти прекраснотушные мечты, при всей своей искренности ничем не отличаются от монолога стареющего Гаева, обращенного к книжному шкафу: «Дорогой, многоуважаемый шкаф! Приветствую твое существование, которое вот уже больше ста лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости!»

#### IV

Но ведь существовало героическое поколение борцов, которое не только произносило прекраснотушные речи, но мужественно восставало на этот погрязший в стяжательстве и насилии мир. Были люди, не боявшиеся объявить борьбу существующему порядку?

Да, были. Их знал и хорошо помнил Чехов. Но одни сложили головы на эшафоте, другие окончили дни свои в далекой ссылке.

В те годы дальние, глухие  
В сердцах царил сон и мгла...  
Победоносцев над Россией  
Простер совиные крыла.

Народовольчество, одержав в день 1 марта 1881 года свою самую большую победу, истекало кровью, не поддержанное широким общественным движением, изолированное от народных масс. Рабская капитуляция Тихомирова, члена исполнительного комитета Народной Воли, была знаменем времени. Грань между

народничеством и либерализмом, еще недавно такая четкая, стиралась. Народнически настроенный интеллигент в восьмидесятые годы попрежнему продолжал говорить о великих принципах, но слова его не были связаны с делами. Самые принципы нужны были ему не столько для непосредственной деятельности и борьбы, сколько для оправдания своей неподвижности. В одном из писем Чехова к Плещееву мы находим замечательную характеристику либерального интеллигента восьмидесятых годов. «Эта полинявшая, недеятельная бездарность, узурпирующая шестидесятые годы... Вы бы послушали, как он, во имя шестидесятых годов, которых не понимает, брюзжит на настоящее... Он скучен, как яма, и вреден для тех, кто ему верит, как суслик. Шестидесятые годы — это святое время, и позволить глупым сусликам узурпировать его, значит опшлить его».

Образ идейного банкрота, фразера, пытающегося узурпировать «святое время», как называл шестидесятые годы Чехов, один из самых замечательных образов, созданных писателем.

Доктор Белавин говорит о себе:

«Я сумасшедший, я наивный ребенок, так как все еще верю в правду и справедливость» («Три года»).

Но вера в правду и справедливость не мешала провинциальному стяжателю исподволь скупать дома, наживаться на нищих жильцах.

В рассказе «Соседи» Власич ведет утомительные разговоры об общине, об учреждении сыроварен, разговоры, похожие один на другой, «точно они изготовляются машинным способом». После обеда Власич читает любимой женщине не статьи по переселенческому вопросу и, переживая светлые минуты, пишет восторженные письма в редакции журналов. Но его прекраснотушные, его радикальная фразеология прикрывают бездельность, лень, распушенность; он не замечает, что живет тусклой, бездарной жизнью мелкого разоряющегося поме-

щика, что имение его приведено в полное расстройство, что он по шею в долгу и не сегодня—завтра будет пущен по миру своими кредиторами.

Когда-то был другом Некрасова и Пирогова профессор, знаменитый ученый из повести «Скучная история». Шестидесятник и общественник, он боролся, горел идеалами святого времени. Но на склоне своих дней он неожиданно осознал, что от его веры ничего не осталось, что его прошлое, такое почтенное и славное, разлетелось в прах. Он ловит себя на страшной мысли: у него нет в жизни больше никакой цели, прожитые шестьдесят два года пропали зря.

В «Скучной истории» мы находим сцену, полную глубокого трагизма. Женщина, воспитанная профессором, выросшая у него на руках, обращается к нему за советом, что делать ей дальше в жизни (она потерпела неудачу). И ученый, в прошлом славный шестидесятник, сознает, что у него нет ответа на поставленный вопрос. Женщина рыдает, молит о помощи, называет его отцом, единственным другом. «Ведь вы умны, образованны, долго жили, вы были учителем, говорите же, что мне делать?» Профессор с ужасом ловит себя на мысли, что в эту минуту он счастливее женщины, спрашивающей его о смысле жизни. Свое банкротство, отсутствие общей идеи он заметил в себе уже поздно, на склоне своих дней. Но ведь ей, вопрошающей, предстоит впереди еще долгая жизнь.

В «Рассказе неизвестного человека» тема банкротства, измены поставлена Чеховым уже во всей своей глубине. Неизвестный революционер поступает в лакеи к петербургскому чиновнику Орлову. Неизвестный готовит террористический акт, направленный против отца Орлова, крупного сановника. Но в ту минуту, когда революционер ближе всего к своей цели, когда жертва, за которой он охотился с таким упорством, в его руках, он ощущает, что идея, еще недавно наполнявшая всю его жизнь, в нем уже умерла. «Я торопил себя и сжимал кулаки, стараясь выдавить из своей души хотя каплю прежней ненависти,

я вспоминал, каким страстным, упрямым и неутомимым врагом я был еще так недавно». В сознании неизвестного возникают мелкие, ненужные, дешевые мысли о бренности всего земного, о скорой смерти. «Нельзя уже было сомневаться, во мне произошла перемена, я стал другим» — говорит о себе вчерашний революционер.

В «Рассказе неизвестного человека» повторяется почти дословно трагическая сцена, знакомая нам по «Скучной истории». Женщина, которую в глубине души любит неизвестный, обращается к нему с вопросом: что ей делать? Она просит дать ответ по совести. Но неизвестный уже ничего не может ответить ей. Его речи о милосердии, о всепрощении, о любви к ближнему звучат неискренне, фальшиво, это подчеркивает Чехов. Он не скрывает, что одна лишь «жажда обыкновенной обывательской жизни» движет всем поведением банкрота.

Тема крушения, распада, измены — одна из центральных тем, которая проходит через все творчество Чехова. Он варьирует ее на разные лады в пьесах и прозе, в плане комедийном и трагическом.

## V

Сурово и мужественно воплощал в творчестве Чехов свой печальный опыт, свои наблюдения. Ничто не ускользало от его внимания: суд, земство, театр — самые различные стороны общественной жизни становились объектом его творчества. Ничем не обольщая себя, он всюду видел зло, безнадежность, торжество грубой силы над разумом, пошлости над красотой. «Вместо знаний — нахальство и самомнение, вместо труда — лень и свинство. Справедливости нет; понятие о чести не идет дальше чести мундира» — это была характеристика, которую дал Чехов своим согражданам. Он знал, что живет в стране, «где тесно и скверно и мало надежды на лучшие времена». Не случайно своих мудрецов нашел он в сумасшедшем доме — в палате № 6 — и безумцы оказались лучше, чище, справедливее людей здравого смысла.

Не нам искать ответа у Чехова на поставленные им вопросы. Они уже решены историей. Мир Чехова рухнул. И для нас автор «Палаты № 6» и «Черного монаха» — замечательный художник-реалист, запечатлевший бесстрастно и правдиво одну из самых безнадежных страниц русской истории. Он дал замечательную картину застоя и торжества реакции, он воплотил в своем творчестве неверие и печаль молодой, но уже бескрылой буржуазной интеллигенции.

Современники Чехова, поверженные в отчаяние картинами изображенной им действительности, приходили к нему и спрашивали — что же делать? Тогда разыгрывалась сцена, подобная той, которую описал Чехов в «Скучной истории»: он и сам не знал, что ответить вопрошающим, ибо и у него самого не было ясного и точного ответа на поставленный вопрос.

— Помилуйте, что это такое? Полнейший индифферентист ваш хваленый Чехов. Скажите, пожалуйста, к какому направлению Чехов принадлежит? Какому богу молится, какому делу служит? — закидывали в восьмидесятых, девяностых годах вопросами читателей и поклонников Чехова. И тут же отвечали: никакому.

Что же делала современная Чехову критика, как руководила она писателем, как растолковывала она обществу содержание, значение его творчества?

Скабичевский, познакомившись с первой книгой Чехова, назвал его клоуном и пророчил ему смерть под забором от алкоголя. Михайловский уже в первом письме к Чехову писал о бесцельности его творчества, сравнивал его творчество с прогулкой по дороге, «не знамо куда, не знамо зачем». И попутно Михайловский говорит об отрывочности, об увлечении малой формой, не понимая значения Чехова как новатора, как творца импрессионистской прозы.

В своих статьях Михайловский писал, что он не знает зрителя, более печаль-

ного, чем талант Чехова, «даром пропадающий»: «Чехов и сам не живет в своих произведениях, а так себе гуляет между жизнью и, гуляючи, ухватит то одно, то другое. Почему именно это, а не то, почему то, а не другое? Выбор тем Чехова поражает случайностью. Чехов с холодной кровью пописывает, а читатель с холодной кровью почитывает... При всей своей талантливости Чехов не писатель, самостоятельно разрабатывающийся в своем материале и сортирующий его с точки зрения какой-нибудь общей идеи, а какой-то почти механический аппарат» — писал Михайловский.

Достаточно познакомиться хотя бы с этими оценками и сравнить их с критическими образцами великих просветителей — Добролюбова, Чернышевского — для того, чтобы понять всю глубину падения народнической критики. Добролюбов знал, что «художественное произведение может быть выражением известной идеи не потому, что автор задался этой идеей при его создании, а потому, что автора его поразили такие факты действительности, из которых эта идея вытекает сама собой».

Но вместо того, чтобы раскрыть объективное, конкретно-историческое содержание творчества Чехова, Михайловский требовал от писателя высказываний в духе представляемого им направления. И потому одно из самых замечательных произведений Чехова — «Палату № 6» — он встретил все той же брюзгливой воркотней. По поводу «Палаты № 6» Михайловский писал:

«Высоко ценя большой талант Чехова, я думаю, что если бы он расстался со своим безразличием и безучастием, русская литература имела бы в его лице не только большой талант, но и большого писателя».

Михайловским руководили конечно самые лучшие намерения. Он наставлял Чехова, полагая, что все дело в его доброй воле и что достаточно ему, Чехову, притти в лагерь, возглавляемый Михайловским, и Чехов обзаведется наконец мировоззрением, столь нужным для его творчества. Он и не подозревал, что Чехов и без проповеди Михайлов-

ского прекрасно сознавал ту ущербность, которую приносит его творчеству отсутствию законченного и целостного мировоззрения. Переписка Чехова с Сувориным сберегла нам письмо, в котором Чехов с несравненно большей силой и яркостью, чем Михайловский в своих критических статьях, говорил о значении мировоззрения для художника. Чехов писал:

«Вспомните, что писатели, которых мы называем вечными, или просто хорошими, и которые пьянят нас, имеют общий и весьма важный признак: они куда-то идут и вас зовут туда же, и вы чувствуете не умом, а всем существом, что у них есть какая-то цель, как у тени отца Гамлета, которая не даром пришла и тревожила воображение. У одних, смотря по калибру, цели ближайšie — крепостное право, освобождение родины, политика, красота или просто водка, как у Дениса Давыдова, у других цели отдаленные — бог, загробная жизнь, счастье человечества и т. п. Лучшие из них реальны и ищут жизнь такую, какая она есть, но оттого, что каждая строчка пропитана, как соком, сознанием цели, вы, кроме жизни, какая она есть, чувствуете еще ту жизнь, какая должна быть, и это пленяет вас. А мы? Мы! Мы ищем жизнь такую, какая она есть, а дальше — ни тпру, ни ну. Дальше хоть плетями нас стегайте. У нас нет ни ближайших, ни отдаленных целей и в нашей душе хоть шаром покати. Политики у нас нет, в революцию мы не верим, бога нет, привидений не боимся, а я лично даже смерти и слепоты не боюсь. Кто ничего не хочет, ни на что не надеется и ничего не боится, тот не может быть художником. Болезнь это или нет, дело не в названии, но сознаться надо, что положение наше хуже губернаторского».

Итак, Чехов и сам знал сущность недуга, одолевавшего его. Но в Михайловского не поверил и, несмотря на глубокое уважение, на выучку к нему не пошел. Почему? В замечательном рассказе Чехова «Хорошие люди» показан кристально-чистый интеллигент Владимир Семенович. Он критик. В художе-

ственном произведении он прежде всего ищет «симпатичную идею». Владимир Семенович полон самых лучших намерений, искренно верит в свою программу. Он один из тех интеллигентов либерально-народнического направления, которые воспитывались на книжках «Северного Вестника», на статьях Михайловского. Но Чехов видит в этом интеллигенте консерватора, который задерживает своим влиянием прогрессивное движение. Он говорит о том, что Владимир Семенович и его направление уже сходят с исторической сцены, что он топчется на одном месте, что все ценное из того старого хлама, в котором он роется, уже извлечено.

В этой оценке, меткой и верной, была огромная историческая заслуга Чехова. Насквозь изъеденный скептицизмом, Чехов чутьем художника разгадал однако реакционный характер позиций Михайловского. И, несмотря на огромный общественный вес Михайловского в те годы и на специальное уважение к нему, он прошел мимо его проповеди.

Случись иначе, мы имели бы еще одного беллетриста либерально-народнического направления, но мы потеряли бы художника, скептицизм которого сыграл несравненно большую роль в формировании революционного мировоззрения, чем проповеди тех, кто упрекал Чехова за его безразличие.

## VI

Всю свою жизнь Чехов собирался написать роман. Большая форма была своего рода синей птицей, за которой упорно охотился художник. Но даже когда он извещал своих друзей о работе над романом, у него в конце-концов получался цикл рассказов, объединенных общими действующими лицами. Роман так и не удалось написать Чехову.

Было бы ошибкой объяснять эту неудачу только особенностями его литературного пути, техникой малой формы. Неудача коренилась несравненно глуб-

же. Особенности чеховского письма были тесно связаны с мироотношением художника. Признание неизменяемости окружающего мира, ощущение безысходности, отсутствие точного ответа на роковые вопросы предопределило и форму, и манеру его импрессионистической прозы. Роман — форма антагонистическая: наряду с отрицанием роман требует утверждений. Можно конечно представить себе роман, в котором не было бы ни одного положительного героя, но в таком случае автор обычно носит такого героя «в себе», точнее, ему ясен смысл его отрицания. Скептицизм Чехова не был абсолютным, в нем были отдельные просветы. Наряду с отрицанием он знал и некоторые утверждения. Старый профессор, пережив гибель своих идеалов, ощущив на склоне своих дней вокруг себя совершенную пустоту, видит все же в науке последнее убежище. «Испуская последний вздох, я все-таки буду верить, что наука самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, что она всегда была и будет высшим проявлением любви и что только ею одною человек победит природу и себя». Но дело в том, что и эта вера в науку не была абсолютной у Чехова. Тот же профессор вносит поправку, что вера в науку наивна и несправедлива, хотя он и исповедует эту веру.

И все же, как ни скромны были эти положительные высказывания, их было достаточно для того, чтобы построить образ положительного героя. Не случайно фон-Корен из повести «Дуэль», ученый зоолог, — единственный положительный герой, пусть недостаточно яркий и односторонний, которого мы находим в творчестве Чехова. Он фанатик науки, он работает на Черном море, хотя и знает, что это море самое неблагоприятное для научных изысканий. В рассказе «Попрыгунья» скромный труженик доктор Дымов противостоит толпе тунеядцев и болтунов. Образ доктора Дымова, погибающего самоотверженно в борьбе с дифтеритом, очерченный скупой, несколькими штрихами, — один из самых замечательных и ярких по выразительности образов в творчестве Чехова.

И сквозь тонкую иронию повести «Жена» все же сквозит любовь к доктору Соболю, который мечется среди нищих деревень, отдавая все свое время борьбе с голодом.

Среди бессильных, азиатски ленивых героев на этих тружениках останавливался с некоторой надеждой скептический взор Чехова. Эти люди были носителями той науки, в которой Чехов видел единственное спасение. Просветительство, культуртрегерство, медленное, постепенное улучшение окружающего мира, — это было верой Чехова.

И, полубольной, он скакал по отвратительным дорогам на остров Сахалин, переписывал его обитателей. В холерные годы он не вылезал из тарантаса, заведывая огромным участком, куда входили двадцать пять деревень. Строил школы, заботился о просвещении, лечил крестьян, отдаваясь этой работе до самозабвения. Эта работа обогащала его творчество. Сколько любопытных сюжетов нашел он во время своих разъездов по округе, сколько подслушал острых, неповторимых слов!

Некоторые критики всемерно подчеркивали преклонение Чехова перед наукой, его просветительскую деятельность, пытаются представить Чехова идеологом полнокровного буржуазного прогресса. И тем самым приходят к отрицанию всего его творчества. Чехов умер накануне первой революции и в творчестве своем отразил мировоззрение буржуазной интеллигенции, сформировавшейся в восьмидесятые годы, ее глубокий скептицизм, ее робкие упования на лучшие времена. Правда, в последний период жизни Чехова взгляды его приняли более четкий характер. Однако и разрыв Чехова с Сувориным, и его высказывания по поводу дела Дрейфуса были продиктованы соображениями гуманистического порядка и ни в какой мере не позволяют нам сделать выводы о решительном переломе в миропонимании Чехова. Хотя бы уже потому, что рядом с этими высказываниями мы находим немало других, которые при желании позволяют построить диаметрально противоположные выводы. Сила Чехова была в его отрицании самодержавной, поме-

щичьей, кулацкой, купеческой России, в его критике либерально-народнической интеллигенции. Он обнажал ее дряблость, реакционность, историческое умирание, — в этом великая заслуга Чехова. Но всякая попытка показать Чехова выразителем, и к тому же законченным, буржуазного прогресса, обречена на неудачу. Чехов был и остается типичным восьмидесятником, вскормленным мрачной и реакционной эпохой.

Чему же может учиться у Чехова художник бесклассового социалистического общества?

Прежде всего для нас представляет огромный интерес самый метод работы Чехова, сущность которого заключалась в неразрывной связи с действительностью. Не случайно он видел в боязни жизни один из самых ужасных пороков азиатчины. Только непосредственно участвуя в самой действительности, художник может творить. Эта простейшая истина подтверждается всем творческим опытом Чехова. Нужно ли говорить о том, что наша действительность создала для художника неограниченные возможности непосредственного участия в творческой жизни.

Заслуживает самого пристального изучения интерес Чехова к мельчайшим, молекулярным явлениям бытия. Чеховская новела была самым тесным образом связана с этой стороной чеховского метода, с его вниманием к простейшим процессам действительности, с его умением обобщить их, поднять до высоты большой проблемы. Всего лишь не-

сколько страниц в рассказе «Беда». Но Чехов сумел в нем рассказать с огромной силой об азиатской отсталости, нежестокости русского купечества. Купец Авдеев, член ревизионной комиссии банка, подписывавший, не читая, отчеты, пользовавшийся общественными средствами вместе с другими членами правления, до последней минуты не понимает сущности предъявленного ему обвинения. И только на свидании с родными в тюрьме, увидев на сыне вместо гимназического мундира потертый пиджак и сарпийковые панталоны, он наконец понял, что судьба его решена, что он вычеркнут из числа членов общества. Необычайный лаконизм чеховского языка, простота его образов, несложность и выразительность описаний, умение раскрыть во всей глубине внутренний мир человека — все эти черты чеховского письма еще долго будут объектом самого пристального изучения.

Ни одного утверждения не воплотил в своем творчестве этот замечательный и печальный художник. Но каждая его строка была пропитана тонким ядом, опасным для всяческой пошлости, сытой самовлюбленности, самоуспокоенности. Чудовища, с которыми воевал всю свою жизнь Чехов, добыты еще не до конца. Они будут жить до тех пор, покуда не будут выкорчеваны пережитки капитализма не только в бытии, но и в сознании людей. Потому в эти дни, напоенные величавым трудом и героическим дерзанием, мы снова вспоминаем о художнике, так остро осмеивавшем тусклый мир бескрылого и пошлого мещанства.

## 2. „КОРОЛЬ ЛИР“ ВИЛЬЯМА ШЕКСПИРА

С. Динамов

Каким мрачным светом озарен мир этой трагедии! Как страшны эти люди! Как черна их злоба, как ненавидяща их ненависть, как отвратительна их зависть и как ужасна их мстительность!

Точно все зло и кровожадность мира собраны и слиты в них, этих героев

Шекспира, так давно окончившего свой путь, чтобы продолжать его в бесконечности.

Даже простое чтение «Короля Лира» волнует и, как в водоворот, втягивает в судьбы героев трагедии. Это — великое искусство, ибо оно заставляет забыть, что оно есть искусство, ибо оно

действительно, как жизнь, и жизненно, как действительность.

Каждому понятны творения гениального художника.

Но как ошибся бы тот, кто поверил бы близости к высокой горной точке тех далеких путей, которые только кажутся близкими. До них «рукой подать», — но разве есть руки в десятки километров?

Так и с Шекспиром. Он прост и понятен, он ясен и доступен, он кажется совершенно прозрачным. Но это — прозрачность ясного неба, на какой-то неуловимой грани переходящая в туманность, в такую слитность, что она давит и угрожает зрению, пытающемуся проникнуть вглубь. Шекспир заставляет думать, он возвышает мысль, закаляет ее пламенем своего творчества.

## Глава I

Лир — главный герой «Короля Лира», он стоит в центре скрещения всех путей трагедии, его существование держит ее жизнь, его последний вздох совпадает с последними строчками пьесы.

Уже 1-я сцена раскрывает его, как человека, для которого не существует ни человечества, ни человечности, который только свое «я» сделал законом всего существующего.

Лир попытался бы наказать и само солнце, если бы усмотрел в нем непочтительность к себе, к своему королевскому сану.

Весь мир кажется ему мячиком, который можно бросать куда и как угодно, а люди — только пылинками; простое дыхание колышет их, простой взмах руки — потрясает.

Вот первый плавный и спокойный монолог Лира:

Мы ж огласим сокрытое желанье.  
Подайте карту. Знайте: разделили  
Мы королевство на трое, решив  
С преклонных наших лет сложить заботы  
И поручить их свежим силам. Мы же  
Без груза к смерти побредем...<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Перевод во всех случаях М. А. Кузьмина (ГИХЛ, 1934 г.). Первая цифра, римская, означает действие, вторая, арабская, — сцену.

Какой величавый и благодушный старец, лишь не в меру возраста отягощенный властью и решающий от нее избавиться! Но вдруг этот ровный поток слов попадает на препятствие или на то, что кажется Лире препятствием: Корделия осмеливается сказать ему, Лире, правду:

... Люблю я вашу милость,  
Как долг велит; не больше и не меньше.

И точно ядовитое облако безумия окутывает Лира, в прах рассыпается его благодушие, и перед зрителем встает во весь рост деспот, причуды и самодурство которого не знают никаких границ.

Дракона в гневе лучше не тревожь, —  
воскликает он.

Корделия изгоняется Лиром, лишается наследства, она сразу становится для него «жалким созданием», он прокликает ее, его речь становится отрывистой и грубой.

Лучше б

Не родилась, чем мне не угодить!

Величайшему унижению подвергает он собственную дочь — и только за то, что она не стала лгать, что на ее языке не нашлось слов лести и лицемерия.

Ему позднее говорит шут, что он «обгрыз свой ум и посредине ничего не оставил». Тут именно и начинается это «обгрызание ума», здесь Лир начинает медленно падать со своей высоты, где он видел только себя и никого — рядом.

Гегель говорит, что в «Лире» Шекспир изобразил «чистое зло, поднятое до ужаса и отвратительности» («Эстетика», немецкое издание, 1931 г., стр. 304). Гегель находит здесь необычайную цельность зла, ничем не ограниченного.

Как не похож Лир Шекспира на того Лира, меццански-слезливого Лира, которого показала I студия (теперь МХАТ II) в 1922—1923 г., прочитав Шекспира по Диккенсу.

Зло сильно у Лира, оно твердое, как металл.

Кент — верный и честный Кент — возмущается поведением своего повели-

теля, он, не боясь, прямо высказывает ему свое мнение. Он кричит на короля, как на простого человека:

Пусть же будет Кент невежлив,  
Коль Лир дурит. Чего, старик, ты хочешь?  
Чтоб я забыл свой долг, умолкнув там,  
Где лезть гнет спину? Прямота почетна,  
Когда король безумствует. Опомнись!

(I. 1)

И когда король угрожает ему, он отвечает, что не замолчит, ибо король «поступил плохо». Он уходит в свое изгнание, говоря Лиру на прощанье:

Прощай, король: ты ясно дал понять,  
Что близ тебя свободе не живать.

(I. 1)

Но он остается ему верен — и как это отягощает вину Лира, как это усиливает драматичность ситуации! Кент, изменив внешность, опять поступает на службу к Лиру и делает все, чтобы спасти короля, который обошелся с ним так грубо.

Лир оторвал от себя лучшее — и остался с худшим.

Тускнеет мир для Лира, выпячиваются и нестерпимо режут глаза отдельные крохотные частички мира, только и охватываемые его умом.

Она отвратительна и страшна, эта слепота Лира, еще потому, что здесь этот вихрь гнева обретает свою силу в силе власти. Как гневается Лир дальше, в последующих сценах! Какие страшные проклятия произносит он! Но они не сотрясают мира, они никого не истребляют, ничто не уничтожается ими. А здесь — корона делает каждое слово приказанием, каждое приказание — мечом, каждую вспышку гнева — бурей. Здесь гнев истребляет и сокрушает, а там он — только состояние и только слово, подхватываемое ветром и замирающее в пространстве.

Но не в Корделии главный смысл этой сцены I акта. Не будем забывать, что Лир обращается с государством, как с частной собственностью. Он просто режет его на куски, он сам, только по своей личной воле, уничтожает его целостность, он здесь осуществляет чисто-феодалную практику, когда каждый барон был королем и не

признавал никого другого, растаскивая Англию на части и борясь с единством государства, объединенного единой властью. Войны Алой и Белой розы, когда феодальные бароны почти полностью истребили друг друга, — вот на какой почве стоит в сущности Лир.

Здесь Шекспир, борющийся во всех своих пьесах с феодальной раздробленностью Англии, с порождаемым феодализмом строем мыслей и чувств (особенно в «Короле Джоне», «Ричарде II», «Ричарде III», «Макбете», «Ромео и Джульетте»), продолжает свою атаку на феодализм, представляя его, как социально-политическую основу психологии Лира.

В изображаемую Шекспиром эпоху семья была опорой строя, семейные связи были чрезвычайно крепкими. Шекспир, чтобы показать распад государства Лира, делает это прежде всего через изображение распада и гибели семьи (Гонерилья—Альбани, Регана—Корнуол, семьи Глостера и Лира).

И не потому ли Лир отдает корону, оставаясь однако королем, что считает себя человеком необычайного могущества, что власть его кажется ему безграничной? Умереть и отдать корону после смерти — это слишком просто для него. Но насладиться в жизни своей щедростью, но испытать свою силу при жизни, но живым выслушать благодарности и восторги дочерей, которые перед ним так ничтожны, что у него нет и намека на боязнь за свое будущее, — не это ли толкает Лира на шаг, который оказывается роковым для него и превращает государство в отдельные баронства? Вспомним, что между Альбани и Корнуолом быстро начинаются распри и Кент свои расчеты на победу строит в числе прочего и на этом (не забудем однако, что Лир говорит о своем решении разделить королевство, как о «темнейшем замысле» — darker purpose).

«Король Лир» создавался именно в ту эпоху, когда идея объединения государства была господствующей, когда попытки Якова I повернуть назад лишь ярче оттеняли полную невозможность этого возврата.

Именно в ту эпоху, когда феодализм еще не ушел окончательно и когда уже пришло новое время, этот поступок Лира приобрел особое значение, тема взрывалась, как бомба, ее осколки летели в еще уцелевших противников нарождающегося нового общества, они задевали и Якова I.

Заимствовав у Голиншеда рассказ о Лире (а Голиншед в свою очередь заимствовал его из других источников), Шекспир развернул обличение феодализма, которое не остановилось, понятно, на ситуациях Голиншеда, но пошло дальше; драма переключилась на борьбу характеров, старая мораль воплотилась в самом Лире, в Гонерилье, Регане, Эдмунде, а с другой стороны, на том же образе Лира Шекспир показал всю обреченность этой морали, всю гибельность чувств, воспитываемых старым феодальным укладом, весь ужас старого порядка.

Вырывание глаз у Глостера, множество убийств (убивают Освальда, слугу Корнуола, самого Корнуола, офицера из армии Эдмунда, Регану, Корделию, Эдмунда), общий фон жестокости и зверства — все это замечательно показывает, какие мрачные силы выпустил на свободу Лир, разорвав единство страны. Шекспир усилил мрачность красок по сравнению с разработкой темы Лира в предшествовавших ему произведениях.

В пьесе «Горбодук», предшественнице «Короля Лира» по теме, весь смысл сведен к простой истине, что вредно разделять государство, у Шекспира эта истина есть только часть содержания, часть идеи, но не покрывает всего огромного смысла трагедии. Нелепою считал Гете эту первую сцену, но это лишь слепота художника, не понявшего всего ее огромного смысла.

Изгнан верный Кент, который, как острый меч, стоял перед своим королем, защищая его. Изгнана кроткая и честная Корделия. Разделено царство на две равных доли и отдано Регане и Гонерилье. Король стал просто отцом, а дочери стали королевами. Переменились роли, остались узы крови и родства. Но как туго натянуло их это перемещение!

Как выросли дочери и как опустился отец!

Разве они стали умнее? Нет. Разве они стали великодушнее? Нет, нет. Разве стали больше людьми; чем были? Нет же, нет. Наоборот. Так что же изменилось? Только то, что в их руках — власть, на их головах — корона.

Шекспир как бы говорит, что как это мало быть человеком, как это недостаточно в мире, так строго разделенном на определенные иерархии, положения и чины.

Вспомните «Ромео и Джульетту». Ведь и там звучит эта же скорбная флейта: нельзя быть людям людьми, ибо на пути их сердец и чувств стоят феодальные — такие окаменевшие — устои, стоит родовая месть...

И вот первая горечь унижения просачивается в кончики пальцев Лира, еще не рассасываясь по всему телу и не бросая в мозг, как залпы, кровь смертельной обиды.

Уже в 3-й сцене (а 2-я сцена, как вы помните, происходит в доме Глостера и не имеет пока никакого отношения к Лире) первый удар наносится бывшему королю. Он быстро вызрел, этот удар. Именно поэтому он так мучителен. Мы не знаем, сколько времени прошло, как живет Лир у Гонерильи, но мы знаем главное: ни одного намека нет, ни одной сцены не существует в пьесе, где бы показаны были заботы Гонерильи о Лире. Но мы слышим ее голос, говорящий слуге (не забудьте — слуге!):

С утра до ночи злит нас. Что ни час,  
То новую проделку затекает,  
Внося расстройство. Силы нет терпеть.  
И челядь распустил, и сам брюзжит  
По пустякам. С охоты как придут,  
Встречаться не хочу. Скажи: больна.  
Коль будешь с ним не очень-то услужлив,  
Поступишь хорошо. Я отвечаю.

(I. 3)

Гонерилья вся соткана из лицемерия. У ней такая сладкая и изысканная речь, когда она лжет, и она находит только грубые и резкие слова для правды. Лицемерие никогда не покидает ее, оно ведет ее, как учитель жизни и действия.

Вот она готова выбросить отца за дверь, она уже ненавидит его, он для

нее только докучливый старик, — но как мягко укалывает она его в самое сердце, какой лестью и ложью напоены ее слова, точно их железо смягчится от этого или, наносимая ими рана будет безболезненной:

О Вашем же забочусь я покое  
И Вас прошу не счесть за оскорбленье,  
Что в данном случае принуждена  
Принять я меры.

(I. 4)

Именно после этих приторных любезностей бросает ей Лир:

Ты — наша дочь?

Она говорит о жалости к Лиру, но он понимает, что если ей кого и жаль в этом мире, то только себя. А как величественно и гордо встречает она Лиру, когда он стал зависеть от нее!

Да, она действительно дочь злого Лира, и не стоит ему отказываться от нее: это есть зло, которое именно он, Лир, породил.

Позднее — во 2-й сцене IV акта — она сама скажет, что ее жизнь — «ненавистная» (hateful), она станет настолько циничной, что ее муж, Альбани, с отвращением отшатнется от нее и воскликнет:

Вглядись в себя!  
К лицу чертям, уродливость такая  
Ужасна в женщине.

(IV. 2)

Регана — сестра Гонерильи и по духу. И ее язык лжив, и ее дела кровавы, и она готова на любое преступление, чтобы добыть своего.

Вслушайтесь в ее слова, когда она отвечает королю, только что получив от него треть королевства. Как она любит его! На какие жертвы она готова!

Я — из того ж металла, что сестра.  
Цена у нас одна. Правдивым сердцем  
Считаю речь ее я образцовой,  
Но слишком краткой. Я же заявляю,  
Что мне враждебны всякие утехы,  
Что требуют от нас крупницы чувства, —  
В одном себе я нахожу блаженство:  
Любить Ваше величество.

Любопытно в этих двух образах то, что они несут в себе какую-то долю правды. В конце-концов Лиру и на са-

мом деле не нужно иметь 100 рыцарей, если он разделит свое царство. Он не должен чувствовать себя таким же полновластным королем, если у него уже нет королевства. Но это — только полуправда, а не целая истина, это именно и осложняет образы Реганы и Гонерильи, делает их жизненными. Лиру, в силу всего комплекса его характера, нужно все или ничего, абсолютность или гибель: отрывая от него самую ничтожную часть, они отнимают у него все, ибо Лир необычайно цельный и единый характер, его себялюбие не знает никаких границ.

Введя эпизод со 100 рыцарями, Шекспир выразил здесь сценически и действительно эту философию дикого деспотизма.

Регана и Гонерилья — дочери Лира, они — его слепок, у него они научились жестокости и своеволию, он воспитал их такими, каковы они есть, как бы ужасно это ни было.

Они дополняют Лира, они нужны для того, чтобы выявить и оттенить те черты короля, которые так отвратительны и низменны.

Они унижают старого Лира — и нас радует это унижение, ибо мы помним, как он сам унижил Корделию и Кента.

Первый удар нанесен Лиру, первое оскорбление обрушивается на него.

Так начинается первый круг второго цикла развития Лира: непоколебимым и мощным видели мы его, когда он был на королевском троне. Но он сошел с трона на землю, не думая, что ему придется упасть в пыль и грязь. Он еще стоит, но уже заколебалась почва, Лир уже шатается. А рядом, точно на другой земле, стоит твердо и прямо его дочь Гонерилья, чьи слова теперь — приказание и чьи приказания теперь — закон, ибо в мире Лира и его дочерей сила — вот закон, власть — вот право. И шут — его шут — бросает ему:

А был ты милым малым, которому не приходилось обращать внимания на то, хмурится ли кто-нибудь. Теперь ты вроде нуля без цифры.

(I. 4)

Наверное, даже самый грохочущий шум перед Лиссабонским землетрясени-

ем казался жителям тихим, когда начался грохот уничтожения. Все, что говорил Лир перед этим, кажется неслышным и тишайшим, ибо настало время произнести страшные и последние слова, после которых умирают все другие слова.

Лир произносит их, и они падают на Гонерилью, на его дочь, и отрывают ее от Лира и Лира отвергают от нее:

Наша ли ты дочь?

Как стремительно это скольжение вниз, как резко обрываются связи родства и узы крови! Горечь, сарказм, боль, гнев, злорадия и беспомощность — какой клубок чувств сцепился в его сознании, омраченном этим великим для него унижением!

Кому-нибудь знаком я? Я — не Лир!  
 Так ходит Лир? Так говорит? Что ж, слеп я?  
 Размяк рассудок, и соображенья  
 Заснуло? Как, не сплю? Не то, не то!  
 Кто скажет мне, кем стал я?

(I. 4)

И тогда бросает шут своему королю, что стал он «тенью Лира».

Свершилось! И вспыхивает мысль о своей вине перед Корделией, так возвращается 1-я сцена, чтобы осветиться новым светом. Так Шекспир вводит в эту страстную симфонию новую, еле звучащую, вернее, еле прозвучавшую, нотку симпатии к Лиру: из тирана он становится жертвой, из оскорбителя — оскорбленным.

... Как мала  
 Вина, за что Корделию обидел.  
 Каким-то рычагом она мне с места  
 Природу сдвинула и в сердце желчь  
 Влила взамен любви. О Лир! Лир! Лир!

(I. 4)

Корделия — вот кого вспоминает Лир в эти горькие минуты отчаяния. Только в 1-й сцене трагедии появлялась до этого момента Корделия, — но как ярко был раскрыт ее образ!

Корделия во всей литературе Англии до Шекспира и в его время совершенно новый характер, здесь Шекспир опрокинул обычные традиции и эстетические нормы. Как не походит эта королевская дочь на всех принцесс английской литературы! У ней нет придворной льсти-

ности, ее речь проста и не заученно-изысканна, она говорит, скорее как расчетливая и деловая буржуазная девушка. В ней много рационалистических черт, ей претят пышные гиперболы, она не любит условностей, которые нужно говорить, хотя бы им не верил ни тот, кто говорит, и ни тот, кому говорят. В Корделии есть что-то от пуританизма, от английской буржуазии, в ней мало придворных черт.

Вот один из ее первых монологов в 1-й сцене I акта пьесы:

... Милорд,  
 От вас имею жизнь, любовь, питание,—  
 И полностью за это вам плачу:  
 Люблю вас, повинуюсь, уважаю.  
 Зачем же у сестер мужья, когда  
 Так любят вас? Случись мне выйти  
 замуж,—

С рукою отдала б я половину  
 Любви моей, забот и уваженья.  
 Нет, никогда б я не вступила в брак,  
 Любя лишь вас.

ЛИР. От сердца говоришь?

КОРДЕЛИЯ. От сердца, сэр.

ЛИР. Так молода и так черства ты?

КОРДЕЛИЯ. Я молода, но я правдива.

(I. 1)

Даже в самый трагический момент, когда она внезапно узнает о страшной судьбе отца и о поведении своих сестер, она сдерживает себя:

КЕНТ. Переданные вами письма вызвали  
 у королевы какие-нибудь проявления  
 скорби?

ПРИДВОРНЫЙ. Да, сэр. Взяла письмо, при  
 мне прочла,

И крупная слеза вдруг по щеке  
 По нежной покатила. Королева  
 Превозмогала чувство, но оно  
 Ее старалось победить.

КЕНТ. Скорбела?

ПРИДВОРНЫЙ. Но в исступленья не впадала.  
 Горе

С терпением в ней боролась.

(III. 4)

Она лучше готова отказаться от почта и богатства, чем солгать, она не хочет, чтобы не дела и настоящие чувства, а ее язык работал за нее, лгал и обманывал, как это делают ее сестры. Ей король прямо сказал, что если она хочет получить лучшую долю, то должна лучше сказать: «Что скажешь ты, чтоб взять себе часть лучшую, чем сестры?»;

именно поэтому она так и сдержанна: «Ничего, милорд».

Эта трезвость, рассудочность, кажущиеся даже грубыми, а по существу вполне жизненные, особенно резко выделяются в то время и в той среде. Тут как бы нарочитое противопоставление ложной романтики и жизненного реализма, тут их нарочитое сталкивание.

Я вкрадчивого лишена искусства  
В словах и жестах (то, чего нет в мыслях,  
Нет и в устах). Но надо сообщить,  
Что не порок, убийство или подлость,  
Не непристойный, недостойный шаг  
Меня лишили вдруг расположения.  
Мое богатство — этот недостаток  
Прозящих взоров и речей таких же,  
И я довольна, что их нет, хотя  
Через это я любви лишилась.

(I. 1)

Корделия — это сильный характер, опирающийся не на грубую силу, а на силу честности, искренности, на силу новой эпохи Возрождения.

Это вовсе не черствость: Кент прав, когда он говорит:

Ручаюсь жизнью:  
У младшей дочери любовь не меньше.  
Не бессердечны те, чей слабый голос  
Лишен притворства.

(I. 1)

Именно такую играла Корделию знаменитая актриса Барри.

Сталкиваются два стиля поведения: Лир, Гонерилья, Регана, с одной стороны, и Кент с Корделией — с другой. Гонерилья и Регана — это скрытность, а Корделия — прямота. Здесь сталкиваются правда и ложь, искренность и лицемерие, краснбайство и простота, честность и коварство.

Я вкрадчивого лишена искусства, — говорит Корделия, и это бросает свет на все ее поведение. Как же глубоко погрузился Лир в грязь мира, если он не видит достоинств Корделии, если он может ее изгонять, не замечая лицемерия ее лстивых и вкрадчивых сестер. Корделия — это осуждение Лира, это приговор над ним.

В Корделии есть еще одна любопытнейшая черта: принцесса, дочь короля, воспитанная в роскоши, она однако вы-

ше всего ценит подлинно человеческие чувства, для нее важнее всего они, а не кастовые или материальные отношения. Она готова жить с милым в шалаше, если он ее действительно любит. Она прямо заявляет герцогу Бургундскому:

Когда у вас богатство есть любовь,  
Женой не буду вашей<sup>1)</sup>

(I. 1)

Она не желает унижаться, ее речь полна огромного внутреннего достоинства, которое не уничижается ни гневом Лира, ни падением с высокого положения. Она сохранила и в падении все, что имела, ибо Лир не мог лишить Корделию ее внутренних прекрасных человеческих качеств. И король французский это понимает:

Ведь любовь,  
Когда примешиваются расчеты,  
Уж не вполне любовь.

А когда Корделия вместе с французскими войсками идет сражаться с Эдмундом и сестрами, она подчеркивает, что лишена тщеславия и бьется только за право и честь:

Не дутое тщеславье нас ведет —  
Любовь и старого отца права.

(IV. 4)

Ее образ утверждает в трагедии идею, что чувства драгоценны сами по себе и без драгоценностей, что любовь может быть велика и без великого богатства, что богатство отношений именно не нужно связывать с просто богатством, что ценность чувств не зависит от цены человека: Корделия осталась и в нищете великой, а ее сестры и в богатстве стали чудовищами.

Но почему же она гибнет в финале, почему появляется Лир с задуманной Корделией на руках? Трудно найти объяснение всем деталям художественного произведения. Но думается, что смерть Корделии находится в полном согласии с общим мрачным тоном трагедии, рождающей отчаяние и сомнение в возможности счастья на такой страшной земле, среди таких ужасных людей. Вместе с

<sup>1)</sup> Перевод мой.

тем смерть Корделии замечательно подчеркивает жестокость врагов Лира, в особенности Эдмунда, не останавливающихся ни перед чем в достижении своих целей. Финал не дает места для оптимизма, ведь только мельком, одной фразой Эдгара, выражается уверенность, что другим будет лучше, и то только в том случае, если они не будут жить так долго, как Лир...

Но главная причина гибели Корделии может быть найдена в том, что Шекспир хотел показать крушение всего рода Лира: никого не осталось от этого жестокого рода, он умер и погиб, как погибла его эпоха.

Гибель Корделии закономерна, ибо в ней также течет кровь Лира, ибо в ее облике также есть чисто феодальные черты, ибо и она упорна и крепка там, где нужно быть ласковой, ибо иногда она не менее свирепа, чем ее сестры (разница в том, что у тех жестокость направлена против отца, а Корделия обрушивает французские мечи на свою родину во имя защиты Лира).

Драматург Дюсис в своей переделке «Лира» оставляет Корделию в живых, в чем ему следует и Гнедич («Леар», трагедия в пяти действиях, взятая из творений Шекспира», 1808 г.). Это есть грубейшее извращение Шекспира.

Но вернемся к сцене сожаления Лира об изгнании им младшей дочери.

Лир изменил природе, изгнав Корделию,—и вот расплата. Гонерилья изгоняет его. И позднее, например в 4-й сцене II акта, Лир снова вернется к этой мысли, как убийца возвращается на место преступления.

Но он — все тот же старый Лир, человек крайностей, не опирающийся верное действие на верную мысль. Какой грязный поток ругательств изрыгает он по адресу Гонерильи, как он груб и противен в этом своем бессильном гневе. Это не есть ли старческое вздорное слабоумие, слепое и злоеущее?

Но сквозь этот поток слов, сквозь эту студенистую массу, такую отвратительную и липкую, прорезается страшный крик отчаяния:

Я не хочу сходить с ума!

И опять — уже перед Реганой — рождается этот крик:

Дочь, не своди, прошу меня, с ума.

Лир как бы сковывает себя, он пытается схватить торопливой и жадной рукой просачивающиеся мысли, он хочет снова зажечь гаснущий рассудок. Но скоро — в 4-й сцене II акта — ему снова придется крикнуть себе:

О, сердце, не стучи!

Он судорожно цепляется за меркнувшее сознание, которое было для него бесполезным в удаче и стало таким необходимым в беде.

Черная и бессильная злоба рвется из него, он готов проклинать все — и страшны его слова, ужасны его проклятия, они лопаются, как ядовитые пузыри ядовитого болота, они отравляют воздух. И в то же время они беспомощны, точно ветер дует в его сторону, и вся его злоба возвращается к нему обратно и хлещет его в лицо и в распаленный мозг.

Если бы Лир был прав во всем, не было бы трагедии. И если бы он был во всем неправ, не было бы такого ослепительного накала страстей. Он корчится, как осужденный, проклинающий гильотину, а она стоит, немая и черная, и скоро упадет нож и кровь зальет язык, который теперь извивается, как жалозмея.

Он говорит, что жестокость Гонерильи:

Мне сердце растерзала, точно коршун.

И вспыхивают чумные и дикие слова:

Пускай злой дух  
Нашлет расслабленность на кости...

Вы, молнии, глаза ей ослепите  
Надменные! Болотистый туман,  
Что солнца пар из топи вызывает, —  
Обезобразь ее красу!

(II. 4)

Вот что делает образ Лира сложным — его полуправда. Ибо, будь он прав полностью, как Эдгар, тоже изгнанный Глостером, у него была бы ог-

ромная внутренняя сила. Его изгоняют? А разве он сам не прогнал Корделию? Его унижают собственные дочери? А разве он не унизил собственную дочь? Но ведь он — отец? А она — дочь и была еще более беспомощна. Но он слаб и стар? А она — юна и неопытна. Но ведь он отдал же Регане и Гонерилье все свое состояние? Да, но он зато лишил Корделию всего!

Это — расплата. И это как бы уничтожает угрозы и проклятия Лира. Он не может держаться себя с достоинством в беде, с силой — в горе, с гордостью — в унижении. Он падает сразу же, как только его ударили.

Его лишили высокого положения — и он оказывается беспомощным, как черепаха, вырезанная из ее панциря. Он был король. А кем стал? Он спрашивает Освальда — слугу Гонерильи: «Кто я такой, сударь?» и получает ответ, вызывающий у него новый приступ гнева: «Отец миледи». И только — отец своей дочери, а не король.

Так величие стало падением, так могущество стало слабостью, так сила стала бессилием, так власть стала беззащитностью, так мудрость оказалась слабоумием. Как немного не хватает этим первым качествам, чтобы не быть вторыми — только трона, только короны. И как это огромно и безмерно, ибо, значит, главное не корона на человеке, а сам человек; не трон, а человеческое.

Не говорит ли здесь Шекспир так много, что понимание затрудняется кажущейся простотой и прозрачностью? Не есть ли это отблеск гуманистической философии? Повторяю (для тех, кто нуждается в повторениях), что это только отблеск. Но ведь и луна светит светом земли, и все же, если нестерпим холод и прозрачен снег, как ярко она светит.

Человеком не был Лир: он был королем, а не человеком.

... Кончается первый акт, уходит от Гонерильи Лир, неся перед собою, как лампаду, надежду на любовь второй дочери — Реганы, на ее ласку, на ее заботу. Он уходит от горя, думая, что идет к радости. Он бредет от унижения, думая, что идет к любви. Он бросает

ту, которая перестала быть дочерью, чтобы идти к ее сестре.

## Глава II

Лир у замка Глостера, куда приехала Регана, чтобы не видеть своего отца. Первые же шаги Лира к Регане приводят его к Кенту — переодетому, ставшему его слугой и оказавшемуся в колодежках, хотя он был посланцем Лира. Шекспир сразу же доводит действие до точки кипения: для Лира это — неслыханное оскорбление, это «хуже убийства».

С надеждой в сердце шел Лир к Регане — и получил удар в это сердце. Он побрел к замку своей дочери, влекомый обманчивой надеждой, — так животное уже вступило на липкую от крови почву на бойне, но еще не понимает, что здесь — гибель.

Регана — как Гонерилья. Гонерилья — как Регана. Так удваивается зло, так удваивается несчастье. Шекспир выводит на сцену опять Гонерилью, он максимально усиливает накал событий, они обрушиваются на Лира и сокрушают его. Лир страшится падения и слабости, он обращается к богам, чтобы они не дали ему слишком ослабеть. Он произносит страстный и страшный монолог:

Я отомщу обeim вам жестоко.  
Мир содрогнется. Я еще не знаю,  
Что сделаю, но сделаю такое,  
Что страшно станет. Думаете, плачу?  
Я не заплачу.

Причин для слез немало, но пусть сердце  
В груди на части разобьется раньше,  
Чем я заплачу. Шут, я помешаюсь.

(II. 4)

Произнесены слова, которых боялся Лир: ум покидает его, безумие входит в него, сознание медленно оставляет его.

Из короля он стал отцом, из самодержца он стал человеком. Поистине чудовищным было его непонимание себя и мира, если превращение в человека мгновенно пошатнуло его разум. Сумасшествие приходит к Лиру именно тогда, когда он перестает быть королем, когда он становится равным другим людям. Равенство для Лира невыносимо и смертельно, именно оно бьет его сильнее всего:

Нельзя судить, что нужно. Жалкий нищий  
Сверх нужного имеет что-нибудь.  
Когда природу ограничить нужным,  
Мы до скотов спустились бы. Вот ты —  
Не для тепла одета так роскошно.  
Природа роскоши не требует, а только  
Заботы о тепле. А то, что нужно...  
Терпенья, небо! Мне терпенье нужно!

(II. 4)

Лиру мало того, что необходимо, ему нужно больше необходимого, чтобы не чувствовать себя «скотом». Но так как огромное большинство не имеет даже необходимого, то, следовательно, они «скоты», а он, Лир, чем больше будет иметь ненужного и роскошного, тем выше станет себя чувствовать. Это — яркое выражение философии неравенства, возведенной в закон всей жизни, всего существования. Здесь причина ярости Лира, когда его лишают права иметь огромную свиту, когда и для него настает время обдумать стоимость желаний, прежде чем его высказать, прицениться к вещи, прежде чем ее взять.

Шекспир здесь замечательно выражает экономическую основу власти Лира, он здесь, в этой сцене и во всем поведении Лира, прекрасно показывает, что богатство — это не только удобство, но и власть, а власть в обществе, основанном на эксплуатации, это — не только могущество, но и богатство.

Лира лишили власти — тем самым его лишили богатства. Лиру не дают пользоваться всем, чем он хочет, — тем самым его лишают власти.

Да, Лиру нечего делать в мире, где не он главное, ему нужно бежать, когда он перестал быть всем. А если он не все, тогда для него все есть ничто, ибо с себя начинает он счет и собою же его заканчивает.

Второй акт приходит к концу. Темная ночь падает на мир. Буря, как темная кавалерия, несется на Лира. Вы слышите это завывание ветра?

КОРНОУЛ. Ворота затворить. Какая ночь!  
Права Регана. Ну, идем от бури.

«Идем от бури». Прочный дом — для них, степь — для Лира.

Так Лир вступает в новый цикл своих переживаний — одинокий изгнанник,

«Новый мир», № 2

для которого уже нет никаких надежд и никакого просвета. Ночь, тьму которой усиливает буря, и буря, вой которой усиливается мраком, — вот его спутники. Помните у Багрицкого: «Был ветер в сумерках жесток» («Баллада о Виттингтоне»). А здесь не сумерки, а ночь, не вечер, а буря обрушилась на Лира.

Последуем же за ним и в этом новом мучительном странствовании.

Но познакомимся сперва с его спутником — королевским шутом. Как артистически вылепил Шекспир облик этого шута! Конечно мы не все знаем, что шут говорил на шекспировской сцене. Это амплу требовало все новых и свежих острот, и, как правило, актеры, игравшие шутов, очень многое добавляли к своему тексту. Но и то, что уцелело в известном нам тексте «Короля Лира», позволяет сделать ряд выводов о выведенном под маской шута характере.

Шут в «Лире» имеет особую функцию — он называет подразумевающееся, он разрушает внешнее, чтобы выявлять внутреннее.

Шут выступает на сцену как зеркало и как двойник Лира, он выходит на первый план в те моменты, когда Лир начинает осознавать безумие или глупость своих поступков. Он, как колокол на корабле, пронизывает туман и бьет тревогу. Он кривляется и шутит, он бросает то меткие, то плоские остроты и неумоимо разрушает самомнение Лира, неустанно подтачивает его гордую уверенность в самом себе и возбуждает ненависть к Регане и Гонерилье.

Отношение к Корделии — проверка душевных качеств всех героев пьесы (для Эдмунда и Эдгара такой проверкой является отношение к Глостеру). И очень показательно, что еще до появления шута на сцене рыцарь о нем говорит:

С тех пор как молодая госпожа наша  
уехала во Францию, шут все более и более  
чахнет.

(I. 4).

В первый же свой выход на сцену он говорит Кенту в присутствии Лира, что «этот малый изгнал двух своих дочерей, а третью благословил, сам того не желая».

Его язык резок и груб, он хлещет словами, как бичом, оставляя кровавые полосы и не щадя никого. Его нет в 1-й сцене I акта, когда Лир изгоняет Корделию, но он появляется в 4-й сцене, когда наученные Гонерильей слуги начинают грубить Лиру и он впервые чувствует свое унижение. Он, почти не скрываясь, прямо называет Лира шутом:

Кто дал совет тебе  
Свою страну отдать,  
Пускай идет ко мне, —  
И будет мне под стать.  
И тот, и тот — дурак:  
Тот горек, сладок тот.  
Один нашел колпак,  
Другой еще найдет.

ЛИР. Ты хочешь назвать меня шутом, дружок?  
ШУТ. Какое же другое название дать тебе.  
Ты с ним и родился.

(I. 4)

Он вводит лезвие смысла в события, вскрывает их, чтобы было видно их подлинное содержание. Именно он показывает Лиру значение того, что с ним произошло. Его дурашливость есть лишь форма прикрытия острой зоркости — точно темные очки на глазах человека, видящего очень много и не желающего, чтобы другие это заметили.

В нем многое от фольклора, от народной поговорки и сказки, он пересыпает свою речь народным соленым юмором.

Лохмотья на плечах, —  
Семейка не глядит.  
Тугой кошель в руках, —  
Семейка лебезит.  
У счастья — старой девки, —  
Для нищих — лишь издевки.

(II. 4)

ЛИР. О сердце, не стучи! Спускайся ниже.  
ШУТ. Крикни ему, дяденька, как стряпуха говорила угрям, которых живыми клали в тесто, — она стукнет их по голове скалкой и приговаривает: «Спокойно, повесы, спокойно».

(II. 4)

В словах шута звучат уже мольеровские нотки, — он не просто веселит дворянство, нет, он завертывает в шутовскую форму острое жало, он мыслящий человек, а не просто балагур:

ШУТ. Скажи, дяденька, прошу тебя: кто более полоумный — дворянин или фермер?

ЛИР. Король, король.

ШУТ. Нет. Полоумнее всех фермер, у которого сын — дворянин. Надо с ума сойти, видя, как сын дворянина выше отца стал.  
(III. 6)

А его пророчество о тех временах, когда изменится существующий порядок вещей, когда настанут идеальные времена! Это утопия, прогрессивная по своему содержанию, но опять-таки выраженная в шутовливой и несколько запутанной форме:

Славная ночь. Может прохладить куртизанку. Перед уходом скажу пророчество:

Когда попы не врут народу,  
Не льет кабатчик в пиво воду,  
Заказчик — опекун портному,  
Не ведьм сжигают, а солому,  
Когда в судах наступит толк,  
А рыцарь не ползет в долг,  
И сплетник вдруг — без языка,  
Карманник вдруг — без простака,  
Процентщик деньги в лес несет,  
А сводня строить храм начнет, —  
Тут станет думать Альбион,  
Что снится непонятный сон.  
Пора та может удивить:  
Все станут на ногах ходить.

Исполнится все это при Мерлине — я не доживу до того времени.

(III. 2)

Он обличитель, но вместе с тем и верный слуга Лира, не оставляющий его в беде и в силу этого более честный и благородный, чем две дочери его. Именно поэтому так горделиво звучит его песенка:

Кто в службе знает лишь расчет  
И служит напоказ, —  
Вернется, только дождь пойдет,  
И в бурю бросит вас.  
Я остаюсь, дурак, все тут,  
А умники ушли.

За дураком плуты бегут,  
Дурак за плутом ни-ни-ни.  
(II. 4)

Но он шуткой протестует там, где нужно протестовать оружием. Он насмешкой действует там, где нужно сражаться и ниспровергать. Он язвит, а не бьет, он смеется, а не действует, он сыплет остротами, а не ударами меча. Здесь мольеровские нотки есть только отзвук далекого голоса, но ни в какой степени не сам голос. Шекспир конечно не был буржуазным художником, и не случайно, что в образе шута звучат эти

нотки, что дурацкий колпак качается на голове, рождающей такие верные мысли.

...Но мы оставили Лира в степи. Вернемся же к нему.

### Глава III

Только то, что есть сверх нужного, сохраняет достоинство. Необходимое — сравнивает, излишнее — разделяет и вышляет. Так говорил Лир.

И вот он остается один, и только шут при нем, как уродливое зеркало его самого, как его второе «я», ибо и он, Лир, тоже стал шутлом и дураком, и только шутовских бубенчиков не хватает его голове, совсем недавно увенчанной короной.

И в горе своем, в отчаянии своем, в ужасе своем Лир остается Лиром: его субъективное есть для него единственный закон, он ощущает свое как всеобщее, свои раны — как раны человечества, свои обиды — как обиды всего мира, свои оскорбления — как оскорбления вселенной.

Ничто не может уничтожить его беспредельной любви к самому себе, его величайшего по своей беспримерности эгоизма.

Мне плохо? Так пусть же весь мир захлебнется, как таракан в грязной луже! Лир ненавидит все и не жалеет ничего.

Это человек, в котором высохли и омертвели все чувства, кроме одного, — любви к себе и злобы к другим. Слушайте этот поразительный по своему мощному красноречию разговор Лира с бурей.

Дуй! злись! Пусть лопнут щеки, дуй!  
 Вы, водопады-ливни, лей!  
 Залей все колокольни и флюгарки!  
 Вы, серные, спящие огни,  
 Дубов крушители, предтечи грома, —  
 Сюда на голову! <sup>1)</sup> Валящий гром,  
 Расплюсни толстый шар земной, разбей  
 Природы форму, семя разбросай,  
 Плодящее неблагоприятных!

(III. 2)<sup>2</sup>

<sup>1)</sup> Здесь в переводе пропущено слово ради сохранения ритма: Лир говорит о «белой (седой) голове», что усиливает его речь.

<sup>2)</sup> Л. Толстой считает весь этот монолог бессмысленным, как и всю трагедию о Лире.

Здесь пышность гипербол несколько скрывает смысл монолога, но тут же следует второй монолог, уточняющий первый и усиливающий его. Потому призывает Лир бурю и гром, молнию и ливни на землю, что они — не дочери, им можно все. Страшность слов Лира этим чрезвычайно подчеркивается: ибо как же ужасны дочери, если они вызывают такие сравнения.

Буря в степи — и буря в сердце Лира: он подставляет свою седую голову под потоки дождя, чтобы хоть этим смыть оскорбления. Но ужас не смывается ужасом, а лишь укрепляется им.

Шут рядом с Лиром — это циничное и грубое, но какое сценически эффектное выявление падения бывшего короля:

Да, дяденька, потоки придворной лести в сухом доме лучше, чем этот ливень под открытым небом. Дяденька, попросил бы ты прощенья у своих дочек. Такая ночь не жалостлива ни к умникам, ни к дуракам.

(III. 2)

Сразу же после этих слов Лир разражается вторым монологом:

Бурчите вволю. Плаю, огонь! Лей, дождь!  
 Ни дождь, ни гром — не дочери мои,  
 В жестокости я их не упрекну.  
 Я царств им не давал, детьми не звал, —  
 Повиноваться не должны. Валяйте ж  
 Ужасную потеху. Вот стою я,  
 Больной, несчастный, презренный старик.  
 Ну, вы, прислужники и подлипалы  
 У дочерей злодеек, — с ними вместе  
 С небес разите голову седую,  
 И старую, как эта. О, о, срам!

(III. 2)

А шут немедленно по окончании слов Лира вставляет непристойную песенку о ширинке. Два скрещивающихся плана — безумие и цинизм, отчаяние и вульгарность, гром и хихиканье, проклятие и шутка.

Здесь — кульминация пьесы. До самой низшей точки падения дошел Лир. Он стал равен шуту и любому человеку в мире на этой плоскости, ниже которой нет ничего, кроме могилы. Деспот стал бедняком, король стал шутлом, себялюбец — изгнанником. И шут стал равен королю, ибо король оказался равным шуту.

И Лир, бросившийся к буре, чтобы она расколола и развеяла, как пепел, его отчаяние, Лир, который только-что кричал, точно одержимый, в этой холодной степи, вдруг останавливается, как человек, вставший на край бездны и отшатнувшийся от нее. Он говорит: «Нет! Я хочу быть образцом терпения. Я ничего не скажу». Великолепен здесь переход к прозе — резкий перелом чувствований Лири, переход от громяющего красноречия, от громких криков в неведомое и бесконечное к ощущению себя, своей воли и сознания. Безумие оставляет его, разум медленно входит в омраченную голову, спокойствие возвращается.

Он сломан, он смиряется. Как однако легко Лир перешел к смирению. Не грешит ли здесь Шекспир против жизненной правды? Посмотрим, посмотрим дальше, не будем спешить с выводами.

Что же вливает спокойствие в Лири? Вдумайтесь в слова его: «Передо мной другие грешней, чем я пред ними». Вот основа его нового состояния, — тяжелые испытания Лири как бы искупают его вину, он начинает находить опору в том, что если он преступник, то есть еще преступнее, что если он жесток, то есть еще более жестокие.

Но ведь это же ничего общего не имеет с его прежней философией неравенства? Конечно нет. Но в этом и суть его нового состояния, что он начинает отказываться от этой философии. Признать себя более милосердным, а других более жестокими — как это далеко отстоит от равенства! Но для Лири здесь гигантский прыжок вперед, и Шекспир с необычайной тонкостью показывает распад прежней философии Лири.

И впервые новое слово — «необходимость» — появляется на языке Лири. А ведь Лир считал только себя необходимостью, не признавая ничего, что нужно бы исполнить, ибо все исполняли, что он хотел. И вот здесь, в степи, под потоками ливня, под грохот бури, на устах Лири появляется это столь чуждое для него слово — «необходимость». Какой страшный путь был к

этому слову, какая трудная дорога вела к этой простой истине!

Вернемся к смирению Лири, которое могло показаться таким неожиданным и невероятным. Оно жизненно и вероятно, читатель, ибо оно только промелькнуло в сознании Лири, но не стало всем его сознанием.

В 4-й сцене, а она идет немедленно после «смирения» Лири, он опять яростно кричит:

Мой ум бушует,  
И ошущенья притупились, кроме  
Того, что бьется здесь. Неблагодарность!  
Похоже, словно рот кусал бы руку,  
Которая подносит пищу. — Мишенья!  
Нет, плакать я не буду. — В бурю, в ночь  
Прогнать меня! — Лей! выдержу я ливень! —  
В такую ночь! Регана, Гонерилья!  
Отца, что вам от сердца отдал все. —  
О, я с ума сойду! Не допускайте!  
Довольно!

(III. 4)

Он произносит эти мрачные слова: «О, я с ума сойду». А через некоторое время — в 5-й сцене — Кент скажет про него: «Ум у него мешается». И в 7-й сцене тот же Кент опять скажет: «Не тревожь. Он разума лишился».

Несколько раз говорил об этом Лир, а сознание просачивалось капля за каплей, оно оставляло этого старика, мучащегося по ночной степи, как раненая птица.

Но ведь именно теперь Лир заговорил о необходимости. Но ведь именно теперь Лир узнал цену простых вещей и ужас неравенства. Но ведь именно теперь Лир увидел реальный мир, с которого ливни точно смыли придворные условности. Какие странные и необычайные слова произносит Лир:

Несчастные и голые создания,  
Гонимые суровой непогодой,  
Что впроголодь блуждаете без крова, —  
Как защитят дырявые лохмотья  
Вас от такой вот бури? Слишком мало  
О вас радел я. Излечися, спесь,  
Испытывая то же, что они,  
Чтобы поколебался твой излишек  
И небо стало справедливей.

(III. 4)

Лир говорит о справедливости! Лир хочет освободиться от гордости! Лир чувствует беднякам! Ведь это же но-

вый человек, мы его впервые видим таким. Лир ли это? Да, это Лир, но преобразенный, изменившийся. Реальность мира воплощается для него в образе сумасшедшего, грязного, полуголого Эдгара. Лир опять переходит на прозу, здесь опять резкий обрыв стиха, точно выражение обрыва сознания Лира.

Эдгар — человек. Лир — человек. И шут — тоже человек. Как? Все одинаковы? И Лир приходит в ужас. Это равенство нищих и голых приводит его в содрогание:

Лучше бы лежать тебе в могиле, чем непокрытым телом встречать эти крайности непогоды. Что ж, человек и есть таков, как он. Посмотрите на него хорошенько. Тебе шелковичный червь не предоставил своей ткани, ни скот — покрышки, ни овца — волны, ни мускусная кошка — запаха. — Га! мы трое — все поддельные. Ты — вещь, как есть. Неприкрашенный человек — не более, как бедное, голое двуногое животное, как ты. — Прочь! прочь! Все взято напрокат. — Расстегни мне здесь. (Сдирает свои одежды). (III. 4)

Здесь новый Лир, познавший мир через огонь, холод и мрак, через ненависть, презрение и злобу, через ужас и жалость, доходит до известного понимания действительности. Но предел понимания им реальности есть и его выход за пределы реальности — именно здесь он сходит с ума окончательно.

Лир понимает новое, и это озарение почти убивает его, он мчится к безумию так же быстро, как ветер несется на него во мраке этой бурной ночи.

Люди равны? Но ведь он увидел равенство в его самой отвратительной форме. Это — равенство животных. И он рвет на себе одежды, как замечает скупой на ремарки Шекспир. Он истребляет на себе остатки бывшего королевского величия, он хочет сравняться с самым последним, всеми презираемым, нищим.

Так замыкается круг. Король уже не король, и он бросается в самую грязь мира, чтобы до конца пройти свой путь унижения.

Он пьет свою горькую чашу, его губы разорваны ее острыми краями, но он не отнимает их.

И тогда раздается голос Глостера, еще не разделившего судьбы Лира: «В какой компании вы, государь».

Есть смысл в этом безумии — Лир хочет знать, виновна ли природа, или он сам виновен в этих страшных несчастиях. И это перемешивается у него со всяким вздором: точно в мякине скрывается полновесное зерно:

Пусть он вскроет Регану; посмотрю, какой нарост у нее около сердца. Есть ли в природе причины, которые делают сердца черствыми? (Эдгару). Вас, сэр, я принимаю к себе на службу, одним из моей сотни. Но мне не нравится фасон вашего платья. Вы скажете, что это — персидский, но надо его переменить.

КЕНТ. Милорд, прошу вас, лягте, успокойтесь.

ЛИР. Не шумите, не шумите, задержите полог. Так, так, так. Поужинаем поутру. Так, так, так.

(III. 6)

И позднее, уже в 6-й сцене IV акта, Лир сам говорит о том прояснении, которое с ним произошло в степи и которое свело его с ума. Шекспир не любит неясностей, он готов неустанно повторять — и каждый раз прекрасно, чтобы зритель до конца понял все его мысли.

Га! Гонерилья, с седой бородой. Они ласкали меня, как собачку, и говорили, что у меня седая борода, когда она была вся черная. На все, что я ни скажу, ответ был: «да» и «нет». «Да» и «нет» — недобрые божества, оба. Когда однажды дождь промочил меня, от ветра зуб на зуб не попадал, когда он не хотел меня слушаться и не утихал, — тогда я их понял, тогда я их разнюхал. Поди ты, слово у них расходится с делом.

(IV. 6)

Лир возвращается к своим переживаниям в бурю и дает им объяснение, повторение здесь укрепляет и снова освещает ситуацию.

Так смешиваются два потока — мутный и ясный, бессвязный и логичный, безумный и разумный. Лир в безумии — такая это трагическая и великолепная по своему искусству сцена!

Тут пустота и бессмыслица. Но в сознании Лира идет новая для него работа, там переламываются и перемалываются старые ценности, рождаются новые мысли, которые трудно уловить, ко-

торые вышархивают из его головы и исчезают, не связываясь в цельные фразы. Но вот вдруг оформилась картина мира. Лир кричит иступленно о несправедливости общества, которое он сам же создавал. Лир, бывший король, вдруг находит такие слова, в которых тлеют искры протеста, в которых есть вызов обществу. Это невероятно, но именно так говорит Лир, тот самый Лир, который не выносил малейшего неповиновения. Вдумайтесь в этот монолог:

Каналья, руки прочь! Они в крови.  
Зачем стегаешь девку? Сам подставься!  
Ты сам распутней той, кого сечешь.  
Мошеника процентщик засудил.  
Через лохмотья всякий грех увидим,  
Под робой—скрыто все. Оденься в злато —  
И сломится оружие строгих судей;  
Оденься в рвань—пигмей былинкой свалит.  
Никто не виноват, никто! Могу я  
Всем судьям рты замазать. Сделай вот что:  
Достань себе стеклянные глаза  
И, как политик, делай вид, что видишь,  
Чего не видишь. — Ну, ну, ну!  
Тащи с меня сапог! Покрепче! Так!

(IV. 6)

Здесь останавливается бессвязный поток беспорядочных слов, вздымаются точечные берега смысла, слова пронизываются общей мыслью, и монолог связывается со всем выверенным ходом трагедии.

Но он безумен, и Шекспир не забывает этого. Лир, как в бреду, говорит истины и, как истину, говорит бред. Убийственно звучат его слова, что он «король от головы до пят» (вспомним, кстати, что Лир, отдав дочерям королевство, оставил себе звание короля). Здесь Шекспир применяет свой излюбленный прием контраста — в разорванных одеждах, с дико блуждающими глазами, больной и помешанный Лир никак не король, и его внезапные и гордые слова лишь сильнее оттеняют всю мрачность его положения.

О, смесь значительного с ерундою.  
Ума с безумьем.

Так говорит Эдгар. Его устами Шекспир подчеркивает большой смысл приведенного выше монолога Лира о властях и обществе: художник как бы бо-

ится, что это не будет до конца понято, что здесь может зритель ошибиться, приписать все безумию Лира, и он заботливо предостерегает: не все здесь бред и бред здесь — не все, тут есть истины, которые нельзя пропустить.

Я пишу эти строки — и странное и томительное чувство охватывает меня: как ужасно, что мы совсем не знаем, что же думал сам Шекспир, что мы не имеем ни единой строчки комментариев самого художника и что прошедшие столетия так тщателью закрыли все возможности, кроме одной, — узнавать Шекспира по его произведениям. Прекрасно, что есть эти произведения и ни к какой «биографической» школе я не принадлежу, но есть тайны, которые тревожат и не дают спокойно думать. Это лирика, читатель, но позвольте ее иметь и критику.

Как мал был Лир, пока не стал безумным. И как он огромен теперь, когда сознание оставило его, приподняв его веки и заставив прямо посмотреть на мир. Именно теперь только мы поверим Глостеру, что «великое распалось», именно теперь и говорит Шекспир о величии Лира.

Лир жил — и был мертв. Лир почти мертв — и он жив. Несуществующее уже величие распалось, но Лир стал великим, ибо огромна его скорбь не только за себя, но и за весь мир. Да, Лир стал думать о мире, о других, великий себялюбец стал, хотя бы в одной фразе, заботиться о человечестве, о той части его, которой тяжелее всего, ибо она задыхается, придавленная этой грандиозной пирамидой неравенства, на верхушке которой когда-то стоял Лир.

Каким ужасом веет от этой встречи двух некогда столь мощных людей — Лира и Глостера: у одного распался ум, у другого вырваны и втоптаны в землю глаза, а рядом, как не менее ужасный свидетель, сын Глостера, Эдгар: в одежде нищего, в виде безумного.

Если в предыдущей сцене Лир еще не развернул этой своей новой философии, то здесь она дана полностью: тут новый Лир, и его безумие не мешает нам понять его мудрость.

Здесь центр всей пьесы, именно к этой сцене прозрения Лира, облаченного в безумие, стремится все действие, здесь — «роза ветров» трагедии. Свет большой идеи заливает все события, они приобретают огромный смысл, все становится ясным и просветленным. Действие поднято до высоты идеи, а идея выражена с поистине яростной силой действительности. Части охватились общим, зазвучала единая и мощная симфония.

Конечно эти слова Лира ни в какой степени не тождественны буржуазным идеям равенства. Главное для Лира — не равенство, а неравенство, именно это замечает Лир в мире.

Мы уже забыли, читатель, о нашей антипатии к Лиру, мы начинаем чувствовать теплоту к этому старику, мы уже с тревогой начинаем следить за его скорбным путем. Так повернулся ход трагедии. Меняется отношение к Лиру его друзей, а через них — и наше отношение. Несчастия сломили его гордость и вернули человеческие чувства. Испытания сокрушили его эгоизм и родили нового Лира, узнавшего стыд и раскаяние, — то, что было ему раньше неведомо. Бедствия уничтожили жестокость Лира и влили в его сердце мягкость.

**КЕНТ.** Несчастный Лир приехал ведь сюда.

В минуту просветления узнает он  
Всех окружающих, но до сих пор  
Не хочет видеть дочери.

**ПРИДВОРНЫЙ.** Как странно!

**КЕНТ.** Стыда он полн за то, что так жестоко  
Ее лишил благословенья, выслал  
На произвол судьбы в чужбину, отдал  
Ее права и честь собакам-сестрам.  
Все это мучает его и держит  
Вдали Корделии.

(IV. 3)

Так настало время Лиру пережить последнее испытание, в котором он — не один, но с нашим сочувствием. Лир — в руках врагов, в руках Гонерильи, Эдмунда и Реганы.

И новая черта вспыхивает в его облике — благородное мужество, храбрость воина, не боящегося и не замечающего хищных рук врага. Он говорит Корделии:

Я с тобою!  
Чтобы разлучить нас, надо взять с небес  
Огня и выжечь, как лисиц из нор.  
Отри глаза! Сгниют их кости, мясо,  
Пока заплачем вновь. Переживем их!  
Идем!

Так Шекспир продолжает постепенно приподнимать Лира, так наращиваются черты благородства, самопожертвования, стойкости, мужества и любви. Это путь к финалу, когда мы должны пожалеть Лира со всей силой, ибо он стал лишь тенью прежнего деспота Лира.

Он встречает Корделию, радость охватывает его. Но она краткая, как луч уже закатившегося солнца: темнеет мир, уходит жизнь, впереди — никаких надежд. Сознание покрывается опять пеленой безумия, он «великий обломок», как его называет Альбани. Корделия — мертва. И он кричит этому жестокому миру, им же создававшемуся, он кричит этой злой действительности, злобу и ненависть которой выраживал сам:

Зачем собака, лошадь, мышь — живут,  
А ты не дышишь? Больше не вернешься  
Никогда, никогда, никогда!

(V. 3)

Умирает Лир. Кончается трагедия.  
Конец, конец...

## Глава IV

Мы прошли с тобой, читатель, по путям короля Лира, но это еще не весь «Король Лир», мы видели только часть трагедии, хотя и самую главную. Мы пропустили ряд сцен, где разворачивается не менее трагическая история лорда Глостера и его двух сыновей — Эдмунда и Эдгара.

Вот мы берем в руки нить этой истории. И странно: как она совпадает с историей Лира, как много здесь общего, как сильно сходство и как незначительно различие. Лир изгнал Корделию, хотя она его действительно любила, — Глостер изгнал своего преданного и честного Эдгара. Лир был изгнан своими лицемерными дочерьми — и Глостер был обречен на смерть своим сыном Эдмундом.

Но не только единство действий и поступков видим мы, следя за этой быстро бегущей нитью судьбы Глостера. Мы видим сходство и в главном, что сделало Лира человеком, что открыло ему мир, загораживаемый ранее короной.

Глаза Глостера растоптаны ногами Реганы. С кровавыми глазами идет он по степи, ведомый неузнанным сыном Эдгаром, притворяющимся сумасшедшим нищим. Горько говорит Глостер:

Безумец — вождь слепому в годы смуты.

Темен мир, которого уже не видит Глостер, но который обрушился на него, как лавина, и сокрушил его и сбросил с высоты на землю.

И внезапно жалость просыпается в Глостере, и он готов даже благодарить небеса за то, что его несчастье послужило на пользу этому бедняку:

Вот кошелек. К тебе судьба жестока,  
Но, покарав меня, к тебе смягчилась.  
Всегда бы, небо, так распределять!  
Пускай те люди, что в избытках тонут,  
Забыв твои законы потому,  
Что их не чувствуют,—узнают их!  
Тогда распределение будет равным,  
И все свое получают.

(IV. 2).

Та же мысль, что и у Лира, вспыхивает здесь: нужно встать на место несчастных, чтобы узнать тяжесть несчастья, нужно встать на место бедных, чтобы узнать ужас бедности, нужно перемениться ролями, чтобы понять другого человека, который ранее казался созданным только для того, чтобы получить приказание.

Подчеркиваю: здесь идет речь о самой туманной, о самой первичной форме выражения мысли о вреде неравенства. Но все же здесь горит, хотя и слабым пламенем, именно эта мысль.

Это и выделяет «Лира» из всех пьес Шекспира и вносит в облик Шекспира такую черту, которая выступает как необходимая и характерная, без которой его облик был бы не полон.

Глостер повторяет судьбу Лира. Его сын Эдгар разделяет участь Корделии: его побочный брат Эдмунд клеветает на него, и обманутый Глостер оставляет

своего врага Эдмунда и прогоняет Эдгара.

Шекспир драматизировал «Рассказ слепца» из «Аркадии» Филиппа Сиднея (1590 г.) и вплавил его в трагедию «Король Лир» не по случайной прихоти. Нет, на это были свои серьезные причины: рассказ об испытаниях и несчастьях Глостера прекрасно дополняет повесть о Лире, он развивает совпадающие моменты, тем самым делая главное еще более ясным, а наиболее ясное выделяя как главное.

До 3-й сцены II акта Эдгар почти не действует, он есть лишь мимое и, хочется сказать, вялое воплощение хороших качеств. Для подлинного же проявления своей природы ему нужно пережить тяжелые испытания.

Есть что-то общее с Гамлетом в его поведении. Чтобы спастись, он становится безумным. Чтобы сохранить разум, он внешне лишается его. Чтобы не погибнуть, он принимает вид погибшего. Он уходит в ночь, чтобы увидеть рассвет, он уходит от солнца, чтобы не умереть при его свете.

Но разве не есть эта маска безумного последняя ступенька глубокого спуска в бездну? Разве это не есть крайний предел унижения человека человеком?

Ужасно безумие, когда оно есть на самом деле, но ведь сумасшедший не сознает этого, иначе он не был бы сумасшедшим. Но быть безумным, имея разум, но быть по ту сторону разума, сохраняя всю силу мыслей, но носить эту жуткую и унижительную маску — как невыносимо это, как страшно и невероятно.

Эдгар сам говорит об этом:

Да, не легко разыгрывать безумье,  
На зло себе и всем!

(IV. 1).

А с другой стороны, его отец Глостер тоскует по безумью, ибо слишком ужасен вид реальности, слишком нестерпима правда жизни:

Король безумен, мой же жалкий разум  
При мне остался, чтобы ощущал я  
Огромность горя. Лучше б помешаться!  
Тогда бы мысли отвлеклись от скорби

И боль казалась выдуманной только,  
Себя не сознавая.

(IV. 6)

Это — предел. И Шекспир, художник огромной силы, любивший резкие тона и ослепительные краски, бросает своих героев за этот предел, чтобы осветить их предельное отчаяние и выявить всю безнадежность их положения.

Но испытания для сильного — это только отточка его чувств. Но для мужества борьба — это только усиление мужества. Но страдания для героя — это только возвышение его героизма. Эдгар, упав на самое дно бездны, не остается там, но вырывается оттуда.

Он получает свою силу в мысли, что лучше через несчастье познать истину, чем быть во власти обмана:

Гораздо лучше знать, что ты презрен,  
Чем, будучи презренным, слушать лесть.  
Последние судьбы отбросы могут  
Надеяться и жить без опасенья.  
Плачевна перемена для счастливых,  
Несчастливым поворот — на радость.

Здравствуй,

Бесплотный воздух, что меня обемлешь!  
Когда ты бедняка додул до-нельзя,  
Он не должник уж твой. — Кто ж там идет?  
Отец! Ведомый нищим? Мир, мир, мир!

Шекспир не случайно вкладывает в уста Эдгара эту знаменательную реплику: слова Эдгара есть одни из важнейших в трагедии. Они горят на реалистическом знамени, раздуваемом ветрами больших идей. Разве случайно, что Глостер говорит то же самое? Шекспир повторяет дважды одну и ту же мысль, чтобы она не затерялась, но засверкала, как молния:

СТАРИК.

Дороги не видать вам!

ГЛОСТЕР.

Дороги нет мне, так не надо глаз:

Я зрячим спотыкался. Видеть

зорко

Не помогает; недостатки ж часто

На пользу служат. — Эдгар,

дорогой мой,

Несправедливости отцовской

жертва!

Когда бы прикоснуться смог

к тебе, —

Сказал бы, что вернулось зренья!

(IV. 1)

Эдгар утверждает, что зло несет в самом себе наказание, что порок наказывает порочного:

По высшей справедливости пороки  
Нам служат и орудьем наказанья.

(V. 3)

Вспомним и слова Альбани, что наверху есть судья, наказывающий «земные преступления» (IV. 2).

Отметим наконец замечательную сцену, когда Эдгар спасает своего слепого отца от самоубийства, а тот потом признается, что это было слабостью. Зло нужно искупать не слабостью, а действием — вот мысль, которую проводит Шекспир.

Мысль о спасительности несчастья для слишком и не по заслугам счастливых людей — одна из основных нитей, связывающих все действие трагедии и определяющих ее движение и развитие. Это — утверждение величия правды, это — защита реалистического взгляда на мир. Это есть война — и самая беспощадная — с лживым искусством многих художников эпохи Шекспира.

Идите в жизнь — она вас научит жить. Идите навстречу испытаниям — они откроют вам глаза. Спуститесь вниз — вы познаете ценность людей, которые всю жизнь живут там, никогда не поднимаясь на высоты, освещенные солнцем. Идите к низам — иначе вас сбросят: так продолжает через год эту же мысль Шекспир в «Кориолане», создавая образ Волумнии, прекрасно понимающей силу народа.

Идеолог нового капитализирующегося дворянства, создавший своего «Лира» в то время, когда Яков I пытался повернуть назад к феодализму, Шекспир здесь с великолепной мощью показывает, как губительны идеи феодализма, как вредно дробить государство на куски (вспомним, кстати, слова Кента о «раздробленной стране», — III. 1).

Он сочувствует Лиру, когда тот начинает понимать свои роковые ошибки, но он с ненавистью рисует Лира, когда он стоит на троне и, как гордый феодал, сам творит свой суд и расправу, разрезая карту государства по своей прихоти.

Не известно точно время, когда происходят события «Короля Лира», но есть ряд оснований думать, что их можно отнести к временам до нашей эры

(Голиншед утверждает, что Лир стал британским королем в 756 г. до нашего летоисчисления). Но это как-раз не очень существенно, ибо трагедия пишется мыслями и чувствами той эпохи, когда она была написана. Шекспир рассказывал современную повесть.

Вернемся же к линии Глостера, ибо мы чуть было не забыли его незаконного сына Эдмунда (хотя он не из таких людей, которых можно забыть).

Эдмунд носит одну личину, когда он не один, и другую — когда он остается наедине с самим собою. Один Эдмунд — это нежный сын, заботливый брат, это — воплощение честности. Как он трогательно предупреждает лорда Глостера, что его законный сын Эдгар готовит против него покушение. Он прячет написанное Эдгаром письмо, он не хочет показать его отцу, и только уступая его настояниям, он передает ему записку. И лорд Глостер с ужасом и возмущением читает предательские строки.

Но все это придумал сам Эдмунд. Но все дело в том, что он сам написал это письмо.

Как он заботится о том, чтобы спасти Эдгара от отцовского гнева. Но ведь он сам же вызвал этот гнев, и он помогает Эдгару бежать, чтобы отец не узнал о клевете.

Двойной жизнью живет Эдмунд. Он играет на все шансы, кроме одного — честности.

Он клянется в любви Гонерилье, но заодно и Регане. Он готов убить Регану, но заодно и Гонерилью. По его приказанию офицер вешает Корделию. «Нежности телячьи нейдут мечу, — говорит он, поручая офицеру умертвить взятую в плен Корделию. — Знай: тот человек, кто знает время».

Эдмунд считает, что он знает время, ибо проявляет свирепую жестокость и ни перед чем не останавливающуюся волю в достижении своих целей любыми средствами:

Мне по уму именье суждено;  
Годится все, лишь к цели бы вело <sup>1)</sup>

Ему в лицо, уже обнажив меч для боя, бросает Эдгар:

И с самой верхней части головы  
До самой низкой части ног твоих —  
Изменник гнусный.

Он — дворянин, он, хотя и побочный, но сын лорда Глостера. Получив смертельную рану от меча неузнанного им Эдгара, он спрашивает, дворянин ли он: «Коль дворянин, то я тебя прощаю».

Эдмунд лишь относительно представитель нового дворянства, которое окружало королеву Елизавету, которое грабило купцов всех стран на морях во имя короны, расширяя границы влияния Великобритании, не считаясь ни с чем. Королева Елизавета умело использовала горячие головы и кровавые руки таких молодчиков, как Эдмунд, отправляя их на эшафот, если их авантюризм мешал ей (как это было с Эссексом). Эдмунд вовсе не типичен для этого дворянства, ибо оно действовало в союзе с буржуазией, вращалось в промышленность и торговлю и крепко держалось за королеву, которую римский папа обвинял в том, что она окружила себя выскочками. В Эдмунде много и феодальных черт, он признает только одно право — силу меча. Он средневековый человек по своей жестокости, хотя и подводит под свое право делать что угодно закон природы, называя ее своей богиней. Эдмунд, так же как и король Клавдий в «Гамлете», впитал в себя лишь грязь обеих формаций.

Эдмунд имеет вместе с тем и какие-то черты нового мировоззрения. Феодал по поступкам, он высказывает и чисто буржуазные мысли. Так, он свой первый монолог начинает словами:

Природа, ты — моя богиня <sup>1)</sup>.

Эдмунд — единственный герой у Шекспира, с полной убежденностью отвергающий астрологию и издевающийся над суевериями (я имею в виду его отношение к страху Глостера перед лунными и солнечными затмениями, — I. 2).

<sup>1)</sup> Напрасно, кстати, Кузьмин перевел «god-dess» как «бог», а не как «богиня», — это придало словам Эдмунда какой-то религиозный характер.

<sup>1)</sup> В оригинале:

Let me, if not by byrth, have lands by wit:  
All with me's meet that j can fashion fit.

У Шекспира есть герои, сомневающиеся в астрологии, но только у Эдмунда имеется прямой и резкий выпад против этой слепой и фаталистической веры в то, что звезды управляют судьбами людей (см. «Троил и Крессида» — I. 3, «Юлий Цезарь» — I. 2, «Все хорошо, что хорошо кончается» — I. 1, а также первую строфу XIV сонета).

Шекспир никогда не рисует своих героев только черными или светлыми красками, он всегда вскрывает сложность человеческого характера, его многообразие. И в Эдмунде он находит не только зверское, мрачное, он показывает, что не потому Эдмунд так свиреп, что в нем сидит зверь, но что его свирепость есть результат того, что его энергия направлена на достижение целей, недостижимых честными путями. Это не оправдание Эдмунда, но понимание, что он есть продукт своей эпохи.

Он гибнет в финале, художник называет его смертью за его преступления.

... Так мы прощаемся с последним героем трагедии, чтобы попытаться распутать сложные сюжетные линии, которыми были соединены все ее участники.

## Глава V

На Беломорско-Балтийском канале есть пункт, называемый водоразделом. Отсюда двумя потоками устремляется вода, здесь — самая высокая точка канала, питаемая колоссальным водохранилищем, достаточным для того, чтобы лет пять поить всю Европу.

Я вспомнил о водоразделе, когда дошел в «Лире» до сцены в степи. Да, здесь тоже — водораздел, действие здесь устремляется двумя потоками — к началу пьесы и ее финалу. Здесь свершение, тут гнездо бурь, вырывающихся и ревуших в непоколебимых формах трагедии. Действие ринулось сюда, оно закрутилось в бешеном водовороте, и сила разбега и сила бега сливаются вместе, и ток большого напряжения включается в трагедию.

Для линии Глостер — Эдгар — Эдмунд водоразделом является сцена, где Глостеру вырывают глаза: он нашел себя, он стал другом Лира, когда тот попал в беду, он получил от Эдмунда невыносимо-тяжелый удар, ему полной мерой и даже сверх меры отмеряно за изгнание Эдгара, уже где-то идущего ему на помощь.

Высота кипящего пламенного действия есть вместе с тем крутой взлет мысли, идеи трагедии. Стремительное развитие событий не отрывает их от развития идеи, они сливаются вместе, как конь и всадник в атаке. Быстрота действий здесь — это не просто калейдоскоп событий, это не просто ускорение жизни. Нет, событий не так уж много, но они настолько огромны, их ход настолько сокрушительен, их формы так совершенны, что они движутся, как айсберги: наверху — только ничтожная часть, а почти вся громада скрыта морской глубиной.

Мысль у Шекспира плотно окружает действие, она — как атмосфера вокруг земного шара, без которой нет жизни.

Не потому сцена в степи так потрясает, что она наполнена множеством событий, но она включает в себя все, что было до нее, и она же рождает все, что будет после.

Актером был Шекспир, а не лордом Бэконом, графом Реглэндом и т. д. Чтобы до конца познать его пьесы — их нужно увидеть на такой сцене, которая правильно передает их. Он тот «истинный драматург», о котором писал когда-то Сент-Бев: «Его произведения предстают в законченном виде только на сцене; он и в момент первого творческого порыва как бы играл их». Шекспир знал законы театра, воздух сцены наполнял его легкие, он дышал театром и творил прежде всего для театра, для зрителя, жадно заполнявшего «Глобус».

«Король Лир» — театральное произведение. Оно выверено, как модель точной механики, оно сковано железным единством всех своих частей и частей, которые не растаскивают его в разные стороны, не раздирают на куски.

Интерес все время усиливается. Шекспир не признает экспозицию, он сразу же, с первой сцены первого акта начинает разворачивать действие, овладевая сердцем и мыслями зрителей. Художник не допускает равнодушия зрителя, он интригует и увлекает его, он делает его соучастником действия, он рассказывает ему тайны, которых не знают герои (Эдмунд сразу предстает как злодей, зритель моментально узнает переодетого Кента, заговоры Гонериллы и Реганы ему немедленно становятся известными, он знает, что слепого Глостера ведет переодетый Кент, что в то время как Эдгар дерется с Эдмундом, тот уже отправил убийцу к Лиру и Корделии). Нет тайн у него от зрителя — и одно это необычайно усиливает интерес пьесы, ибо внешняя интрига-то и построена на тайнах: Лир не знает, что только Корделия его любит, Глостер не знает, что Эдмунд — негодяй, он не знает, что его, слепого, ведет Эдгар и т. д.

Иногда, уверен, зрители кричали Лиру или Глостеру, чтобы они остерегались, ибо жалость к ним, обманутым, превращала сцену в жизнь, театр — в действительность. Хочется остановить, предупредить Лиру, Глостера или Эдгара, хочется задержать руку, поднимающуюся для удара по невинному, хочется устранить меч; занесенный над честностью.

Это какое-то «магнетизирование» зрителя, превращение его в соучастника действия (понятно, это достигается не только одним таким приемом раскрытия перед зрителем невидимых героям пружин и поступков).

Крылья сюжета — это идеи, мысли, без них он будет плоско расстилаться по земле, он не полетит, как ни перегружай его событиями и фактами. Мертвы будут факты, безжизненны будут события, если они не согреты огнем мысли, если они не пронизаны горячими эмоциями, не охвачены страстным пламенем чувства.

Сюжет у Шекспира «летит», он всегда возвышенный и обжигающий, ибо никогда у него нет действия ради действия, события ради события. Высокие

точки сюжета у Шекспира есть всегда высокие точки в развитии характера, именно это делает его искусство таким живописным, красочным и глубоким.

Он любит контрасты, резкие толчки действия, он иногда грубоват (сцена с вырыванием глаз у Глостера), он прибегает иногда и к вульгарности (некоторые реплики шута, в частности песня о ширинке), но в целом эта резкая смена планов, это громовое столкновение резко отличающихся друг от друга явлений придают трагедии чрезвычайно энергичный и увлекательный характер.

Вещи и люди зачастую кажутся иными, чем они есть на самом деле, и это противоречие формы и сущности отношений и людей дает сюжету новое напряжение. Так Глостер с хорошей стороны характеризует Эдмунда, Кенту он тоже нравится (I. 1). Не случайно, что переодетый Кент бросает Лиру: «Занимаюсь я тем, что стараюсь быть не хуже, чем кажусь» (I. 4). И не случайно, опять, шут поет:

Коли есть что — скрывай,  
Знаешь что — не болтай.

(I. 4)

Вся прекрасная сцена с Корделией в первом акте построена на том, что почти все люди, кроме Кента, есть иные, чем они кажутся.

Контрасты, резкая смена ситуаций усиливают сюжет, как бы напрягают его, не обрывая его тонких нитей, что случается например в «Тите Андронике», где у художника нехватает чувства меры (Шекспир ли это? Он ли написал эту пьесу?)

И такая ясная прозрачность, что самое сложное кажется самым простым и в самом простом такая глубина, что можно утонуть мыслью. Какой он простой и понятный, этот гениальный художник! Не потому ли это, читатель, что у него действие есть мысль и мысль есть действие, что мысль и действие слиты в едином образе, что он именно мыслит образами, вне которых нет никакого остатка, никакой абстракции, которая бы уныло свисала с края этого сверкающего ряда образов.

Учитывая ограниченность сцены, Шекспир широко применяет монолог для объяснения зрителю тех событий, которые на сцене не показываются, но необходимы для понимания связей сценического действия. В «Лире» например вся 3-я сцена II действия целиком покрывается монологом Эдгара, рассказывающего, почему он появляется в таком странном виде и что с ним произошло после того, как он покинул сцену.

В действие вовлекается природа, у Шекспира это один из излюбленных приемов усиления сюжета. Буря, гром, дождь в ночной степи, когда туда бежит Лир, замечательно передают внутреннее состояние Лира и создают страшную раму событиям. Природа превращается в «активную» силу, как «активен» свет фонаря, освещающий убийство.

\*\*\*

Вы помните, чем кончилась 1-я сцена I акта. Герои ясно очерчены, видно, что Лир обречен на испытания, разговор двух сестер, завершающий сцену, достаточно определенно показывает будущее Лира. Завязаны узлы всего сюжета, дальнейшее — ясно.

Первый акт: Лир получил первые уколы, но он еще не перешагнул границы с роковой надписью: «отчаяние». Медленно нагнетаются события. Я бы назвал это медленным нарастанием внезапности: так вода все время фильтруется через плотину, потом начинает постепенно рассасывать ее, буравит себе множество лазеек, затем их тонкие стенки распадаются, и она устремляется в проток, звериным прыжком выбрасываясь из плотины.

Лир бредет от Гонерильи к Регане — так просвет надежды дает новый толчок сюжету, новые эпизоды драмы уже стоят у двери, но их не впускает Шекспир, как бы говоря: «Лир еще надеется. Так покажись же, злоба, шагай, лицемерие, перед этим былым королем».

Шекспир во втором акте повторяет ситуацию: Гонерилья прогнала Лира, его же прогонит и Регана. Так два похожих характера раскрываются последовательно. Повторение здесь не утоми-

тельно, ибо оно означает усиление действительного раскрытия характера. Повторение означает, что дважды испытал Лир унижение — и уже где-то собираются тучи, чтобы разразиться грозой и бурей над степью, где мечется Лир.

Герои сами часто рассказывают о переживаниях, окрашивая их своим отношением к ним. Зритель уже знает об этом, но Шекспир снова возвращает его к пройденному, он повертывает его обратно, чтобы в новом (или дополнительном) свете показать это прошлое, чтобы заставить увидеть такие стороны, которые могли остаться незамеченными. Так, Эдгар рассказывает о своей встрече с отцом:

АЛЬБАНИ. Где сами вы скрывались?

Как вы узнали об отцовских бедах?

ЭДГАР. Оказывая помощь в них. Я вкратце Вам расскажу. — потом пусть рвется сердце!

Кровавого избегнув приговора,  
Что был так близок, — жажда милой жизни! —

Жить под угрозой смерти — не похоже ль

На то, что мы всечасно умираем? —  
Оделся нищим я безумцем, так что Собаки даже мной пренебрегали.

Тут встретился с отцом. Оправа глаз Уж лишена была камней ценных.

Подачки собирал, водил, берет,  
И никогда не говорил я, кто я.  
Лишь полчаса тому назад, пред боем,  
Не будучи уверенным в исходе,  
Благословить меня я попросил  
И тут все рассказал. Но сердце

старца  
Весть вынести уж оказалось слабым.  
Волнуемый то радостью, то горем,  
Он умер, улыбаясь.

ЭДМУНД. Я растроган!

Быть может, это к лучшему. Но дальше:

Мне кажется, не все вы досказали.

АЛЬБАНИ. Коль дальше будет все грустней, — не надо.

Едва-едва остался я в живых,  
И это слушая.

ЭДГАР. Могло б казаться

Пределом для того, кто к скорби не привык;  
Другой же, краски сильные сгустив,  
Достиг бы крайности.

(V. 3)

Сам герой с ужасом говорит о том, что он сам же испытал и что кажется ему теперь непереносимым. Это напо-

минает сохранение электрической энергии в аккумуляторе. Где-то горел огонь, сейчас уже погасло его пламя, но яркий свет горит, питаемый этой переключенной энергией, и ушедшее освещает настоящее.

Второе действие — сгущение мрака, озлобление злости, отточка ненависти. В первом действии Лир еще держится надеждой — ложной, как было бы ложным впечатление, что падающий аэроплан может удержаться освещающим его лучом прожектора: сломан пропеллер, пробиты крылья, и мощный мотор, который нес его в облаках, стал лишней и смертельной тяжестью.

Второе действие — это страшный и неистовый бег Лира к гибели.

Оба действия напоминают взрыв огромной горы, раскрывающей прекрасный самородок, засверкавший на солнце: вся эта громада зла обрушивается на Лира, чтобы раскрыть его новое понимание действительности, чтобы показать всю гибельность его философии неравенства, его дикий деспотизм, его феодальную ограниченность.

Основное вскрыто, золотиносная жила обнажена, взрыв показал, где нужно работать. И Шекспир начинает новую линию, он поворачивает действие на иной путь: мы видели злодеев, мы видели отчаявшихся, мир был перед нами мрачным и сдавленным, но ведь есть же в нем благородство и честное мужество, любовь и преданность. Третье действие развивает новую идею — несчастья искупают зло, если они приносят осознание зла, а не только разжигают ненависть.

Перед единой стеной врагов — Альбани и Корнуола — стоял Лир. Но, оказывается, эта непроницаемая стена уже дала трещину. Еще не знает этого Лир, а рука уже протянулась, чтобы выгнать его из страшной пропасти — такой глубокой, что самые громкие и безумные крики гаснут в ней, как в могиле.

В 1-й сцене III акта появляется Кент и слышит о назревающем раздоре между Альбани и Корнуолом. Во 2-й сцене он уже около Лира — как первый вестник спасения.

III акт — все становится ясным, как ночь, ибо это ясность мрака, упавшего на землю, как какая-то черная планета. Лир сходит с ума, Глостер — без глаз, Эдгар — в диком виде безумного. И первый труп — слуга Корнуола, а сам Корнуол — около гроба: хотя он еще дышит, но он истекает кровью от смертельной раны. Началось мщение — так гремевшая нота ворвалась в симфонию: нота возмездия.

Лир заканчивает свой путь, хотя до конца осталось еще два действия. Но что нового может быть с ним? Горе? Оно было — и такое, что не может быть ничего более горестного. Отчаяние? Но разве бывает отчаяние более сильное? В Дувр несут Лира, к Корделии.

И Шекспир IV акт переключает на других героев: если правда и любовь могут составлять единство, то зло и преступление не могут быть вместе до конца, они будут жалить друг друга до взаимного истребления. Врагами стали Регана и Гонерилья, во врага своей жены превращается Альбани — муж Гонерильи.

Именно здесь и обнаруживается, зачем Шекспиру понадобилась эта линия Глостер—Эдмунд—Эдгар. Он влетает ее в основной рисунок, потому что она есть тот дополнительный цвет, который делает основной тон более заметным и ярким. Вплетение в ткань трагедии нитей судеб этих трех героев позволяет Шекспиру дать новые действия, создать новые сюжетные комбинации (отношение дочерей Лира к Эдмунду), а главное, путем повторения событий с главными героями (Лир—Глостер, Корделия—Эдгар, Регана и Гонерилья—Эдмунд) прояснить еще больше основное ее содержание (см. III, 3, 4, 7 и т. д.).

Это очень смелый и рискованный прием, и нужен большой такт художника, чтобы повторение не утомляло зрителя, а, наоборот, усиливало интерес. Шекспир, кстати, вводит иногда побочные действия, чтобы через них ярче раскрывать главные; так, арест Кента — посланца Лира — и зажим его в колодки есть сильнейшее унижение Лира, о чем он и говорит (II. 4).

Развитие характеров, раскрытие их психологии в действии, в борьбе, в их жизни — вот что определяет развитие сюжета у Шекспира.

Он расщепляет Лира: он — могучий король, а затем — в первом же действии — его могущество распадается, в третьем он, как нищий, блуждает в поисках убежища, в третьем он снова обретает силу, познав ее бессилие, когда она не направляется правильной мыслью.

Он расщепляет Глостера, понижывая его психику острыми испытаниями. Он расщепляет Гонерилью и Регану, он показывает, через их отношение к Лиру и друг к другу, их черные характеры. Как только мысль об измене зародилась у Гонерильи, так немедленно эхо прозвучало в сердце Реганы. Рушится их былая дружба, ибо она была основана на ненависти и предательстве.

Действие не противостоит анализу, — наоборот, оно неуклонно сопутствует анализу и сопровождается им, ибо в центре пьесы — характеры и каждое сценическое положение всегда есть раскрытие каких-то сторон характера.

Каждое крупное событие точно несет на себе знамя идеи, каждое действие перекликается с другим, сцепляется с ним не столько через сходство, сколько через различие, сталкивается через контрасты и, противопоставляясь, как бы борясь, движет вперед трагедию в целом.

В действие, закономерно вырастая из предыдущих, бросает вместе с тем новый свет на события. Оно — действие о действии возмездия. Все время нарастала черная громада зла, она стала уже закрывать яркость солнца и солнечность дня, но вот и она начинает распадаться: ненависть разрушается своей ненавистью, злоба уничтожается своей злобностью, преступность раздается ядом преступления. Альбани не хочет биться с Лиром. Регана и Гонерилья, как два скорпиона, жалят друг друга. Эдмунд хочет их обеих отправить на тот свет.

Идешь сражения французов с британцами, как знака победы Корделии над злом, как доказательства правоты Лира, сознавшего свои заблуждения. И в этот момент — в который раз —

Шекспир опять обманывает все наши предположения: Корделия проигрывает сражение и попадает в плен. Шекспир возобновляет ситуацию I акта, но уже на другой основе: снова Лир около трех дочерей, снова с ним рядом Корделия, но иным все стало, все изменилось.

Шекспир отдает Лира и Корделию в руки противников, чтобы до конца вскрыть их сердца, чтобы до конца показать друзей и врагов, чтобы до последнего нерва обнажить характеры своих героев. Лир уже был у них — и они его прогнали. И это было, оказывается, лишь выражением великодушия, ибо теперь они прямо обрекают его и Корделию на смерть.

Финал весь построен на контрастах, на быстрой смене событий и развязок. Корделия во главе сильных войск, победа кажется ей бесспорной, но она побеждена. Эдмунд стоит под развевающимися триумфальными знаменами, он упоен славой, он горд, как цезарь — но Альбани грозит ему арестом, но трубит уже герольд и является Эдгар и вонзает в него свой меч. Умирает отравленная Регана, дымится кинжал от крови сердца Гонерильи.

Все сюжетные линии закончились, они художником развиты до конца, ничего не осталось, что бы не попало на страницы трагедии. Прошел свой путь Лир, упал, сраженный, Эдмунд, умер в самый счастливый миг своей жизни Глостер. Да, сказаны последние слова, совершены последние поступки.

Мертвецы стекаются к финалу, точно сама смерть встала у занавеса, не позволяя опускать его, пока последний вздох обреченных на гибель не растает в отравленном убийствами воздухе. Но еще не кончен мариолог, еще живы Корделия и Лир. Мы радуемся их победе над Эдмундом, но на сцене Лир с мертвой Корделией в руках. Еще несколько секунд — и разрывается сердце Лира, и последний мертвец падает на землю. «Занавес» — говорит смерть. Трагедия кончилась: убийцы и жертвы, преступники и невинные лежат на одной земле, и у всех нет ни одного дыхания, ни искорки теплоты: они мертвы.

В одной английской балладе, как замечает Гервинус, Корделия умирает на поле битвы. Во французской переделке Дюсиса и русской Гнедича она не умирает. Так «облагораживается» Шекспир, так смягчается жестокий и закономерный финал трагедии.

И не случайно конечно Шекспир взял такое отдаленное время, чтобы воздействовать на современность: вероятнее была такая жестокость и, в то же время, вспыхивали параллели с современностью.

Зло, посеянное Лиром, ненависть, выпущенная им на волю, лживость, которой он дал свободу, коварство, не усмотренное им,—все это выросло, вцепилось в землю, как ядовитая трава, пустила корни и задушило его самого. Не умирает зло, как бы говорит Шекспир, оно живет, будучи раз рождено. Побеждает добро, говорит Шекспир, в этом страшном мире все же оно говорит свое последнее слово, оно есть сила, истощающаяся в борьбе со злом, но не погибающая. Человек — вот кто прокладывает дороги злему и доброму, любви и крови. Он горек, этот финал «Короля Лира», хотя Эдгар и надеется, что он, молодой, не будет видеть так много и жить так долго.

## Глава VI

Я еще раз прочел «О Шекспире и драме» Л. Толстого. Кажется невероятным, как мог гениальный писатель обнаружить такое полное непонимание Шекспира, как он мог так плоско издеваться над трагедией «Король Лир», объявлять ее бессмысленной, дикой, невежественной и бездарной. Да, невероятно. Но это так. И объяснение лежит в встречающихся в книжке фразах о «христианском мире», которому, с точки зрения Л. Толстого, так чужд Шекспир. Здесь ключ к лютой ненависти Толстого. Шекспир конечно не христианин, и, думается, это есть главная причина, почему Толстой так ожесточенно с ним боролся, не говоря уже о коренном различии характера их творчества; они оба — реалисты, но совершенно непохожие один на другого.

А как Толстой издевается над языком Шекспира! Здесь ему все кажется нелепым и противостоительным. Он например берет монолог Лира в степи и объявляет его бессмысленным, хотя в нем прекрасно выражается дикое своеволие и деспотизм Лира, проклинающего в своей беде всех и вся. Он берет например слова Лира о том, что это слишком мало — иметь необходимое, и никак не может понять, что они есть выражение всей философии старого Лира, что, пропустив их, как это делает Толстой, вообще ничего нельзя понять в трагедии.

Нет, это не критика, а ожесточенная борьба с позицией непонимания.

Тем более необходимо сказать хотя бы несколько слов о языке трагедии.

Речь героев у Шекспира индивидуализирована, каждый из них говорит своим слогом, причем, в зависимости от их психологического состояния, меняется и их речь: волнение, гнев или нежность своеобразно окрашивают их словарь, придают им то или другое звучание.

Слово у Шекспира тесно связано с действием: разное действие героев есть основа различия их речи. Перемена отношения к действительности есть причина изменения характера словесного выражения. Но при всем различии языка героев Шекспира им присуще одно: их речь всегда красочна, богата сравнениями, она блестит, как бы незначителен или мелок ни был персонаж. Различен этот блеск, различны краски, но речь никогда не бывает тусклой, вялой или монотонной. Нет, она звенит своим особым звоном, и это — чистый звон, без примесей и шлама. Конечно, у Шекспира встречаются и плоские остроты, и тяжелые, совсем не смешные, шутки, у него есть тяжелые обороты речи, неуклюжие фразы, — все это есть, это нужно видеть, не нужно канонизировать каждую строчку, которая ему приписывается или которая и на самом деле была им написана, — не будем забывать, что он писал для театра и ради успеха пьесы он оставлял в ней те или иные грубости и несовершенства, если они нравились публике.

В «Лире» например есть плоские и грубые шутки у шута (хотя бы песня о ширинке), есть отдельные неудачные места, но в целом трагедия по языку — одна из лучших у Шекспира, и на ней можно изучать его язык.

Как в сюжете мы видим резкие столкновения ситуаций и характеров, так и в языке вспыхивают такие же молнии противоречий, в нем так же находят свой немедленный отзвук крутые повороты трагедии, ее взлеты и падения.

Это прекрасно видно на языке самого Лира. В первом своем монологе он величественен и спокоен, трон, как неприступная крепость, охраняет его спокойствие:

Мы ж огласим сокрытое желанье.  
 Подайте карту. Знайте: разделили  
 Мы королевство на трое, решив  
 С преклонных наших лет сложить заботы  
 И поручить их свежим силам. Мы же  
 Без груза к смерти побредем. Корнуол,  
 И вы, нам столь же милый сын, Альбани,  
 Решили обнародовать мы ныне  
 Приданое за дочерьми, чтоб споры  
 Предотвратить навеки. Оба принца,  
 Французский и бургундский, что так долго  
 Любовь оспаривали младшей дщери,  
 Ответ сейчас получите. Объявите ж  
 Теперь, когда от власти отрекаюсь  
 И от земель, и от самодержавья, —  
 Скажите, дочери: как мы любимы,  
 Чтобы щедрее доброты открылась  
 В ответ любви природной<sup>1)</sup>.

(I. 1).

Но вот Лир наталкивается на трезвый и честный ответ Корделии, и это действует, как удар по динамиту: Лир точно взрывается, его речь льется стремительно и дико, она грубая и резкая, он как бы швыряется словами, и они летят, как камни:

Молчи!

Дракона в гневе лучше не тревожь!  
 Ее любил, ее заботам думал  
 Остаток верить дней.

(Корделии) Прочь с глаз моих!

Клянусь покоем гроба, я из сердца  
 Тебя исторг. Позвать француза! что?  
 Позвать бургундца! Альбани и Корнуол,

<sup>1)</sup> В ряде случаев я вынужден приводить цитаты из оригинала, поскольку трудно говорить о языке художника, цитируя только перевод. Например в данном случае М. А. Кузьмин переводит «darker purple» как «сокрытое желанье», а это лишь относительно передает смысл слов Лира (я бы перевел: «темнейшее желанье»).

К своим частям прибавьте третью долю:  
 Ей хватит гордости ее правдивой!<sup>1)</sup>

(I. 1)

Он уже кричит на Кента, он прибегает к страшным сравнениям, чтобы передать, насколько ему противна Корделия:

Дикий скиф,  
 Иль тот, кто пищей из себе подобных  
 Свой голод утоляет, будут ближе,  
 Роднее, дружественней и приятней,  
 Чем ты, когда-то дочь.

Реплика Лира в ответ на просьбу Кента о милосердии к Корделии очень выразительно передает состояние впавшего в безумную ярость короля:

Лук натянул я — дальше от стрелы!

Здесь образ влит в речь органически, он конкретен и чувственно-ощутим.

Два словесных и психологических потока тут сталкиваются: Лир — Гонерилья — Регана, Корделия — Кент — король Франции. Вспышки гнева и столкновения разных отношений к одному факту рождают такие же столкновения слов, и вся сцена пронизана этими разными речевыми потоками.

ЛИР. Так молода, и так черства ты?

КОРДЕЛИЯ. Так молода, король, но

и правдива.

ЛИР. Возьми в приданое себе правдивость<sup>2)</sup>.

Шекспир любит вот такие столкновения упругих и метких реплик. В сцене после отъезда Лира от Гонерильи он широко применяет этот же прием контрастов. Лир — в гневе. Как на жарком огне, кипят в нем горькие и гневные слова, а рядом, шагая около короля, шут бросает свои шутки. Приведу весь этот разговор, вызвавший такой гнев Толстого:

<sup>1)</sup> Вторая строчка у Шекспира звучит несколько иначе «Come not between the dragon and his wrath», то-есть: «не вставай между драконом и его жертвой».

<sup>2)</sup> Я несколько изменил в этой строчке перевод Кузьмина, чтобы точнее передать оригинал, где мы читаем:

So young and so untender?

So young, my lord, and true.

Let it be so, — thy truth, then,  
 be the dower.

ШУТ. Можешь ты сказать, почему нос  
посреди лица?

ЛИР. Нет.

ШУТ. Чтобы около носу с двух сторон было  
посажено по глазу: чего не донохаешь,  
можно досмотреть.

ЛИР. Я был неправ к ней...

ШУТ. А можешь ты сказать, как устрица  
делает свою раковину?

ЛИР. Нет.

ШУТ. И я тоже не могу. Но я могу сказать,  
зачем улитка делает себе дом.

ЛИР. А зачем?

ШУТ. Затем, чтобы прятать туда свою голову.  
Ведь она не отдает его своим дочерям,  
а высовывает рога из домика.

ЛИР. Я забуду природные связи. Такой лас-  
ковый отец... Лошади готовы?

ШУТ. Твои ослы пошли за ними. А вот очень  
просто отгадать: почему, когда на небе  
семь звезд, так их не больше семи.

ЛИР. Потому что их не восемь?

ШУТ. Совершенно верно. Из тебя выйдет хо-  
роший шут.

ЛИР. Я силой заставлю ее! Чудовище небла-  
годарности!

ШУТ. Если бы ты был моим шутком, дяденька,  
я бы бил тебя, зачем ты состарился  
раньше времени.

ЛИР. Как так?

ШУТ. Не должен был стариться, пока ума  
не нажил.

ЛИР. Не дай сойти с ума, благое небо!  
Дай сил! Я не хочу сходить с ума!

(I. 5).

Шут плохо шутит, плохо смеется этим шуткам Лира, и было бы нелепо, если бы тут блеснуло подлинное остроумие. Шут говорит бессмыслицу (о носе), а Лир отвечает на это, говоря сам с собою: «Я был неправ к ней». Так появляется у него мысль о своей вине перед Корделией, и вся огромная серьезность этой мысли именно подчеркивается плоской шуткой. Но шут не забывает спрятать между шутками истину, и его прибаутка об улитке прекрасно попадает в цель.

А затем он опять говорит пустяки, и на их плоскости высоко вздымаются слова Лира о «чудовище неблагодарности». Вспышка пламени таится в конце этого диалога: «Я не хочу сходить с ума». Тут режущие противоречия, смятенное состояние Лира прекрасно передаются через его разговор с шутком: он беседует сам с собою, и шут оттеняет именно это. Тут в едином сталкивается разное, и один момент есть многое и различное.

Речь Лира после этой сцены становится отрывистой и нервной, он рубит фразы:

Не могут говорить? Больны? Устали?  
Ночь провели в дороге? Отговорки!  
На бунт и на уклончивость похоже.  
Поди, спроси еще раз.

А когда Глостер отвечает, что у герцога Корнуола горячий нрав, Лир сразу впадает в бешенство, и на его языке вскипают ругательства и проклятия:

Мщенье! смерть и мор!  
Горячий нрав! горяч! как? Глостер! Глостер!  
Хочу с женою Корнуола видеть.

И этот свой разговор Лир заканчивает великолепным образом:

Не то я в барабан бить велю  
У их дверей, пока не сдохнет сон<sup>1)</sup>.

Речь насыщается сравнениями, они как бы поднимают слова, и они сверкают, как мрачные звезды:

Милая Регана.

Твоя сестрица — дрянь. Ее жестокость  
Мне сердце растерзала, словно коршун.  
(II. 4).

Шекспир вводит в речь Лира преувеличения, он ее гиперболизирует, он как бы раздвигает ее формы, делая их в силу этого еще более ощутимыми, — так увеличительное стекло проясняет предмет, расширяя его объемы:

Вернуться к ней? Полсвиты распустить?  
Нет, предпочту я быть совсем без крова.  
Выдерживать нападки непогоды,  
Товарищем быть волку и сове, —  
Нужда жестока! Мне вернуться к ней?  
Поеду лучше к пылкому французу,  
Что бесприданницу мою увез,  
И на коленях буду умолять  
О скромной доле. Мне вернуться к ней?  
Определила бы еще в лакеи  
(Указывая на Освальда)  
К хамишке этому.

Конечно Лир не собирается на самом деле быть другом волку и сове, как он не собирался ранее дружить с людоедами. Конечно Гонерилья также не собиралась отдать его в лакеи к своему слуге Освальду, но все эти сгущающие

<sup>1)</sup> Or at their chamber door I'll beat the drum  
Till ti cry: «Sleep to death».

сы образы нужны для того, чтобы передать ярость и гнев Лира. Думается, что это Шекспиру прекрасно удалось. Красочность речи не размяла ее твердые мускулы, но, наоборот, лишь лучше выявила ее крепость и силу.

Не могу не привести еще одного примера гиперболизации речи у Лира. Когда он в последней сцене выходит с мертвой Корделией на руках, то кричит:

Вой! Вой! Вой! — Вы, каменные люди!  
Имей я столько глаз и столько ртов, —  
Свод неба лопнул бы! Ушла навек!

(V. 3).

Толстой издевается и над этими словами Лира, но они прекрасно выражают его состояние. Свое отчаяние он готов распространить на всех, он хочет, чтобы все в таком ужасе вскрикнули, что лопнули бы своды неба.

Мы уже видели грубую речь Лира. Но его прежняя грубость кажется мягкостью по сравнению с теми проклятиями, которыми он осыпает своих дочерей. А затем приходит самая отвратительная точка этой грубости, когда Лир впадает в безумие. Здесь — цинизм, облеченный в непристойную форму; жалающий и ненавидящий. Приведу один пример.

Распутство, в ход! Солдат мне нехватает. —  
Вот с глупою улыбкой дама,  
Лицо — о снеге между вил пророчит,  
Качает головой, едва услышит  
Про наслажденье речь, —  
Но ни хорек, ни конь с кормов подножных  
Не бешеней в любви.  
Что ниже пояса у них — кентавры;  
Лишь сверху женщины,  
Лишь сверху божии они созданья,  
Внизу все — чорт: там — ад, там —

темнота.

Там серная бездна. Жжет, палит, воняет,  
пожирает!

Фу, фу, фу, брр! Добрый аптекарь, дай мне  
унцию мускуса прочистить воображенье. Вот  
тебе деньги.

(IV. 6).

Шекспир мотивирует весь этот бред Лира его сумасшествием, и Лир сам говорит:

Но привязан я

К колесам огненным, так что и слезы  
Кипят, как олово

(IV. 7).

С большой тщательностью Шекспир работает над языком в сцене, посвящен-

ной безумию Лира. Он подбирает ряды слов только по созвучию, по странным и невероятным ассоциациям:

ЛИР. Они не могут препятствовать мне чеканить монету. Я сам король.

ЭДГАР. Вид душу раздирает!

ЛИР. Природа в этом отношении выше искусства. Вот вам деньги на вербовку. Этот малый обращается с самострелом, как воронье пугало; вытяните же его на суконщиков аршин. — Гляньте, гляньте, — мышь! Тихо, тихо... Я ей дам кусочек поджаренного сыра. — А это — моя железная рукавица, я испытываю ее на великане. — Подымите бердыши! О, ловко летишь, птичка. В цель! В цель? Дзынь! Пароль? <sup>1)</sup>

(IV. 6)

Шекспир придает неизбежно условной поэтической речи разговорный характер именно тем, что неразрывно связывает ее содержание и форму с характером, с действием характера, так что слово становится выражением психологии и действия, как бы жестом человека, несущим в себе смысловые разряды, свое определенное содержание. Поэтому так часто в речи героев Шекспира врывается волнение, оно прерывает речь, и этот обрыв линии в середине делает ее еще более осязаемой. Например Лир начинает фразу:

Природа роскоши не требует, а только  
Заботы о тепле. А то, что нужно...

И сразу же его мысль перескакивает на то, что он не имеет не только лишнего, но и необходимого, и что виною этому его дочери. И он восклицает, не заканчивая предыдущей мысли:

Терпенья, небо! Мне терпенье нужно!  
Смотрите, боги, бедный я старик,  
Я удручен годами, ими презрен.

<sup>1)</sup> Я вынужден привести всю эту речь Лира в оригинале, ибо никакой перевод не может передать связей отдельных фраз и слов не по их смыслу, но по их звучанию:

Nature's above art in that respect. — There's your press — money. That fellow handles his bow like a crow-keeper: draw me a clothier's yard. — Look, look, a mouse! Peace, peace; — this piece of toasted cheese will do't. — There's my gauntlet; I'll prove it on a giant. — Bring up the brown bills. — O, well flown, bird! — i' the clout, i' the clout: hewgh! — Give the word!

Так речь становится естественной, гибкой и непосредственной. Расцветающие в речи образы всегда конкретны, и они делают смысл слов более осязаемым и зримым: абрис получил краски — и засверкала картина, а краски очерчиваются яркими и определенными линиями. Так Лир говорит Корделии:

Я с тобою!

Чтобы разлучить нас, надо взять с небес  
Огня и выжечь, как лисиц из нор.  
Отри глаза! Стгнут их кости, мясо,  
Пока заплачем вновь. Переживем их!  
Идем!

(V. 3).

Шекспир боролся с условной литературной речью, украшенной перифразами, вычурными сравнениями, канонизированными образами и завитушками «кончетти». Пример «кончетти» можно привести из речи придворного в «Короле Лире». Чтобы передать, что Корделия заплакала, он говорит:

Тут священной влагой  
Небесных глаз залившись...

(IV. 3).

Шекспир в данной трагедии прибегает к подобному языку лишь для сатиры и для обнажения его лицемерности и условности. То, что у многих писателей его времени было законом слога, у Шекспира стало именно нарушением закона, а единственным критерием, которого он придерживался, стали естественность и жизненная красочность речи. Любопытно, что очень многие переводы Шекспира у нас и за границей «облагораживают», «наряжают» его, и Шекспир теряет весь темперамент и энергию своего языка, это приглаживание вытравливает соль его слов, и они становятся, как игрушечные солдатики, в один безликий ряд.

Издевкой над канонизированной «благородной речью» пропитана данная трагедия. Особенно это видно в первой сцене. Вот речь Гонерильи:

Я так люблю вас, что сказать не в силах.  
Вы мне дороже глаз, пространства, воли,  
Всего, что стоит, ценится и редко,  
Дороже жизни, красоты и чести.  
Дитя не может так отца любить,  
Дыханья нехватает, речь бессильна:  
Не выразить, как вы любимы мной!

(I. 1).

Корделия, выслушав это, бросает в сторону:

А что Корделии? Любя, молчать <sup>1)</sup>.

А вот не менее изысканная речь Реганы:

Я — из того ж металла, что сестра.  
Цена у нас одна. Правдивым сердцем  
Считаю речь ее я образцовой,  
Но слишком краткой. Я же заявляю,  
Что мне враждебны всякие утехи,  
Что требуют от нас крупицы чувства, —  
В одном себе я нахожу блаженство:  
Любить ваше величество.

(I. 1).

Именно так говорили у многих драматургов эпохи Шекспира их герои во всех случаях жизни. Шекспир же здесь через подобную изысканность вскрывает все лицемерие этих двух дочерей Лира. Это же показывает их дальнейшее поведение и резкое изменение всей окраски их речи. Как только они могут говорить правду, сразу же спадает вся эта розовая пудра, и они предстают, как две хищницы.

Тут же, в 1-й сцене I акта, они, оставшись вдвоем, переходят на такую прозу, которая отличается от их пышных речей несколько минут тому назад, как грязь от золота:

ГОНЕРИЛЬЯ. Сестра, у меня есть немало что сказать, касающегося непосредственно нас обеих. Повидимому, отец на ночь уедет отсюда.

РЕГАНА. Почти наверное, — к вам. Следующий месяц он проведет у нас.

ГОНЕРИЛЬЯ. Видите, как непостоянен он стал с годами! Из того, что мы видели, можно сделать немалые выводы. Прежде сестра была его любимицей и из-за ничтожного повода он отрекается от нее, притом в самой грубой форме.

РЕГАНА. Это — старческая слабость, хотя он никогда не знал в точности, чего хочет.

ГОНЕРИЛЬЯ. В лучшие годы своей жизни он был слишком горяч, и теперь мы видим, что он не только не утратил ни одной из закоренелых привычек, но приобрел еще причуды и капризы, связанные с дряхлой и взбалмошной старостью.

РЕГАНА. О его взбалмошности мы можем судить по изгнанию Кента.

<sup>1)</sup> В переводе Кузьмина, кстати, совсем не к месту, поставлен в конце фразы знак вопроса: Корделия именно решает, что ей нужно молчать, а не спрашивает себя об этом.

ГОНЕРИЛЬЯ. Или по его обращению к французу на прощанье. Пожалуйста, будемте заодно. Если к природным свойствам отца присоединится еще власть, то его отречение будет только издевательством над нами.

РЕГАНА. Все обдумаем еще.

ГОНЕРИЛЬЯ. Будем ковать, пока горячо.  
(I. 1).

Это срыв в прозаическую речь част у Шекспира, когда на сцену выступают герои «простого звания» (слуги и т. д.) или когда разговор идет о низменных предметах. В «Короле Лире» проза врывается в поэтическую речь почти во всех сценах.

Смена стиха и прозы органически включается в те резкие и контрастные столкновения событий и героев, которые так любит Шекспир.

А когда они опять потом говорят стихами, то уже никогда не возвращаются к прежней лживой и льстивой пышности. Вот, например, ответ Гонерильи Лиру в ее замке, из которого она весьма усердно его выпроваживает:

ЛИР. Как вас зовут, миледи?

ГОНЕРИЛЬЯ. Недоуменье ваше, сэр, похоже  
На ваши выходки. Я вас прошу  
Понять как следует мои слова.  
Вы стары и почтенны, — будьте ж  
мудры.

При вас еще сто рыцарей и слуг.  
Толпа распушенных и диких малых.  
Весь этот двор распутным поведением  
Они в кабак какой-то обратили,  
И наш почтенный замок стал похож  
На дом публичный. Этот срам немедленно  
Должно пресечь. И вот я вас прошу, —  
Хоть дело и без просьб могла бы  
сделать, —

Хоть несколько уменьшить вашу свиту,  
Оставив только, что необходимо,  
Притом людей, приличных вашим летам,  
Умеющих держать себя.

ЛИР. Проклятье!

Седлать коней! Созвать сейчас же  
свиту!

Бесстыдный выродок. Мешать не стану:  
Другая дочь осталась!

ГОНЕРИЛЬЯ. Мою прислугу бьете;  
ваша шайка  
Командует над старшими.

(I. 4).

А вот ее же весьма «деловой» разговор со своим мужем, когда она не считает больше нужным скрываться:

Размазня.

Ты щеки носишь только для пощечин.  
Что, у тебя во лбу нет глаз, чтоб видеть,  
Где честь, а где—позор? Что, ты не знаешь,  
Что сострадать — преступно там, где надо  
Предупредить злодейство? Что ты спишь?  
Войска французов к нам в страну вступили.  
В пернатом шлеме враг тебе грозит, —  
А ты вопишь, дурацкий проповедник:  
«Увы, к чему это?»

АЛЬБАНИ. Вглядись в себя!

К лицу чертам, уродливость такая  
Ужасна в женщине!

ГОНЕРИЛЬЯ. Пустой дурак!

(IV. 2).

Чрезвычайно любопытен пример с речью Кента. У него три различных формы речи, употребляющиеся им в зависимости от положения. Как только он переодевается в костюм слуги, так немедленно же его речь приобретает упрощенный и «простецкий» характер:

ЛИР. Какую службу можешь ты нести?

КЕНТ. Могу я дать честный совет, ездить верхом, бегать, спугаться среди занимательной истории и попросту исполнить незатейливое поручение. Что заурядный человек может сделать, к тому и я способен. Лучшее же во мне — усердие.

ЛИР. Сколько лет тебе?

КЕНТ. Я не так молод, сударь, чтобы полюбить женщину за пенне, и не так стар, чтобы вториться из-за чего-нибудь. За горбом у меня сорок восемь лет.

Как видно из этого отрывка, простота речи Кента только кажущаяся, в ней есть иносказательность, она продумана, но ей придана именно простая форма.

Но вот Кент хочет показать, что он тоже умеет произносить пышные и лживые фразы, что он может лгать красноречиво и красиво, как придворные:

Сэр, истиной священнейшей клянуся,  
С соизволения вашего величья,  
Что действует, как мощные лучи  
На Фебовом челе...

КОРНОУЛ. Что это значит?

КЕНТ. Я отхожу от своей манеры говорить, которую вы так не одобряете. Я знаю, сэр, что я не льстец. Тот обманул бы вас своей искусной речью, как искусный плут. Что до меня, я не могу им сделаться.

(II. 2).

Он сам же объясняет, что подобная пышность есть лишь форма лицемерия.

Кент только что был груб и решителен, он, не задумываясь, бросал правду в глаза противников Лира, его слова взвивались, как плеть, — и вдруг все это изменяется, и течет вкрадчивая словесная вязь.

Шекспир не упустил случая послать вызов враждебной ему литературной школе и еще раз отметить искусственность и ложность ее стилистики.

Характерно, что, как только Кент остается один, как только он перестает носить личину слуги, так мгновенно его слог меняется, и он переходит уже на третью форму выражения, оставляя и грубую примитивность слуги, и нарочитое изящество льстеца:

Да, мой король, с тобой случилось, видно.  
По поговорке: из уюта вышел  
На солнцепек.  
Приблизь фонарь свой, низшее светило,  
И светом благосклонным помоги мне  
Прочитать письмо. — Приходят чудеса  
В несчастье к нам: я знаю, это пишет  
Корделия. Ей, к счастью, известно,  
Что затемнен мой путь. Изыщет время  
В отчаянном, ужасном положении  
Притти на помощь нам. — Как я устал!  
Отяжелевшие глаза, закройтесь!

Фортуна, доброй ночи,  
С улыбкой колесо мне поверни!

(II. 2)

Язык Шекспира столь же реалистичен, как и все его творчество, врубающееся в века и остающееся для человечества живым и человеческим, хотя прошли столетия с тех пор, как угасла его жизнь.

\*\*\*

... Я закрываю страницы трагедии, и мне жаль расставаться с нею, мне жаль расставаться и с тобою, мой читатель, хотя затянулась наша беседа. Мы еще встретимся, дорогой друг, если ты этого захочешь. Лежит уже новый томик Шекспира перед моими глазами, и руки мои начинают перелистывать его взволнованные страницы. Я буду рад, если твой голос, читатель, дойдет до меня как совет и как помощь. А если мои мысли встретятся с твоими и усилят твою любовь к Шекспиру, я буду счастлив от сознания, что долгие часы моей работы стали для нас обоих радостными минутами сближения.

### 3. Е. А. КАЦМАН

А. Лебедев, М. Лисенко, П. Сысов

(К 25-летию художественной деятельности)

#### I

Юбилей двадцатипятилетия художественной деятельности Кацмана есть событие не просто «художественное», но и художественно-политическое, ибо необходимо с удовлетворением констатировать, что искусство Кацмана насыщено революционной тенденциозностью.

Е. А. Кацман — один из выдающихся советских художников — известен прежде всего как крупнейший мастер портрета. Он запечатлел на простом, ясном и сильном художественном языке людей эпохи пролетарской революции и социалистического строительства. В сотнях своих работ Кацман передает облик вождей, героев, ударников, деятелей революции, сельских учителей, колхозни-

ков, рабочих. Кацман пишет свои портреты в процессе непосредственного общения с натурой. Поэтому его искусство имеет громадное значение как историко-художественный документ высокого мастерства. Оно является не только мощным художественно-агитационным оружием сегодняшнего дня, оно не только сегодня передает широким массам трудящихся облик любимых вождей и героев революции, но оно имеет колоссальное значение как художественный материал о людях эпохи Ленина — Сталина для будущих поколений. Кацман на основе тщательного изучения натуры передает правдивый облик человека, выделяя в портрете с большой любовью прежде всего лицо. Эта любовь и особенное внимание художника к

человеческому лицу свидетельствуют о наследовании лучших традиций портретной живописи крупнейших мастеров передвижничества. В своем творчестве Кацман последовательно выполняет задачу — «работать для широких масс, а не для кучки избранных». Портреты Кацмана, и прежде всего портреты, изображающие вождей, широко известны и любимы массами. Эти портреты популярны даже в самых глухих уголках нашей страны. Они передают не только внешнее сходство, они передают внутреннюю силу и характер простых и великих «людей, которые своей жизнью, трудом и кровью открыли путь к новой эре человечества».

## II

Евгений Александрович Кацман родился в 1890 г. в Харькове в семье ремесленника. С ранних лет будущему художнику пришлось пережить много тяжелого вследствие неблагоприятно сложившихся обстоятельств семейного воспитания.

Окончив городское начальное училище, Е. А. поступает в 1902 году в Саратовскую Боголюбовскую художественную школу, где учится у художников Коновалова и Корнеева, и от них получает первые серьезные навыки в живописи. Благополучно окончить Саратовскую школу Кацману не удается. За участие в школьной забастовке в 1905 году его исключают из училища. Вообще на почве нарушения «школьной дисциплины» и «участия в беспорядках» у Кацмана постоянно были конфликты со школьной администрацией. В 1906 году Кацман уезжает в Петербург, где ему удается поступить в школу О-ва поощрения художеств. Большое влияние на формирование мировоззрения Е. Кацмана оказал его брат Владимир — коммунист-подпольщик. Владимир был не плохим художником. Но Е. А. обязан своему брату не только тем, что последний побуждал его с ранних лет заниматься живописью, — брат Владимир помог художнику сблизиться со средой коммунистов, с обстановкой подпольной революционной работы. Кацман живет и

общается с партийными товарищами брата — Анцелевичем, Блюманом, Сод-маном и другими. Естественно, такое благоприятное влияние помогло Е. Кацману не погрязнуть в тине модного, но загнивающего буржуазного искусства и сохранить с ученических лет в основном любовь к здоровому реалистическому искусству. Однако в школе Общества поощрения художеств на Кацмана оказывает большое влияние преподаватель Рерих. Кацман под влиянием Рериха и характерных для эпохи реакции упаднических настроений русской интеллигенции отдает «дань времени» и некоторый период увлекается фантастическими и мистическими сюжетами, разрешаемыми им в духе стилизованного декоративизма. Это были 1908 — 1909-е годы. Излюбленной темой изображения на ряду со сказочными персонажами в этот период у Кацмана являются таинственные люди-тени, то в виде страшных стариков, то в виде воздушных, легких, кружащихся в вихре танца девушек. На одной из работ этого периода мы видим еврейское кладбище, по которому бродят в каком-то таинственном ночном полумраке призраки-люди. На другой работе изображен страшный старик со свечой в руке, наклоняющийся не то к спящему, не то умершему человеку. Нежные зеленовато-розовые, а иногда мрачные коричневые краски, с помощью которых выражен мир призраков и теней, характерны для работ Кацмана на мистические темы. Яркая цветистость работ со сказочными сюжетами подчеркивает их декоративный смысл. Но на ряду с увлечениями фантастикой у Кацмана уже в этот период намечается линия крепкого реалистического искусства, проявившаяся в частности в исполненном углем портрете брата. Эта линия реалистического изображения окружающего мира развивается и крепнет у юноши. Интересно, что с детства Кацман пишет стихи, повторяя в них в основном те же мотивы, которые характерны для его исканий в изобразительном искусстве. Исключенный из школы Общества поощрения художеств Кацман поступает в частную художественную школу Гольд-блатта, где продолжает еще увлекаться

сказочно-фантастическими мотивами. Свое первое публичное выступление как художника Кацман делает в 1908 году на выставке «Осеннего салона» Ауэра в Петербурге. Здесь им выставляются иллюстрации к сказке «Конек-горбунок». Школа Гольдблатта Кацманом также не заканчивается, так как полиция высылает художника из Петербурга. В 1909 году Кацман поступает в Московскую школу ваяния и живописи, которую он и кончает в 1916 году со званием художника 1-й степени по мастерской К. Коровина и С. Малютина.

Результатом влияния на Кацмана коммунистической среды брата, способствовавшей выработке у художника трезвого, реалистического подхода к действительности, а также сильного влияния на ученика славных традиций крупных художников-реалистов, был полный отказ Кацмана от декоративно-стилизаторских и мистических увлечений. В эти годы Кацман много работает над изучением природы, совершенствует свой рисунок и становится с этих пор убежденным сторонником реализма. Уже в этот период времени, в 1911 — 12-е годы, художник борется с формалистами и левыми в искусстве, с Бурлюком и другими. Модные в то время среди художников увлечения новейшей французской школой живописи, а также увлечения «лево»-формалистическими течениями (футуристами, кубистами и др.) не затрагивают Кацмана.

### III

Начало деятельности Кацмана, как вполне самостоятельного художника, совпадает с началом новой эры в развитии человечества, совпадает с Октябрьской революцией. Кратковременные интеллигентские колебания Кацмана в период Октября очень быстро сменяются твердым желанием служить революции. Октябрьская революция, — говорит Кацман, — захватившая меня целиком, заставила развернуть портретное искусство. 1918 — 1921-е годы — период большой общественной работы и напряженной борьбы с лево-формалистическим искусством. В эти годы Кацман

еще не сблизился с художниками-реалистами, близкими ему по художественно-политическим убеждениям. Это не помешало ему сразу же взяться за советскую тематику и упорно работать над ее выполнением. Несмотря на большую загрузку общественно-педагогической работой, Кацман дает ряд портретов. В этих портретах законченный рисунок передает не только внешнюю, но и психологическую характеристику натуры. Здесь еще не изжиты следы академизма. Особенно плодотворный период в творческой деятельности Кацмана начинается с 1922 года. С этого времени Кацман в процессе борьбы за реализм объединяется с группой художников-реалистов и вместе с ними, уже большим коллективом, отстаивает позиции реализма против всех и всяческих его врагов. Вместе, большим коллективом художников-реалистов, легче было решать сообща вопросы художественной теории и практики. С этого момента особенно четко и ясно формулируются Кацманом и его взгляды на искусство, и роль искусства в классовой борьбе пролетариата. «Реализм не покойник, реализм будет жить, пока жива жизнь, реализм больше всего соответствует и марксизму, и коммунистической революции», — говорил Кацман еще в 1922 году. Эти слова были тогда смелыми. Их встречали в штыки, поднимали на смех представители всяческих левацко-формалистических «измов», засевших и окопавшихся в Наркомпросе, в музеях, в высших и средних художественных школах. Это был период, когда властями дум «художественного мира» были творцы дешевеньких трюков, никому непонятной и никому ненужной игры в квадратики, кубики и разноцветные кружочки, когда картина объявлялась идеологическим бредом и вредным пережитком капитализма.

«Хорошо сделанный башмак — лучше всякой Венеры Милосской» — бросал лозунг Малевич.

И эти люди, протаскивавшие идейную гниль буржуазной культуры в советскую действительность, объективно пытавшиеся выбить из рук пролетариата мощное оружие изобразительного искусства, выдавали свое собственное

«искусство» за подлинно революционное, объявляя непримиримую войну реалистической живописи. Леваки от искусства ориентировались или на вырожденческую живопись капиталистического Запада, или даже на полное уничтожение изобразительного искусства.

«Не подменяй настоящего завода... заводом на картине» — говорил одевавшийся в ультракрасную мантию «ортодоксальности» художественный критик Арватов, и в то же время говорил, что для него «ни Луначарский, ни Плеханов, ни Губполитпросвет, ни ЦК РКП(б) в теории пролетарского искусства не могут быть безусловными руководителями». Вредные установки против реалистической живописи усердно пропагандировались целым скопищем «тонко» понимающих искусство эстетов.

Вразрез с этим хором «новаторов» искусства и «культурных» представителей вырожденческой буржуазной эстетики энергично звучал голос Кацмана:

«Я верил, что... своими работами мы очистим русскую революцию от беспредметническо-футуристического ига, искусственно нам навязанного любителями западноевропейского распада».

Празднуя и отмечая юбилей художественной деятельности Е. А. Кацмана, советская общественность вместе с тем высоко оценивает Кацмана как общественного деятеля. Кацман не просто крупнейший советский художник-реалист, все более совершенствующий свое мастерство, — это человек большой энергии и громадного упорства в своей общественной деятельности, направленной на борьбу с формализмом за искусство социалистического реализма, за наследование нашей живописью реалистической культуры прошлого. Работая с первых лет революции то в качестве члена ЦК Всерабиса, то в качестве председателя бюро ИЗО Мосгубрабиса, то секретарем секции народных празднеств Моссовета, то в качестве генерального секретаря Ассоциации художников революционной России, то наконец членом правления Московского союза советских художников, Кацман неизменно, невзирая на постоянные враждебные выпады представителей лево-формалистиче-

ских течений и «профессиональной» искусствоведческой критики, боролся за реализм в советской живописи.

Особенно большая заслуга принадлежит Е. А. Кацману перед советским искусством в деле организации вместе с гг. Радимовым и Григорьевым Ассоциации художников революционной России в 1922 г. В то время когда идеологи лево-формалистического искусства пытались «удивить мир» фокусничеством и «шпаголотанием» и проповедывали смерть реализма в искусстве, а некоторые и вообще отмирание станковой картины, АХРР, сгруппировав вокруг себя лучшие кадры художников-реалистов, поставила перед собой задачу — реалистически отобразить героический период пролетарской революции, борясь со всякими проявлениями левачества и формализма в живописи.

«Нас всех пронизывала радость, что мы как художники можем быть нужными для революции», — говорил Кацман. «Мы чувствовали, — говорит он, — что нужно искусство самого понятного, простого и крепкого реализма, насыщенного динамичностью сюжета и формы. Мы поняли, что «детская болезнь» левизны в искусстве кончается, что новым в искусстве будет не какой-нибудь новый трюк а ля Пикассо... Новое искусство — это мы ясно осознали — будет в том, чтобы содержание — гигантское, героическое содержание, которое принесла революция, — слить с крепкой энергичной формой, понятной самому простому человеку — герою Октябрьской революции».

АХРР имела много ошибок, к АХРР иногда примазывались люди, которые не имели ничего общего ни с пролетарской революцией, ни с реалистическим революционным искусством, АХРР — пройденный и превзойденный этап в нашей живописи. И тем не менее, оценивая роль АХРР в целом в развитии советского искусства, необходимо сейчас сказать, что АХРР была передовой, прогрессивной организацией для своего времени. Ахрровцы развили громадную энергию в своей работе по созданию и показу полотен, правдиво отражающих нашу революционную действительность.

Знамя реализма было взято из одряхлевших рук передвижничества и с честью на новой основе поставлено на службу социалистической революции. Заслуги этих художников-реалистов следует судить с точки зрения того нового, что было ими привнесено в сокровищницу мирового искусства. А этим новым было реалистическое отображение, прежде всего в станковой живописи, эпохи пролетарской революции, ее героев, вождей, ее быта и великой социалистической стройки. Художники-ахрровцы в своей творческой работе имели много срывов, много ошибок, многие их произведения являлись апологетикой прежних реалистических школ; были произведения натуралистические, пассивно отражающие нашу действительность. В теоретических выступлениях против формалистов ахрровцы, в том числе и Е. Кацман, наряду с правильными установками допускали и целый ряд ошибок. Но в лице своего основного костяка они упорно работали и делали большое, нужное революции дело. Не случайно лучшие пролетарские художники-реалисты сегодняшнего дня — Бродский, Ряжский, Богородский, Кацман, А. Герасимов, Иогансон, Греков, Скаля и многие другие — прошли через АХРР. С именем Кацмана, как одного из руководителей АХРР, связана организация ряда выставок и инициатива выездов художников на заводы. Кацману, как и всем ахрровцам, приходилось работать среди злобного шипения и враждебных выпадов жрецов левацко-формалистического «искусства». Многие профессиональные «критики», прикрываясь ультралевыми фразами, вместо помощи художникам-реалистам, вместо товарищеских указаний на их ошибки и недостатки, вместо нужной поддержки и ободрения, занимались настоящей травлей, издевательством, стремясь дезорганизовать, сбить с толку реалистов. Художественная критика не вела за собой художников-реалистов, а принимала все меры к тому, чтобы похоронить нужное революции искусство и дискредитировать его создателей. И не случайно особо рьяные «активисты» этой вредной, а иногда и прямо вредитель-

ской критики были прямой меньшевистско-троцкистской агентурой в искусстве. Эти «активисты», следуя учению Троцкого, отрицающего пролетарскую культуру и пролетарское искусство, заявляли художникам-реалистам о том, что их дело есть наивная утопия и что задача состоит не в том, чтобы создавать пролетарское искусство, которого нет и не будет, а в том, чтобы капитулировать перед буржуазной культурой.

«Мне всегда памятливы слова Троцкого о наступающей эпохе культурничества, когда придется говорить не столько о дальнейшем развитии культуры, сколько о подняттии масс до той степени культуры, на которой находимся мы сами», — говорил Федоров-Давыдов. (Сборник «4 года АХРР», 1926 г., стр. 210.) «Пролетариат просто художественно некультурен и прежде, чем иметь свое искусство, должен еще изучить и осознать все старое искусство» — говорит тот же автор, ссылаясь на авторитет Троцкого и Вандервельде! («Марксистск. истор. искусств», стр. 178).

Для чего упорно работать и помогать пролетариату средствами реалистического искусства, когда «строительство нового искусства, — говорит Федоров-Давыдов, — возможно лишь в социалистическом обществе...» («Искусство промышленного капитализма», стр. 233). Эти «тонкие» ценители «высокого» искусства, отрицая существование революционной живописи, завидовали английским лордам и в злобе выли на советскую власть, которая когда-то заставляла их якобы есть «хлеб без муки», а теперь заставляет питаться суррогатами искусства. «Потребность в революционном искусстве для масс несомненна. Но также несомненно и отсутствие сейчас такого искусства... Разумеется, люди, живущие подлинным искусством, в праве требовать такового, но у нас возможность сейчас подлинного искусства для массового потребителя, при пониженном культурном уровне масс, подвержена сомнению. Новый массовый потребитель не имеет эстетического критерия, и требовать от него такого критерия мы не можем. Разумеется, нелепость — хлеб без муки, и какой-нибудь



Е. А. Кацман.—Портрет К. Е. Ворошилова.

англичанин, претендующий ежедневно на белую булку, в праве с негодованием такую подмену отвергнуть; но мы-то разве не ели хлеба, в котором почти не было муки», — говорит тот же автор. (Сборн. «4 года АХРР», стр. 136). Даже такой художественный музей, как Третьяковская галерея, игнорировал до 1931 года творчество художников-реалистов, любовно культивируя в лице своего нынешнего руководителя в своих стенах до последнего времени (1934 г.) ряд меньшевистско-троцкистских установок в искусствознании. Характерно, что рецидивы этой контрреволюционной меньшевистско-троцкистской художественной критики в более тонкой и завуалированной форме проявляются и до сих пор в виде например попыток дискредитации революционно-реалистического искусства крестьянской демократии как объекта культурного наследия, в виде игнорирования или высмеивания пролетарских художников сегодняшнего дня.

И здесь необходимо повторить замечательные слова Л. М. Кагановича: «Бдительность требует, чтобы мы удесятерили свою борьбу, чтобы мы удесятерили свою идейно-политическую и организаторскую работу. Бдительность требует, чтобы мы везде и повсюду разбили врага, до конца выкорчевали его остатки».

Меньшевистско-троцкистские контрбандисты в своей вредительской деятельности не ограничивались дезориентацией советских художников, они некоторый период времени под флагом комплексной экспозиции «перестраивали» крупнейшие художественные музеи, ведя линию на полную их ликвидацию. Третьяковская галерея из своей экспозиции ряд лет упорно и систематически изгоняла реалистическую живопись, наполняя залы всевозможным хламом. Известный «реформатор» музеев Федоров-Давыдов прямо говорил: музеи станковой живописи необходимо «дополнить другими видами искусства, но не расширяя, а заставляя медленно это искусство перерождаться в своих элементах; чтобы в конце концов впоследствии музеев эти сами упразднили» («Искусство в

массы», 1930 г., № 7, стр. 21). Как видим, левацкие «теоретики и практики» отмирания музея, хотя и своими методами, вели ту же вредную работу, что и «творцы» левацкой теории отмирания школы.

Кацман и как художник, и как общественный деятель активно вел и ведет с первых лет революции борьбу за революционное реалистическое искусство, поставив свою палитру на службу пролетариату. Не случайно поэтому ни Кацмана, ни других наших лучших художников-реалистов не смогли поколебать «советы» цитированных нами критиков. Не случайно эти художники всегда давали отпор и Арватовым, и Федоровым-Давыдовым, и некоторым другим «искусствоведам», пытавшимся своей псевдоученой критикой разоружить пролетариат.

Несмотря на освистывание, на эту зубодробительную «критику», благодаря тому исключительному вниманию и заботам, которые уделяет наша партия и правительство революционному реалистическому искусству, благодаря трудолюбию, упорству и непримиримости Кацмана, он шел по верной дороге и, мы уверены, будет идти по линии совершенствования своего реалистического мастерства, по линии дальнейшего овладения высотами социалистического реализма.

Лозунг гениального Сталина об искусстве социалистического реализма просто, ясно, мудро и глубоко намечает художникам программу их действий, вскрыв все ошибки, неясности и недомолвки прежних лозунгов, в том числе и выдвинутого Кацманом в свое время лозунга «героического реализма», бывшего лозунгом АХРР.

«Нам изумительно помог лозунг «социалистического реализма» — говорит Кацман. Кацман идет в первом ряду крепкой фаланги наших художников-реалистов, борющихся за осуществление лозунга, данного мудрым пролетарским вождем.

Мы не можем сказать еще, что наше изоискусство стало таким, каким бы мы хотели его видеть. Мы ясно видим его отставание по сравнению хотя бы с про-

летарской литературой и кино. Но несомненен и его рост. Мы имеем большой отряд художников, дающих полотна большого мастерства, полотна, насыщенные пафосом героического социалистического строительства, отображающие нашу Красную Армию, революционную борьбу пролетариата в прошлом и настоящем, наших вождей, ударников, строителей.

## IV

В период 1922—25 гг. Кацман дает большое количество портретов. Следует отметить портреты: рабочего Кузнецова (1922 г.), Дзержинского, Василия Казина, Когана, Перельмана, Петрова, Ярославского (1924—25 гг.), Залкинда, «Сельского учителя», «Сторожа в Остафьеве» и многих других. Интерес-



Е. А. Кацман — Ходоки у Калинина

Успехи нашего изобразительного искусства с большой ясностью показывают полное банкротство как «прогнозов» троцкистских критиков о судьбах нашего искусства, так и предсказания буржуазных эстетов.

Для наших художников ясен дальнейший путь развития, ясны великие цели, которым они служат. А в капиталистических странах даже такие передовые люди, как крупнейший ученый Альберт Эйнштейн, говорят людям науки и художникам, «что важнейшей функцией искусства и науки является пробуждение и воспитание... космического религиозно-го чувства».

но, что в этот период Кацман работает преимущественно над индивидуальным портретом. В портрете коммуниста Кузнецова, нарисованном незадолго до организации АХРР, художник сумел дать тип человека-большевика, сурового, энергичного, человека труда, много боровшегося, непоколебимого, готового и дальше идти на преодоление трудностей. Решительными штрихами написано выразительное лицо пролетария, насыщенное внутренней динамикой. Художник рисует портрет определенного человека, но в нем он достигает такого обобщения, что перед нами раскрывается в одном этом образе целый общественный слой.

Да, эти вот люди вынесли гнет царизма, это они боролись за советскую власть, они одержали победу с тем, чтобы строить новое общество.

В период 1922—26 гг. Кацман работает графической манерой. Линия является главным элементом в характеристике формы, средством создания и выражения образа. Цвет играет лишь подсобную роль и наносится на уже готовый рисунок. Эта манера несет в себе еще следы академической культуры. Академические приемы построения портрета однако идут по нисходящей линии. Если в портрете Александрова (1917 г.) особенно и в портрете Платонова (1929 г.) отчасти можно найти еще много приемов традиционно-академических, то потом академизм художником преодолевается совершенно. Следует отметить два портрета разбираемого периода. Это портреты Ярославского и Леплевского. Портреты исполнены смелыми, несколько резкими штрихами. В портрете Ярославского прекрасно передан углубленный взгляд из-под пенсне. Эти портреты по своей силе, психологической выразительности созвучны с портретом Кузнецова и являются по сравнению с предыдущими работами Кацмана большим шагом вперед к созданию портретов-образов с большой эмоциональной и психологической выразительностью.

Интересно, что в портрете Ярославского нет уже того четкого, линейного контура, который можно отметить во многих предшествующих работах. Здесь имеет место попытка живописной подачи образа, хотя в основном он еще и остается в плоскости графического изображения. Графическая трактовка образа несколько сковывала его жизненность и эмоциональную выразительность, поэтому в дальнейшем своем творчестве, в дальнейших исканиях наиболее правдивого показа жизни художник идет именно по пути преодоления этих приемов, по пути более живописной подачи образа. Соответственно с этим у художника нарастают успехи в области цвета, у него расширяется цветовая гамма. Если прежде он работал пре-

имущественно итальянским карандашом и сангиной, то в дальнейшем он уже применяет развернутую палитру цветовых сочетаний, вводя цветные карандаши и пастель.

Период с 1926 г. по 1931 г. — чрезвычайно плодотворный в творчестве Кацмана. В 1926 г., в результате поездки к Репину, он дает интересный портрет этого гениального художника-реалиста. Следует отметить также прекрасные портреты Фрунзе и Ольминского (1927 г.). С портрета Ольминского на нас глядит вдумчивое лицо старого большевика с пронизательными глазами. Ярко характеризовано энергичное лицо, в котором сквозит молодая бодрость, с пытливым, наблюдательным взглядом. Портрет сделан мягкими, живописными штрихами итальянского карандаша и сангины. В этой работе вновь проглядывает движение художника к глубоко психологическому портрету, данному живописными средствами. В дальнейшем эта линия развития художника нарастает, и он дает хорошие портреты художника Топоркова (1928 г.), художника Пшеничникова (1928 г.) и портрет Городецкого (1930 г.). Нельзя не отметить исключительную картину Кацмана — «Ленин в мавзолее» (1931 г.), где раскрываются лучшие стороны его достижений. Он дает глубокий, незабываемый образ гениального вождя, живущего в памяти трудящихся. Величаво-спокойное лицо схвачено с поразительной правдивостью. В портрете нет мрачного и безнадежного настроения. Лицо Ленина хранит в себе черты спокойной уверенности. Лицо как бы передает твердую уверенность умершего вождя в том, что великое дело, которому посвящена была его жизнь, будет доведено до блестящего завершения. Художник сумел уловить характерное в портрете вождя, отбрасывая все лишнее, едва намечая детали и заостряя все внимание на главном. Здесь раскрываются большие композиционные и тональные достижения художника. В портрете достигнуто выражение спокойствия и величия. Сдержанные цвета мягко переливаются друг в друга, даже яркий красный цвет подушки сдержан

повторными красными бликами, пропущенными через всю картину.

Постоянная работа художника над овладением манерой живописной подачи образа привела его к таким работам,

краска по готовому рисунку исчезают, форма передается цветовыми сочетаниями. В картинах все более и более появляются глубокое пространство и воздушность.



Е. А. Кацман—Портрет С. М. Буденного

как «Пионеры и старики», «Портрет писателя В. Финка» (1934 г.), портрет Бродской и др., где художник передает образ уже действительно живописными средствами. Жесткая линейность и графичность прежних работ, а также рас-

Стремление понять явления мира и обобщить это понимание в реалистическом образе, постоянное совершенствование художественного языка, пытливые искания,—вот, что характерно для Кацмана. Он развертывает обширную гал-

лерею портретов, представляющих собой красочный рассказ о людях нашей эпохи в их индивидуальной и социальной-психологической характеристике. Эта характеристика, сделанная наблюдательным художником, не всегда дана одинаково ярко, но она почти всегда присутствует во всех его портретах, как неотделимое, в понимании Кацмана, свойство индивидуальности.

Кацман дает большое разнообразие портретных тем, и эти темы всегда разражены художником правдивыми, простыми и в то же время тонкими средствами. В его портретах изображены вожди и герои революции, советская интеллигенция, ударники и ударницы, колхозники и рабочие, старики и дети. Мы видим у него портреты и портретные наброски Ленина, Сталина, Молотова, Ворошилова, Дзержинского, Енукидзе, Калинина, Кирова, Бубнова, Уншлихта, Фрунзе и др. Кацман достиг большого мастерства в создании образа советской женщины, подчеркивая в нем характерную волю к борьбе, энергию, самостоятельность и полноправность («Ударницы Коломенского завода» и другие работы). Большое место в портретах Кацмана уделено работникам и руководителям нашей Красной армии. В 1933 г. Кацман пишет один из лучших своих портретов—поясной портрет И. С. Уншлихта, где с исключительным мастерством передает психологическую собранность, внутреннюю сосредоточенность, огромную волю и неустанную энергию этого профессионального революционера-большевика.

С замечательной правдивостью написан портрет т. Ворошилова. В этой спокойно и уверенно стоящей фигуре, несмотря на отсутствие резких движений, зритель чувствует скрытую силу и громадную энергию. В образе Ворошилова прекрасно переданы черты нашего полководца. Портрет мастерски воспроизводит сочетание жизнерадостности с неисчерпаемой силой воли и гениальной прозорливостью вождя Красной армии.

Некоторые критики обвиняют Кацмана в том, что тщательная обработка аксессуаров не дает возможности в его портретах сосредоточиться на главном —

на лице. Это безусловно неверно. В первую очередь внимание останавливается на энергичном, волевом лице, с внимательно глядящими на зрителя глазами. Прекрасная обработка деталей в портрете не заслоняет от нас образ вождя, а способствует его раскрытию. В этом большое достоинство Кацмана, а не его недостаток. Кацман, всегда уделяя главное внимание самому человеку и подчиняя этому главному детали и аксессуары, однако и эти последние дает в законченном виде. И конечно нельзя бросать художнику упрека, что он в данной работе прекрасно сумел передать материальность костюма путем сложной работы цветом. Портрет т. Ворошилова — широко известная работа Кацмана. Эта работа находит самые одобрительные отзывы среди трудящихся нашей страны. Не безынтересно будет привести здесь письмо одной колхозницы, Хоменковой, делегатки VII съезда советов от Украинской ССР.

«Тов. Кацман, — пишет она, — я сегодня с двумя делегатками съезда ходила на Вашу художественную выставку. Хорошие картины, настоящие живые люди. Мы смотрели их все. И ни одна из них так не похожа, как портрет нашего железного наркома Ворошилова. Он — точно живой. Как будто бы заговорит. Я пришла на съезд и посмотрела на Ворошилова. Он, правда, — такой самый, как на портрете. Он шел такой веселый и хороший. Я вернулась еще на выставку и еще смотрела портрет. Там еще много хороших портретов, но портрет Ворошилова мне больше нравится. Желаю Вам еще большего успеха в Вашей работе».

Кацман — по преимуществу художник-портретист, но он, как чуткий и отзывчивый человек, способен очень быстро и разносторонне реагировать на всякие новые события нашей многообразной действительности. Поэтому Кацман не ограничил своего творчества одним портретом, а расширил его до сюжетного группового портрета. Первые опыты в этом направлении он начал в первые годы восстановительного периода, в частности в групповом портрете «Слушайте». Здесь прекрасно переданы внима-

тельные, суровые лица рабочих, с большой сосредоточенностью слушающих доклад.

Все свое внимание художник остановил на лицах, оставляя фон недоработанным. От этого становится несколько недостаточной связанность фигур с пространством, окружающим их.

В дальнейшем опыты с групповыми портретами у Кацмана еще удачнее. В 1927 году художник пишет свою, ставшую широко известной, картину «Ходоки у Калинина». В этой замечательной картине художник поставил и удачно разрешил важнейшую проблему показа классового существа советской власти и правового положения трудящихся крестьян советской деревни. В картине мы видим не забытых, оборванных и нищих «ходоков» «до начала царства» царской России, а передовых и знатных людей советской деревни, которые пришли смело и уверенно за разрешением своих повседневных нужд к любимому другу и вождю, к главе великого правительства трудящихся — М. И. Калинину. На лицах ходоков выражена любовь к всеозоному старосте и полная уверенность в благоприятном разрешении их дела. Товарищ Калинин внимательно знакомится с просьбами делегатов. В картине Кацмана трудящиеся крестьяне бодры и уверены в своем настоящем и будущем положении. Они знают, что советское правительство чутко и внимательно относится к трудящимся советской страны и что это правительство есть их правительство, правительство рабочих и крестьян. Громадным достижением Кацмана является то, что он в этой небольшой картине так просто, ясно и убедительно разрешил сложнейшую и величайшую по своему значению идею. Тема взаимоотношения трудящегося народа с правительством не нова. За эту тематику брались художники, поэты и писатели дореволюционной России. Поэт-народник Некрасов также разрешал эту проблему. Но как противоположна была действительность, которую он заклеил проклятием, с той действительностью, которую изображает Кацман! Некрасов писал:

Раз я видел, сюда мужики подошли,  
Деревенские русские люди,  
Помолились на церковь и стали вдали,  
Свесив русые головы к груди;  
Показалась швейцар. «Допусти» — говорят  
С выраженьем надежды и муки.  
Он гостей оглядел: некрасивы на взгляд, —  
Загорелые лица и руки,  
Армячишко худой на плечах,  
По котомке на спинах согнутых,  
Крест на шее и кровь на ногах,  
В самодельные лапти обутых.  
(Знать, брели-то долгоножки они  
Из каких-нибудь дальних губерний.)  
Кто-то крикнул швейцару: «Гони.  
Наш не любит оборванной черни».  
И захлопнулась дверь...  
И пошли они, солнцем палимы,  
Повторяя: «Суди его бог»,  
Разводя безнадежно руками.  
И, покада я видеть их мог,  
С непокрытыми шли головами...

В «Ходоках у Калинина» имеются уже большие, чем в предшествующих групповых портретах, композиционные достоинства и умение передавать пространство. Дальнейшим шагом в умение передавать пространство являются «Калязинские кружевницы» (1928 г.), считающиеся по праву одной из лучших многофигурных композиций художника. Сюжет картины строится на возрастном сопоставлении старого и молодого поколений. Подобное возрастное сопоставление по контрасту и в дальнейших его работах занимает видное место («Два мира», «Пионеры и старики» и др.). Художник хочет показать роль молодого поколения в перевоспитании старого. В «Калязинских кружевницах» в лице молодой девушки художник дает обобщенный образ комсомолки, ведущей большую культурно-воспитательную работу. В этой работе особенно мастерски даны типы старух, с вниманием слушающих чтение.

В последних работах Кацман все более и более овладевает пространством и живописной трактовкой образа (например портрет Бродской и др.), что является доказательством большого прогресса его мастерства и настойчивых его исканий. Здесь окончательно исчезают четкие, жесткие границы, появляются мягко перетекающие красочные пятна, и имеет место прекрасно передаваемая цветовыми соотношениями перспектива. Эта манера письма выявляется в порт-

ретах Финка, Бродской, в натюрмор-тах «Грибы» и пр. Натюрморт для Кацмана не имеет самодовлеющего значения. Он работает обычно над ним для усовершенствования своего художественного языка.

Все завоевания и достижения Кацман не держит скрытыми, стараясь воплотить их в своем любимом деле — в портретной живописи. В 1934—35 гг. художник пишет ряд замечательных портретов (Бродского, Бродской, Уншлихт С. А., Лехта и др.). Чрезвычайно удачным на ряду с другими портретами является портрет Бродской. В этом портрете как бы воплотилась вся огромная предшествующая работа художника. По своей эмоциональной, психологической выразительности, по богатству цветовой гаммы, по прекрасному разрешению пространства, по своей живописности этот портрет является одной из лучших работ Кацмана.

Из этой, хотя и весьма краткой, характеристики эволюции творчества Кацмана мы можем сделать несомненный вывод, что Кацман быстро и уверенно движется вперед.

## V

Кацмана постоянно обвиняли в натурализме. Эти обвинения почти всегда шли из лагеря любителей «деформации» и искажения природы в искусстве. Если с точки зрения этих критиков настоящее искусство предполагает в картине и портрете обязательное уродование и извращение человека и человеческого лица, в чем якобы заключается лучший способ художественного обобщения, то с точки зрения «крепкого, здорового, продуманного» реалистического искусства, на позициях которого стоит Кацман, подобная «деформация» является недопустимой.

Значит ли это, что портреты Кацмана лишены обобщения, что они «рабски» скопированы с природы? Нет, не значит!

Портреты Кацмана, являясь продуктом тщательного изучения оригинала, имеют большое, не оставляющее никакого сомнения, сходство. Видя в искусстве специфическую форму образного по-

знания и отражения реального мира, а не символ или условный значок его, мы должны признать эту особенность творчества художника как самый первый и важный признак реализма вообще и социалистического реализма в особенности.

Стремясь к наиболее правдивому изображению природы, Кацман однако не идет путем пассивного натуралистического копирования. Достигая в портретах большого сходства с оригиналом, он постоянно в своих работах отбрасывает второстепенные и несущественные подробности природы (например портреты Кокмасова, Городецкого, Долецкого и др.). Художник это делает сознательно, с целью выделения основных типичных черт, передающих психологию человека и его социальный облик. Портреты Ворошилова, Уншлихта, Бродского и многие другие глубоко психологичны. В то же время они, а также портреты Буденного, сельского учителя и др. не есть только портреты данных конкретных людей: через этих людей художник дает социальный портрет большого обобщения. Это большая заслуга Кацмана. «Я всегда изображаю данного человека, — говорит Кацман, — а не человека «вообще». Через данного человека стремлюсь показать эпоху».

Уменье же вскрыть в портрете безуродства и деформаций реалистическими средствами внутренний мир человека, его характер, уменье вскрыть за данной индивидуальностью типичные черты для большого социального слоя людей, следует признать высшим достижением реалистического портретного искусства. И чем дальше именно в этом направлении будет прогрессировать портретное искусство Кацмана, тем лучше. В большинстве случаев Кацман в своих портретах исключает всякие аксессуары. В тех же случаях, когда костюмы и аксессуары передаются в портретах Кацмана, они никогда не имеют самодовлеющего значения; они лишь лучше подчеркивают и выявляют основное и главное в портрете — человеческое лицо. Это еще лишний раз показывает несостоятельность тех критиков, которые имеют тенденцию обвинить художника в натура-

лизме. «Я никогда не копирую натуру, — говорит Кацман, — всегда распоряджаюсь ею по-своему... но натурщик мне нужен». Кацман, художник, всегда работающий с натуры и прекрасно умеющий передать ее, не нуждается в фотографии и обычно не рисует с нее. И те немногие опыты работы с фотографией,

которые имеют место у Кацмана, как правило, уступают его работам, сделанным с натуры.

Рассматривая работы Кацмана, как яркое, положительное явление в нашем изобразительном искусстве, мы думаем, что и те пути, по которым сейчас развивается его творчество, его мастерство,—правильны.



Е. А. Кацман—Портрет И. С. Уншлихта

Нарастающее умение передавать пространство, дальнейшее обогащение палитры, нарастание живописности в работах художника являются признаками дальнейшего, большого и совершенно необходимого движения вперед.

В работах Кацмана иногда имеют место моменты, которые желательно преодолеть в дальнейшем развитии его мастерства.

Нам кажется, что художник и сам чувствует эти недостатки. Мы имеем в виду недостаточно органическую связанность фигур в единое целое и недостаточную динамичность в некоторых его групповых композициях. Но следует отметить, что в последних групповых портретах этот недостаток все более изживается. Следует также отметить тот факт, что художник, прекрасно разрешая и умея разрешать проблему передачи материальности и плотности предметов, костюмов, аксессуаров в большинстве своих произведений, в отдельных работах необоснованно, как нам кажется, отказывается от разрешения этой задачи, что также нельзя признать правильным. Это вовсе не означает, что художник должен учиться у Сезанна уменью передавать материальность предмета. У Сезанна эта «материальность» раз'едена неестественной идеалистической деформацией предметов. Нашим художникам поэтому следует учиться уменью передавать материальность в первую очередь у великих мастеров реализма, которые в тысячу раз лучше, чем Сезанн, разрешали эту проблему. Мы думаем, что прав т. Перельман, который в своей работе о Кацмане отмечает в некоторых произведениях этого художника известную опасность ничем не оправданного приукрашивания природы («слащавость»).

Безусловно художник сможет преодолеть эти главные, с нашей точки зрения, недостатки, точно так же, как им уже преодолены и успешно преодолеваются имевшие место в его некоторых прежних работах плоскостность, жесткость и графичность.

Но и сам Кацман не думает «почить на лаврах». Он продолжает упорно работать, много учиться, чтобы двигаться

дальше. Только явно враждебная «критика», стремившаяся дискредитировать художника, а не помочь ему в создании новых нужных нашей стране полотен, просмотрела, вернее, не хотела видеть развития художника.

«Кацман застыл раз и навсегда в той грамотности рисунка, которой он достиг и которая, очевидно, кажется ему верхом достижения» (Федоров-Давыдов). Эта злостная клевета рассыпается в прах при первом сравнении работ Кацмана разных периодов. Несомненно, что Кацман идет все вперед и вперед. Сам художник все время повторяет: «Социалистический реализм требует большого мастерства. Нам надо учиться, учиться и учиться на лучших образцах мирового искусства, искусства классиков. Учиться у гениального живописца Рембрандта, учиться бодрости и оптимизму у Рубенса, изучать замечательную правдивость в изображении живого человека у Репина, изучать гениальную уравновешенность рисунка у Леонардо да-Винчи и «натиск восторга» Микель Анджело; учиться четкости у малых голландцев, виртуозной легкости у французов, величавости у испанцев. Надо помнить об изумительной скульптуре греков, понятной величайшим народным массам. Нам надо использовать все лучшее, что сделало человечество до нас». Однако и в творчестве, и в высказываниях Кацмана последнего времени нет не критического заимствования достижений художников прошлого. Творчество Кацмана глубоко самостоятельно. Сам Кацман говорит, что если он до 23 — 24 лет подражал в своем творчестве отдельным художникам, то потом перестал подражать и держался правила своего учителя Коровина — надо любить другого художника, но свое искусство надо также любить, а потому не подражать.

Юбилейная выставка работ Кацмана, на которой экспонировалось более 200 его произведений, была недавно организована «Всекохудожником». Несмотря на то, что ряд прекрасных работ Кацмана, находящихся в Третьяковской галерее и Русском музее, на выставке от-

сутствовал, выставка производила прекрасное впечатление, свидетельствуя о громадном трудолюбии, большом таланте и прогрессе художника.

К сожалению, имело место неудачное экспонирование работ художника в том смысле, что работы были сгруппированы по профессионально-общественному положению персонажей портретов. Такое размещение работ на персональной юбилейной выставке затрудняет изучение развития художника, ибо работы 1917, 1925, 1934 г. находятся вперемежку. Крайне небрежно были составлены этикетки под работами художника, неверно ориентируя зрителя в датах исполнения работ.

Советское правительство высоко оценило художественную деятельность Кацмана, наградив его в дни 25-летнего юбилея почетным званием заслуженного деятеля искусства.

Нарком обороны т. Ворошилов в дни юбилея приветствовал художника. Он писал (28—1—35 г.):

«Дорогой Евгений Александрович!

Рад Вас приветствовать по случаю двадцатипятилетия Вашей большой и подлинно художественной работы.

Не могу отнести себя к числу ученых критиков живописи и предоставляю последним разбирать Вас по косточкам — это их дело.

От себя хочу сказать Вам следующее: я всегда радовался Вашему крепкому, здоровому, продуманному искусству, понятному массам, но не упрощенному, скупому по манере, но яркому и выразительному.

Вы из тех подлинных реалистов, которые умеют показать новое в привычном и этим учить и обогащать зрителя. А это не просто.

Желаю Вам в дальнейшем такого же непрерывного роста, который всегда характеризовал уже пройденный Вами двадцатипятилетний путь.

Крепко жму руку, с дружеским приветом,

К. Ворошилов».

Кацман — «один из пионеров» и «неутомимый борец за социалистический реализм в искусстве» (Уншлихт) — находится в расцвете творческих сил.

Он даст еще много прекрасных работ, которые займут почетное место в истории советской живописи.

#### 4. ПИСЬМА В. А. СЕРОВА

Предисловие и примечания А. Скворцова

В этом году исполняется 70 лет со дня рождения художника В. А. Серова. Портреты Серова — глубокий анализ русского буржуазного общества конца XIX, начала XX века, суровое, бичующее изображение русской буржуазии накануне ее гибели. По ним, по этим портретам, лучше, чем по некоторым учебникам социологии, можно представить картину русской капиталистической знати указанного периода.

В. А. Серов начинал свой творческий путь такими согретыми любовью к жизни, к ее радостным краскам, «бездумными» картинами, вошедшими в историю русской живописи, как: «Девушка с персиками» и «Девушка, освещенная солнцем». По словам близких его друзей, «этот молчаливый, часто угрюмый человек был влюблен в жизнь, во всю ее пестроту, в ее шум и суматоху». В одном из писем времени молодости (1887 г.) он пишет из Венеции своей невесте, будущей жене, О. Ф. Серовой: «Легко им (мастерам XVI века) жилось, без-

заботно. Я хочу таким быть беззаботным, в нынешнем веке пишут все тяжелое, ничего отрадного. Я хочу, хочу отрадного и буду писать только отрадное».

Мечтам и желаниям юности сбыться не удалось, и только два упомянутых да, может быть, еще три-четыре произведения зари его творческого пути остались свидетелями юношеских стремлений, разбитых кошмаром российской действительности, превратившей «беззаботного» художника в неумолимого судию, того «злого», как он любил про себя говорить, Серова, каким знаем мы его по его искусству.

Серов родился в 1865 году. Его отец был известный композитор и музыкальный критик, Александр Николаевич Серов, автор «Рогнеды», «Вражьей силы», «Юдифи» — первый вагнерианец в России. Мать Валентина Семёновна Бергман — ученица отца, тоже музыкантша и в будущем композитор. Лучшие представители тогдашней интеллигентской мысли сходились на вечерах у Серовых: писатели, уче-

ные, актеры, художники, среди которых начал бывать и молодой, учившийся тогда в Академии Репин. Отец умер, когда будущему художнику было всего 6 лет. Мать, не желая бросать музыки, уехала продолжать учение за границу, а маленький Серов был отдан в дружескую семью доктора Когана, всерьез воспринимавшую веяния 60-х годов, главным образом проповедь Чернышевского, и стремившуюся осуществить на деле его учение. На своем хуторе семейство Когана пыталось осуществить коммунистические идеалы общей работы, вовлекая в нее и просвещая крестьян. Но, как и всякая подобная интеллигентская попытка того времени, коммуна Коганов быстро распалась, и маленького Серова отвезли к матери в Мюнхен. Два года жизни у Коганов ознаменовались для него первым детским увлечением рисованием. «Он вечно что-нибудь рисовал или малевал» — рассказывает о нем его мать в своих «Воспоминаниях». Продолжал рисовать он и в Мюнхене. К этому времени (1872—1874) относится знакомство с художником Кеппингом, уже обратившим внимание на способности мальчика, бравшим его с собой на этюды и посоветовавшим матери начать серьезно заниматься по развитию его дарования. В. С. решила обратиться к единственному человеку, которому она доверяла как художнику, еще по старому своему с ним знакомству, именно к Репину, жившему в то время в Париже. Так в 1874 г. в Париже начались первые занятия с Репиным. В это время 9-летний мальчик Серов много и с увлечением рисовал, особенно лошадей и всевозможное зверье, к которому с самых детских лет чувствовал он особое пристрастие.

После Парижа следует Россия, знакомство с семьей С. И. Мамонтова<sup>1)</sup>, жизнь в Абрамцеве, затем Петербург, Киев, подготовка к поступлению в гимназию и довольно длительный перерыв в рисовании. В 1878 г. он с матерью переезжает в Москву, поступает в классическую прогимназию, и тогда же вторично начинаются серьезные и регулярные занятия с Репиным, работавшим в то время в Москве. Рисунок, писание с натуры захватывали мальчика-Серова настолько, что уже ни о чем другом он думать не мог. Занятия в прогимназии шли плохо, и пришлось уйти. Мать решила посвятить его целиком живописи.

С 1879 г. Серов переезжает окончательно к Репину и живет у него, как в своей семье. Они вместе пишут в Абрамцеве, вместе едут в Крым, в Запорожье, где Репин подбирает материал для писавшейся им в то время картины «Запорожцы». В это время Серов целиком под влиянием своего учителя, но работы его уже настолько совершенны, что Репин советует ехать в Петербург, в Академию. О ней великий реалист был невысокого мнения, но там учил учитель самого Репина, П. П. Чистяков, и Репин направляет Серова учиться у Чистякова. 16 лет Серов поступил в Академию и по вечерам начал работать в

частной мастерской Чистякова. Здесь Серов услышал совершенно иные слова, узнал совершенно иные подходы и методы. Культ формы, старые мастера, своеобразный взгляд на искусство, своеобразная «система» заставили переучиваться, и Серов переучивался, превращаясь в настоящего мастера. Летом 1884 г. он снова в Абрамцеве<sup>1)</sup> и на практике, на многочисленных посетителях гостеприимного мамонтовского дома применяет полученную от Чистякова выучку. В следующем году он предпринимает большое, уже самостоятельное, путешествие за границу, живет в Мюнхене, где копирует Веласкеза, старых фламандцев, едет в Голландию, внимательно всматривается в голландских пейзажистов.

Возвратившись в Петербург, художник увидел, что Академия ничего больше дать не может, и решил ее бросить. За этим следует жизнь в Одессе, первые самостоятельные работы, снова Москва и первые портреты, пейзажи Абрамцева, поездка в Италию и по возвращении изумительный портрет В. С. Мамонтовой, известный под названием «Девушка е персиками».

Выставленные им в 1888—89 годах на Периодической выставке портреты имели крупный успех и сразу выдвинули его в ряды наиболее значительных портретистов того времени. Годы ученичества кончились, началась эволюция большой творческой личности. Ее формирование протекало в исключительных условиях, неизвестных большинству русских художников. Юность его не знала материальных забот, проведенная вся в искусстве и наполненная только искусством. Воспитание матери и годы детства и юности, овеянные лучшими идеалами 60-х годов, заложили те основы любви к правде, которой он никогда потом не изменял. Правдолюбие Серова, столкнувшись с русской жизнью, с людьми, ее создававшими, не могло терпеть ее фальши, пошлости и лжи. И наблюдатель Серов превращался из любящего, по всем отзывам друзей, человека в бичующего, неумолимого судью. «Писать у Серова опасно» — говорили заказчики, и это было так на самом деле. Художник выявлял в портрете ту скрытую в нем правду, которую в общении с оригиналом портрета никто не знал. Художник разоблачал все лживое, наносное, и ныне перед нами в его образе предстает подлинное лицо эпохи. Так, навсегда останется запечатленной грубая купеческая, несмотря на европейский лоск, сущность московского капиталиста Морозова, вульгарный жест знающего цену своим деньгам Гиршмана, страшный лик нетопыря Победоносцева, семья дегенератов во главе со спускающимся с лестницы всероссийским жандармом, царем Александром III (портрет, поднесенный харьковскими дворянами после крушения на ст. Борки). Где только художник ощущал каким-то особым, лишь ему одному свойственным, чутьем запах пошлости, характеристика его ста-

<sup>1)</sup> Об С. И. Мамонтове и Абрамцеве см. в примечаниях к письмам.

<sup>1)</sup> С этого момента начинается публикуемая здесь переписка с его будущей женой, О. Ф. Серовой.

новилась убийственной. И этой убийственной характеристикой пронизано большинство его портретов, дающих картину дворянской и денежной аристократии накануне революции.

Кошмар российской пошлости давил Серова, делал его нелюбимым, угрюмым и «скупным», как он называл самого себя и однажды запечатлел в карикатуре. Российская действительность лишила его возможности радоваться жизни. А расценивать эту действительность умел он глубоко и точно и оттого страдал. В 1907 году из Греции он пишет: «... Итак, Дума распушена... Как и теперь, не совсем ясно понял новоизбрательный закон, — одно ясно, что он на-уку помещикам и собственникам. Распушена Дума, разумеется, не из-за социалистической фракции, а из-за возможного осуществления закона отчуждения (подчеркнуто нами. — А. С.), — вот что страшнее всего... На этом вопросе разобьется не одна еще Дума, а тем временем постараются водворить спокойствие и урезать, где что можно. Но борьба с другой стороны не утихает. Итак, еще несколько сотен, если не тысяч, захвачено и засажено, плюс прежде сидящие, — невероятное количество. Посредством Думы правительство намерено очистить Россию от крамолы, — отличный способ. Со следующей Думой начнут, пожалуй, казнить. Это еще более упростит работу. А тут ждали закона об амнистии. Опять весь российский кошмар втиснут в грудь (подчеркнуто нами. — А. С.). Тяжело, руки опускаются как-то, и впереди висит тупая мгла».

«Тупая мгла» заслонила от художника радость жизненных красок, а то общество, в котором он вращался, никак не могло ему их вернуть. В том же письме читаем дальше: «В газетах усиленно отмечается повсеместное спокойствие и равнодушие (подчеркнуто нами. — А. С.) по поводу роспуска Думы. Кажется, все величие (так называемое) России заключается в этом равнодушии».

Равнодушие, пошлость, — их он клеймил и убегал от них за границу. За границей он расцветал. Серов не был бунтарем. Он был только чутко правдивым, мыслящим интеллигентом. Бунтарствовать он не мог, но когда дело касалось его убеждений, то отставвал он их до конца, готов был даже на героические поступки, на всякие жертвы. После 9 января 1905 года он вместе с Поленовым сложили с себя звание академиков и послали письмо, в котором мотивировали свои действия невозможностью совместной работы с инициатором

кровавого воскресенья вел. кн. Владимиром, бывшим тогда президентом Академии. Такой поступок в те годы мог не пройти даром.

Серов был портретистом царской семьи. Я уже говорил, что он не польстил ни Александру III, ни его детям. Портрет в. к. Павла с лошадыю — скорее портрет лошади, нежели князя, в портрете князя Михаила Николаевича доминируют генеральская тужурка и эполеты над самодовольным лицом русского барина. В портрете Николая II Серову удалось угадать в мерцании бессмысленных, водянистых глаз сущность этого человека, казавшегося безвольным на первый взгляд, но обладавшего тупым упрямством, и вместе с тем эти глаза говорят и о мистицизме, и о будущем (портрет писан в 1900 г.) «распутинстве» последнего царя.

Серов круто порвал с царской семьей после 1905 года. После событий первой русской революции художник не написал ни одного царского портрета. Остались только две злые карикатуры на Николая и его мать царицу Марию<sup>1)</sup>. На тот же 1905 год он отозвался рядом острых политических карикатур в «Жупеле», «Стрельце» и др. сатирических журналах.

На огромную боль, принимаемую ему русской действительностью, — «весь российский кошмар втиснут в грудь», — на болезненные уколы окружающей пошлости, художник отвечал, и этот ответ предстал перед нами, как социологическая характеристика эпохи, выявленная высокохудожественными образами на вершинах мастерства. Эволюция творчества Серова знает много этапов своего развития. Круг его живописной мысли отнюдь не замыкался только портретом. Мы знаем Серова-пейзажиста, Серова исторических композиций, Серова-рисовальщика, Серова-иллюстратора. Но мы до сих пор не имеем ни социологического анализа его творческой личности, ни раскрытия связи между ней и этапами эволюции его творчества. Все до сих пор написанное о Серове или недостаточно, или явно недобросовестно и искажает его образ как художника и человека<sup>2)</sup>. Публикуемые выдержки из его переписки с женой, О. Ф. Серовой, помогут наконец разобраться в этом молчаливом, тихом человеке, предстоящем перед нами как нелюбимый судия своего времени и одновременно как огромный художник, имя которого может быть поставлено только рядом с именем своего учителя, гиганта русской живописи XIX века, Репина. А. С.

№ 1

1884 г. Абрамцево.

Дорогая Леличка, я уже здесь (в Абрамцево<sup>1)</sup>) около 2-х недель. Не знаю, что тебе написать о лицах, меня окружающих. Ты ведь все-таки мало от меня слышала о Мамонтовых. Буду говорить лучше о лице, более или менее тебе известном, — об Антокольском<sup>2)</sup>. Сегодня он только уехал, а то все время

был тут. Виделся, конечно, каждый день. Часто беседовали, об искусстве, конечно. Часто просто слушал, как он спорил об

<sup>1)</sup> К величайшему сожалению, обе карикатуры, приобретенные Наркомпросом у семьи художника, сгорели при пожаре внутри здания Наркомпроса. Одна из них была воспроизведена в «Прожекторе».

<sup>2)</sup> См. «Профили» Абр. Эфроса.

искусстве же с Васнецовым<sup>3)</sup> (он здесь живет, ты не знаешь его) и другими. Умный он и начитанный, но нетерпимый и в споре почти невозможен. Знаменитые люди часто, если не всегда, такие. Он прекрасно, серьезно относится к искусству, так же, как я хочу относиться, и работает, ты сама знаешь, видела его работы. Нравится мне тоже, что он не стоит за западное пошлое, бессодержательное направление искусства и бранит его. Странно, хотя мне и нравится это, он по приезде моем, запретил мне работать и сказал, я понимаю его, что до тех пор, пока мне нестерпимо не захочется работать, — не работать, т. е. морить себя голодом, чтобы потом с удвоенным или утроенным аппетитом приняться за пищу, а здесь за работу. Я послушался и недели полторы ничего не делал, т. е. не писал, а принялся по его же совету за чтение (советовал не стеснять себя выбором, читать все научное, беллетристику, путешествия и т. д.). Я откопал Фрегат и Паллада<sup>4)</sup> и, несмотря на скуку, которой там все-таки порядком, хотя она и прекрасная вещь и много в ней красивого, я все же с удовольствием кончил это длинное путешествие. Читал еще Шевченко<sup>5)</sup> и еще что-то. (Видишь, я тоже перечитываю те книги, которые читал или читаю, — как и ты). Работать начал только теперь. Начал этюд, пейзаж (не веселенький). Ах, нарисовал Антокольского портрет. Сейчас будут хвастать. Рисовали мы, Васнецов и я, с Антокольского, и представь, у меня лучше, строже, манера хорошая и похож, если и не совсем, то во всяком случае похожее Васнецовского. Антокольский хвалил, особенно за прием, — это последнее меня очень радует, радуется, что прав Чистяков<sup>6)</sup> и его манера (это передай Дервизу<sup>7)</sup>). Тем не менее все-таки портрет особенного ничего из себя не представляет — увидите сами. Да, между прочим, ты меня, говоришь, любишь, но, конечно, «за будущее не можешь поручиться» — какая предупредительность, право, мне это очень нравится. Ну, что делает В. фон-Дервиз? Пишет ли он что? Как его романсы? Он, кажется, тебе все больше и больше нравится. О, я этому чистосердечно ра-

дуюсь, как его истинный друг. Ну, да, впрочем, к чорту. Ты вот что мне скажи: когда вы едете в Питер? Мне это нужно знать, и об этом, прошу, напиши мне. Проездом видел Адю, Сашу, Лепольда Ивановича<sup>8)</sup>. Мне было приятно их видеть и разговаривать с ними — вовсе уж они не такие, как мы их представляем зимой или на пасху, когда они обыкновенно собираются к вам гостить. Живу я в свое удовольствие. Здоров, иногда чувствую себя очень бодрым и веселым, на все смотрю бодро, и все мне нравится. Конечно, не всегда это бывает, но все-таки довольно часто. Тебя хорошо помню, и не было, да, кажется, не было дня, чтобы я тебя не припоминал. Ну, прощай, обнимаю и целую тебя. Прошу поцеловать маму<sup>9)</sup> и Надю<sup>10)</sup>, там еще кого хочешь, пожалуйста, хоть Дервиза. Впрочем, его лучше не надо. Пиши мне скорей. Прости за беспорядочность, никакой последовательности в письмах, в этом в особенности. Твой. В. Серов.

## № 2

1885 г.

Дорогая моя, благодарю тебя за твое письмо. Только-что его читал. Сегодня, возвращаясь от Корсовых<sup>1)</sup> (наконец-то я был у них), я чувствовал, вернее, знал, что найду у себя твое письмо, — и не ошибся. Ты просишь меня торопиться писать тебе. Я недавно написал тебе и отправил по адресу такому же, какой стоит у тебя в письме — одно только: я адресовал на имя Фани Мироновны Симонович, с передачей тебе, конечно, а не Иоахима Пузис (какое странное, между прочим, имя). Ах, Лелька, я тоскую так без тебя, тяжело мне не иметь твоей ласки, некого и мне приласкать. Я слегка теперь оправился, покончил с работами, и как-то легче стало. А покончил я так: проработал я почти целый месяц, рисовал и писал, но не шло ни то, ни другое, т. е. не так, как бы я хотел, охота пропала, ну и все пропало, но я тянул почти до конца месяца, рисунок бросил за неделю, а этюд за день до экзамена, одним словом, не подал ни рисунка, ни этюда, и экзамен прошел помимо меня. Теперь,

я знаю это, примусь снова с новой энергией. Счастлив я, что могу пренебрегать медалями (а ты не знаешь, до чего пагубны эти погони, ухищрения эти за медалями), могу работать, как сам хочу, вверяя себя только Репину<sup>2)</sup> и Чистякову. Но что за попытка работать, когда то, что делаешь, не нравится, и то, с чего делаешь, надоело, — все тогда становится несносным, противным, сам себе противен, товарищи противны, разговоры их пошлы, стены Академии — все, решительно все, противно. Единственное спасение — хоть на время, для меня — это твоя ласка. или книга, которая бы сразу завладела мной и перенесла к другим совсем людям, в другую обстановку. Но на этот раз мне пришлось плохо: тебя нет у меня, в Чайльд-Гарольде Байрона отрадного тоже немного. Тяжело мне было, теперь отлегло немного, но часто тоскую я, что уехала ты.

## № 3

1885 г. Мюнхен. 21 июля.

Милая, дорогая моя Леличка, очень бы я рад, прочитав, что вы двое поправляетесь — да и пора, уж порядком гостите на юге, ведь не даром же вас туда отправили. Если бы я мог взглянуть на тебя раз, я бы, наверное, нашел, что и на вид ты поздоровела — или все такая же худышка. Ну-с, а я все еще, как видишь, нахожусь в Мюнхене, хотя теперь уже недолго мне осталось быть здесь — в среду еду в Амстердам (решено и подписано). Наш «взаимный» друг Кеппинг<sup>1)</sup> здесь, гостит у нас 4-й день. Завтра едет он с курьерским, я же послезавтра. Мой учитель все такой же, т. е. немец, художник, с теплой, хорошей душой. Удивительно, какую он сохранил к нам привязанность. Жалко, он теперь ходит озабоченный, у него там с работой возня, не дают, не позволяют ему почему-то работать в амстердамском музее (делать офорт с одной картины Рембрандта). Но все-таки он милый. Да, странно, дико было ему вдруг увидеть меня не тем прежним мальчуганом Валентином, а другим, взрослым, с бородой (она ему очень мешает), и если не совсем

высоким, то широким «молодым человеком». Итак, на-днях отправляюсь в Голландию, мне здесь малость-таки приелось, я рад, что уезжаю, тем более в Голландию, которую путешественники посещают редко. Кеппинг хочет, если ему только позволят дела, объездить ее со мной. Говорят, что эта маленькая страна, как и я себе представлял, очень интересна по части искусства. Вся она незелика, и просмотреть ее не трудно и не дорого. Да, очень интересно. Голландия, а потом бог даст и в Испанию, как-нибудь, попаду — это две мои заветные страны. В Амстердаме мне готовится еще одно (и весьма для меня большое) удовольствие. Там прекраснейший, второй после лондонского, зоологический сад — это меня, представь, почти столько же радует, как и чудные картины в галереях, о которых я слышал от Кеппинга. Мне хочется расцеловать тебя, Лелька, — можно? Ну, а тот москвич действительно тебя хорошо написал? Интересно, как это он тебя написал. Ты, кажется, не скучаешь, это хорошо. Пожалуйста, меня только не забывай — слышишь. Мне и то иногда кажется, знаешь, что ты меня не любишь и письма пишешь только так — впрочем, виноват — это глупо писать — больше не буду. Познакомился я здесь с одним русским, он академист здешней Академии, родом из Одессы, молодой, очень милый и очень талантливый господин, вернее, юноша. Ему страшно хочется провести каникулы дома, в семье, в Одессе, но мать не может выслать ему денег, он, несчастный, горюет. Познакомился здесь еще с одним немцем, умным чудачком, но об нем расскажу как-нибудь в другой раз — слишком долго. Мама все хочет, чтобы я свою Академию питерскую бросил и остался бы на зиму или здесь, в Мюнхене, или в Париже. Я еще не знаю, на что решиться. Собственно, Академии почти везде одинаковы, т. е. везде есть свои недостатки, и если я вздумаю бросить питерскую, то только потому, что надоела обстановка, одни и те же натурщицы, стены, лица и т. д. Ну, об этом еще подумаю, когда буду в Амстердаме, а отправляемся так, через неделю, кажется, мама тоже

едет. Она хочет повидать Виардо<sup>2)</sup> (она живет на полдороге в Амстердам, Франкфурте-на-Майне) и Кеппинга — моего учителя, к которому я еду. Мне пиши так: Мюнхен . . . . . Отсюда уже перешлют, куда следует. Ведь здесь живет, ты, кажется, не знаешь, а может быть, и знаешь, так называемая тетя Таля (Коган<sup>3)</sup>) с детьми, мы с мамой у них обедаем, у них превесело. На-днях ждем сюда Дервиза, он будет здесь проездом, он едет во Францисбад<sup>4)</sup> лечиться, затянулась-таки у него эта гадость. Почему вы переезжаете из [неразборчиво], управляющий надоел, что ли, ты не пишешь. Вообще-то вы живете благополучно? Ты много читаешь? Да, это очень похвально, что ты меня слушаешься и позволяешь Маше<sup>5)</sup> с себя рисовать (может быть, лепить, не знаю), я бы тоже с удовольствием тебя порисовал, нет, я бы писал тебя, я так об этом давно думал. Ну, прощай, моя голубка, как я рад, что ты меня не забываешь — об тебе я всегда помню. Целую тебя крепко. Машу тоже, она очень мила, что написала мне что-то. Спешу в галерею, еще раз целую тебя, моя дорогая. Твой В. Серов.

№ 4

1885 г. Мюнхен.

Милая, милая моя, Леличка, спасибо тебе, что написала мне, сегодня был на почте, где и нашел твое письмо — еще раз спасибо. Я рад был ему, мне стало как-то уютнее на душе, когда читал его. Ты мне отсюда кажешься еще дальше, конечно, чем из Питера, а твой образ стал мне еще дороже, и еще жгучей стало желание видеть тебя. Да, вот я и в Мюнхене и уж вторую неделю проживаю здесь. Ты верно думаешь, что я просто захлебываюсь заграничной жизнью — нет, ты знаешь, какой я старик и как скуп на восторги. Впрочем, еще в Питере я, кажется, писал тебе, да оно так и было, что меня не особенно тянет в Мюнхен. Конечно, приятно проходить по знакомым улицам, разыскивать дома, в которых 10 лет тому назад жили, видеть знакомые здания, извозчиков, говор баварский, баварское пиво, виртшафты и т. д., но ведь привыкаешь ко

всему этому, и если бы не музеи (впрочем, это главное), я бы здесь тосковал порядком. Пишу я копию с Веласкеза<sup>1)</sup>, чудный портрет, пока идет, как будет дальше, не знаю, но работаю с энергией. Эту галерею, хотя я и был в ней когда-то, я совершенно забыл, так что она была новостью для меня — есть много, очень много интересного, хотя уступает нашему Эрмитажу<sup>2)</sup>. Рембрандт<sup>3)</sup> здесь особенно плох. Зато здесь много Рубensoвских<sup>4)</sup> вещей, и хороших. В эту галерею хожу почти каждый день (наз. Пинакотека<sup>5)</sup>) и пишу приблизительно так, от 10 до 3. Что значит все-таки Европа: мне, например, ровно никаких хлопот не нужно было, чтобы мне позволили копировать, а у нас там, в распрекрасном Петербурге, я полгода шлялся, просил, умолял, просто чтобы дали копировать этого несчастного Мурилльо<sup>6)</sup>, — и ведь так-таки и не дали. Никаких трудов не стоило изясняться с ними, дать сторожу несколько монет, и все готово, — и разрешение, и мольберт, и скамейка, — бери холст и краски и пиши, как я сейчас и сделал. С немецким языком освоился и для общезнания достаточно: разговор могу понять и ответить на вопрос, но, вообще, поддерживать беседу пока еще не могу. На-днях хочу пойти к своим давнишним знакомым, хорошее немецкое семейство, куда я мальчиком отправлялся на целый день, правильно каждое воскресенье. Интересно, какова будет встреча. Вот что, голубка, получено письмо из Ясски<sup>7)</sup>, в котором Варвара объявляет, что будто бы Ад. Сем. не знает вашего адреса, правда это или нет? А мне здесь довольно часто приходилось побывать в зелени. Несколько раз был за городом, тут очень милые окрестности. Были с Кеппингом и на том самом месте, где 10 лет тому назад жили подряд два лета, где и познакомились с ним, были на Штарнбергском озере — это недалеко оттуда, куда я тогда еще отправлялся брать уроки плавания. Славно мы там жили, сколько помнится. Там же я и принялся немножко серьезнее порисовывать. Собирал тоже под руководством того же Кеппинга коллекцию бабочек. Через

3 недели буду опять здесь, опять буду копировать и буду с мамой ходить в театр, — к тому времени начнутся Вагнеровские оперы, — это интересно, тем более, что здесь даются те из них, которые у нас в России никогда и не увидят. Они даются только здесь и в Байрейте<sup>8)</sup>. Прощай, моя девочка, не сердись на меня за короткое письмо, целую твое личико, прощай. Машу поцелуй. Мама вас тоже целует. Еще и еще раз прощай, я всегда целую тебя, когда ложусь спать, — вот и теперь также, сейчас тушу лампу — прощай. Твой всегда В. Серов.

## № 5

1885 г. Мюнхен.

Леля, милая, дорогая моя, пишу тебе, знаешь, откуда, — из деревни. Я тоже в деревне, тоже послан лечиться, у меня уж более месяца тянется катар в легких, бронхит; то легче, то хуже, какое-то скучное положение — не то здоров, не то болен, и лечиться как-то странно, когда аппетит как следует, цвет лица и все вообще преблагополучно, и вдруг надо остерегаться того, другого. Надело, а иногда грудь не на шутку побаливает — ну, будет, а то становится похоже на ваши первые письма, хотя спору нет, они нужны были. А в самом деле, не шутя, как ваше здоровье? Кашля нет твоего вовсе? Маша тоже совсем поправилась? Изволь мне об этом написать. Хотелось бы мне на вас хоть одним глазком поглядеть, какие такие вы стали теперь, ведь я, ей-богу, давно не видал вас, позволь, теперь уже сколько, — февраль, март, апрель, май, да-с, пятый месяц идет-с, недурно. Разлука (глупое слово), кажется, более трех-четырёх месяцев никогда не тянулась у нас, а тут вдруг восемь, и то еще, если осенью свидимся, — свинство, невольно приходится почесать в затылке. Да, а тут нет таких людей, которые чешут у себя за ухом — здесь всё чистейшие немцы, баварцы, и ходят вот в этих костюмах. Местечко здесь удивительно миловидное, чисто немецкое. Тут и полосатые холмики, все аккуратно обработанные, и фруктовые небольшие садики, сквозь которые выглядывают белень-

кие, аккуратные домики с зелеными ставнями. Тут река быстрая, с холодной горной водой, отсюда видны горы, хотя далеко, есть и леса, и монастырь с тополями, огородами, в которых мелькают бритые, лысые в коричневых с капюшоном назади халатах, есть, конечно, и виртшафт, и не одно, а несколько. Может быть, ты не знаешь, что такое виртшафт, — это что-то вроде наших постоялых дворов или, вернее, трактиров, но они гораздо приятнее наших российских, провинциальных, грязных до невозможности трактиров. Во-первых, это чистый большой дом с большим двором, с погребом, перед домом несколько больших тенистых деревьев, обыкновенно каштанов (здесь они прекрасно растут), под ними устроены столики деревянные со скамьями по бокам — вот здесь-то в жаркий день удивительно приятно сидеть и пить пиво, хотя я и небольшой охотник до пива. Да уж пиво здесь — ну, ну, ты об этом и не имеешь, да и не можешь иметь понятия, постоянно, то и дело, привозится большая фура с колоссальными лошадьми (таких лошадей у нас нет — это что-то поражающее), все увешано боченками пива. Здесь придется пробыть недели две и потом в Амстердам. Там буду тоже копировать и учиться у Кеппинга делать офорты (нечто схожее с гравюрой, но в тысячу раз живописней, художественней). В Мюнхене копию не окончил. После, на возвратном пути, постараюсь опять поработать. Здесь пока ничего не делаю, нет, впрочем, сию за немецким учебником, делаю переводы. Глупо, что я, кроме учебников, ничего не взял из Мюнхена, а здесь так можно читать, комнатка у меня премилая. Жду сюда маму, обещалась приехать. Прощай, целую тебя и Машу. Твой В. Серов.

## № 6

1885 г.

Дорогая Леля, я долго тебе не писал, прости меня, единственное оправдание, и то не совсем извинительное, это то, что я теперь путешествую. В данную минуту я нахожусь в Голландии, в городе Гааге. Вы, кажется, основательно проходили географию в гимназии и, вероятно,

помните это имя. Да, теперь я имею, если не полное, то все же весьма достаточное понятие о Голландии. Совершенно оригинальная и милая страна. Целую неделю пожил в Амстердаме. Вчера был в Хаарлеме, сегодня в Гааге, завтра увижу еще один голландский городок, а затем в Бельгию, в Антверпен, Брюссель и, если хватит денег, так еще в Гент, и тогда уже домой, т. е. в Мюнхен. Пока путешествие шло как нельзя удачнее, не знаю, что будет дальше. Почти все это время я был вместе с Кеппингом, жили и бродили по музеям вместе. Многого удалось повидать и такого, чего в другом месте не увидишь, я говорю про самую обстановку голландскую и голландскую живопись. Относительно последней я могу сказать, что этих самых картин ты, конечно, не увидишь нигде, но подобных по достоинству и даже лучше ты можешь найти в других галереях, как в дрезденской, например (я там еще не был, но буду и знаю от Кеппинга). Странное дело, я думал всегда, что гут, на месте действия, я, наверное, увижу много и хороших вещей Рембрандта, и вдруг в музее в Амстердаме вижу всего 5 картин, из которых только две действительно прекрасны, остальные же ничего особенного из себя не представляют. Я все время вспоминаю и удивляюсь, как много у нас в Эрмитаже чудных портретов Рембрандта. Хотя, собственно, эта история не новая. В Крыму у вас то же самое, только не с живописью, а с виноградом. Хорошего винограда, если ты только не знакома с хозяином виноградника, достать в Крыму труднее, чем в Петербурге. Чего здесь в галереях много, впрочем, и в других тоже, это маленьких голландских картин, между которыми попадаются действительно замечательные. Да, но что всего замечательнее, так это то, что ты видишь на картине, ты видишь на улице или за городом. Те же города, те же каналы, те же деревья по бокам, те же маленькие, уютные, выложенные темнокрасным кирпичом, невероятно чистенькие домики с большими окнами, с черепичной красной крышей, вообще, тот же самый пейзаж с облачным небом,

гладкими полями, опять-таки изрезанными каналами, с насаженными деревьями, с церковью и ветряною мельницей вдали и пасущимися коровами на лугу. Просто удивляешься, как умели тогда голландцы передавать все, что видели. Я не говорю про лица, ты опять-таки можешь их в натуре встретить. Много и в costume уцелело. Головной белый убор почти не изменился. Вообще, Голландия не изменилась за эти два столетия, это-то и делает по приятное впечатление. Во всем видно довольство, видно, что голландцы ни в ком и ни в чем не нуждаются. Города здесь удивительно милостивы. Я попробую начертить, чтобы дать тебе хоть слабое понятие о них, у всех у них один характер. Если поймешь, так ладно, а нет, так мы в Питере вместе пойдем в Голландскую школу<sup>1)</sup>, и я с удовольствием вспомню свою поездку. Сегодня я распрощился с Кеппингом совсем. А знаешь, в голландском городе я нахожу очень много сходного с Петербургом, с Васильевским островом, в особенности в Амстердаме, например, я был на берегу моря, ну, представь, совершенная Нева, да и только. Затем наши три канала; да, этой милостивости, этой чистоты в Петербурге не найдешь. Насчет чистоты — представь, два раза в неделю голландки вымывают, так сказать, дом с ног до головы, т. е. они обливают особыми шприцами стены снаружи. Про внутренность и не говорю. Проходя по улице, ты всегда встретишь голландку с щеткой каменный пол или чистящую оконные стекла, и действительно, подобно чистых и блестящих окон я нигде не видывал, и так везде, и в самом большом городе, так и в самом последнем местечке. Все домики до того милы внутри и снаружи, в каждом домике готов поселиться, завидуешь голландцам. На улицах так тихо, езды почти нет — все так близко одно от другого, повсюду конка, и какая конка, в такие вагончики и толстенные лошадки можно прямо влюбиться. В Амстердаме, представь, я был в той самой португальской синагоге, где произошла известная история с Акостой<sup>2)</sup>. Здание

очень величественное и красивое, подробности тоже очень красивы. Был еще в одном достопримечательном месте. Недалеко от Амстердама находится местечко Саардам, здесь жил Петр Великий и изучал кораблестроение, его хижина цела и показывается, как редкость. Он много привез с собой голландского. Петербург он всецело хотел построить по голландскому образцу. Тогдашние постройки, как, например, университет, совершенно в голландском духе. Дворец Петра в Петергофе и павильон в летнем саду — опять-таки чисто голландские здания. Затем за городом, туда, к морю, за больницей Николая чудотворца, есть местечко, где живут рыболовы немцы, тоже много сходства с Голландией. Суда рыболовные те же, что и здесь. Ну, а что вы и как вы, и почему от вас нет писем. Да, между прочим, я все более и более убеждаюсь, что ты похожа на голландку, мне это очень нравится. Я тебя непременно буду писать (и долго). Ты же ведь мне будешь сидеть, не правда ли. Не знаешь, где Дервиз? Если имеешь какие известия, напиши. Напиши мне также о своем и Машином здоровье. Пиши мне в Мюнхен. Тебя, голубка, помню хорошо и крепко люблю, и крепко целую тебя. Машу тоже. Когда-то свидимся — скоро сентябрь. В. Серов.

№ 7

1885 г. 17-е августа.

Сегодня утром получил твое письмо. Я порадовался — такая ты веселая. Оно положительно есть, чему порадоваться, — ведь Аделаида Семеновна<sup>1)</sup> у вас (когда получишь это письмо, она уже будет гостить вторую неделю). Да, да, непременно напиши и поскорее, что доктор и что и как он насчет того, чтобы тебе зиму прожить в Питере. Судя по твоим письмам, за последнее время болезни у вас не имеется, может быть, ты об этом не хотела писать, но все же мне кажется, что вы обе здоровы. Напиши-ка мне о здоровье своем и Машином, — слышишь, пожалуйста. Право, если ты опять не будешь в Питере — нет, я и думать не хочу. Не хочу там без тебя быть, слышишь. В Россию мы едем че-

рез неделю, но не через Вену, а через Дрезден и Берлин. Заехать в Крым очень и очень дорого, все равно из Берлина ли, или из Вены ехать. Так что если тебя не будет потом в Питере, то повторяю, не видать нам друг друга. Как видишь, я пишу тебе опять из Мюнхена, уже неделя, как я здесь, возвратился со своей двухнедельной поездки. Я тебе написал, кажется, в последний день, который я проводил в Голландии. Оттуда отправился в Антверпен, в Бельгию, значит. В Антверпене, может быть, ты слыхала, теперь всемирная выставка. Виноват, не могу теперь писать, идем в театр слушать Дон-Жуана Моцарта<sup>2)</sup>, пока бросаю. Целую тебя, голубка.

Видишь ли, эту зиму мы, т. е. я и мама, будем жить вместе в Питере у моей прежней хозяйки — немки. Летом, верней на лето, она, мама, уезжает опять в Мюнхен и хочет тебя взять с собой — это тебе нравится или нет? Может быть, и я тогда поеду, чтобы поступить на время сюда в Академию, но, повторяю, может быть, не наверное. Да, да, нужно же мне написать хоть немножко о моей поездке. В Антверпене всемирная выставка, ну, туда я забрался на целый день, порядочная тоска — все машины, впрочем, не так машины, как разных колониальных товаров. Трудно представить себе, сколько всяких этих изделий: там все шкафы от разных фабрик: то с сахаром, то шерсть, то мыло, то свечи, то куклы, ликеры, водки, материи, мебель, музыкальные инструменты, органы, рояли, белье, литейные заводы выставили массажи — всего не перечесть, под конец дня я ног под собой не чувствовал, и я рад был наконец уйти. Впрочем, несколько машин мне очень понравились, так, например, я увидел как делается бумага, — все это тут же наглядно — как разрезывается, как особыми машинками делается конверт, как линуется бумага и т. д., это было действительно очень мило. Художественный отдел был богат, но богат произведениями национальными, т. е. бельгийскими. Французский отдел был тоже не мал, но хороших вещей было немного, и все те, которые я знал по

фотографиям, и скажу, на фотографиях они мне больше нравились. Две-три были очень для меня интересны, и я рад, что повидел их. Еще рад, что удалось увидеть шведских и норвежских живописцев — работают очень своеобразно. Ах, курьез — русский отдел там тоже есть, и что же я там увидел, или, вернее, кого — нашего питерского академического сторожа — злосчастного чухонца. Он мне жаловался, что ему плохо тут и кормят плохо — одна картошка; «нет, у нас уж на что лучше». Представь, там красуется «Боярский пир»<sup>3)</sup> Маковского, вообще, вещи присланы неважные. В Антверпене приходится иногда изъясняться по-французски, что же, ничего, по-маленьку изъяснялся. Остальные три дня употребил на осмотр музеев и, вообще, древностей. Тебе нужно знать, что Антверпен был почти постоянным местом жительства Рубенса, Ван Дика<sup>4)</sup> и Теньера<sup>5)</sup> — представителей фламандской живописи. Дом Рубенса, конечно переделанный, еще и теперь красуется на одной из главных улиц. Опять не могу не удивляться. В таком городе, как Антверпен, где на площадях красуются статуи этим Рубенсам, Ван-Дикам и т. д., самих произведений этих господ, в особенности последнего, ты почти не найдешь в музее, тогда как у нас или здесь в Пинакотеке везде музеи переполнены портретами Ван-Дика. В Антверпене есть главный кафедральный собор, в нем находится несколько больших знаменитых картин Рубенса. Но что до крайности неприятно — представь, эти картины во время богослужения завешены, когда же богослужение кончается, сторож звонит ключами и, так сказать, приглашает публику выйти, тут же вертятся какие-то два нахала, которые заявляют, что вы должны заплатить 1 франк, чтобы иметь право увидеть эти картины, — безобразия просто. Ну, на этом и прекращаю, больше писать нельзя, а то письмо не дойдет. Поцелуй Аделаиду Семеновну, если она у вас. Тебя целую без конца, моя дорогая. Твой В. Серов. Машу тоже поцелуй. Мама просит, когда Аделаида Семеновна будет в Петербурге, чтобы она написала, где ее найти, — наш

адрес: Васильевский остров, Средний проспект, дом № 22, кв. 7. В Мюнхен больше не пиши, пиши в Питер.

№ 8

1885 г. Петербург. 8-е сентября.

Леля, милая моя, прости меня, я виноват перед тобой и очень виноват. Ведь я тебе месяц не писал — это ни на что не похоже, и я сам знал, что это ни на что не похоже, и все-таки не писал. Дорогая моя, прости меня, твоего лентяя. Когда увижу тебя, я встану на колени и буду целовать твои ножки, твое платье, и ты простишь меня. А что, если я тебя увижу гораздо скорее, чем ты думаешь, а? Я с ума сойду от радости. Но, голубка моя, это секрет, т. е. пока секрет, так что ты и не спрашивай. Нет, а вдруг через месяц какой-нибудь я буду целовать тебя, что ты на это скажешь? Как это будет, повторю, секрет. Чтобы не поговориться, начну о другом. Сюда в Питер я, представь, приехал только вчера утром. Это время, т. е. эти три недели, пробыл в Москве и Абрамцеве. Заграница, так сказать, отошла, уже не знаю, на какой план, одним словом, далеко, как будто и не выезжал из России. Хотя все впечатления заграничные совершенно отчетливо сохранились, но их как будто куда-то спрятали. Как я тебе писал перед отъездом из Мюнхена, так и вышло. В Дрездене пробыл около трех дней, и отлично провели время, Блокки<sup>1)</sup> были очень милы, если бы ты знала, как они там скучают по нашей России. Какая там галерея — прелесть. Когда-нибудь попадем туда вместе. В Берлине опять-таки нашли такую галерею и такую греческую скульптуру, что мое почтение, — это мы тоже когда-нибудь увидим. Вообще, время провел чудесно и поездку заграничную можно считать очень удачной, тем более, что все это устроилось сравнительно на гроши. Видел я, действительно, по своей части, т. е. картин, массу, и я знаю, чувствую, что через это работать буду смелей и, пожалуй, лучше. Насчет художества я, правда, стал смелей. Пропустил, например, целую неделю в Академии, писал в Москве портрет с одного испанца<sup>2)</sup> певца, — чудная физиономия. А теперь

думаю уже опять, хотя вчера только начал в Академии, ехать отсюда, знаешь, куда, — нет это секрет, а все-таки ты можешь меня ждать в Одессу. Слышал вчера про ваше житье, про Смирнова также — он меня порядком раздосадовал. Ужели он опять пристает к тебе? Голубка моя, прощай. Целую тебя тысячу раз, если я так долго не писал тебе, то это вовсе не значит, чтобы я забыл тебя. Милая, дорогая девочка, до свиданья. Слышишь, до свиданья.

Твой В. С.

№ 9

1886 г. Среда.

Я опять бодр и работаю весело. Ушитаюсь теперь письмами из Испании Боткина. Ужасно живо и ярко написано, местами просто чувствуешь, что путешествуешь сам, — прелесть. Если возможно, разыщи и прочитай с Машей. Книжка эта теперь довольно редкая, так что, когда я рылся в каталоге в своей библиотеке и наткнулся на Боткина, то был очень удивлен и обрадован вместе, потому что еще летом я все домогался добыть ее, но безуспешно. Ну, что вы с Машей еще не обтерпелись в этой чисто еврейской семье? Я довольно отчетливо могу ее себе представить, думаю, мало привлекательного, особенно сначала. Лучше всего, я думаю, так сказать, уйти в себя и читать, сколько влезет. А пока прощай, дорогая, целую. В. Серов.

№ 10

1887 г. Венеция.

Милая моя Леля, прости, я пишу в несколько опьяненном состоянии. Да, да, да. Мы в Венеции. Представить — в Венеции, в которой я никогда не бывал. Хорошо здесь, ох, как хорошо. Вчера были на Отелло, — новая опера Верди, — чудная, прекрасная опера. Артисты — чудо. Тамань<sup>1)</sup> — молодец, совершенно. Прости, я, действительно, несколько пьян. Видишь ли, вчера поели устриц, а сегодня хозяин гостиницы докладывает нам, что у него был несчастный случай, один немец съел пять дюжин этих устриц и умер в холере (здесь ведь была холера — ты это знаешь), и во избежание холеры мы до-

стали бутылку коньяку (говорят, хорошее средство), по всем признакам холера нас миновала. Леля, милая, дорогая девочка, я люблю, очень люблю тебя. А какая славная опера Отелло, какая страстная, кровавая. Ты любишь меня, а? Знаешь, я тебя часто, очень часто вспоминаю. Какая здесь живопись, архитектура, хотя, собственно, от живописи ждал большего, но все-таки очень хорошо. Хотел писать тебе вечером, но сегодня какой-то дождливый северный день. Мы сидим дома (ты знаешь, кто это мы, нас четверо: Остроухов<sup>2)</sup>, двое Мамонтовых<sup>3)</sup>, славные юноши). Если путешествие будет идти таким же порядком, как до сих пор, то я ничего лучшего не знаю. Холера — она прошла, положительно ее больше нет. Прости, прости, моя хорошая. Вот-с как, написал я свой плафон, надоед он мне до некоторой степени. Деньги за него получил, и вот я кучу. Езжу по Италии. Славная, целую тебя, моя дорогая. А все-таки другую не буду любить так, как тебя, моя, моя, моя хорошая. Да, да, ведь ты моя. Ох, прости меня, но я люблю тебя. У меня совершенный дурман в голове, но я уверен, что все, что делалось воображением и рукой художника, все, все делалось почти в пьяном настроении, оттого они и хороши, эти мастера XVI века, ренессанса. Легко им жилось, беззаботно. Я хочу таким быть беззаботным, в нынешнем веке пишут все тяжелое, ничего отрадного. Я хочу отрадного и буду писать только отрадное. Жаль, сегодня погода дрянь. Приятно здесь развлекаться в гондоле и ездить по каналам и созерцать дворцы дождей. Прощай, целую тебя без конца. Твой без конца

В. Серов.

№ 11

1888 г.

Ну, что, дорогая моя, едешь ли ты или нет, наконец. Опять, пожалуй, какая-нибудь отчетность задержала. И так, если приедешь, то во всяком случае не раньше 29, 30 сюда в Питер. Я считаю, что ты выезжаешь 26 (все-таки) вечером курьерским. (Да, это очень мило со стороны Чиховича<sup>1)</sup>, 27 в 12 час. из Киева, 28 вечером в 7 час. в Москве.

Переночуешь у Софии Семеновны<sup>2</sup>), пойдешь утром на выставку (так), а затем вечером по Николаевской. По этой дороге тебе придется ехать уж на свои собственные деньги, так как все возможные агентские билеты, если они не выданы действительно служащим, — не действительны, за этим следят весьма строго. Итак, я считаю, что ты выедешь в 10½ час. вечера из Москвы. Возьми место в спальном вагоне. Приплатишь какие-нибудь пустяки, а удобства довольно значительное — у тебя будет собственная лавка — конечно в дамском отделении. А в пятницу вечером здесь. Могу тебя еще порадовать в смысле своих удач. Представь, Третьяков<sup>3</sup>) покупает у меня Машу<sup>4</sup>), что летом писал (300 руб. между прочим). Летние труды, значит, не пропали даром. Но я все-таки, признаться, не ожидал, чтобы Третьяков ее купил, главное, раньше еще выставки. На выставке увидишь моих 4 произведения, из которых 2 знаешь (Машу и пруд), портрет (премия) Верушки<sup>5</sup>) и Павла Ив. Бларамберг<sup>6</sup>). В Питере у меня все то же — портрет отца<sup>7</sup>), кот. за последнее время подвигается не особенно скоро. О Юдифи<sup>8</sup>) пока неизвестно определенно, будет она или нет, что всего хуже, конечно. Полагаю, что на-днях это выяснится. Читаю в Публичной библиотеке критику Серова<sup>9</sup>) и нахожу их всегда интересными. Тебе, может быть, будет предложена работа над ними, когда начнется дело издания. Была здесь у мамы Чаркова (твоя директорша). Она издает журнал «Баян». Мама написала ей статьи для январского номера. Тебя ждем очень. А с твоей стороны все-таки нехорошо. Обещала быть здесь или в Домотканове<sup>10</sup>) в средних числах декабря, а приедешь к 1 января. Да-с. А затем всегда нужно уведомлять, получила ли деньги, или нет, впрочем, прости, раньше твоего письма последнего от 20 Д. деньги ты еще не могла получить (посланы 15). Маша просит тебя, если сможешь, захвати Я. М. Гигиену, так книжек 10, и привези с собой. У Софии Семеновны лежат они. Ну, что же еще. А я немножко сердит на Аделаиду Семеновну, зачем ей вздумалось давать

тебе такие советы — не бросать Одессу, в том смысле, что у меня одни только мечты, а место у тебя, за которое и нужно держаться всеми силами. С этим я не совсем согласен. Она же летом советовала бросить Одессу, как провинцию, налагающую известный отпечаток. Как-то мы заживем? Опасаюсь одного немножко, как бы ты не стала жалеть о том видном, так сказать, положении, которое ты занимала в Одессе. Буду надеяться и желаю, чтобы этого не было. Первую неделю поживешь с Машей и мамой и еще Лялей<sup>11</sup>). Она должна приехать на-днях. Может быть, и сама Адел. Сем., хотя навряд ли, она не хочет оставить Надю<sup>12</sup>). От нее, Нади, получено письмо, довольно печальное. Они все находятся под страхом ожидания какого-нибудь паралича с Марусей<sup>13</sup>). Экая мерзость, в самом деле. Надо же, чтобы с такой милой девчонкой стряслась такая скверная история. Насчет Николая<sup>14</sup>) я писал тебе, кажется, что он женится. Чорт знает что. Ему-то уж совсем рано. Ну, до свидания, надеюсь, до скорого. Не обманешь же ты меня. Не будешь мучить. Дай мне знать, когда ты должна быть здесь. Прощай. Скоро поцелую тебя. В. С.

№ 12

1890 г.

Лелюшка, дорогая моя, как я тебя хочу видеть. Еще предстоит два сеанса: во вторник, и, должно быть, в среду окончательный. Уезжать, не кончив, было бы не совсем хорошо, да и денег не было бы. Портрет идет недурно, т. е. похож и так вообще, немного сама живопись мне не особенно что-то цвета не свободные. Всем нравится, начиная с самого Мазини<sup>1</sup>), весьма милого в общежитии кавалера. Предупредителен, любезен на удивление, подымает упавшие кисти (вроде Карла V и Тициана<sup>2</sup>). Но что приятнее всего, это то, что он сидит аккуратно 2 часа самым старательным образом и когда его спрашивают, откуда у него терпение, он заявляет — отчего же бы не посидеть, если портрет хорош, если бы не выходило, он прогнал бы меня уже давно (мило, мне нравится). Оказы-

вается, обо мне все-таки есть что-то за последнее время в «Русских Ведомостях» и «Новом Времени» — значит знает. Уроки продолжают. Хотя еще заниматься под моим руководством, поздно-вато немножко. Мекчиша<sup>3</sup> не платит. Оказывается, что барыня сия весьма шальная и мелких долгов не платит. Хорошо, пожалуй, что портрет на даровщину ей не написал. Как-то ты, Лелюшка, хочу тебя обнять, девочка моя. Подождать необходимо денька 2—3. Купил тебе башмаки, не знаю, понравятся ли. Прощай, до свидания, голубчик мой, Целую тебя и девочку. Всем поклон. Твой В. Серов. Чаю привезу непременно. Пришлю телеграмму, скажи, заплачу, когда буду на Чуприановке<sup>4</sup>).

№ 13

1890 г. 29 марта.

Лелюшка, милая, вчера получил от тебя письмо. Насчет Варвары<sup>1</sup>) я ничего не понимаю. Мальчика криворотого мне жаль, он, кажется, славный был. Ну-с, Мазини кончен и очень недурно кончен. По моему мнению, и других также, это лучший из моих портретов. Чувствую, что сделал успехи. Он цельнее, гармоничнее, нет карикатуры ни в формах, пропорциях, ни в тонах. Жаль, что нельзя его выставить. На передвижной не имею права, я только экспонент, не член, которые могут беспрепятственно выставлять или приставлять всюду и всегда на всем протяжении путешествия выставки, так как у них вопрос — может ли их работа быть не принята на выставку, устранен. С Мазини гут вышел курьез, не с портретом, а с оригиналом, впрочем отчасти и с портретом. Он ведь должен был петь у Саввы Ив.<sup>2</sup>) 4 или 5 раз, как значилось в абонементе. Присидев первую половину поста в отеле с легкой простудой, он насилу решился петь, но спел все-таки Фаворитку<sup>3</sup>) два раза. На третий же раз назначено было Риголетто<sup>4</sup>). Он является в 7 часов в театр, пробует голос, находит его не совсем хорошим, надевает пальто и уходит домой. Публика вся собралась и ворча раз'ехалась по домам. Савва Ив. решил с ним закончить, так как с ним каша не сварилась, т. к. и до этого скандальчика

постоянно назначались и отменялись по его милости спектакли. Одним словом, они поссорились. Кто прав, кто виноват—не разберешь,—оба вместе, вернее. Портрет же мой Савве Ив., разумеется, теперь уже не нужен, и решено его продать какой-нибудь богатой психопатке, одержимой г. Мазинием. За это дело взялась Мария Александровна<sup>5</sup>), знаешь, мать Миши и Юры. Теперь в ее магазине именно таковский люд, а из магазина она будет водить этих Фирсановых, Хлудовых<sup>6</sup>) и т. д. в залу к себе, где и выставлено мое прекрасное произведение. Если он таким образом не продается, то решено выставить его в магазине Аванцо<sup>7</sup>) на Кузнецком мосту. Выставка приехала. Надо будет сейчас же заняться рамой. Обивка вещь весьма возможная, я спрашивал. Эскиз для [неразборчиво] большой почин написан, скоро, значит, отправимся. А вот, коли продам Мазини, сейчас к вам, денька на 2—3. Целую тебя, дорогая. Будь здорова. Скоро увидимся. Кланяйся всем. Твой В. Серов.

№ 14

1902 г.

Лелюшка, ты уж начинаешь что-то сердиться — нехорошо, не сердись, прошу тебя, и жди меня не с нетерпением, а с терпением, я скоро буду, серьезно. Надо же мне кончить в соборе и как-нибудь выяснить с Юсуповым — теперь ли окончить портрет или же потом. 1-го июня я отправился к нему в Архангельское<sup>1</sup>), старое Екатерининское поместье, холодно, роскошное, ехал долго и под солнцем, и под дождем, но ничего не повредил в портрете. Да, за эти дни я сшил себе костюмчик серенький, вот он после дождя стал несколько жеванный. Ну-с, приехал, князя нет, скоро будет, раскупили портрет, поставили в комнате, где ему висеть с другими императорами, потом приехал князь, я погулял по парку. Говорю, сколько успел сделать — сделал. Портрет понравился. Княгиня<sup>2</sup>) пришла, славная княгиня, ее все хвалят очень, да и правда, в ней есть что-то тонкое, хорошее. Она заявила, что мой портрет покойного царя<sup>3</sup>) вообще лучший из всех

его портретов, я говорю, ну это потому, что остальные уж очень плохи — смеется, кажется, она, вообще, понимающая. Просила как-нибудь зимой (приятное поручение) с фотографии написать ее папашу. Я попросту заявил, что это очень тяжелая и неприятная работа. Она соглашается и с этим. Да, мундир у меня оказался фантастическим, и мне пришлось там же его переправлять. Встретил там художника Крачковского<sup>4)</sup>. Он состоит при Юсуповых в некотором роде, живет там рядом на даче. Тот самый, который заявил, что я своими произведениями и в особенности портретом доставляю им, художникам, большие радости. На следующий день должен был приехать туда государь<sup>5)</sup> на спектакль, там особый театр и бал во дворце. Когда я подправлял портрет, князь предложил отобедать с ними, до этого накормив меня завтраком и чаем. Я отказался и сказал, что к вечеру хочу попасть к Мамонтовым в имение в 12 верстах оттуда. «А вот как, передайте вот эту карточку», карточка — приглашение на спектакль — ложа на 7—8 персон. С этой карточкой, пообедав у Крачковского, я отправился в Подушки, где и пробыл до сегодня утром. Да, но что я на следующий день после всяких разговоров и волнений решил и все-таки поехать на спектакль и поехали М. А., Танечка, Наташа, Ул. Ол.<sup>6)</sup> и я на четверке в ландо, в белых платьях и во фраках. Но спектакль, правда, вещь любопытная. Сам театр старомодный, как на гравюрах, все по-домашнему, но очень чинно — ложи у нас были великолепные, вроде окна со стульями. Из нее (рядом со сценой боковая) сидящая царская фамилия была лучше, пожалуй, видна, чем сцена. На сцене пели со старанием оперу [неразборчиво] Мазини и Арнольдсон<sup>7)</sup> и хорошо. Было очень красиво и стильно. Публика — ближайшие придворные, сравнительно немного. После театра фейерверк, должно быть, великолепный, но мы его из-за деревьев не видали, а подходить, собственно, поближе к самому дому не годилось, так как приглашение было посетить театр, затем уехали. Эти два дня я отдохнул. Ездил верхом,

гулял. Сегодня работал в соборе, скоро кончу и, написав несколько маленьких этюдов с верблюда, поеду к тебе, супруга моя. Поручения почти все сделаны, покупки пересылаю с Бяшковым<sup>8)</sup>, смешные они, они без меня тут спали, как, я не пойму. Старуха предлагала белье — что-то отказались, и без подушек. Целую всех крепко.

№ 15

1902 г.

Лелюшка, приехал хорошо и дешево — пассажирским 6 час. 9 руб. 2-й класс. В Питере видел Бенуа<sup>1)</sup>, Бакста<sup>2)</sup>, Нувеля<sup>3)</sup>, толковали о затее издать историю Петра В. с нашими иллюстрациями (по-моему только историю и можно иллюстрировать). А хорошую бы книгу можно было изготовить. Текст заказать хотя бы Бильбасову<sup>4)</sup> (как Екат. II). Решено действовать. Князю Щербатову и [неразборчиво] в Берлин отписано. Уж очень трудно будет мне опять выконючивать вещи у собственников, не знаю, возможно ли будет собрать. Эти сомнения написал в Берлин. Приехал в Москву — в училище<sup>5)</sup> в канцелярию — поздно, до 12 час. только (думал до 2, почему-то и поехал пассажирским и дорогой читал — разлюбозное это дело — читать в вагоне). Еду сейчас опять туда. Затем поблизости в дом Юсуповых, по телефону вызвал князя<sup>6)</sup>, зовет в Архангельское, хотел выслать даже лошадей, но тут вдруг телефон оборвался и шабаш — так что еду туда на извозчике. Сдаётся мне, что застряну у них — хотя посмотрим еще. От Ляковского, разумеется, длиннейшее и глупейшее письмо с разными заключениями. Репин и я только и есть портретистов, что заказы гонятся за мной, знает цену моему имени и т. д. А все же извольте писать супруг-с, да-с, а, впрочем, если по фотографии «лицо моей жены почему-либо кажется Вам мало интересным — сказать мне это откровенно: в таком случае я не решусь Вас беспокоить» — ну не угодно ли, а? Вчера видел К. Корovina<sup>7)</sup>, сегодня буду у Соф. С.<sup>8)</sup> Ребятам кланяюсь. Насчет лодки острожной — пусть ездят от нас в Лаудо-

рандо<sup>9)</sup> и только, на виду. Поеду сегодня же в Архангельское.

## № 16

1902 г.  
Архангельское. Среда.

Лелюшка, что у вас, не знаю, как добыть от тебя письма. Надо будет съездить в Москву. Приехал вчера только, а уж мне кажется, что я здесь давным давно, так недели 1<sup>1/2</sup>—2—чудно. Пишем меньшого Юсупова. Князей самих сейчас нет — они уехали на маневры, где-то здесь не очень далеко — в субботу вернуться. Здесь, так сказать, полное великолепие, но скучновато малость. С этим юношей мне нужно очень торопиться, ибо он едет на экзамен в Питер. Впрочем, я, кажется, тебе писал об этом. Жаль, мы не очень с княгиней сходимся во вкусах. Так, к примеру, какую куртку графчику надеть, и то, что нравится ей, прямо ужасно — голубая венгерка — если ее написать, то тут же может стошнить. Странно. Вот приедут господа, посмотрят, что мы написали, уверен, придется не по вкусу — ну, что делать, мы ведь тоже немножко упрямые — да. Оказывается, начиная с Екатерины, все цари перебивали здесь. В ознаменовании чего здесь поставлены колонны с надписью в саду. Есть в саду же бюст Пушкина (неприятный, безвкусный), на пьедестале стихи, посвященные предку Юсуповых, где говорится о благородной праздности (недурно) сего предка.

## № 17

1902 г.  
Вторник 2 авг.

Дорогая Лелюшка, собираюсь съездить в Москву за твоими письмами. Мама вероятно уже у вас. Они хотели поехать в воскресенье. Как поживаете? Хорошая ли погода? Здесь прямо великодушная, тепло, хорошо. Чувствую себя хорошо, работы порядочно. В воскресенье вернулись князья. Кажется, вообще, довольны моей работой. Меньшого написал, или вернее взял хорошо. Вчера начал князя по его желанию на коне (отличный араб, бывший султана). Князь скромненький, хочет, чтобы портрет

был скорее лошади, чем его самого, — вполне понимаю. Тоже неплохо кажется. А вот старший сын не дается, т. е. просто его сегодня же начну иначе. Оказывается, я совсем не могу писать казенных портретов — скучно. Впрочем, сам виноват, надо было пообожать и присмотреться. С княгиней не знаю — она очень не хочет позировать (она права — это скучно и надоело, и порядком ее мучил этой зимой Степанов<sup>1)</sup>). Князь настаивает — ну там видно будет. Меньшой уехал в Питер на экзамен. В Москве распорядился насчет починки подоконников, перил, окон и обоев, хотя не смог еще их выбрать — поеду теперь, сделаю. Странно, думал, что здесь в Екатерининской обстановке буду думать больше о Петре<sup>2)</sup> — впрочем, все же живые портреты не дают времени, а с ними надобно считаться. Целую тебя и всех ребят. Твой В. Серов.

## № 18

1902 г.  
Архангельское.

Дорогая Лелюшка, ну, что же, все то же самое. Впрочем, в Москве получил письмо от Малявина<sup>1)</sup>. Оказывается он не получил моего длиннейшего письма с объяснениями моими и письмом от Чека-то<sup>2)</sup> — досадно. Но он все же глуп — спрашивает, не сам ли Дягилев<sup>3)</sup> уничтожил свой портрет — каков? Второе удовольствие, совершенно неожиданное, было в магазине Дациаро<sup>4)</sup> — куда заехал за красками — вдруг входит Лясковский — меня не узнает — потом решительно подходит ко мне, он такой быстрый, «какие глупости Вы обо мне думаете, зачем». Я: «зачем глупости мне пишете» (ей богу). Он немножко озадачился и спросил, действительно ли я свободен в сентябре, что он мне еще напишет — ну, пусть пишет. Здесь работаем, Старший не выходит — бросил. а те два — ничего. Сегодня попробую вечером набросать княгиню пастелью и углем. Мне кажется, я знаю, как ее нужно сделать, а впрочем — не знаю — с живописью вперед не угадаешь. Как взять человека — это главное. Ну, будь здорова, целую вас всех. Тутуш-

ку<sup>6)</sup> целую в тепленькую щечку. Скоро опять надо будет в Москву за твоими письмами. Сегодня было в школе какое-то собрание, я поленился — не поехал. До свидания. Твой В. С. Чувствую себя хорошо. Трояновского<sup>6)</sup> не застал.

## № 19

1900 г.  
26 июля.

Лелюшка, пишу тебе опять пока не скоро, т. е. надо торопиться, — я как школьник готовлюсь к представлениям, т. е. читаю немецкий текст, что не совсем легко, хотя до известной степени преодолеваю. Сейчас получил от тебя первое письмо. Спасибо, слава богу все здоровы. В двух словах скажу о Байрейте — ждал большего, так называемого наслаждения. Получил мало. «Летучий голландец»<sup>1)</sup> мне совсем не понравился. Парсиваль — другое дело, но в нем еще не разобрался, надо, пожалуй, прослушать еще. Есть вещи изумительные. Ну, об этом после. Сейчас читаю Валькирия. Вчера был на Рейнгольде — тоже могло быть лучше. В общем пока чувствуется не воодушевление исполнителей, а скорее точная, но не без сухости работа. Одним словом, наслаждения такого, как например от Тристана в Питере с Решке<sup>2)</sup>, нет и нет пока. Посмотрим сегодня. Живем здесь втроем — ничего себе. Погода наконец сделалась летней, а то холодновато было, не теплее, чем у нас, а у нас, как вспомнишь, недурно, право. Еще не знаю, послезавтра кончается уже цикл. Возможно, что останусь еще на Парсиваля, а потом и домой — [неразборчиво] мне не охота ехать в Германию, я ее знаю. Целую всех вас. Твой В. С. Кланяюсь ребятам. Пиши Берлин. До востребования. Мама и Хессин тебе кланяются.

## № 20

1900 г.

Лелюшка, вчера был Зигфрид<sup>1)</sup> и было хорошо. Валькирия тоже не плохо, хотя исполнители были так себе — но зато сам Вагнер был велик — сцена (знаешь) Зигмунда с Зиглиндой, с Валькирией, Брунгильдой, объявляющей

ему, Зигмунду, смерть — я еле выдержал — тут Вагнер гений, как драматург и композитор — ужасно. Он нашел что-то между жизнью и смертью. А вчера в Зигфриде исполнители были хороши и доставили действительное удовольствие, и если бы не Брунгильда (тусклая довольно), то, пожалуй, было бы и совсем хорошо. Лучше виденных мной до сих пор исполнителей этой оперы. «Гибель богов» впрочем — понял почти легко. Сегодня последний день, и завтра едем в Берлин. Заедем в Лейпциг. В общем я все же доволен. Живем ничего себе. Жары особой нет. Ну, будь здорова. Мы с мамой, вероятно, скоро будем в Петербурге, т. е. у нас на Ино<sup>2)</sup>. Целую вас всех крепко. Софье Сем. кланяюсь. Целую тебя. До свидания. Твой В. С.

## № 21

1907 г.  
Пятница.

Лелюшка, ну, вот-с мы<sup>1)</sup> и в твоей Одессе. А знаешь — хорош город, право. За эти 18—20 лет (что я не был) похорошел и очень. Бульвар — деревья, чисто, по-иностранному, а главное, ют, чорт возьми — тепло, солнце — извозчики сидят под тенью акаций на приморском бульваре, море просвечивает — пишу перед окошком отличного отеля. Завтра едем на хорошем пароходе в Константинополь. В Киеве успели взглянуть на Владимирский собор Васнецовский, не очень, чтобы уж очень хорошо — нет ни святости, ни серьезности, что-то раздутье. Ну, будет, не люблю писать трактаты по искусству, а потом идет [не кончено].

## № 22

11 мая 1907 г.

Лелюшка, переехали вы в Финляндию. Пишу туда из Ахейского моря в Финский залив — дистанция порядочная. А хоть и жарковато, но хорошо здесь в Афинах — ей богу, честное слово. Акрополь (Кремль афинский) — нечто прямо невероятное. Никакие картины, никакие фотографии бессильны передать этого удивительного ощущения от света, легкого ветра, близости мраморов, за которыми виден залив, зиг-

заги холмов. Удивительное соединение с пониманием высокой декоративности, граничащей с пафосом, даже с уютностью, говорю о постройке античного народа (афинян). Между прочим новый город, новые дома не столь оскорбительны, как можно было бы ожидать (нет, например, нового стиля московского и т. д.), а некоторые попроще, в особенности, и совсем недурны. В музеях есть именно такие вещи, которые я давно хотел видеть и теперь вижу, а это большое удовольствие. Храм Парфенона — нечто такое, о чем можно и не говорить — это настоящее, действительное совершенство. Ходил на почту — письма от тебя не было, пойду сегодня — пора бы уже. Здоровы ли все? Тебе я писал письмо и открытки из Константинополя, а из Афин послал позавчера телеграмму. Ну, будьте все здоровы. Обнимаю всех. А греком было недурно быть, хотя делается все жарче и пыльнее — здесь нечто вроде Севастополя. Твой Серов. Если ты тотчас же напишешь мне в отель сюда, то я его еще застаю.

№ 23

1907 г.

Понедельник.

Лелюшка, мы все еще в Афинах. В четверг едем на Крит. Тут, собственно, в городе все осмотрено. Теперь надо ехать кругом. Пока все идет хорошо. Оба мы здоровы. Живем в первом классе отеле на всем на готовом, вроде отеля д'Итали в Риме (помнишь), но еще похуже. Удобно и на отличном месте — на площади. Сравнительно много воздуха. Но, вообще, жарко, все время мокрый, то и дело моешься. Как вернешься и переодеваешься — но ничего еще пока, хотя действительно немного запоздали — сезон месяцем раньше. Зато есть некоторые выгоды — дешевле. Накупил фотографий. Работаем в музее — чудные есть архаические женские фигуры с раскраской. Акрополь одно наслаждение. Ну, а вы что? где вы? опять пишу в Финляндию. От тебя нет ничего. 3 раза был на почте — обидно. Не случилось ли чего? Что Дервизы? Иногда вспоминаю бедную Надю<sup>1)</sup> и

сон вчера видел тяжелый — видал ее умершей. Ну, надо жить, покуда жив. Оля<sup>2)</sup> и Саша<sup>3)</sup> остались в Москве. Гиришман<sup>4)</sup> передал тебе 500 рублей. Покойной ночи. Бакст приятный спутник, но ужасный неженка и боится все время всевозможных простуд и еле ходит, боится переутомиться. Кушает ничего себе. Целую всех вас. Твой В. Серов. Мама где и что? Миша Карловна<sup>5)</sup>. Политику совсем забросил — не знаю, что в России делается.

№ 24

1907 г.

Лелюшка, пишу из Коринфа (не посылание к коринфянам ап. Павла), вообще, подумаешь, что за слово — Коринф и сейчас просто не то Симферополь, не то Севастополь, т. е. такая провинция — на удивление. Невероятно скучно сейчас вечером, а днем жара отчаянная, но красиво, такой залив, такой цвет изумрудной воды, фосфор. Много, уж что мы повидали хорошего, и каждое место имеет, несмотря на близость расстояния (несколько часов, всего 2—3—4), свою особую физиономию. Афины — одно, здесь другое [неразборчиво], третье, Аргос — опять иначе. Были в горах, в Эпидавре (древний курорт вроде Карлсбада). Опять совсем особое место. Храм тут был бога медицины Эскулапа, тут же и цирк, и театр для развлечения, и ванны, и гимназия для развлечения и учения, и все это таких приятных широких размеров — любопытно. В Афинах взяли мы из такой конторы для путешественников (очень известной в Европе) особый билет на 10 дней, уплативши за них довольно дорого (хотя по случаю конца сезона дешевле) по 40 франков с души за день. За это нас везут повсюду с проводниками в экипажах и по железной дороге, пароходах, на мулах и т. д., а кормят и поят и укладывают спать в лучших гостиницах. 4 дня мы уже, так сказать, вроде почтовых сумок, которые без разговора перекладывают с места на место, хотя сегодня, например, был один некоторый разговор с гидом, который вдобавок хотел надуть (уж не знаю, контору или нас самих), усадил нас в вагон I клас-

са (у нас положен I класс повсюду), вручил билеты II. Просидевши до места назначения в I классе, заявили контролеру и начальнику станции, и хозяйину отеля здесь, где уже 3-го дня останавливались. Бакст написал донесение в контору в Афины. Ну, да это вздор — вообще греки жуликоватый и довольно дешевый народец. Еще 6 дней проехали по Греции. Завтра в Дельфы (храм Аполлона Дельфийского), куда греки завсегда ездили его вопрошать перед всяким начинанием, потом Патрос, Олимпию, потом Корфу. Обнимаю всех вас и ложусь. Завтра рано вставать. Здесь уже петухи кричат, а всего 11<sup>1/2</sup>.

## № 25

1907 г.  
21. 8.

Лелюшка, итак, Дума распушена — вчера узнали из прибывших сюда газет от 18 числа. Очень хорошо. Относительно готовившегося покушения, военного заговора и пропаганды в войсках толком не разобрал в прежде встреченных газетах. Как и теперь, не совсем ясно понял новоизбирательный закон — одно ясно, что он на-руку помещикам и собственникам. Распушена Дума, разумеется, не из-за социалистической фракции (якобы преступной — все 55?!), а из-за возможного осуществления закона отчуждения — вот что страшней всего, епрочем, думаю, Государственный Совет кассировал бы это постановление Думы. На этом вопросе разобьется не одна еще Дума, а тем временем постараются водворить спокойствие и урезать где что можно. Но борьба с другой стороны не утихает. Итак, еще несколько сотен, если не тысяч, захвачено и засажено, плюс прежде сидящие — невероятное количество. Посредством Думы правительство намерено очистить Россию от крамолы — отличный способ. Со следующей Думы начнут, пожалуй, казнить. Это еще более упростит работу. А тут ждали закона об амнистии. Опять весь российский кошмар втиснут в грудь. Тяжело. Руки опускаются как-то и впереди висит тучная мгла. Еще дня три пробудем здесь на острове — едем [неразборч.] вместе, а там Бакст в Париж, я — домой. На-

до думать, забастовок не будет — ну, там, в Вене, увидим. В газетах усиленно отмечается повсеместное спокойствие и равнодушие по поводу роспуска Думы. Кажется, все величие (так называемое) России заключается в этом равнодушии. Половину дня провожу в отеле и рисую, потом иду куда-нибудь. Жара стоит изрядная. Все время моешься и переодеваешься. Бакст тут оживает только вечером и то двигается еле-еле, что не мешает ему все время быть мокрым и биться простуды. Я решил мокнуть — ничего не поделаешь. Можно было бы, собственно, ехать и раньше, да мы взяли место на пароходе еще в Афинах и теперь приходится ждать. Думали, что остров любопытен — он хорош как курорт, но теперь пуст. Все-таки повсюду здесь надо быть раньше. Твои письма из Финляндии получил из Афин здесь, очень рад был, что вам хорошо в Финляндии. Целую всех вас.

## № 26

Патрос. 1907 г.

Из Патрос пишу. Турнэ наше конечно по Греции. Сегодня вечером отправляемся в Корфу. Может быть, поеду еще тут на островки, но не знаю еще, как это скомбинировать с пароходом Ллойд (австрийский), идущим на Корфу и в Триэст, до которого у меня уже взят билет, а идет он раз в неделю. Во всяком случае еще неделю пробуду либо на островах, либо на Корфу, а оттуда директ домой в Москву — возьму деньги в школе и в Финляндию. В общем, да и в частности, доволен поездкой. Все пункты оказались совершенно разными и интереснее, чем мне представлялось (впрочем тут, может быть, виною мое плохое воображение), хотя от Олимпа (знаменитые игры) ожидал большего. Музей хорош и очень. Но само местоположение так себе, какой-то стоячий воздух и оранжерейный, низкая долина, растет все и много. Теперь время нехорошее и Бедеккером<sup>1)</sup>, сим мудрецом житейским, — не рекомендуется. Тут хорошо, и хотя жарко, но воздух легкий приморский. Из окна имеется следующее [рисунок]. Все это голубое, зеленое и т. д. Денег, кажется, хватает как раз —

живем по первому разряду, так сказать. Временами утомительно — приходится раза 3 в день переодеваться и мыться — впрочем это не так плохо. Неприятно, что только все это проделаешь, как опять уже весь мокрый. Каково живете? Ведь вестей от тебя из Финляндии я еще до сих пор не имею. Только через неделю надеюсь получить от тебя письмо в Триесте. Жаль, но распорядился, ты могла бы мне написать в Корфу. На меня, если все письма к тебе доходят, пожаловаться ты не можешь — неправда ли. Ну-с, всего хорошего. Обнимаю и целую всех вас. Твой В. С.

№ 27

Париж. 20 ноября 1909 г.

Лелюшка, огорчил я тебя, должно быть, своими письмами — ну что делать — если разберешься, увидишь, что я прав. А все-таки ты мне пиши — неправда ли. Ну, печка у нас наконец поставлена и топится. Да, да, прохладно становится, вроде как у нас — и снежок перепал. Купил фуфайку и теплые башмаки и теперь хорошо. От союза письмо, даже два, получил. Но ни Орлов, ни Морозов, ни Матэ<sup>1)</sup> никто не отвечает — нехорошо что-то. Ты значит без денег. Ведь без денег этих никак невозможно, это я знаю. Если тебе до получения этого письма никто не пришлет — телеграфируй, я как-нибудь иначе устрою. Из Лионского Кредита имею извещение, что ты взяла 1000 руб. Взяла ли ты расписку от Е. А. Хессин<sup>2)</sup>, это нужно мне — ты не пишешь об расписке. Около недели не был у Львовых<sup>3)</sup>, надо съездить, если он сам к нам не заглянет. Мы ему дали одну из комнат на хорах. Он может у нас останавливаться. Вероятно, он получил уже ответ на запрос относительно Антошиных<sup>4)</sup> зубов. Работаю и смотрю достаточно Маттисса<sup>5)</sup>, хотя и чувствую в нем талант и благородство — но все же радости не дает, и странно, все другое зато делается чем-то скучным — тут можно попридуматься. Раза два был у Стаалей<sup>6)</sup>, а так нигде не бываю. Бывал, завтракал одно время у Ниночки<sup>7)</sup>, но как-то за-

шел у нас с Ниной разговор о лошадях и я со своим фамильярным тоном указал на одну характерную вещь во французских тяжеловозах и прибавил — «ну вот, учи вас тут» — а она: «а ну, уж насчет лошадей ты меня не учи» — а каково, а мой престиж лошадиный — я вызвал ее на дуэль — а именно, послезавтра мы должны в присутствии Ив. Сем.<sup>8)</sup> судьи нарисовать в час времени группу здешних лошадей — готовлюсь. Да, да, авторитет наш пал. Обнимаю все семейство по очереди. Твой В. С.

№ 28

1910 г.  
Рим.

Лелюшка, а хорошая вещь телеграф — честное слово. Вчера днем получил от тебя письмо от 30 апр., пересланное Ефимовым из Парижа, где ты пишешь, что от Орлова денег все еще нет. А вечером уже имел от тебя телеграфный ответ, что деньги есть — превосходно. Письма мои ты теперь уже тоже вероятно имеешь, где все об Антоше и Олюшке сказано. Живу здесь в Риме барином, можно сказать. Зовешь меня скорей домой — так ведь и без того буду скоро — в первых числах июня должен я быть в Петербурге. Вчера меня катали вечером по Риму, недурен ночью Колизей<sup>1)</sup>. Сегодня еду в один дворец, где имеется и скот — быки. Разумеется, картина моя продолжает быть секретом. Пиши в Париж. А приятно утром купить хорошую свежую розу и с ней ехать на извозчике в Ватикан<sup>2)</sup>, что ли, или в Фарнезину<sup>3)</sup>. Целую вас всех. В. Серов.

№ 29

1910 г.

Лелюшка, благодарю, что пишешь мне. Скучно это с Антошей. Кланяйся ему и скажи Саше, что я поздравляю его и считаю его молодцом. Занимался он хорошо, как и надлежит мужчине, и толково. Чередование пятерок с четверками — вещь самая благородная, когда все 5 — скучно, 3 — режет глаз. Насчет музыки Олюшкиной — тоже рад. Что и где Миша Кор.? Да, так 365 самоубийств в месяц на Руси. Пишу пор-

третью направо и налево я замечаю, что, чем больше их сразу приходится за день писать, тем легче, право, а то упрямься в одного — ну, хоть бы в нос Гиршмана, как ни странно, дается мне легче, казалось бы, наоборот. Ну, до свидания. Да, ехать думаю в пятницу, не раньше (на страстной), а может быть, и в самую субботу. Нужно писать и не везать. Нобеля<sup>1)</sup> и Урусова<sup>2)</sup> должен кончить. Твой В. Серов. Пусть Саша надумает, что ему преподнести: часы ли, подзорную трубу.

№ 30

1910 г.

Лелюшка, ну что Миша, что уши? Видел Валентину Семеновну и Сашу — приехали на торжество прибития доски. Все эти торжества устроил, и доску тоже граф Шереметьев<sup>1)</sup>. Разумеется, он очень чтит Серова, но и себя не забыл. На доске написано, что, мол, А. Н. Серов родился тогда-то, умер в этом доме тогда-то, а доску установило историческое музыкальное общество имени графа Шереметьева, причем у Шереметьева буквы величиной с Серова, — премило. Днем была панихида, ну, это недурно, в храме Воскресения (на месте, где был убит Александр II). Народу в церкви было много, хор тоже шереметьевский, пел хорошо. Вечером был вечер, посвященный памяти Серова. Читалась статья Баскина и играли, и пели куски опер, причем оркестром дирижировал сам граф (за деньги все можно). Ну и дирижер, просто пожарный брандмайор. Народу было много, но я еще никогда такой публики не видал, все, должно быть, жены думских сторожей (это было в городской думе), ни одного знакомого лица. Были мы с Сашей. Вот и все торжество. Дал я Саше денег, и на другой день он уехал к себе. Завтра начинаю Орлову, видел ее сегодня — ничего, весела, довольна, и то хорошо. Выставка «Мир искусства» так себе. Матэ здравствует себе. У Дягилева работы в самом разгаре. Видел Философова, он очень мил и приветлив, был сегодня у меня. Напиши, что у вас? До свидания. Обнимаю. Твой В. С.

№ 31

1911 г. 1 февр. СПб.

Лелюшка, милая, спасибо за письмо, и за 22-летнее доброе сожителство — Олюшку<sup>1)</sup> поздравляю. Ты посылаешь меня по хозяйству в Финляндию, а знаешь ли, каковы здесь, между прочим, морозы? Каждый день по 20 градусов (а у вас как), ведь я сморожусь, и ты сама будешь жалеть. 10 февраля буду на суде<sup>2)</sup> в Москве обязательно. Муромцева<sup>3)</sup> дадут ли, еще неизвестно. Выставка, кажется, состоится в Москве. Мне говорят — Бенуа и гр. Д. Толстой, что я сделал Орлову шедевром, так называемым, серьезно. Толстого мнение, что это лучшая моя работа и шутя просил в музей; хочет он Рубинштейн<sup>4)</sup>, между прочим. Пора кончать портрет, хотя Орлова теперь сидит даже охотно. От Цетлин<sup>5)</sup> получил письмо, она собирается в Москву и просит меня ехать с ней в Рим вместе, ибо она одна ехать боится — ей-богу. Пожалуйста, перешли вырезку Рус. слова, ст. Философова<sup>6)</sup>, что он там написал. Твой В. С.

№ 32

1911 г.  
Париж.

Милая Лелюшка, спасибо за милое письмо. Сегодня вы едете, значит, в Финляндию, куда и направляю сие письмо. Что это там за оспа? Почему это с тебя требовали за паспорт, и почему русских денег у тебя не оказалось на границе. Помню я тебе дал несколько золотых русских монет, и до границы истратить их ты не могла, — странно. Ну, хорошо, что хорошо доехала. Конечно, пусть Надя<sup>1)</sup> поживет у нас, — может быть, это будет ей на пользу. Что же не пишешь про экзамены Миши и Юры<sup>2)</sup>. Вероятно Валент. Сем. ждала, что ты первая пригласишь, предложишь Наде пожить у нас — может быть, поэтому у нее было недовольное лицо. Как ты уехала, так я каждый день и целый день с 8 до 8 вечера пишем с Ефимовым (Ниночка тоже помогает) занавес. Еще дня два, и она будет окончена, т. е. должна быть окончена. Пожалуй, и правда окончим. Только сегодня немножко успокоился на этот счет — все

казалось, что еще столько работы, — выходит, кажется, не плохо, вот скоро увидишь в театре ее или его (занавес). Из мастерской отправляюсь обедать и потом домой спать, как видишь, веду правильный образ жизни — вина не пью, курить курю, под автомобиль не попадаю пока. Да, Рубинштейн я отдал Толстому<sup>3)</sup> в музей, за 4.000 руб. Целую тебя и мальчиков.

№ 33

Париж. 18 июня 911 г.

Наконец, только-что получил твое письмо из Финляндии. Так я тебе огорчил своим первым письмом, какие глупости. Прости, мне нечего было писать. Ты только-что уехала, вот и все. Не нужно историй — тут их и так довольно. Бедняга Бенуа совсем истерическая женщина, — не люблю. Очень тяжело видеть сцены, которые пугают и отдаляют. Он совершенно не выносит Бакста. В чем тут дело — не знаю, уж не зависть ли его славе (заслуженной) в Париже. Бог даст, распутается это, быть может, сегодня. О спектаклях и занавесе писал. Вчера был последний — публики полон театр, великолепный сбор и успех. Сегодня все раз'езжаются. Дягилев и

труппа сегодня в Лондон. Стравинский<sup>1)</sup> в Россию (познакомился с женой — славная российская такая, тихая), Бенуа с Анной Карловной<sup>2)</sup> (она, бедная, тоже и очень страдает от нервных припадков Шуры) едут в Лутану<sup>3)</sup> завтра. Мне здесь тоже как будто делать нечего. Писать Рубинштейн — не знаю, где и как и нужно ли. Кажется, она тоже едет в Лондон и примет участие в балете. Я решил во всяком случае ехать в Лондон и с Нувелем ехать домой морем. Жду фотографий своих вещей в Риме, и тогда вероятно 21—22 поеду в Лондон. А ты, будь добра, напиши по получении сего письма телеграмму в Лондон до востребования. Надеюсь, что мой письма в Финляндию ты получила. Все ли у вас хорошо? Ты не пишешь про Надю и Валент. Семен., — где они — в Москве, не в Финляндии? Был у меня тут этот американец, помнишь, журналист и написал всю мою биографию. Вчера на спектакле был дядя Боря (Дервиз<sup>4)</sup> и Маша и Соломон<sup>5)</sup>. Надо съездить к ним, у них коклюш и у Адриана<sup>6)</sup> тоже. Удовольствие. Ну, насчет мальчиков, слава богу, что хоть так. Поздравь от меня хорошенько Мишу<sup>7)</sup>, — все же старался парень. Обнимаю вас всех. Ваш В. С.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

##### Письмо № 1

1) Абрамцево — имение Сав. Ив. Мамонтова (бывш. имение Аксакова). С. И. Мамонтов являлся пропагандистом новых течений русской живописи 80—90-х годов. В его Абрамцеве работали Васнецов, К. Коровин, Врубель, Серов.

Серов попал в Абрамцево впервые 10-летним мальчиком, с тех пор устанавливается глубокая привязанность В. А. Серова к Мамонтовым, где он был принят как член семьи.

2) Антокольский, М. М. (1843—1902), — известный скульптор. Учился в Академии художеств. Член Т-ва передвижных выставок. Наиболее крупный скульптор эпохи передвижничества. Среди его произведений особенной известностью пользуются: Иоанн Грозный, Ермак, Петр I и др.

3) Васнецов В. М. (1848—1925) — исторический и бытовой живописец. Член Т-ва передвижных выставок. Преимущественно его интересовали сюжеты из русского быта и сказки. Им был расписан Владимирский собор в Киеве.

Наиболее известными его произведениями являются: «Преферанс», «С квартиры на квар-

тиру», «Игорово побоище», «Царевич и серый волк», «Богатыри» и др.

4) «Фрегат Паллада» — роман Гончарова.

5) Шевченко (1814—1861) — великий украинский поэт и художник.

6) Чистяков, П. П. (1832—1919), — художник, профессор Академии. Обладал огромным педагогическим даром. Его учениками были: Репин, Поленов, В. Васнецов, Суриков, Серов, Врубель, Елена Поленова и многое множество других художников. Репин говорил о нем: «Это наш общий и единственный учитель».

Для Серова мнение Чистякова было дороже всего, даже дороже репинского.

7) Дервиз, В. Д. (р. 1860 г.), — художник, ученик Чистякова, друг Врубеля и Серова.

Был женат на двоюродной сестре В. А. Серова — Надежде Яковлевне Симонович.

8) Коль, Л. И., — муж сестры Вал. Сем. Серовой (матери В. А. Серова) — Софьи Семеновны. Адя и Саша — их сыновья, двоюродные братья В. А. Серова.

9) Серова, Вал. Сем. (1846—1924), — жена композитора А. Н. Серова, мать худож-

ника В. А. Серова. Композитор, музыкальный критик, известная общественная деятельница, революционерка. Ей первой в России принадлежит идея крестьянского театра. Идея эта была ею осуществлена в Симбирской губ., куда В. С. поехала сначала на голод — устраивать столовые, а потом, сблизившись с крестьянами, сначала организовала хор и беседы с ними, а потом создала передвижной оперный театр из местных крестьян.

Этот театр и вся просветительная работа В. С. Серовой с крестьянами имела огромное культурное значение.

Ей принадлежат оперы: «Мария Д'Орваль», «Уриэль Акоста», «Илья Муромец» и «Встрепенулись». «Уриэль Акоста» ставилась в Москве в Большом театре и в провинции. Имела большой успех. Опера «Встрепенулись» не могла быть поставлена из-за революционного сюжета (1905 г. в деревне).

10) Надежда Васильевна — сестра В. А. Серова от второго мужа Вал. Сем. Серовой — Немчинова, врача, общественного деятеля, умершего в деревне при ликвидации эпидемии сыпного тифа.

### Письмо № 2

1) Корсовы — семья известного певца Корсова.

2) Репин И. Е. (1844—1930), — великий художник, профессор Академии, член Т-ва передвижных выставок. Крупнейший представитель передвижничества, отразивший в своих картинах «Бурлаки», «Террористы», «Крестный ход» передовую по тому времени народническую идеологию.

Первый учитель В. А. Серова, с которым Репин начал заниматься, когда Серову едва исполнилось 13 лет. Эти занятия продолжались вплоть до поступления Серова в Академию.

Репин имел огромное влияние на формирование творчества молодого Серова.

### Письмо № 3

1) Кеппинг — немецкий художник, получивший громкую известность своими офортами. В 1874 г. В. С. Серова с сыном В. А. Серовым жили в Мюнхене и познакомились с Кеппингом. Кеппинг первый обратил серьезное внимание на дарование Серова и занимался с ним целое лето.

В 1885 г. Серов 20-летним юношей брал у него уроки офорта.

2) Певца Виардо — дочь знаменитой французской певицы Полины Виардо, другом которой был И. С. Тургенев.

3) Коган, Наталия Николаевна, — большой друг Вал. Сем. Серовой и композитора Ал. Ник. Серова. Была очень одаренной и образованной женщиной того времени. Ее имя было известно в педагогическом мире. Еще очень молодой ее приглашали быть начальницей гимназии, руководительницей детских садов, но она предпочла посвятить свои силы основанию земледельческой интеллигентской колонии, на которую она отдала 25 лет своей жизни.

4) Францисбад — курорт в Австрии.

5) Маша Симонович, Мария Яковлевна, — двоюродная сестра В. А. Серова, с которой написана картина «Девушка, освещенная солнцем», находящаяся в Третьяковской галерее.

### Письмо № 4

1) Веласкес (1599—1660) — знаменитый испанский художник.

2) Эрмитаж — художественно-исторический музей в Ленинграде. Занимает по своему богатству одно из первых мест среди музеев всего мира.

3) Рембрандт (1606—1669) — великий голландский живописец и гравер.

4) Рубенс (1577—1640) — великий фламандский живописец.

5) Пинакотека — греческое слово, означает — хранилище картин. Этим именем названа богатейшая картинная галерея в Мюнхене.

6) Мурильо (1617—1682) — знаменитый испанский художник.

7) Яски — деревня в Псковской губ., куда семья Симонович ездила на лето. Серов ездил к ним гостить.

8) Байрейт — столица прежнего княжества Баварского. В этом городе находится Национальный театр, построенный Рихардом Вагнером для постановки его опер. Тут же находится и дом (вилла Ванфрид), в которой жил и умер знаменитый композитор.

### Письмо № 6

1) Голландская школа в Эрмитаже в Ленинграде.

2) Уриэль Акоста. Известен своей трагической судьбой (он погиб жертвой религиозной нетерпимости). Его жизнь послужила темой для драматической поэзии. Карл Гуцков написал трагедию. В. С. Серовой написана на этот сюжет опера, которая исполнялась в Москве и в провинциальных городах, имела большой успех.

### Письмо № 7

1) Симонович Аделаида Семеновна, (1844—1933), сестра Вал. Сем. Серовой, высоко образованный человек, известный педагог. Окончила Высшие женские курсы в Петербурге. Ей принадлежит труд «Сравнение периодов индивидуального развития ребенка с эпохами человечества» и «О детском языке».

В 1865 г. Ад. Сем. провела в Женеве, где ознакомилась с педагогическими принципами Фребеля, который только что умер. Вернувшись в Петербург, она открыла детский сад, первый в России, и писала статьи по вопросам педагогики в издаваемом ею журнале «Детский сад», позднее в журналах «Вестник воспитания» и «Русская школа».

Кроме детского сада, она преподавала в школах городских и сельских и до последних дней своей жизни, несмотря на полную слепоту, продолжала читать лекции по педагогике и заниматься с детьми и молодежью. В. А. Серов ее очень любил.

- 2) «Дон-Жуан» — опера Моцарта.  
 3) «Боярский пир» — картина К. Маковского. Маковский К. (1839—1915 г.) — живописец, член Т-ва передвижных выставок. Начал свою художественную деятельность с изображений сцен крестьянского быта. В дальнейшем перешел на псевдohисторические сюжеты из боярской жизни. Пользовался большим успехом как художник и портретист буржуазных кругов.  
 4) Ван-Дик (1599—1641 г.) — известный фламандский живописец. Ученик Рубенса.

#### Письмо № 8.

- 1) Блок — немецкая семья; им принадлежала фабрика швейных и пишущих машин. Часть времени они проводили за границей.  
 2) Антонио Дандраде (80-е годы) — знаменитый тенор.

#### Письмо № 10.

- 1) Таманьо — знаменитый тенор, обладавший феноменальным голосом, с блестящими верхами. В России первый раз был в 1896 г.  
 2) Остроухов И. С. — 1858—1929 г. — художник-пейзажист, один из основоположников т. н. «интимного» пейзажа. Его картины основаны на тщательном изучении природы и стремятся передать ее индивидуальные черты. Одна из лучших картин — «Сиверко». Он известен также как собиратель произведений искусства, особенно древнерусского.  
 Остроухов был близким и интимным другом Серова. Очень долгое время они оба состояли членами Совета Третьяковской галереи.  
 3) Братья Мамонтовы, Юрий Анатолиевич и Михаил Анатолиевич, — сыновья Анатолия Ивановича Мамонтова, брата Саввы Ивановича Мамонтова.

#### Письмо № 11.

- 1) Чихович — заведующий музыкальной школой в Одессе, где служила Ольга Федоровна Трубникова, невеста В. А. Серова.  
 2) Коль, Софья Семеновна, — сестра В. С. Серова.  
 3) Третьяков П. М. (1832—1898 г.) — известный собиратель картин. Основатель государственной Третьяковской галереи, собрание которого составило ее значительную часть.  
 Купец Третьяков, представитель прогрессивного либерализма, являлся активным покровителем передвижничества, наиболее передового течения русской живописи второй половины XIX века.  
 4) Маша — «Девушка, освещенная солнцем».  
 5) Верушка — «Девушка с персиками», В. С. Мамонтова, дочь Саввы Ив. Мамонтова, находится в Третьяковской галерее.  
 6) Блараберг Пав. Ив. (1841—1908) — композитор, музыкальный педагог и журналист. В газете «Русские ведомости» заведывал политическим отделом.

Ему принадлежат оперы: «Мария Тюдор», «Тушинцы», «Скоморохи» и ряд симфонических произведений.

- 7) Серов А. Н. (1820—1871) — отец В. А. Серова, известный композитор, музыкальный критик. Ему принадлежат оперы «Юдифь», «Рогнеда», «Вражья сила» и ряд вокальных и симфонических произведений.  
 8) «Юдифь» — опера Ал. Ник. Серова.  
 9) Критика Серова.  
 10) Домотканово — имение В. Д. Державина. У них часто гостил В. А. Серов один и с семьей.  
 11) Ляля — Аделаида Яковлевна Симонович — дочь Аделаиды Семеновны Симонович.  
 12) Державиз Надежда Яковлевна — жена Вл. Дм. Державина.  
 13) Маруся — дочь Вл. Дм. и Над. Як. Державин.  
 14) Николай — Ник. Як. Симонович, сын Адел. Сем. Симонович.

#### Письмо № 12.

- 1) Мазини — известный итальянский тенор. Род. в 1846 г.  
 2) Тициан (1477—1576) — великий итальянский живописец, представитель венецианской школы.  
 3) Фом-Мекк — семья железнодорожников-миллионеров.  
 4) Чупринка — станция по Николаевской ж. д. (теперь Октябрьская), с этой станции ехали 8 верст до д. Домотканово.

#### Письмо № 13.

- 1) Симонович Варвара Яковлевна — дочь Аделаиды Семеновны Симонович.  
 2) Мамонтов Савва Иванович был крупной фигурой финансового мира России 80—90-х гг. Строитель Северной жел. дор. Обладал крупными средствами, что позволяло ему при его исключительно даровитой и тонкой натуре сгруппировывать вокруг себя весь артистический мир того времени, художников, музыкантов, артистов, которым он покровительствовал.  
 С. И. основал свой оперный театр, где работали Врубель, Коровин и другие крупные художники. В его театре начал свою карьеру Шалапин, и в его театре впервые были поставлены оперы Римского-Корсакова.  
 Русское искусство 80-х годов многим обязано С. И. Мамонтову.  
 3) «Фаворитка» — опера Доницетти.  
 4) «Риголетто» — опера Верди.  
 5) Мамонтова Мар. Алекс. — жена Анат. Сав. Мамонтова, брат Сав. Ив. Мамонтова. Им принадлежал дом в Леонтьевском пер. (Кустарный музей). Часть дома была под их квартирой, а часть под магазином с разными кустарными изделиями и игрушками. Мамонтовы были пропагандисты русских кустарных изделий.  
 6) Фирсановы, Хлудовы — московские купеческие фамилии.  
 7) Аванцо — магазин, торговавший предметами искусства, картинами и художественными принадлежностями.

## Письмо № 14

1) Село Архангельское — замечательный архитектурный памятник. Бывшее имение князя Голицына Н. А., а потом принадлежавшее князьям Юсуповым. Главный дом построен в 80-х годах XVIII века французским архитектором Шевалье де-Герн. Стиль Людовика XVI — классический.

- 2) Книгиня Юсупова.
- 3) Александр III.
- 4) Крачковский И. Е. (1854—1914) — художник-пейзажист.
- 5) Николай II.
- 6) Семья Ан. Ив. Мамонтова и их знакомые.

7) Арнольдсон — знаменитая певица.  
8) Бяшков В. М. (1854—1916) — муж Варв. Як. Симонович, психиатр. Служил в психиатрической больнице в Бурашеве.

## Письмо № 15

1) Бенуа Ал. Ник. (р. 1870 г.) — живописец, иллюстратор, театральный декоратор, художник, критик и историк искусства. Из его литературных работ известны «История русского искусства», «История живописи всех времен и народов» (неоконч.), «Царское село» и др. Реакционер, мракобес, ярый противник передвижничества, один из создателей группы «Мир искусства». Белоэмигрант.

2) Бакст Л. С. (1866—1924) — живописец и рисовальщик-стилизованный группы «Мира искусства», главным образом в области театральных костюмов и декораций. Известен своими постановками балета в Париже у Дягилева.

3) Нувель В. — друг Дягилева и всех «мирискустников». Был заведующим музыкальной частью журнала «Мир искусства» и организатором дягилевских концертов за границей.

4) Бильбасов — историк, посвятивший главные свои труды истории царствования Екатерины II.

5) Училище живописи, ваяния и зодчества в Москве, где В. А. Серов был преподавателем с 1897 по 1909 г.

6) Князь Юсупов.  
7) Коровин К. А. (род. в 1861 г.) — крупный художник конца XIX века и начала XX века. Пейзажист, жанрист и театральный декоратор. Приближаясь к французским импрессионистам, основные мотивы его творчества заключались в решении цветовых и световых задач. Примыкал к «Миру искусства», а позднее был членом Союза русских художников.

8) Коль София Семеновна — сестра Вал. Сем. Серовой.

9) Лаудораидо — деревня в Финляндии, рядом с которой находилась дача В. А. Серова.

## Письмо № 17

1) Степанов — неизвестно о каком из Степановых идет речь — об А. С. Степанове, род. в 1858 г., член Союза русск. худ., писав-

шем охотничьи сцены, или о К. П. Степанове (1854—1910), историческом живописце и портретисте.

2) Для издания «Царской охоты» Серову было заказано три сюжета: 1) Екатерина на охоте, 2) Елизавета на охоте и 3) Петр I на охоте.

## Письмо № 18

1) Малявин Ф. А. (род. в 1869 г.) — художник. Наибольшей известностью пользуется его картина «Вихрь» — пляшущие бабы, построенная исключительно на соотношении красочных пятен. Малявинская трактовка крестьянства не находила в нем ничего, кроме дикой, стихийной силы. После революции Малявин эмигрировал за границу.

2) Чекато — магазин в Москве, торговавший предметами искусства, картинами и художественными принадлежностями.

3) Дягилев С. П. — основатель и вдохновитель журнала «Мир искусства». Белоэмигрант.

4) Дациаро — такой же магазин, как Чекато и Аванцо.

5) Тутушка — Антон, младший сын В. А. Серова.

6) Трояновский И. И. (1855—1928) — доктор. Друг многих художников. У него была небольшая коллекция первоклассных картин новых течений русской живописи. Коллекция эта в настоящее время почти целиком перешла в Третьяковскую галерею.

## Письмо № 19

1) «Летучий Голландец», — «Парсиваль», «Валькирия», «Тристан» — оперы Рихарда Вагнера.

2) Решке — известный тенор.

## Письмо № 20

1) «Зигфрид», «Гибель богов» — оперы Рихарда Вагнера.

2) Ино — деревня в Финляндии, около которой была дача В. А. Серова.

## Письмо № 21

1) В. А. Серов и Л. С. Бакст в 1907 г. предприняли поездку в Грецию. После этой поездки Серовым были написаны «Похищение Европы» во многих вариантах, «Навзикая» и вылеплена статуэтка тоже на тему «Похищение Европы».

## Письмо № 23

1) Девиз Над. Яковл. — жена В. Г. Девиз, умерла в 1907 г.

2) Серова Ол. Вал. — дочь В. А. Серова.

3) Серов Ал. Вал. — сын В. А. Серова.

4) Гиршман В. О. — московский капиталист, коллекционер. В. А. Серов писал его портрет и несколько портретов его жены. Все эти портреты находятся в данное время в Третьяковской галерее.

5) **Бларамберг Минна Карловна** (звали ее Миша Карл.), — жена композитора **Бларамберга П. И.**, певица. Большой друг **В. С. Серовой**.

#### Письмо № 26

1) **Бедеккер** — подробный путеводитель по всем странам.

#### Письмо № 27

1) **Матэ В. В.** (1856—1917) — известный гравер, профессор Академии художеств. Большой друг **В. А. Серова**.

2) **Хессин Е. А.** — балерина **Шарпантье**, замужем за дирижером **А. Б. Хессин**.

3) **Львов С. К.** — психиатр, муж **М. Я. Симонович**, двоюродной сестры **В. А. Серова**.

4) **Антоша** — младший сын **В. А. Серова**, был болен костным туберкулезом и находился на излечении в санатории в Нормандии в гор. Берке. **В. А. Серов** просил **С. К. Львова** наводить о нем справки.

5) **Маттис** — французский художник. Один из видных представителей буржуазно-формалистических упадочных течений французской живописи.

6) **Стааль А. Ф.** — присяжн. поверенный, организатор Крестьянского союза в 1905 г., прокурор Моск. судебн. палаты при Керенском.

7) **Симонович Нина Яковлевна** — двоюродная сестра **В. А. Серова**, художница. Большой известностью пользуется созданный ею совместно с ее мужем, скульптором **Ефимовым И. С.**, кукольный театр.

8) **Ефимов И. С.** — скульптор, известен главным образом как анималист.

#### Письмо № 28

1) **Колизей** — в Риме — самый большой из древнеримских амфитеатров и одно из самых замечательных зданий в мире. Постройка его окончена в 80-х гг. I века новой эры.

2) **Ватикан** — папская резиденция в Риме.

3) **Вилла Фарнезина** — одно из изящнейших созданий зодчества эпохи позднего Ренессанса. Фрески написаны **Рафаэлем** и его ближайшими учениками.

#### Письмо № 29

1) **Нобель Э. Л.** — крупный нефтепромышленник.

2) **Урусов** — известный адвокат, писатель.

#### Письмо № 30

1) **Граф Шереметьев** в субсидировал музыкальное общество в Петербурге имени гр. **Шереметьева**; общество это устраивало симфонические концерты, общедоступные концерты, квартеты. Некоторыми концертами дирижировал **Шереметьев**.

#### Письмо № 31

1) **Серова Ольга Валент.** — старшая дочь **В. А. Серова**. **В. А.** поздравляет ее со днем рождения.

2) Суд.

3) **Муромцев** (1850—1910) — председатель 1-й государственной думы.

4) Портрет **Иды Рубинштейн**.

5) **Цетлин М. В.** 1910 г. в Биаррице **В. А. Серов** писал ее портрет.

6) **Философов, Д. В.** (р. 1867 г.) — публицист, группы «Мир искусства». В журнале «Мир искусства» заведывал литературным отделом. Белоэмигрант.

#### Письмо № 32

1) **Жилинская, Н. В.**, — сестра **В. А. Серовой**.

2) **Серовы, М. В. и Г. В.**, — сыновья **В. А. Серова**.

3) **Толстой, Дм. Ив.**, — хранитель музея **Александра III** в Петербурге (теперь Русский музей).

#### Письмо № 33

1) **Стравинский И. Ф.** (р. 1882 г.) — известный современный композитор. С 1910 г. живет в Париже. Наиболее известными произведениями являются «Петрушка». «Весна священная» и др.

2) **Бенуа, Ан. Карл.**, — жена **Ал. Ник. Бенуа**.

3) **Лугано** — самое высокое из итальянских озер. Известный курорт.

4) **Дервиз, Б. Д.**, — брат **Вл. Дм. Дервиз**.

5) **М. Я. и С. К. Львовы**.

6) **Адриан** — сын **Ефимовых**.

7) **Серов, Мих. Вал.**, — сын **В. А. Серова**. **В. А.** поздравляет его с выдержанными экзаменами.

## Книжное обозрение

1. П. А. СТРЕПЕТОВА. „Воспоминания и письма“ — С. Иванов 2. МОРУА Андре. „Карьера Дизраэли“ — Н. Замков

П. А. Стрепетова. — «Воспоминания и письма». Издание «Академии». 1934 г. Стр. 589. Цена 6 руб. Переплет — 1 руб. 50 коп.

Стрепетова была одной из замечательнейших русских артисток второй половины прошлого столетия.

Невысокого роста, неправильно сложенная, как бы сжатая во всей фигуре, с совершенно не сценической наружностью, она уже в 16-летнем возрасте пользуется крупной известностью на провинциальных сценах и имеет громадный успех на столичной сцене, куда она попала в 80-х годах прошлого века. Этим успехам она обязана своему необычайному темпераменту, своей высокой эмоциональности, глубочайшему переживанию своих ролей. Лучшие ее роли по своей внутренней концепции тождественны с личными переживаниями и настроениями артистки. И ко всему этому необычайно сценический голос — трудной, искренней, большой силы, большого диапазона, с певучими интонациями.

О таланте артистки дают представление воспоминания современников. Правильную характеристику Стрепетовой дал А. С. Суворин: «Никакой школы, никакой кригики, никаких образцов, кроме школы жизни, кроме собственной критики, кроме вдохновения и изучения». И дальше: «Она хочет привлечь зрителя только правдою и достигает замечательного совершенства в бытовых ролях».

Коронные роли Стрепетовой: Катерина («Гроза»), Лизавета («Горькая судьбина»), Анна («Семейные расчеты»), Мария Андреевна («Бедная шевеста»), Кручинина («Без вины виноватые»), Медя («Медя»). Елизавета Николаевна (в «Елизавете Николаевне»), Матрена («Власть тьмы»).

Два образа — Катерина («Гроза») и Лизавета («Горькая судьбина») — поставили артистку в разряд европейских артистических имен.

Предоставим слово современникам. Ив. Кубиков<sup>1)</sup> говорит о Екатерине — Стрепетовой: «Казалось, вся сила человеческого страдания сосредоточилась на этом суровом, из-

можденном лице, полном незабываемой скорби; и слова о прелести цветочков, которые вырастут на могиле несчастной женщины, прозвучали скорбным, тихим укором этому темному мраку захолустного калиновского бытия».

Б. Варнеке<sup>1)</sup> рисует Стрепетову в роли Матрены («Власть тьмы»): «Она дала изумительный грим изголодавшейся, жадной до любого куса, собаки. На безжизненном, бледном лице, замотанном в темный платок, злое ще горели алчные, волчьи глаза... Но выше всего было мастерство речи актрисы, умевшей подбирать тончайшие оттенки для самых простых слов, бесконечно разнообразить напевную сторону речи и, ведя всю роль на тихом говорке, малейшую ноту доносить до зрителей самых последних мест. Каждым словом своим держала она их в напряжении и полном подчинении своей воле». И дальше: «Опустили занавес для антракта, а зрители молча, как вкопанные, сидели на местах, будто каждый из них пережил только-что жестокую муку». И наконец: «Без Матрена заставила забывать, что это только художественный образ, и мучила и потрясала, как жуткая встреча со спрашным человеком действительной жизни».

По свидетельству М. Нестерова<sup>1)</sup>, на сцене Александринского театра, где играли такие силы, как Савина, Варламов, Сазонов, Давыдов, Стрепетова в ролях Катерины («Гроза») и Степаниды («Около денег») не имела себе соперницы.

Виднейшие художники (Решин, Ярошенко) писали Стрепетову. Поэт Д. Д. Минаев посвятил ей стихотворение, в котором пишет:

Вы полны беззаветного чувства  
Над сценической нашей средой,  
Вы на себе родного искусства  
Самой яркой горите звездой,  
Путеводной звездой, нам близкой  
И ликуем, мы, вами гордясь, —  
Меж толпой и любимой артисткой  
Существует незримая связь.

<sup>1)</sup> Воспоминания Кубикова помещены в рассматриваемой книге.

<sup>1)</sup> Воспоминания Варнеке и Нестерова помещены в рассматриваемой книге.

Четверть века провела Стрешетова на провинциальной сцене в ряде волжских городов. И записки ее являются очень важными для изучения нравов и обычаев артистического провинциального бытия, с обязательным «подоживанием», затиранием молодых талантов, с его пошлостью, правью. Много дают эти записки и для освещения отдельных черт лучших провинциальных артистов того времени, таких, как Милославский, Ленский, Восток, Полтавцев, Стрелкова, Немирова-Ральф, Никулина-Косицкая, Красовская Алексеева, Писарев, Андреев-Бурлак, Читау, Алипская, Докучаева, Расказов, Самарин, Медведев, Стрельский, Давыдов и т. д., большинство из которых впоследствии пользовались большим успехом на столичных сценах.

Стрешетова прекрасно показывает жизнь нижегородцев того времени, в особенности нижегородских кулаков.

Записки Стрешетовой и в особенности приложенные к книге воспоминания о Стрешетовой ее современников (И. Н. Кубякова, Б. В. Варнеке, М. В. Нестерова, М. Д. Беляева) с достаточной полнотой рисуют весь облик артистки, вышедшей из низов, презиравшей богатей, знавшей тяжелую, голодную жизнь малого люда. И характерен в этом отношении хотя бы такой отдельный штрих, что в то время как артистки 80—90-х годов исполняли на своих кошпетах стихи таких поэтов, как Агухтин, никогда «не спускаясь» до некраосовских произведений, Стрешетова читала именно стихотворения Некрасова, такие например, как «Суров ты был», посвященное, как известно, памяти Добролюбова.

Значительная часть «Воспоминаний» Стрешетовой прошла литературную редакцию ее мужа, артиста М. И. Писарева, и от этого они конечно много потеряли в непосредственности, живости слога, остроте фразы. Это отметил еще А. Р. Кугель в своем предисловии к запискам артиста П. М. Медведева<sup>1</sup>).

Однако, несмотря на это, воспоминания большой артистки являются прекрасным материалом, рисующим и облик самой артистки, и театральную среду, и нравы тогдашнего артистического мира.

*С. Иванов.*

**Моруа, Андре. — «Карьера Дизраэли».** Перевод С. А. Лопашова. Предисл. П. С. Когана. М. Кооп. изд. «Север»: 1934 г. 394 стр. 10.000 экз. Ц. 3 р. 75 коп.

Книга о крупнейшем выразителе идеи и практики британского империализма представляет несомненный интерес для нашего читателя. Образ Дизраэли-Виконсфильда, искусно нарисованный пером талантливого мастера психологического романа, во многом спорен. Пользующийся столь большим распространением последние годы жанр художественной биографии обладает на ряду с определенными достоинствами и неко-

торыми типичными недостатками. Однако в книге Андре Моруа эти недостатки выражены не в столь сильной степени. У Моруа нет стремления все крупнейшие события (иной раз всемирно-исторического значения) приписать только действиям своего героя, его индивидуальным усилиям. Моруа конечно не историк-марксист и не историк вообще<sup>1</sup>). Было бы наивно требовать от него исчерпывающей характеристики не только личности Бенджамена Дизраэли, но и общественной жизни Англии XIX века. Тем более ценно, что Моруа и общественную жизнь показывает не плохо, хотя больше всего его интересует именно личность Дизраэли в ее несомненном своеобразии. Образ Дизраэли-романтика, Дизраэли—политического фантазера, своего рода консервативного утописта — вот что особенно привлекает внимание Моруа. Вдумчивый и научно мыслящий читатель без особого напряжения извлечет из книги ее рациональное зерно. Сквозь призму художественного восприятия Моруа явственно проступают совершенно реальные интересы тех классов, которые двигали историю Англии в эпоху Дизраэли. Победа реформы 1832 г.—событие, передавшее политическую власть в руки промышленной буржуазии, — комментируется Моруа так: «Английский банк был единственной национальной организацией, к которой относились с большим уважением, чем к герцогу. Бунт вкладчиков оказался сильнее бунта лордов. Герцогу Веллингтону осталось только скомандовать: «Милорды, полуборот направо, марш!» Моруа конечно упрощает вопрос (буржуазии удалось прийти к власти на волне широкого народного движения, отнюдь не исчерпавшегося «бунтом вкладчиков»), но уже самая попытка дать объяснение историческому событию, исходя не только из психологии того или иного деятеля, но также из материальных интересов, характерна для данной книги.

У Дизраэли как руководителя английской внешней политики были и победы, и поражения. Венец его дипломатических успехов—знаменитая бескровная победа над Россией в 1878 году (по балканскому вопросу), — победа, вызвавшая яростные нападки на него русских националистов<sup>2</sup>). Дизраэли сыграл крупнейшую роль не только во внешнеполитической истории Британской империи. Не меньшее значение имеет его деятельность в качестве вождя консерваторов. Он в большей степени, чем кто-либо другой из государственных людей Англии, способствовал превращению землевладельческой партии консерваторов середины XIX ве-

<sup>1</sup> Со времени работы над книгами, посвященными представителям английской культуры (Вайрон, Шелли, Дизраэли), Моруа проделал значительную эволюцию направо и занял место на реакционном фланге французской литературы.

<sup>2</sup> Например для Ф. М. Достоевского имя английского консерватора, лорда Виконсфильда, — символ столь ненавистного еврейско-либерального и буржуазного духа (см. «Дневник писателя»).

ка, носившей в себе не мало черт олигархического торизма дореформенного периода, в руководящую партию английского капитализма. Таковой она несомненно стала к концу столетия. Излюбленная идея Дизраэли, для осуществления которой он приложил немало усилий,—это создание массовой опоры для консервативной партии. Исключительно характерны для него выступления еще в 40-х годах в духе «демократического торизма» и «народной монархии» (к группе «Молодой Англии» в частности относится глава «Коммунистического манифеста» о феодальном социализме). И в этом отношении заслуги Дизраэли перед господствующими классами Англии очень велики. «Консерваторы не всегда хорошо разбирались в политике своего вождя, но он привел их к самым блестящим победам, когда-либо выпадавшим на долю любой партии» (стр. 306). Не удивительно, что консерваторы созданную после смерти Биконсфильда Рандольфом Черчиллем массовую организацию назвали «Литой подснежника» в честь покойного вождя (подснежник считается его любимым цветком).

Дизраэли, который сумел провести в жизнь парламентскую реформу 1867 г., расширившую избирательное право на рабочих, конечно не принадлежал к числу непримиримых. Наоборот, именно он — яркий выразитель столь привившейся в исторических условиях Англии склонности к компромиссу.

Каким же образом этот выходец из другой национальной и социальной среды сумел занять столь выдающееся место в истории Англии? Отвечая на этот вопрос, Моруа с увлечением рассказывает о превращении потомка еврейской семьи из Южной Европы в пэра Англии, представителя литературной богемы — в землевладельца, эксцентричного юноши — в зрелого государственного человека.

Характеризуя начинающего свою карьеру<sup>1)</sup> Дизраэли как «гениального авантюриста», Моруа склонен к одностороннему Дизраэли-вождя: «Как прекрасные ворота арабской архитектуры, перенесенные по одному камню колонистом, снова высятся на ажурно подстриженной дужайке, одеваются в дюю и ползучие розы, постепенно приобретающая чисто английскую прелесть, и, не внося диссонанса, вливаются в общую гармонию листвы, так и старик Дизраэли, усвоивший все достоинства, недостатки и предрассудки британской нации, стал естественным украшением парламента и общества, и если внимательный прохожий мог иногда различить под темной лисой немного странный изгиб арки или причудливую линию арабесков, то эта легкая дисгармония прибавляла только лишнюю красоту благородной развалине, сообщая ей едва уловимый оттенок поэзии и мощи» (стр. 307)<sup>2)</sup>.

В современной Англии, в других исторических условиях, человек неизмеримо меньшего масштаба пытается разыграть роль «лидера» — лидера с большой буквы. Мы имеем в виду конечно пресловутого сэра Освальда Мосли. Вождь британских чернорубашечников явно пытается кое в чем подражать лорду Биконсфильду. Невольно вспоминаются знаменитые слова Маркса: «Гегель заметил где-то, что все великие всемирно исторические события и лица появляются в истории, так сказать, два раза. Он забыл прибавить: «в первый раз как трагедия, во второй раз как фарс».

Н. Замков

<sup>1)</sup> Между прочим в оригинале книга названа «Жизнь Дизраэли».

<sup>2)</sup> Моруа мало удается попытка сохранить беспристрастие в обрисовке политических противников Дизраэли — Роберта Пилля и, в особенности, Гладстона.

## ПОПРАВКА

В книге 1-й «Нов. мира» вкралась следующая ошибка: на странице 147, 1-я колонка, 23-я строка снизу, вместо: «В народное хозяйство СССР включено новых свыше двадцати миллионов рублей» следует читать: «В народное хозяйство СССР вложено новых свыше двадцати миллиардов рублей».

Редакция:

А. И. Безымянский.  
Ф. В. Гладков.  
В. В. Григоранко.  
И. М. Гронский.  
Л. М. Леонов.  
А. Т. Малышкин.  
В. П. Ставский.

Отв. редактор И. М. Гронский.

Издатель: «Известия ЦИК СССР и ВЦИК».